

Аполлон Григорьев

Советский писатель

Библиотека поэта


А. Григорьевъ



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

ЛЕНИНГРАД * 1959

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья
П. П. Громова

Подготовка текста и примечания
Б. О. Костелянца

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ

Творчество Аполлона Григорьева — литературного критика и поэта 1840—1860-х годов — никогда не пользовалось широкой популярностью и более или менее единодушным признанием ни в литературной среде, ни в читательских кругах. Его мало знали, еще меньше понимали. Как критик он раздражал своих современников неопределенностью, двусмысленностью литературно-общественной программы. Они упрекали его в неясном и запутанном способе изложения своих идей.

На протяжении всей своей творческой жизни Ап. Григорьев писал оригинальные стихи и много переводил, притом таких авторов, как Шекспир, Гёте, Байрон, Гейне, Беранже. Но и его стихи и переводы тоже не привлекали сколько-нибудь серьезного внимания. Правда, на ранние поэтические опыты Григорьева откликался Белинский, но последующие его поэтические создания мало кого заинтересовали и в течение полувека после его смерти оставались погребенными на страницах старых журналов, пока их не собрал и не издал отдельной книгой Александр Блок. Поэзия Григорьева после блоковского издания получила некоторую известность в литературных кругах, но в сколько-нибудь широкий читательский обиход так и не вошла.

Такая необычайная литературная судьба своеобразно одаренного писателя имеет свою историческую логику, закономерность. Григорьев жил и работал в пределах чрезвычайно сложной эпохи. В общественно-литературной борьбе он пытался занять особенную позицию: «возвыситься» над разными борющимися лагерями, найти некое «среднее», «объединяющее крайности» положение. Подобная тенденция не могла не приводить к постоянным срывам, блужданиям, кризисам. Его творчество крайне противоречиво.

Вместе с тем оно все же сыграло определенную роль в общем процессе развития национальной культуры, достаточно напомнить, что многие проблемы, волновавшие Григорьева, в дальнейшем были по-своему развиты в творчестве таких больших деятелей русской литературы, как Ф. М. Достоевский и А. А. Блок.

1

Аполлон Александрович Григорьев родился в Москве, 22 июля 1822 года. Отец его был мелким чиновником, жившим безбедно, очевидно, благодаря «безгрешным доходам». Семейный уклад, по мемуарным свидетельствам как самого Григорьева, так и А. А. Фета, в студенческие годы жившего в семье Григорьевых, производит странное впечатление своей двойственностью. В доме царила типичная атмосфера Замоскворечья. Причудливым образом мещанско-купеческие навыки переплетались со столь же откровенными традициями крепостнического уклада. С другой стороны, в семье наличествуют некоторые культурные навыки, весьма далекие от замоскворецких нравов и обычаев. Эта двойственность усиливается некоторой двусмысленностью социального положения поэта (отец Григорьева был дворянином, но дворянство его было недавнее, «выслуженное», сам Ап. Григорьев дворянином не был: получилось это потому, что был он плодом внебрачной любви своих родителей), с которой ему приходилось считаться и при поступлении в Московский университет, и в студенческие годы (1838—1842), и по окончании университета. Можно утверждать, что она наложила известный отпечаток и на характер, и на всю последующую жизненную судьбу Григорьева. В университете он отличается выдающимися успехами, — наряду с природными способностями, эти успехи, как видно, объясняются своеобразной гордостью плебея, стремящегося показать свое превосходство на поприще умственной деятельности.

В университет Григорьев приходит восторженным, романтическим юношей, пишущим уже стихи.[1] Здесь, на почве общего увлечения литературой и философией, отчасти же довольно неопределенными общественными идеями либерального порядка, складывается студенческий кружок, в который входят такие столь по-разному впоследствии определившиеся люди, как С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, А. А. Фет, Я. П. Полонский, П. М. Боклевский,

---

[1] Я. П. Полонский. Мои студенческие воспоминания. «Нива. Ежемесячные научно-популярные и литературные приложения», 1898, № 12, стр. 643.

И. С. Аксаков. Фет вспоминал о собеседованиях этого кружка, что «настоящим заглавием их должно быть *Аполлон Григорьев*».[1] В духовном развитии Григорьева этот кружок сыграл, видимо, особенно большую роль в том отношении, что здесь определились основные для его дальнейшего развития философские интересы.

Григорьев переживает глубокое увлечение немецкой идеалистической философией и, по свидетельству Фета, специально для чтения философских авторов овладевает немецким языком.[2] Решающим для Григорьева оказалось ознакомление с философией Шеллинга. На протяжении всей его умственной жизни, несмотря на некоторые колебания в решении общественных вопросов, Григорьев в вопросах философских всегда оставался идеалистом. Его увлекал не только ранний Шеллинг эпохи «трансцендентального идеализма», сыгравший существенную роль в процессах становления идеалистической диалектики, но и круто повернувший в сторону общественной реакции Шеллинг эпохи «философии откровения». Уже в конце жизни, характеризуя шеллингианство как «могучее веяние мысли»,[3] Григорьев писал, что «шеллингизм (старый и новый, он ведь все — один) проникал меня глубже и глубже — бессистемный и беспредельный, ибо он — жизнь, а не история».[4] Шеллинг был не только философом, но и одним из основоположников литературной школы романтизма в Германии, проповедовавшей преимущества полноты и интенсивности непосредственного переживания жизни перед всякими теориями, — и Григорьев находил в его сочинениях близкое соответствие своим собственным наиболее устойчивым взглядам «последнего романтика». На протяжении всей своей жизни он многократно и по разным поводам указывал на то, что прежде всего и больше всего, «до безобразия», любит обычную, непосредственную, «растительную», как он выражался, жизнь, что он «всегда ненасытно-жадно стремился пережить ее».[5]

По окончании курса обучения, в 1842 году, Григорьев был

[1] Ранние годы моей жизни. М., 1893, стр. 153.

[2] Там же, стр. 153—154.

[3] Мои литературные и нравственные скитальчества. А. Григорьев. Полн. собр. соч. и писем под ред. Вас. Спиридонова, т. 1. Пг., 1918, стр. 50. Ниже ссылки на это издание приводятся сокращенно: Полн. собр. соч., т. 1.

[4] Письмо к М. П. Погодину 1859 г. Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. Под ред. Влад. Княжнина. Пг., 1917, стр. 247. В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно: Материалы для биографии.

[5] А. А. Григорьев. Воспоминания. М.—Л., 1930, стр. 321.

оставлен при университете, сначала в качестве библиотекаря, а затем секретаря университетского совета. Эта служба и связи с профессурой открывали ему возможность ученой карьеры. Однако такое направление дальнейшей деятельности не соответствовало характеру интересов и стремлений Григорьева. Уже в 1843 году в журнале «Москвитянин» появляются его первые стихи, а теоретические склонности были направлены в сторону проблем современного искусства — театра и литературы.

Положение Григорьева в московской литературной и ученой среде осложняется сильной и неразделенной любовью к Антонине Федоровне Корш, принадлежавшей к известной в московских либеральных кругах семье. А. Ф. Корш предпочла Григорьеву одного из главных впоследствии деятелей русского буржуазно-дворянского либерализма, К. Д. Кавелина, за которого и вышла замуж. Эта страстная, трагическая любовь является жизненным подтекстом самых сильных лирических стихотворений Григорьева первого периода его развития, стихотворений, определяющих его художественное лицо как поэта, стоит здесь назвать только такие вещи, как «Над тобою мне тайная сила дана...» или «К Лавинии» («Для себя мы не просим покоя...»), чтобы стало ясно, какое большое значение имело это чувство в жизни и творчестве Григорьева. Личная судьба Григорьева парадоксально перекрещивалась с его идейными и историческими метаниями, и он мог бы с некоторым правом сказать о себе словами Герцена, что его жизнь представляет собой «отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге».[1]

Личная неудача обострила чувство неудовлетворенности своими университетскими делами. К тому же в эти годы Григорьев начинает болезненно ощущать гнет патриархального замоскворецкого домашнего уклада. Он решил все эти проблемы круто и бесповоротно: не предупредив домашних, уехал в начале 1844 года в Петербург. Определяющим было, по-видимому, стремление войти в литературную жизнь, несравненно более живую в Петербурге, чем в Москве. Сам Григорьев объяснял это решение «неодолимою жаждою жизни».[2]

В Петербурге Ап. Григорьев вскоре освобождается от чиновничьей лямки и целиком отдается литературной работе. Он печатает в журналах «Репертуар и Пантеон» (одно время Григорьев был и редактором этого журнала) и «Финский вестник» ряд рас-

---

[1] Собр. соч. в тридцати томах, т. 10. М., 1956, стр. 9.

[2] Мои литературные и нравственные скитальчества. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 2.

сказов, очерков, критических статей (преимущественно на театральные темы), поэм, лирических стихотворений и художественных переводов. Но главным делом его жизни в этот период является поэзия. В начале 1846 года выходит (ничтожно малым тиражом) его первая и единственная книга — «Стихотворения».

В. Г. Белинский в своем «Взгляде на русскую литературу 1846 года» отметил следующий факт, характерный для тогдашнего состояния литературы: «Стихи играют второстепенную в сравнении с прозою роль. Их читают будто нехотя, едва замечают, хладнокровно похваливают хорошее и ничего не говорят о посредственном».[1] Причину такого отношения к поэзии Белинский усматривает в общей тенденции литературного развития, в появлении Гоголя и Лермонтова, в изменении характера требований, предъявляемых к литературе вообще. Еще в предшествующем своем годичном литературном обзоре Белинский заявлял, что «главная заслуга 1845 года состоит в том, что в нем заметно определеннее выказалась действительность *дельного* направления литературы» (IX, 388). Соответственно этому требование «дельности» в обзоре литературы за 1846 год предъявляется и к поэзии; стихотворения Аполлона Григорьева «замечательнее других», вышедших в этом году, потому, что «в них, по крайней мере, есть хоть блестки дельной поэзии, т. е. такой поэзии, которою не стыдно заниматься, как делом» (X, 35).

Далее в оценке стихов Григорьева говорится, что этим блесткам дельной поэзии поэт обязан главным образом воздействию Лермонтова.

Совершенно очевидно, что, не погрешая против специфики поэзии, не стремясь к сглаживанию ее качественных отличий от прозы, Белинский предъявляет к ней те же основные требования, что и к прозе. В поэзии должен развиться, на основе переработки опыта предшествующего поколения (главным образом опыта Лермонтова), социально-психологический реализм. Своими специфическими средствами поэзия должна ставить общие социальные вопросы современности. В прозе эту задачу решала «натуральная школа». Нечто аналогичное должно появиться в поэзии — «дельная поэзия». С точки зрения этой, верно уловленной Белинским, общей тенденции развития русской поэзии в 40-е годы должны были измениться — у разных поэтов по-разному — и объект поэзии, и

---

[1] Полн. собр. соч., т. 10. М., 1956, стр. 33. Далее все ссылки на сочинения Белинского даются по этому изданию (тт. 1—12, М., 1953—1958) в тексте, с указанием тома и страницы.

характер лирического «я», того лица, от имени которого выступает поэт, субъект поэзии.

Что же в условиях 40-х годов сказывалось за выдвинутым Белинским требованием «дельной поэзии»? Характеризуя уже в послереформенную пору общественно-литературную жизнь 40-х годов, Герцен назвал эту эпоху временем «глухого и скрытого прорастания».[1] Герцен настаивал на том, что свирепый гнет николаевского режима не остановил — и не мог остановить — умственной жизни общества, он заставил ее только стать «глухой и скрытой». Политическая борьба принимала нередко формы философско-литературных споров; в философской полемике возникали вопросы о будущих путях России. Сами эти споры, в свою очередь, вызывали различие конкретных литературных оценок. Стоит вспомнить хотя бы спор Белинского с московской группой славянофилов о характере творчества Гоголя, чтобы стало ясно, насколько насыщены идейно-политическим содержанием литературные полемики 40-х годов.

Белинский в эти годы ведет борьбу в области философско-исторической — со славянофильством, в области непосредственно литературной — с романтизмом, за «натуральную» школу. Это — две стороны, две грани одной и той же общественно-литературной позиции. Верность действительности и социальная содержательность искусства выдвигаются как критерии не только литературные, — в «глухой и скрытой» общественной борьбе эпохи это одновременно и критерии политические, это борьба за прогрессивные пути общественного развития России. Важное место в этой литературной программе занимает и требование «дельной поэзии», направленное прежде всего против романтического субъективизма. Поэт романтического толка полагал, что «внутренний мир его ощущений и видений интереснее всех фактов действительности и что поэтому он может не знать, что делается вокруг него на белом свете» (IX, 591). «Дельная поэзия» должна быть не только верной действительности. Правда изображения реальной жизни, знание ее должны сочетаться с определенностью идейной позиции художника, с социальной направленностью его творчества. Поэтому Белинский борется с романтическим субъективизмом, но субъективность поэта, противопоставляющего себя и своих героев гнусной действительности николаевской эпохи, для него является исходным пунктом для новой, «дельной поэзии». Свойственное поэзии Лермонтова начало отрицания Белинский истолковывает как этап в становлении поэта

---

[1] Собр. соч. в девяти томах, т. 8. М., 1958, стр. 176.

с «дельной», положительной программой переустройства, переделки действительности.

Романтический субъективизм осуждается им не потому, что поэты-романтики стремятся изображать «высокую сторону жизни», а потому, что в прозе А. Марлинского или в стихах В. Г. Бенедиктова Белинский видит «мелодраматическое пародирование высокой стороны жизни» (IX, 546), — критерий «верности действительности» сохраняется и здесь. Насыщение стиха конкретными жизненными наблюдениями, пронизанность его современной мыслью, даже сдвиги его в сторону сюжетности, очерковости, фельетонности — все то, что развернется как законченная стилистическая система в поэзии Некрасова к 50-м годам, — может быть определено как признаки «дельной поэзии». Уже в стихах Некрасова 40-х годов, помещенных в «Петербургском сборнике», Белинский усматривает «дельность»: «Они проникнуты мыслию; это — не стишки к деве и луне; в них много умного, *дельного* и современного» (IX, 573).

Говоря о несколько более позднем периоде развития русской поэзии, И. Г. Ямпольский замечает: «Вопрос о литературных традициях некрасовской школы не ограничивается рамками поэзии. Нередко бывало в истории литературы, что формирующим началом какого-нибудь поэтического направления является проза, а тех или иных явлений прозы — поэзия. Жанровая замкнутость вообще, а для данного периода особенно, существует в большей степени в теоретических построениях, чем в литературной практике».[1] Далее И. Г. Ямпольский устанавливает воздействие гоголевской и послегоголевской прозы на Некрасова и его поэтическую школу и, в частности, интересно сопоставляет «Капризы и раздумья» Герцена с целым рядом важных мотивов в творчестве Некрасова. Истоки этого явления, подчеркивает И. Г. Ямпольский, восходят как раз к 40-м годам и имеют более широкое значение, чем вопрос о литературном воздействии. Речь идет здесь об общих закономерностях литературного процесса в целом и о переплетении, взаимодействии разных линий этого процесса.

В это время лирическое стихотворение подвергается «прозаизации»: в нем появляется «жанровая» описательность, сюжетность, меняется лирический субъект, лирическое «я», способы его раскрытия и соотношения его с действительностью. Особенную важность для дальнейшего развития русской поэзии имеет в этом отношении лирика Н. П. Огарева. Характерно, скажем, появление «жанровых» описаний и «жанровых» персонажей в таких стихах, как «Деревен-

---

[1] История русской литературы, т. 8, ч. 2. М.—Л., 1956, стр. 38.

ский сторож», «Кабак». Дело здесь, разумеется, не в «жанре» как таковом, а в специальной установке на «описательность» и прежде всего в изменении способов раскрытия лирического «я». С этой точки зрения особенно любопытно стихотворение «Дилижанс». Случайная встреча в дилижансе служит своеобразным сюжетным обоснованием для лирической темы стихотворения. Бытовая зарисовка, соотнесенная с внезапно изменившимся душевным состоянием героя, меняет способ раскрытия этого героя. Получается не беспредметное лирическое излияние, а как бы рассказ в стихах. Герой конкретизируется, объективизируется, он как бы поставлен на одну доску с «прозаически» описанной дамой, он — участник конкретного события, а не лирическое «я» вообще. Возникает психологический, по-бытовому мотивированный сюжет стиха.

В «Дилижансе» и в других огаревских стихотворениях такого рода в лирическую поэзию как бы вторгаются сюжетные и описательные приемы прозы. Соответственно «сюжетности» и «описательности» меняется и язык, приобретающий подчас характер бытовой угловатости.

Поэтическое творчество Огарева, несомненно, является связующим звеном между поэзией Лермонтова и Некрасова. Высокий гражданский пафос, социальная острота в сочетании с очерковой конкретностью, описательностью, прозаизмами в поэзии Огарева подготовляют лирику Некрасова. Лирическое «я» стихов Огарева, его подчеркнутый социальный разлад с наличными общественными отношениями находятся в явной преемственной связи с лермонтовским лирическим героем. Однако это лирическое «я», скажем, в знаменитых «Монологах» Огарева существенно отличается от излюбленного героя лирики Лермонтова по способу его раскрытия. В «Монологах» не столько патетическое обличение или самообличение, сколько «диалектика души», сам процесс преодоления человеком одних душевных начал и обретения других. Здесь нет противостоящих друг другу «героя» и «общества», а есть некий единый поток жизни, о котором рассказывается почти спокойным, «прозаическим» тоном. В лирику вторгается конкретная психология, Огарев здесь ближе в чем-то к Лермонтову — автору «Героя нашего времени», чем к Лермонтову — автору «Думы». Лирическая поэзия 40-х годов, как мы видим, вбирала в себя не только опыт прозы «гоголевской школы», но и опыт прозы психологической, она использовала и развивала далее не только опыт Лермонтова-поэта, но и опыт Лермонтова-прозаика.

Молодого Григорьева — критика и поэта занимал тот же круг проблем, что и его старших современников. В большой статье

«Об элементах драмы в нынешнем русском обществе» он стремился сформулировать свои основные требования не только к драматической литературе, но и к литературе вообще. Он пытается найти наиболее характерные коллизии современной жизни и, соответственно этому, черты человеческой личности, характерной для эпохи. Основная мысль, проходящая через всю статью, — это требование изображения в искусстве действительности в ее наиболее обычных, повседневных проявлениях. Григорьев выступает здесь как противник романтизма, противник изображения в искусстве исключительных явлений, противник искусства для искусства. Он пишет о «высоком значении обыкновенной, повседневной жизни»,[1] ратует за то, чтобы в искусстве изображалось «общество, живущее своими, какими бы то ни было, но дельными интересами, общество, насквозь проникнутое прозаизмом».[2]

Отвергая образ художника, занятого созданием безделушек в то время, «когда кругом него — страшные, бледные, изнуренные голодом лица»,[3] то есть призывая к постановке социальных тем в искусстве, Григорьев в то же время в качестве важнейшей темы социального плана выдвигает тему внутренних коллизий современной личности, живущей в мире «прозаических» интересов. Таким характернейшим образом современника он считает образ «эгоиста». Особенное внимание Григорьев уделяет при этом позднему творчеству Лермонтова, отразившему, по его мнению, типичнейшие образы и ситуации современной жизни. Он усматривает развитие одной темы и в прозе и в лирике Лермонтова. Печорин еще не преодолел в себе «мелкого ограниченного эгоизма», в любовной лирике Лермонтова последнего периода уже видно, как возникает «эгоизм сознательный, проникнутый чувством целого и уважением к себе и другим, как частям великого целого».[4] Художественная мысль Григорьева движется в кругу тех же проблем, которые характерны, скажем, для лирики Огарева 40-х годов. Однако выводы из этих проблем Григорьев делает иные.

Для выяснения идейно-художественного лица Ап. Григорьева в первый период его творчества большое значение имеет его стихотворная драма «Два эгоизма», напечатанная в журнале «Репертуар и Пантеон» в 1845 году. Как театральное произведение драма эта в достаточной мере слаба. Белинский писал о «Двух эгоизмах», что это «в целом довольно бледное отражение довольно бледной

---

[1] «Театральная летопись», 1845, № 7, стр. 74.
[2] «Театральная летопись», 1845, № 4, стр. 38.
[3] «Театральная летопись», 1845, № 7, стр. 74.
[4] «Театральная летопись», 1845, № 4, стр. 39.

драмы Лермонтова „Маскарад"» (IX, 393). Но, как это часто бывает с произведениями, в целом неудавшимися, в «Двух эгоизмах» особенно отчетливо, угловато выступает излюбленный молодым Григорьевым круг идей, образов, тем.

Имя Лермонтова, его идеи, образы постоянно мелькают не только в раннем творчестве Григорьева, они, очевидно, были составной частью душевного обихода молодого Григорьева, об этом можно судить хотя бы по произведению полухудожественного-полудневникового характера «Листки из рукописи скитающегося софиста», опубликованному более чем через полвека после смерти Григорьева. Стоит здесь указать хотя бы на такую деталь: описывая историю своей любви к А. Ф. Корш, Григорьев особо отмечает, в качестве исходного пункта этой любви, ряд «восторженных, лихорадочных намеков» — «начиная с нашей прогулки в аэрьене, где я в первый раз сказал ей, что она — Нина Лермонтова».[1] Знаменательно также то обстоятельство, что образы и ситуации «Маскарада» часто всплывают в критических работах Григорьева на всех этапах его деятельности.

Особенно явно своеобразие концепции «Двух эгоизмов» сказывается в оригинальной трактовке Григорьевым центральной сюжетной ситуации, извлеченной из лермонтовского «Маскарада». Как и в «Маскараде», главный герой драмы Григорьева, Владимир Ставунин, отравляет героиню, московскую барыню Донскую. Белинский очень точно отметил чисто драматургическую слабость основного построения Григорьева: «...читатель никак не в состоянии понять чувств героев ее, ни того, за что они любят и ненавидят себя и друг друга, ни того, за что непонятный герой отравляет ядом непонятную героиню» (IX, 393). Даже элементарное сопоставление с сюжетом «Маскарада» сразу обнаруживает, в чем тут дело. У Лермонтова причины отравления Нины Арбениным абсолютно ясны, смысл сюжета не допускает никаких разноречивых толкований. Любовь Арбенина к Нине — попытка героя найти внутреннюю опору в неразрешимом конфликте с обществом. Измена жены представляется Арбенину проникновением общественного зла и в этот, противопоставленный миру, уединенный остров. Отравление Нины поэтому вполне логично, согласуется с движением характера героя, это — месть обществу, сумевшему отравить и эту, чистейшую и единственно оставшуюся у Арбенина форму связи с людьми. Читатель, если пользоваться словами Белинского, «в со-

[1] Воспоминания, стр. 175. Под «Ниной Лермонтова» подразумевается здесь, как это ясно из контекста, лирическая героиня «Сказки для детей».

стоянии понять», что же произошло с героями. Движение идеи драмы совпадает с движением сюжета, идея драмы «вычитывается» из самого сюжета. В драме Григорьева этого совпадения движения сюжета и движения идеи нет, потому что произошло что-то странное с самими героями — они стали «непонятными».

Если мы попытаемся разобраться в причинах этих неувязок в сюжете, то увидим, что относительно мало повинен в них образ центрального героя, Ставунина. Как и лермонтовский герой, он неприемлем для светского общества, и так же не приемлет это общество сам.

Совсем иначе обстоит дело с женскими образами. Драматические функции лермонтовской Нины в «Двух эгоизмах» переданы трем или даже четырем персонажам, и здесь-то и скрыты, очевидно, наиболее существенные «разногласия» Григорьева с Лермонтовым. Прежде всего, у Ставунина есть жена, с которой он давно разошелся и которая мимолетно появляется в драме только для того, чтобы пояснить своим приходом особенности поведения героя в более важных для него ситуациях. Она представляет собой именно то легкомысленное, ничтожное порождение светского общества, каким на минуту в трагическом сцеплении обстоятельств показалась Арбенину Нина. Арбенин ошибся в Нине, Ставунин видел в своей Евгении именно то, чем она была, и он неумолим и прав, холодно отвергая ее домогательства. Это обстоятельство меняет драматическое положение Ставунина. Исчезает сложное сплетение добра и зла, трагической вины Арбенина перед Ниной и его гневного протеста против общества. В коллизии Ставунин — Евгения центральный герой отличается от героини только тем, что он умнее, шире, сложнее, но они оба «эгоисты», порождение одного и того же общественного уклада. В идейном построении вещи эта коллизия важна тем, что она снимает возможность трактовки главной сюжетной ситуации как монодрамы, как драмы противоречивого сознания одного героя в его столкновении с обществом.

Кроме Евгении, в драме есть еще страстно влюбленная в Ставунина Вера Вязмина, девушка, которая губит себя в общественном мнении своей «незаконной» связью со Ставуниным. Но здесь опять-таки переосмыслена тема гибели лирической героини «Маскарада». Лермонтовская Нина — простодушная, доверчивая, чистая женщина, становящаяся жертвой трагической ошибки, болезненной мнительности Арбенина. Нина в «Маскараде» важна не сама по себе, она нужна в драме, по существу, только для того, чтобы ясна была трагическая двойственность Арбенина: гнев Арбенина на общество справедлив и закономерен, но сама форма этого гнева

обнаруживает его слепой, разрушительно-индивидуалистический характер. Гнев этот обрушивается на невинное, чистое и, в сущности, бесцветное создание. Нина в «Маскараде» — жертва индивидуалистических страстей и только.

Григорьева занимала тема личности героини, а не только героя. Вера Вязмина — тоже жертва общественного неустройства и «роковых страстей», но она идет сама навстречу гибели, ясно понимая, на что она идет. У нее есть своя «жизненная программа», свое представление о жизни. Возможность мирной, счастливой семейной жизни Вера отвергает, такое существование для нее — «цепи». Ей нужна полнота индивидуального чувства, романтической страсти, хотя бы разрушительно-гибельной. Художественная неопытность Григорьева сказывается в том, что, делая героиню лирически-противоречивой, он опять-таки не вводит ее тему в центральный сюжет и тем самым ослабляет вес и цену этого сюжета.

Единый сюжет растекается по отдельным ручейкам, монолитность и цельность главного героя теряется оттого, что ряд эпизодов иллюстративно характеризует внутреннюю психологическую тему. Романтический «демон» не ведет, не определяет сюжет; в эпизоде с Верой, скажем, активная роль героини, психология которой как бы романтически-сгущенно повторяет, дублирует героя, уменьшая его роль, сводит трагического индивидуалиста с горных вершин романтики в гостиную.

Григорьев стремится снять маску героя монодрамы, сделать его психологически достовернее, обычнее, проще, понятнее. В этом смысл «удваивания героев». Если бы Ставунин один отвечал за трагическую судьбу Веры, он был бы мощнее, монументальнее, он походил бы на Арбенина. Но раз Вера сама повинна — отчасти или целиком — в своей судьбе, то возникает вопрос о психологии, об оттенках характера как Веры, так и самого Ставунина. Характер несколько дробится, делается менее цельным — но появляется необходимость иных, не столь общих и абстрактных, а более житейски достоверных мотивировок поведения героев. Такие мотивировки сами собой напрашиваются для объяснения происходящего, хотя Григорьев и не предлагает их читателю, внешне оставаясь в рамках стилистики раннего Лермонтова. Григорьев стремится здесь по-своему идти тем же путем, которым шел сам Лермонтов, — идти к психологическому реализму. Всех вытекающих отсюда возможностей Григорьев не использует, заменяя их лирикой. Третье действие драмы, где в основном развернута судьба Веры, открывается песней Веры, представляющей собой одну из художе-

ственных вершин драмы и один из лучших образцов лирики Григорьева.

Только в этом сцеплении многих драматических связей, не сплетенных, не соединенных в один сюжет, становится «понятной» центральная коллизия драмы. Взаимоотношения Ставунина и Донской раскрываются лирически, а не драматически. Ставунин и Донская любят друг друга, но соединиться не могут не потому, что в их отношения вмешалась какая-то роковая сила воздействия общественных отношений, но прежде всего потому, что они оба наделены романтическим чувством «несказанности», «невыразимости» страсти. Донская и похожа, и не похожа на Веру. Как и у Веры, источник ее страданий — ее собственная душа. Как и Вера, она отвергает возможность мирного и спокойного счастья. Но, в отличие от Веры, она отвергает самую возможность реализации своего чувства. Она падает жертвой своей собственной страсти, любя человека такого же типа, как она сама. Тема этой главной ситуации драмы — тема борьбы двух индивидуалистических личностей, находящих удовлетворение в самой этой борьбе. Поэтому не случайно само название драмы — «Два эгоизма» (было еще и другое название драмы, снятое самим поэтом, — «Современный рок»), хотя и оно неточно выражает тему: ведь здесь «эгоизму» Ставунина противостоит не только «эгоизм» Донской, но и «эгоизм» Евгении, «эгоизм» Веры и т. д. Суть здесь именно в попытке «рассыпать» трагический индивидуализм Арбенина, дать его как некое универсальное душевное состояние, имеющее отнюдь не характер исключительности, уникальности, а как вполне распространенный, «нормальный» тип современного сознания.

Белинский верно установил направление специфического движения Ап. Григорьева к «дельной поэзии». В рецензии на «Стихотворения» он писал: «Пафос лиризма г. Григорьева однообразен и не столько *личен,* сколько *эгоистичен. . .*» (IX, 593).

Смысл этого противопоставления понятен только в контексте общих взглядов Белинского на роль передовой, свободолюбивой личности в обществе и в искусстве. Борясь с переоценкой роли фантазии, воображения, субъективного произвола в поэзии романтиков, Белинский видит положительные качества новой, «дельной поэзии» в том, что в поэзию вводятся «ум», «наука», «дело», «направление». Однако он настаивает на том, что все эти качества становятся достоянием подлинной поэзии только в том случае, если они органически сливаются с личностью самого поэта и его лирического героя, — поэт должен провести «мысль через всю свою личность», и «даже направление» «должно быть своего рода талан-

том» (IX, 592). Для Белинского личность — понятие прежде всего общественное, именно это подчеркивается в противопоставлении лирического героя Ап. Григорьева героям Лермонтова: в «индивидуалистическом» пафосе лермонтовских героев Белинский усматривает общественный пафос: «Герои Лермонтова — натуры субъективные, которые скорее готовы разрушить и себя и мир, нежели подделываться под то, что отвергает их гордая и свободная мысль» (IX, 593).

Поэтому утверждение Белинского, что пафос лиризма Григорьева не столько личен, сколько эгоистичен, свидетельствует о том, что Белинский усматривает в поэзии Ап. Григорьева (в тот момент, когда ее основные особенности становятся ясны, то есть после выхода сборника) измельчение лирического героя, сведение героя — общественного лица к герою — однообразно страдающей индивидуальности, частному лицу. Белинский, несомненно, улавливает особенное качество лирического героя Григорьева — его психологическую и бытовую конкретизацию, попытку «снижения» лирического «я». В целом он относится к этому изменению качества лирического героя отрицательно. Однако этот особенный — конкретизированный, психологизированный — лирический герой поначалу вызывает интерес и внимание критика, — в обзоре литературы 1845 года общая оценка «Двух эгоизмов» завершается такими словами: «Но, вообще, в этом странном и неудачном произведении промелькивает местами что-то такое, что невольно возбуждает интерес, если не к лицам драмы, то к лицу автора» (IX, 393). Позднее подобные тенденции к конкретизации лирического «я» квалифицировались Белинским гораздо более сурово.

2

В сложной обстановке общественного развития 40-х годов под формой литературных и философско-исторических споров скрывалась борьба противоположных общественных лагерей. В литературной позиции молодого Григорьева в начальный период его деятельности не было достаточной четкости, ясности, для того чтобы его можно было с полным правом отнести к тому или другому из этих лагерей.

Идеализация государственных, общественных, семейных форм жизни допетровской Руси, характерная для славянофилов и смыкавшаяся в конечном счете с реакционной «официальной народностью», разоблачается Белинским в годы выхода на литературную

арену Григорьева как фактическая защита консервативных общественных принципов в современности. В этой борьбе со славянофильством Белинский использует в некоторых случаях литературные произведения молодого Григорьева. Так, в качестве эпиграфа к предисловию к книге «Стихотворения Кольцова» Белинский берет цитату из поэмы Григорьева «Олимпий Радин». В первой части предисловия Белинский рисует тяжелую семейно-биографическую драму Кольцова, истолковывая ее как типическое проявление общих условий жизни в самодержавно-крепостнической России. Эта картина консервативного семейного гнета была направлена против слащавых идиллий славянофилов о патриархальных «семейных устоях» как о признаке духовного здоровья крепостнического строя. Эпиграф из Григорьева и должен был вводить в эту тему:

О, верьте мне: не весела
Картина — русская семья...
Семья для нас всегда была
Лихая мачеха, не мать.

О том, насколько ясен был общественный смысл содержавшейся здесь литературной полемики, в которой было использовано произведение Григорьева, свидетельствует тот факт, что в издании стихотворений Кольцова 1846 года, к которому было написано предисловие, цензура сняла этот эпиграф.

Аналогичным образом была использована Белинским драма Григорьева «Два эгоизма» в обзорной статье «Русская литература в 1845 году». Среди второстепенных персонажей этой драмы, обрисованных в комических или даже сатирических тонах, есть некий Баскаков, в котором современники без особого труда могли узнать известного деятеля славянофильства — К. С. Аксакова. На фоне тех картин распада консервативных семейных устоев, которые рисуются в самой драме во взаимоотношениях Ставунина и Донской, Ставунина и семьи Вязминых и, наконец, в семье самого Ставунина, разглагольствования Баскакова об исконно русских незыблемых семейных началах изображены откровенно издевательски. Пытаясь нарисовать новый тип любви, «основанной на взаимно равном отношении двух равно разумных существ»,[1] Григорьев, конечно, резко отрицательно относится к реакционным семейным утопиям, развиваемым Баскаковым. В большом монологе Баскакова о семье, о взаимоотношениях мужа и жены осмеиваются исторические и

[1] «Театральная летопись», 1845, № 4, стр. 39.

юридические выкладки славянофилов об особом характере семейно-бытовых отношений в древней Руси.

Возможность истолкования общественной позиции Григорьева этих лет как далекой во многих отношениях от славянофильства или даже противостоящей ему подтверждается и рядом других фактов. Так, в уже цитированной статье «Об элементах драмы в нынешнем русском обществе» Григорьев хвалил Н. В. Кукольника за то, что тот в своих произведениях не осквернил патриотического чувства «хвалою кулаку и сивухе, жалобами на падение старого боярства с его отвратительным произволом... и раскольничьего быта, скошенного вместе с бородами с лица русской земли», и за то, что «с благоговением и любовию изучает он все следы лучезарного шествия Петра».[1] В этом несомненно антиславянофильском высказывании особенно примечательны слова об отвратительном произволе старого боярства. Отношения Григорьева со славянофильством позднее были очень сложными, однако он и в последующих своих оценках славянофильства утверждал, что славянофильство — «старобоярское направление».[2]

В документальной литературе имеются некоторые свидетельства о кратковременной, очевидно, близости Григорьева в период его первого пребывания в Петербурге к кругам петрашевцев. Вместе с тем в драме «Два эгоизма» среди сатирически нарисованных фигур второго плана имеется и такой персонаж: «Петушевский, фурьерист из Петербурга». За этой сатирически осмеянной фигурой скрывается, несомненно, М. В. Петрашевский.[3] На основании этих как будто бы противоречащих друг другу фактов некоторые исследователи пытались построить искусственную схему об увлечении Григорьева идеями петрашевцев, за которым последовало разочарование в их политическом радикализме. Подобное предположение не подтверждается ни документальными данными, ни художественными и критическими произведениями Григорьева.

Несравненно более важное значение для выяснения идейно-общественной позиции Григорьева в 40-е годы имеет установленная автором комментариев к настоящему изданию, Б. О. Костелянцем, связь ряда мотивов ранних произведений Григорьева — таких, как поэма «Олимпий Радин», и, что особенно существенно, необычайно характерных для поэта произведений интимно-лирической темы («Комета» и «К Лавинии») — с произведениями как

---

[1] «Театральная летопись», 1845, № 4, стр. 39.

[2] Воспоминания, стр. 355.

[3] См. В. В. Каллаш. Ап. Григорьев о Петрашевском. «Голос минувшего», 1914, № 2, стр. 199—201.

основоположников утопического социализма (Фурье), так и писателей, несомненно стремившихся воплотить в своем творчестве идеи утопического социализма (Жорж Санд).[1] Тем самым можно считать доказанным, что Григорьев еще до своего приезда в Петербург, то есть до сближения с петрашевцами, был знаком с идеями утопического социализма, но делал из них совершенно иные выводы, чем петрашевцы.

В этой связи необходимо остановиться на нескольких стихотворениях Григорьева с «гражданской темой», возникновение которых традиционно объясняется воздействием на поэта круга петрашевцев. Это — два варианта стихотворения «Город» (один из них был включен автором в состав книги «Стихотворения»), «Нет, не рожден я биться лбом. . .», «Прощание с Петербургом», «Когда колокола торжественно звучат. . .». Некоторые из этих стихотворений, наиболее резкие в политическом отношении, ходили в списках по рукам, а иные даже были опубликованы позднее без имени автора в «Полярной звезде» Герцена.

С откровенной ненавистью и отвращением рисуется в них чиновничье-бюрократический Петербург с его «подлой царской службой»; поэт заявляет, что ему даже в церкви за обедней «бывает скверно» «прослушать августейший дом». Петербург рисуется здесь как город «казарм, борделей и дворцов» — это перечисление не оставляет сомнений в истинном отношении автора к императорской столице. Она характеризуется «холодностью ужасной к ударам палок и кнутов». Ненависть к привычному для этого бюрократического строя низкопоклонству способна вызвать сочувствие Марату:

И то, что чувствовал Марат,
Порой способен понимать я.

Цитированное только что стихотворение «Нет, не рожден я биться лбом. . .» (1845 или 1846) кончается резким выпадом против христианской церкви.

Пожалуй, наибольшей социальной остротой отличается стихотворение «Когда колокола торжественно звучат. . .» (1846), где образ вечевого новгородского колокола трактован как образ народовластия. Вечевой колокол здесь — это «язык народа», некогда свободного, но в ходе истории «склонившего главу под тяжкий царский кнут». Поэт предвидит «грозный день», когда воссоединятся «расточенный прах и кости исполина», то есть разъятого на

[1] См. примечания, стр. 524—529 и 564.

части царским самовластием единого народного организма, — это будет «расплаты час кровавый». Какими бы абстрактными историческими ассоциациями ни был обременен этот образ вечевого колокола, каким бы общим, неконкретным содержанием ни были здесь наполнены понятия «свободы» и «народовластия», — несомненно, речь идет о революции. Стихотворение кончается знаменательными строчками:

И весело тогда на башнях и стенах
Народной вольности завеет красный стяг...

Однако наиболее характерен для творчества Григорьева тот поворот, который поэт придает социальным или даже революционным мотивам в двух стихотворениях под одним и тем же названием «Город». Оба стихотворения вместе с тем наиболее близки к фурьеристским темам обличения противоречий буржуазно-капиталистической цивилизации. Проблема язв капиталистического строя очень по-разному решается в этих стихотворениях со сходной, но по-разному разработанной темой. В первом стихотворении «Город» («Да, я люблю его, громадный, гордый град...»), включенном в книгу Григорьева (до сборника оно было опубликовано в журнале «Репертуар и Пантеон» и отмечено Белинским в обзоре русской литературы за 1845 год как «прекрасное стихотворение»), перед нами рисуются социальные контрасты города. С одной стороны — «граниты вековые» «гордого града» и «пышный блеск его палат», где «роскошь и нега». Этому парадному Петербургу социальных верхов противостоит город нищеты и общественного бедствия, город «людского пота и страданий». Характерна для Григорьева обобщающая интонация. Он говорит не просто о двух обликах города, для него один из этих обликов — призрачный, мнимый. Город в целом — огромная язва. Страдание, скрытое его пышной видимостью, одинаково господствует и в темных углах, и в роскошных дворцах. Уже здесь Григорьев тему внешних контрастов «города пышного» и «города бедного» склонен трактовать как тему внутренних, духовных противоречий, порождаемых городской цивилизацией.

Полностью она как психологическая тема развита в другом «Городе» («Великолепный град! Пускай тебя иной...»). Прекрасный внешний облик города дан в восприятии романтически восторженного юноши, готового отождествлять красоту внешнюю с красотой душевной. Стихотворение строится как внутренний диалог гордого индивидуалиста — обличителя пороков города — с этим восторженным юношей. Обличительная сила второго стихотворе-

ния, несомненно, выше, чем первого. В той картине скрытых пороков города, которую развертывает перед юношей искушенный знаток человеческих отношений, как бы соединены воедино сатирические мотивы всех стихотворений этого ряда: тут разоблачение и низкопоклонства, холопства, царящего в чиновничьем Петербурге, цинизма, порожденного этим городом, и разврата, скрытого под маской красоты или даже страдания. Стихотворение построено на очень сложном сплетении многих психологических тем. Использование образа романтического индивидуалиста как обличителя общественных пороков характерно для лермонтовской традиции в творчестве некоторых поэтов круга петрашевцев, например С. Ф. Дурова. Однако у Григорьева эта тема чрезвычайно усложнена наличием двух персонажей в рамках одного стихотворения, прихотливым сплетением нескольких психологических тем в форме «внутреннего диалога».

Лирическое «я» во втором «Городе» — в конце концов, вариант Ставунина из «Двух эгоизмов». Вместе с тем это стихотворение бросает своеобразный свет и на драму Григорьева. Перевод обличительной темы во внутреннюю, психологическую плоскость, трактовка темы города как темы распада сознания городского человека, возникновение психологии «эгоиста» — заставляет говорить о том, что эти стихи не являются для Григорьева чем-то случайным, а напротив, характеризуют внутренние тенденции его развития.

На протяжении всей своей творческой жизни Ап. Григорьев был фигурой мятущейся, драматической, противоречивой. В. И. Ленин духовную драму старшего современника Григорьева, Герцена, объяснял объективно-исторической противоречивостью, переходным характером эпохи, в которую тот жил и работал.

Истоки духовной драмы Григорьева, остро выразившейся уже в сатирической обрисовке представителей важнейших политических течений 40-х годов при одновременном создании ряда стихов, о которых шла только что речь, восходят к той же переходной эпохе. Этим объясняется тот факт, что на протяжении всей своей идейной жизни Григорьев внимательнейшим образом следил за деятельностью Герцена. Однако общность исторических истоков еще не означает общности идейных результатов деятельности исторических лиц. Элементы скептицизма и пессимизма, очень остро проявляющиеся у Григорьева, скажем, во втором стихотворении «Город», не приводят его к преодолению индивидуалистических и идеалистических иллюзий. Напротив, острая критика самодержавно-крепостнической России в этих стихах, представляющих, безусловно, демократическую тенденцию его развития, просто соседствует или переплe-

тается со скептицизмом. Нельзя не вспомнить в этой связи «Монологи» Огарева (1847). Скептицизм, ирония лирического героя над самим собой приводят там героя к новому, более высокому этапу его мировоззрения — к жизнерадостности, к материалистическому приятию жизни во всех ее исторических и духовных противоречиях. У Григорьева разрушение романтических иллюзий рождает только скептицизм и отчаянис. Выхода из остро обрисованного противоречия нет.

Поиски выхода из духовных противоречий порождают у Григорьева новые иллюзии. Одним из таких иллюзорных выходов из наметившихся противоречий является обращение Григорьева к осмеянному им в «Двух эгоизмах» славянофильству. В начале 1846 года, то есть сразу по напечатании «Двух эгоизмов», Григорьев обращается через своего товарища по университету С. М. Соловьева к издателю «Москвитянина» М. П. Погодину с предложением о сотрудничестве. В письме к Соловьеву Григорьев между прочим пишет, обосновывая самую возможность такого сотрудничества: «За православный и славянский дух моих рецензий ручательством могут служить имеющие быть напечатанными в мартовском нумере «Финского вестника» статьи: 1) о проповедях Филарета 2) о романе Вельтмана «Емели» и 3) Сперанского о законах. . .»[1]

В особенности показательной для наличия славянофильских тенденций в критической деятельности Григорьева этого периода и, следовательно, общей противоречивости его позиции является рецензия на роман А. Ф. Вельтмана «Емеля». Оценка творчества Вельтмана вообще в этот период является предметом идейной борьбы между Белинским и славянофилами. Так, в обзоре русской литературы за 1846 год (где, между прочим, дана и оценка книги «Стихотворения» Григорьева) Белинский разбирает роман Вельтмана «Приключения, почерпнутые из моря житейского», доказывая, что слабые стороны произведения состоят в стремлении «доказать превосходство старинных нравов перед нынешними» (X, 43). Напротив, стремление Вельтмана создать сказочно-романтизированный образ «народного» героя, представляющего «допетровские», «исконные» начала русской жизни, вызывает явное сочувствие у рецензента «Финского вестника». Подобная идеализация консервативной «национальной самобытности» согласуется с теориями, развивавшимися Григорьевым в 50-е годы, и находится в резком противоречии со стихами «гражданской темы», о которых шла речь выше, или с резко сатирической окраской фигуры Баскакова в «Двух эгоизмах».

[1] Материалы для биографии, стр. 105.

В связи с обострением общественных противоречий, ведущих к революционной ситуации 1848 года, в творчестве Григорьева наступает серьезный кризис: обнаруживается несоединимость разных внутренних тенденций его творчества. Элементы этого кризиса наличествуют уже в книге «Стихотворения». Наряду с общей противоречивостью его творчества, у Ап. Григорьева на протяжении всего пути есть и некоторые устойчивые идейные влечения и отталкивания — таково его стремление противопоставить существующим идейно-политическим направлениям некую «третью», «срединную» позицию. Такая идея отчетливо проявляется в «Двух эгоизмах». Вместе с тем характерной для Григорьева иллюзией является идея чистой «национальной самобытности», толкающая его к славянофильству. В первой половине 50-х годов Григорьев готов был относить себя и своих ближайших друзей по молодой редакции «Москвитянина» к «младшему поколению» славянофилов. Однако со «старшими славянофилами» Григорьев всегда одновременно полемизирует, и линии, по которым идет эта полемика, тоже очень устойчивы. На этой негативной, отрицающей какие-то элементы в славянофильстве, программе необходимо остановиться именно сейчас, потому что без этого непонятна и суть художественных устремлений Григорьева 40-х годов, и творческий кризис, происшедший с ним во второй половине этого десятилетия.

Свои разногласия со «старшими славянофилами» Григорьев наиболее отчетливо выразил в письме от 25 марта 1856 года к А. И. Кошелеву, одному из видных деятелей славянофильского направления, в связи с предложением Кошелева о сотрудничестве в журнале «Русская беседа». Григорьев пишет здесь следующее: «Вы хотите, восстановляя «Москвитянин», сохранить один из оттенков нашего общего направления, — оттенок, заметьте, несколько отличный от Вашего, от старшего славянофильства. Главным образом мы расходимся с Вами во взгляде на искусство, которое для Вас имеет значение только служебное, для нас совершенно самостоятельное, если хотите — даже высшее, чем наука. Когда я говорю, что *главным образом* мы в этом расходимся, то говорю не совсем точно, — надо бы сказать: единственно в этом. . .» [1]

Речь идет здесь не только о том, что старшие славянофилы преувеличивают общественно-служебную роль искусства, а младшее поколение, к которому причисляет себя Григорьев, склонно настаивать на большей свободе искусства от общественных вопросов. Спор шел не об оттенках, а о вещах гораздо более существенных,

---

[1] Материалы для биографии, стр. 150.

если учитывать наличие проблем, тесно связанных с вопросами о взаимоотношениях искусства и общества, которые не раскрываются, как заведомо известные собеседникам. Среди славянофильских теоретиков Григорьев особенно пристально следил за деятельностью А. С. Хомякова — пожалуй, так же внимательно, как за деятельностью Герцена в другом, противоположном лагере. Скорее всего точка зрения Хомякова на затронутые проблемы и имеется в виду.

Хомяков ставит вопрос так: может ли быть отдельная человеческая личность вообще предметом изображения в искусстве? Ответ его на этот вопрос категоричен: нет, не может. Все западное развитие, по Хомякову, есть развитие личности, личной свободы, и поэтому все западное развитие — ложь и гниль, оно органически приводит к раздробленным, разъединенным личностям и не может быть почвой для подлинного искусства. В статье «По поводу Гумбольдта» (1849) Хомяков писал: «Отдельная личность есть совершенное бессилие и внутренний непримиренный разлад. Она до такой степени неспособна быть началом или источником художества, что всякое ее проявление уже расстраивает или искажает художественное произведение, в котором она выступает не иначе, как разве покоряющаяся общему закону или страдающая от его нарушения».[1] «Разлад», «бессилие», нарушение целостности общественного организма, по Хомякову, — это синонимы революции. Цитированная статья навеяна событиями европейской революции 1848 года.

Следовательно, когда Ап. Григорьев говорит, что его самого и его единомышленников отличает от старших славянофилов иная трактовка искусства, он имеет в виду и разное понимание путей общественного развития России. Но важен здесь и вопрос об объекте искусства, его предмете, о возможностях искусства в современности. Согласно Хомякову, искусство не может строиться на изображении личности. У Григорьева — и в его теоретических воззрениях, и в его художественной практике — современная, «эгоистическая» личность является главным объектом искусства. Таким образом, вопрос о большей свободе в трактовке роли личности в искусстве важен и в этом плане.

По Хомякову, источником искусства может быть только община, в которой существует единство субъекта (личности) и объекта (общества). Этот синтез личности и общества дает религия, в первую очередь православная; высшее искусство — это искусство религиозное, играющее служебную роль в православной общине. Поэтому и

[1] Полн. собр. соч., т. 1. М., 1911, стр. 161.

в конкретных оценках произведений искусства Хомяков подчеркивает служебную роль искусства.[1] По поводу подобного рода утверждений Ап. Григорьев писал позднее, что «мысль об уничтожении личности общностью в нашей русской душе есть именно слабая сторона славянофильства»[2] и что славянофильство — это «сухой, резкий, теоретический пуританизм».[3] Именно против этих положений, в сущности, и возражает Григорьев в своем письме к Кошелеву, отводя искусству значительную роль в современности.

Сущность его утверждений — что в современности возможно искусство, и искусство это опирается на современную личность. Практически Григорьев не приемлет в построениях славянофилов главного — их учения о личности и об общине. Известно, какую роль играл вопрос о правовом положении личности в русской истории в спорах между западниками (либералами) и славянофилами. Споры эти фактически были спорами не о прошлом, а о дальнейших путях развития России и о современном общественном устройстве, и в этих спорах Григорьев отнюдь не на стороне славянофилов.

Характерно, что в том же письме к Кошелеву он указывает и на другие свои отличия от славянофилов, и отличия эти опять-таки оказываются социальными. В противовес реакционной утопии общины как якобы единственного подлинного объекта для искусства, Григорьев указывает, что в современном обществе есть социальные слои, изображение которых может быть источником подлинного искусства. Григорьев утверждает, что он вполне согласен со славянофилами «в учении о самостоятельности развития», но подчеркивает, что отстаиваемая им самобытность национального развития сохранилась больше всего «в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу» и что именно в этих буржуазных кругах он видит «старую, извечную Русь, с ее дурным и хорошим, с ее самобытностью и, пожалуй, с ее подражательностью».[4] Таким образом, спор идет, по существу, не просто об оттенках в понимании искусства, а о чем-то весьма существенном: о проблемах социаль-

---

[1] См., например, показательные в этом плане оценки Хомяковым «Ивана Сусанина» М. И. Глинки и картины А. А. Иванова «Явление Мессии» — произведений, воплотивших, по его мысли, общинно-русский взгляд на мир (А. С. Хомяков. Полн. собр. соч., т. 3. М., 1914, стр. 99—100, 352—354).

[2] Письмо к А. Н. Майкову от 9 января 1858 г. Материалы для биографии, стр. 215.

[3] Письмо к Е. Н. Эдельсону от 13 ноября 1857 г. Там же, стр. 185.

[4] Там же, стр. 151.

ных, общественных в связи с оценкой роли буржуазной личности в современном мире.

Выше говорилось о том, что подобные стремления — найти некую среднюю линию между борющимися направлениями современной литературы и общественной мысли — восходят у Григорьева еще к 40-м годам. Особенно отчетливо выявляются они во время кризиса в его мышлении и творчестве, относящемся ко второй половине 40-х годов. Свидетельством этого кризиса и одновременно любопытным комментарием к общим взаимоотношениям Григорьева со славянофилами могут служить его письма к Гоголю от октября — декабря 1848 года.

Ап. Григорьев утверждает в этих письмах, что главной причиной недостатков современного искусства является «отрицание высшего двигателя человеческой деятельности — свободы и сопряженной с нею ответственности».[1] Проблему свободы Григорьев ставит идеалистически, в духе идей немецкой философии Канта и Шеллинга. Однако и в таком понимании свободы он весьма далек от Хомякова. Ведь именно им свобода человеческой личности рассматривалась как главная причина общественной смуты и невозможности искусства в гнилом западном мире. По Григорьеву, недостатки современного искусства и на Западе, и в России объясняются не тем, что оно опирается на свободную человеческую личность, а как раз обратными причинами — неполным, неглубоким изображением свободной личности, недооценкой ее возможностей.

Современная личность — страдающая, неполноценная, раздробленная личность; именно таковой ее изображает литература, и она совершенно права. Силу современной литературы Григорьев видит в том, в чем видел ее слабость Хомяков. И в России, и на Западе литература протестует против нездоровых социальных условий существования личности — такова тема Лермонтова, Герцена, Жорж Занд. Такое направление литературы, критическое, протестующее, — правомерно. Иным современное искусство не может и не должно быть: «В основе своего протеста литература и мышление современное правы»,[2] — пишет Григорьев. Он много и горячо пишет о романах Жорж Санд и в особенности о романе Герцена «Кто виноват?» Григорьев обосновывает необходимость и закономерность социальной темы, критики, социального протеста и в связи с изображением личности и личных отношений. Герцен и Жорж Занд правы, рисуя глубоко болезненный, ненормальный характер человеческих отно-

---

[1] Материалы для биографии, стр. 114.
[2] Там же, стр. 117.

шений, например распад семейных связей, ибо, в самом деле, в современном мире «людским эгоизмом осквернены самые святые отношения мужчины и женщины».[1]

Однако, оправдывая социальную тему в современном искусстве, изображение им социального драматизма личности, Григорьев вместе с тем полемизирует с тем, как решает литература эту верно ею поставленную проблему. Решение это, по мысли Ап. Григорьева, одностороннe. Ошибка современной литературы состоит в том, что причину драматизма современной личности она видит только в воздействии на нее среды, обстоятельств, социальных условий. Ап. Григорьев особенно горячо возражает Герцену, истолковывая при этом односторонне, упрощенно идейные задания Герцена. Драму Круциферских, пишет Григорьев, Герцен толкует так, что виноваты в их беде только обстоятельства, разрушительное воздействие среды — «виноваты не мы, а та ложь, сетями которой опутаны мы с самого детства».[2] Сам Григорьев предлагает совершенно иное решение темы социального драматизма личности. Виновата не только среда; дело еще и в противоречивости самой «эгоистической личности». Преодолеть эту противоречивость, болезненность современной личности нельзя внешними средствами. Личность права в своих притязаниях. Прав литератор, изображая ее притязания. Но осуществить эти притязания можно только самовоспитанием личности. Отсюда у Григорьева обращение к Гоголю, отсюда неправомерные аналогии между «Кто виноват?» и «Выбранными местами из переписки с друзьями». Внутреннее совершенствование личности — вот что наивно предлагает он в качестве решения социальной темы.

Поэтому Григорьев полемизирует здесь не только со славянофилами. Он полемизирует — по-своему, неверно истолковывая их позиции — и с Герценом, и с Лермонтовым. Решение социальных тем, по его мнению, не может быть социальным. Для Герцена отношения Круциферских могут быть изменены только вместе с общим изменением всех социальных отношений современности, то есть в процессе революционного преобразования общества. Григорьев, враждебно относящийся к идее революции, с этим несогласен.

Суть позиции Григорьева, при всех его колебаниях, состоит в том, что он отрицает необходимость и возможность революционного изменения общества. Именно в этом кроется причина его расхождений с линией Герцена и Лермонтова в литературе, отчетливо им понимае-

[1] Материалы для биографии, стр. 117.
[2] Там же, стр. 114.

мая; в этом общая причина противоречивости его позиции, в этом же заключена и причина его сближения со славянофилами.

Только на фоне этих сложных взаимоотношений Григорьева с современными ему общественными и литературными течениями становятся понятными основные идеи и темы его книги «Стихотворения». Может показаться на первый взгляд, что «Стихотворения» представляют собой сборник относительно мало связанных между собой произведений. Уже А. А. Блок высказал предположение, что в книге есть своеобразное внутреннее единство, и это верно. Книга делится на два раздела: «Гимны» и «Разные стихотворения». Сама группировка стихов по этим разделам имеет смысловое значение. Первый раздел носит характер некоей философской декларации, второй раздел эту декларацию обосновывает. Реальное идейное и художественное значение имеет как раз этот второй раздел.

Открывается он первым стихотворением «Город» («Да, я люблю его, громадный, гордый град...»). Несмотря на то что тема социальных контрастов Петербурга дана здесь в виде несколько внешнего противопоставления двух обликов города, тем не менее ясно, сколь значимой для книги является прямая, «лобовая» постановка социальной проблематики. Это подступ к теме внутреннего драматизма личности, теме, представляющей собою как бы идейное ядро, основу всего «сюжетного» построения сборника. Стихотворение «Город» как бы вводит читателя в атмосферу книги: вот где и при каких обстоятельствах происходит внутренняя драма. Социальное обоснование психологической темы книги — вот смысл помещения «Города» в самом начале важнейшего раздела книги. Характерно, что Белинский снова назвал это стихотворение прекрасным в своей рецензии на книгу Григорьева и целиком процитировал его. Однако, отмечая в этой вещи «своего рода поэтическое обаяние» (IX, 595), Белинский в то же время настаивал на том, что и здесь «поражает» читателя «болезненно настроенный ум» автора. Очевидно, Белинский находил необходимым подчеркнуть, что сам характер решения социальной темы Григорьевым не вполне совпадает с собственными воззрениями Белинского на способы решения общественных тем в «дельной поэзии».

Замечательно еще и то обстоятельство, что Белинский, наряду с этим стихотворением, особо останавливается на стихотворении чисто лирической любовной темы «Нет, не тебе идти со мной...» В этом стихотворении развивается обычная для любовно-лирической тематики Григорьева тема «борьбы» любящих, знакомая нам уже по драме «Два эгоизма». Любовная тема, решаемая здесь, как всегда у Ап. Григорьева, в виде «борьбы» двух «эгоистов», в этом

стихотворении прямо и откровенно истолковывается в социальном плане, психологическая разность борющихся трактуется как разность общественной позиции героев, разность их отношения к установившимся людским обычаям и мнениям:

Но дорог суд тебе людской,
И мненье дорого рабов,
Не ненавидишь ты оков, —
Мой путь иной, мой путь не твой.

Ставя эти два стихотворения рядом, Белинский считал вполне закономерным для «дельной поэзии» психологическое раскрытие социальной темы и не в психологизме самом по себе, очевидно, видел истоки «болезненного» настроения автора.

Однако в сборнике Ап. Григорьева непосредственно за стихотворением «Город» следует стихотворение «Героям нашего времени», которое совершенно особым образом поворачивает тему первого стихотворения. Стилистически оно явно связано с традициями лермонтовской «Думы», но патетически-гражданственная интонация разоблачения бессмысленности и бесцельности существования духовно опустошенного поколения подчинена совершенно иным, чем у Лермонтова, идейным заданиям. Стихотворение резко делится на две половины. По поводу первой, разоблачительной, Белинский заявил, что здесь «смысл виден», хотя более определительно о самом этом смысле ничего не сказал; программное значение стихотворения было ясно Белинскому, что следует хотя бы из того факта, что эпиграф к нему — «Негодование рождает стих» — он посоветовал поэту обдумать, «сознать значение» его. Мысль тут, очевидно, такова, что пафос разоблачения направлен не по настоящему адресу. Гнев поэта обращен к «чернильных жарких битв копеечным бойцам», пребывающим в «скотском бесстрастии» и в «шатком безверьи»; смысл инвективы, как видно, тот, что главной опустошающей чертой поколения объявлена журнально-теоретическая борьба мнений, политическая борьба, протекающая в формах столкновения идейных концепций. Во второй половине стихотворения этой части поколения противопоставлена другая часть, сумевшая постигнуть «в недвижных чертах» египетских сфинксов «жизни страшных тайн»; современным витиям, резонерам, журнальным бойцам Григорьев противопоставляет прямое, непосредственное, интуитивно-художественное осмысление жизни (как раз по поводу второй половины стихотворения Белинский и выражает особое недоумение). В концовке стихотворения поэт утверждает,

что если «копеечные бойцы чернильных битв» сумели бы взглянуть в лицо сфинксов, то они

...нечистыми руками
С подножий совлекли б, чтоб уравнять их с вами
В демагогическую грязь!

Смысл стихотворения — в отрицании сколько-нибудь серьезного значения политической борьбы. Письма Григорьева к Гоголю могут быть комментарием к этому программному стихотворению. Оно не случайно соседствует со стихотворением «Город», только в совокупности обеих вещей понятна общая концепция книги. Согласно Григорьеву, современный поэт должен быть поэтом социальной темы. Та линия современного искусства, которая ставит социальные проблемы — проблемы распада связей в современном обществе, опустошения личности, развала семьи, социального неравенства (Герцен, Лермонтов, Жорж Санд), — права в постановке проблем, но не права, призывая к социальному же их решению: это порождает «шаткое безверье», то есть возможность революционного изменения жизни. Согласно Григорьеву, реальное решение проблем заключено в изменении, воспитании самой личности. Отсюда — призыв к постижению «страшных тайн жизни», которое важнее, существеннее, чем «журнальные битвы». Образ сфинксов и воплощает эти сложные проблемы жизни, которые можно только запутать, извратить, подходя к ним с мерками «демагогов».

Белинский осудил такой подход Григорьева к социальным проблемам, заявив, что вторая половина стихотворения непонятна. Рядом с этим стихотворением он целиком привел стихотворение «Доброй ночи», где внутренняя противоречивость современной души трактуется как результат борьбы добра и зла, борьбы «лихорадок-лихоманок» с небесным сторожем — ангелом-хранителем; тема стихотворения — та же тема сфинксов. Далее Белинский взял под сомнение самые поэтические возможности Григорьева именно на материале этих двух стихотворений и посоветовал ему «сознать значение и характер своего таланта» (IX, 597) и обдумать смысл латинского изречения: «Негодование рождает стих». Общая сложность эволюции взглядов Белинского на поэзию Григорьева заключается в том, что в рецензии на сборник и в дальнейшем, в обзоре литературы за 1846 год, дается несравненно более глубокая и сложная характеристика как положительных сторон этой поэзии, так и ее недостатков, чем в обзоре 1845 года. Вместе с тем явственно меняются оценочные акценты. Оценка недостатков становится резче — очевидно, потому, что

Белинский усматривает в эволюции поэта движение в сторону от социально насыщенной «дельной поэзии». Стихотворение «Героям нашего времени» поясняет значение фигур Баскакова, Мертвилова и Петушевского в «Двух эгоизмах». Славянофилы, гегельянцы и Петрашевский поставлены на одну доску, очевидно, как «теоретики», деятельность которых одинаково пуста и бесплодна, вне зависимости от конкретного содержания их теорий, просто потому, что они все — «чернильных жарких битв копеечные бойцы». В одновременном признании закономерности и даже необходимости постановки социальных проблем в искусстве и отрицании возможности их решения общественным путем есть, разумеется, глубокое внутреннее противоречие. Оно присуще мировоззрению и методу Григорьева, стремящегося найти «среднюю линию» между западниками и славянофилами, между «дельной поэзией» и поэтическими традициями романтизма.

На скрещении этих двух противоречивых тенденций появляется в ранней поэзии Григорьева центральная ее лирическая тема — тема кометы. Характерно, что в сборнике вслед за стихотворениями «Город» и «Героям нашего времени» идет «Комета». Дата под ним — 1843, хотя предшествующие датированы 1845 годом, следовательно идейная значимость его подчеркнута композиционно.

«Комета» относится к лучшим образцам лирики Григорьева, к тем стихам, благодаря которым его имя сохранилось в истории нашей поэзии. В этом стихотворении прямой смысл явным образом не совпадает с тем глубоким философским подтекстом, который и создает подлинное поэтическое обаяние вещи. Сюжетно здесь рассказано как будто бы только о полете падучей звезды, но рассказано об этом странным образом. О падучей звезде говорится, как о живом существе. Полет кометы явным образом сопоставлен со сложными внутренними движениями человеческой души, со сложными поворотами реальной человеческой судьбы:

Недосозда́нная, вся полная раздора,
Невзнузданных стихий неистового спора,
Горя еще сама и на пути своем
Грозя иным звездам стремленьем и огнем,
Что нужды ей тогда до общего смущенья,
До разрушения гармонии?..

Конечно, в стихотворении речь идет о личности современного человека, о его сложном жизненном пути. Комета — образ неустанного, непреодолимого стремления человеческой личности к жизненной полноте, к наибольшей интенсивности, яркости, кра-

сочности индивидуального переживания жизни. Этой личности нет дела до виновников сковывающих ее внешних установлений, внешних норм существования; она должна, повинуясь непреодолимому внутреннему импульсу, «путем борьбы и испытанья» совершить «цель очищения и цель самосозданья». Внешняя, кажущаяся гармония общественных отношений может быть нарушена ради «самосоздания», самовоспитания личности. Тема стихотворения, при всей философско-романтической условности образа, прочитывается в прямых связях с общими идейными исканиями Григорьева. Речь идет об «эгоистической» личности и ее изнутри пересоздаваемых общественных связях.[1]

Такая трактовка чисто лирической, интимно-романтической образной структуры стихотворения может показаться произвольной. Однако именно такое истолкование теме кометы давал сам Григорьев. Тему кометы, не впервые в русской поэзии у него появившуюся, Григорьев характеризовал в письмах к Гоголю как социальную, общественную тему. Говоря о развале современной семьи, о проникновении опустошающего эгоизма и расчета в чисто личные отношения, о закономерности в связи с этим «протеста в пользу женщин» в современной литературе — у Герцена в «Кто виноват?», в романах Жорж Санд, в стихах Лермонтова, — Григорьев завершал эти долгие рассуждения о современной жизни общества и искусства так: «Еще покойный Пушкин намекнул на идеал современной женщины, «кометы в кругу расчисленных светил»; но никто так не обыдеализировал ее, как Лермонтов».[2] Следовательно, пушкинская тема «кометы» соединена здесь с темами современной литературы, истолковывается как одно из выражений «протеста в пользу женщин», как социальная тема, если угодно — как тема «женской эмансипации», ибо во всем рассуждении говорится и о «поборниках патриархального быта», и о «фурьеристах», и т. д.

Сам Ап. Григорьев, как видим, прямо возводит тему «кометы» к пушкинской традиции, давая что-то вроде комментария к собственному творчеству. Цитируемое стихотворение «Портрет» входит в небольшой ряд поэтических и прозаических произведений Пушкина, связанных с образом А. Ф. Закревской («Портрет», «Наперсник», «Счастлив, кто избран своенравно...», «Когда твои младые лета...», прозаические отрывки «Гости съезжались на

[1] Автор комментария к настоящему изданию, Б. О. Костелянец, сопоставляя натурфилософскую идею стихотворения с космогонией Фурье, приходит к аналогичному выводу, см. примечания, стр. 524—527.

[2] Материалы для биографии, стр. 119.

дачу. . .» и «На углу маленькой площади. . .»). Во всех этих произведениях разрабатываются разные варианты одного образа-характера — «беззаконной кометы», с которым генетически, очевидно, действительно связан центральный образ ранней лирики Григорьева.

Но вопросы литературного генезиса не могут быть сведены к простому заимствованию: важнее всего здесь качественное своеобразие, приобретаемое образом в его новом историческом существовании. Первое из пушкинских произведений этого ряда не случайно названо «Портрет». Это — маленькая лирическая новелла. В ней рисуется своеобразное психологически парадоксальное явление — эксцентрический женский характер. Пушкинская комета, так же как и комета Григорьева, «мимо всех условий света стремится до потери сил», ее поведение противостоит «кругу расчисленных светил», то есть обычной, традиционной жизни. «Стихийность» здесь — явление особенное, редкостное, необычное; героиня пушкинского стихотворения — существо незаурядное, но странное, не типовое. Рисуется частный случай, характер подчеркнуто единичный. Поэтому-то и получается лирическая новелла. Читатель не может слить «себя», свою «героиню» с тем, о чем говорится в стихотворении, как это обычно для восприятия лирики. Он смотрит на героев со стороны, смотрит на чей-то «портрет».

Эта необычность, парадоксальность подчеркнута в последующих вещах образом «наперсника» (в прозаических отрывках — образом Минского). «Лирический герой» со стороны наблюдает за героиней и поражается ее характером. Пушкин настаивает на том, что восприятие мира героем и героиней различно, поэтому герой — «наперсник», но не участник событий; если же его вовлекут в события, то возникнет драматизм столкновения разных характеров, — такой поворот сюжета испробован в прозаическом отрывке «На углу маленькой площади. . .» В стихах же «наперсник» обращается к «комете» так:

Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты!

В трактовке этой темы у Григорьева прежде всего бросается в глаза, что исчезает образ «наперсника», героя, глядящего на «комету» со стороны и пораженного причудливостью ее жизненного пути. «Наперсник» сам уподобился «комете», у него такой же «стихийный» характер, как и у нее. Появляется образ мужчины-кометы. Так повернута тема в стихотворении «Над тобою мне тайная сила

дана...», тоже относящемся к лучшим стихотворениям Григорьева-лирика. Лирическому герою дана «тайная сила» над сознанием героини потому, что он уподоблен «падучей звезде», он — «преданье», но и про героиню сказано: «сама ты преданий полна». «Преданье» здесь — тот же образ «сфинкса» из стихотворений «Героям нашего времени». Герой и героиня подчинены одному и тому же закону, они оба — «стихийны».

Сюжет стихотворения — уже не парадоксальный случай, эксцентрика, частное явление. Иначе говоря, изменен лирический субъект, лирическое «я», для того чтобы «стихийность» предстала как своего рода типичность, чтобы сама «стихийность» стала выражением типического характера современных личных отношений. Еще более откровенно этим смыслом наполнено стихотворение «К Лавинии»:

Для себя мы не просим покоя,
И не ждем ничего от судьбы,
И к небесному своду мы двое
Не пошлем бесполезной мольбы...

В пределах одного стихотворения как бы сосуществуют два лирических «я». Как и у Пушкина, исключена возможность слить это лирическое «я» с восприятием читателя, но исключена совершенно иным способом, чем там. Там это исключалось новеллистичностью сюжета, необычностью лирического характера. Здесь — характер обычен, потому что сдвоен, но он не может быть отождествлен с восприятием читателя именно потому, что тут не «я», а «мы»; при этом «мы» — не простая замена «я», ибо эти два «я» находятся в состоянии борьбы. Лирический субъект изменен, объективирован не новеллистичностью, а психологическим драматизмом.[1]

Отсюда у Григорьева рождается иллюзия, что у него в руках сюжет и характер драмы. «Два эгоизма» — попытка рассказать лирический сюжет «К Лавинии» в драматической форме. Из этой попытки ничего не получается, потому что найденное им новое художественное качество — отнюдь не качество героя драмы, а именно лирического субъекта, лирического «я» и определено процессами, происходящими в области поэзии, в области лирики, а не драма-

[1] Такой тип лирического «я», в ином общефилософском и социальном осмыслении, намечается также в поэзии Огарева. Возможно, что этот новый «объективный» лирический герой как-то связан с ироническим переосмыслением лирического субъекта в поэзии Гейне (ср. стихотворение «Встреча» и переводы Огарева из Гейне).

тургии. Общий смысл этого нового лирического образования вполне соответствует идеям Григорьева, о которых шла речь выше. Тема «кометы» — тема социальная, тема современных личных отношений. Но, согласно Григорьеву, эти вопросы могут быть решены только внутренним путем, путем изменения самой личности, поэтому «комета» в своем разрушительном, стихийном движении ставит себе «цель очищения и цель самосозданья». Наиболее глубокие вопросы личных отношений социальны, но социальным путем решены быть не могут. Подлинное их решение заключено в индивидуальной, личной борьбе, в самосоздании личности.

Ап. Григорьев ставит себе новаторские задачи в области стиха. Он пытается — в связи с новым ощущением лирического «я» — применить в русском стихе, в противовес канонической силлабо-тонической системе, «дольник», но характерно, что рискует применять тонический стих только в переводах.[1] Однако реальное новаторство Григорьева проявилось не в области формы, а в новом решении проблемы лирического героя.

Конкретизированный лирический субъект, появляющийся в связи с решением сложной философской темы — темы «кометы», был явлением для русской лирики того времени необычным. Вместе с тем в лирическом стихотворении, пространственно необычайно сжатом, изменение какого-то одного из важных компонентов общего построения придает особый тип выразительности и всему стихотворению. Стихи Григорьева о комете сохраняют свое художественное значение по сей день и не проходят бесследно в общем развитии русской поэзии как раз потому, что здесь найдены и новые способы выразительности, соответствующие идейным заданиям поэта.

Явственные связи Ап. Григорьева с современниками и предшественниками тоже объясняются не просто общностью формальных заданий, но в первую очередь общностью идейных, смысловых поисков. Напрашивается сопоставление григорьевской темы кометы с тютчевской темой хаоса. Тип лирического сознания, разрабатываемого Григорьевым, близок к тем «стихийным», «хаотическим» движениям души, которые рисуются в поэзии Тютчева. Стихи Пушкина, посвященные Закревской, относятся к концу 20-х годов, к этому же времени складывается в поэзии Тютчева тема хаоса, проходящая через все его творчество. Когда речь идет о «беззаконной комете» Пушкина, то ясно, что Григорьев сознательно ориен-

[1] Эта экспериментальная работа Ап. Григорьева-переводчика отмечена в книге В. М. Жирмунского «Введение в метрику». Л., 1925, стр. 280.

тировался на продолжение традиции. Едва ли эта сознательная ориентация на старшего поэта могла иметь место в случае с Тютчевым. Когда Григорьев в начале 40-х годов создавал свои стихи о противоречивой индивидуалистической любви современного человека, Тютчев был «забытым поэтом», заново открытым Некрасовым уже в начале 50-х годов. Здесь надо говорить не о прямой преемственности, а об общности поисков, вытекающей из процессов развития лирической поэзии.

Если оставаться в пределах логики внутренних объективных литературных отношений, то Григорьев продолжает тему Тютчева и в решении ее несравненно ближе к нему, чем к Пушкину. Уже для Тютчева тема хаоса не есть тема случайности, необычности индивидуального характера, психологической эксцентрики. Хаотическое сознание у Тютчева — не частный случай, не единичный болезненно искривленный характер, а нечто универсальное, всеобщее. Та новеллистичность, неповторимость сюжета, которую подчеркивает Пушкин, ни в какой степени не свойственна тютчевским стихам о хаосе; характер широкого философского обобщения теме хаотического сознания, теме кометы придал именно Тютчев. Но в тютчевском образе хаоса важнее всего его многозначность, многосмысленность. Стихи Тютчева о хаосе нельзя читать как психологические новеллы, но их нельзя читать также и как рассказ только о конкретной любовной борьбе или о каких-либо иных единичных вариантах жизненной борьбы — даже в тех случаях, когда как будто бы прямо сказано, что речь идет о взаимоотношениях любящих, о фонтане-водомете или сполохах зарниц. Попытка конкретизации, однозначного прочтения приведет к тому, что емкая, многозначная, богатая смыслом эмоциональная картина превратится в плоскую аллегорию с бедным морализаторским выводом.

В тех случаях, когда сам Тютчев пытается прямо «раскрыть адреса», прямо и точно раскрыть многоплановый образ — а это случается с ним чаще всего в политической лирике, в стихах на «конкретный случай», — он терпит поражение как поэт. Огромная художественная сила тютчевских стихов о хаосе заключена как раз в их эмоциональной нерасчлененности, в том, что образ хаоса может быть прочитан в многих «соответствиях» — и как образ стихийных катаклизмов природы, и как образ разрушительных общественных переворотов, и как образ темных бездн человеческого сознания. Именно отсюда вытекает своеобразная торжественная риторика стихов Тютчева, их подчеркнутая архаичность: речь идет сразу и о природе, и об истории, и об отдельном человеке.

Пушкинской теме кометы Тютчев придает обобщенно-философский характер, он одновременно и расширяет ее рамки, и сужает их. Частный случай превращен в общее явление, но это общее явление имеет характер эмоционально-романтического символа, схематизирующего действительность. Лирический характер стал интенсивнее, но беднее по своей жизненной конкретности. Дальнейшие потребности поэтического развития заключались, очевидно, в том, что надо было заново, на широкой философской основе раскрыть жизненный, конкретный социальный и индивидуальный характер тех проблем, которые стояли за темой хаоса в лирике Тютчева. И с этой точки зрения чрезвычайно любопытен следующий факт, на который указывает исследователь русского романтизма Л. Я. Гинзбург: в момент шумного успеха Бенедиктова — в середине 30-х годов — в московских философских кругах, из которых потом развилось славянофильство, возлагались на этого поэта особые надежды, как на представителя философской лирики.[1] Такое неожиданное восприятие поэзии Бенедиктова едва ли может быть сочтено простым недоразумением. Дело в том, что Бенедиктов попытался сложные философские проблемы, которые входили в круг внимания русских читателей второй половины 30-х годов, разрешить через проблемы быта, индивидуальной психологии. Бенедиктов с художественной конкретизацией этих проблем не справился, и не справился потому, что решал он их грубо, вульгарно, опираясь на вкусы и потребности довольно широких кругов мещанства николаевской эпохи. Причины внутренней пустоты и эфемерности шумной славы поэзии Бенедиктова были исчерпывающе раскрыты Белинским.

Тем не менее эта не оправдавшая возлагавшихся на нее надежд поэзия пользовалась огромным успехом и в широком читательском кругу, и среди формировавшейся художественной молодежи. Фет вспоминает, как он и Григорьев «с упоением завывали» стихи Бенедиктова.[2] Очевидно, дело было в том, что Бенедиктов пытался ставить какие-то подсказанные реальным общественным движением поэтические задачи. Для того чтобы понять, почему Григорьев «с упоением завывал» стихи Бенедиктова, стоит остановиться на стихотворении «Вальс», появившемся в 1840 году. Описывается в этом стихотворении обычный бал в мещанско-чиновничьем кругу, притом описывается приемами, чрезвычайно характерными для поэзии Бенедиктова. С обычной для него трескучей возвышен-

---

[1] Л. Я. Гинзбург. Бенедиктов. — В. Г. Бенедиктов. Стихотворения. Л., 1939, стр. XXV—XXX.

[2] Ранние годы моей жизни. М., 1893, стр. 153.

ностью интонации повествуется о различных вещах, «сопряжены» разные для обычного поэтического изображения объекты. Глаза и цветы соседствуют с эполетами и люстрами. Есть стремление обычному заурядному событию, не теряющему ничего в своих бытовых качествах, придать некий высокий смысл. Стремление «вдвинуть» философию в быт реализуется в лирическом сюжете. В описании бала Бенедиктов выделяет танцующую пару:

Вот осталась только пара,
Лишь *она* и *он*. На ней
Тонкий газ — белее пара;
Он — весь облака черней.
Гений тьмы и дух эдема,
Мнится, реют в облаках,
И Коперника система
Торжествует в их глазах.

Перед нами, конечно, не просто танцующая пара. Это лермонтовские Демон и Тамара появились на петербургском чиновничье-мещанском бале. Существеннее всего для Бенедиктова именно то, что демон и ангел одеты во вполне обычные фрак и платье: отказ от экзотической обстановки при одновременном возвышении самых обычных вещей; важнее всего, по выражению Л. Я. Гинзбург, «столкнуть гостиную с мирозданием». Но ведь и мироздание дается здесь столь же «прозаично» и одновременно высоко: мироздание тут — «Коперника система». Конечно, тут речь идет о борьбе добра и зла в душе современного человека, о сложном характере личных, любовных отношений в новую эпоху. Можно сказать так, что поэт стремится серьезную, большую философскую тему (разумеется, как он ее понимает) связать с конкретными бытовыми обстоятельствами, с реальной жизненной обстановкой.

Бенедиктов своим решением дискредитирует тему, но сама тема этим не снимается, она должна была найти иное воплощение, иное решение. Ап. Григорьев в своих стихах, в сущности, пытается по-своему решать эту же проблему. Он тоже отказывается от тютчевской многосмысленности, многозначности, конкретизирует образ. Но он идет совсем иным путем. Читая его стихи о комете, вы не можете отнести изображаемое им ни к большим явлениям истории, ни к грандиозным катаклизмам природы. Вы знаете, что речь идет о конкретных людях, и только о них. Вместе с тем изображение конкретных человеческих отношений дано обобщенно-философски. Памятуя о печальном опыте Бенедиктова, он избегает чрезмерной

бытовой конкретизации философской темы. Быт, конкретность появляются у него только в прозаизме интонации, смахивающем иногда на журнально-фельетонный стиль, в деталях обстановки.[1] Важнее всего то, что он избегает резкого стилистического столкновения разных планов. По существу, он не конкретизирует даже пейзаж. Блок восхищался строчкой из стихотворения «К Лавинии»: «Чтобы тополей старых качанье»; но эта действительно замечательная строчка — явление единичное. Основное средство конкретизации у Григорьева — изменение лирического субъекта, его драматизация и психологизация. Вдвинув в узкое пространство лирического стихотворения второе «я», он не добился, да и не добивался того, чтобы здесь присутствовал второй характер во всей его полноте. Он добился только того, что «демон» стал конкретным земным лицом — «эгоистом». Это было новым оттенком качества лирического субъекта и самой лирики в ее движении к «дельной поэзии». Но этот новый оттенок у Григорьева был куплен ценой отказа от больших общественных устремлений страдающей личности, и поэтому так настороженно отнесся к нему Белинский, — ведь Белинский отвергал даже несравненно более художественно-весомую «конкретизацию» и «прозаизацию» философской темы в «Сумерках» Баратынского (1842).

Таким образом, сильные стороны ранней поэзии Григорьева состоят в выдвижении типа «лирического героя», который в какой-то степени представляет, если пользоваться словами самого Григорьева, «общество, живущее своими, какими бы то ни было, но дельными интересами, общество, насквозь проникнутое прозаизмом»,[2] и вместе с тем героя, проникнутого идеями о «высоком значении обыкновенной повседневной жизни».[3]

Книга Григорьева открывается разделом «Гимны», имеющим характер философской декларации, смысл этой декларации становится ясным только на основе анализа последующего раздела — «Разные стихотворения». «Гимны» были встречены насмешками и недоумением современников, откликнувшихся на выход сборника. Даже рецензент дружественно настроенного к автору «Финского вестника», чрезвычайно высоко оценивший реальные поэтические достижения Григорьева — «Комету» и «К Лавинии» («Для себя

[1] Само собой разумеется, здесь речь идет только о роли бытовых деталей в общей концепции стихотворения. Таких деталей может быть относительно много. Ср. «Две судьбы», «Зимний вечер» и т. д.

[2] «Театральная летопись», 1845, № 4, стр. 38.

[3] Там же, № 7, стр. 74.

мы не просим покоя...») и вообще отчетливо сформулировавший *социальный* характер художественных устремлений Григорьева («достоинство его стихов в том искреннем негодовании, которое топором рубит преступную современную жизнь»), — даже этот, явно близкий к автору рецензент в связи с «Гимнами» говорит о «пустом и ложном мистицизме, который так же не пристал к нему, как к французу двенадцатого года риза русского попа».[1] Некоторые факты творческой биографии Григорьева свидетельствуют о возможной его принадлежности к масонам; в этой связи делались предположения о том, что «Гимны» представляют собой масонские песнопения.[2] Б. Я. Бухштабу в превосходном исследовании, специально посвященном «Гимнам», удалось доказать, что большая часть стихотворений этого цикла действительно является переводами песен, предназначенных для исполнения в масонских ложах.[3]

Доказанный Б. Я. Бухштабом факт переводного характера «Гимнов» не снимает вопроса об их роли и значении в общем идейном построении сборника Григорьева — напротив, именно этот факт с новой силой подчеркивает особое смысловое значение раздела, открывающего книгу. Почему надо было открывать книгу переводами, да еще столь специфического характера? Александр Блок, несколько преувеличивший художественную весомость этого цикла стихотворений, считал, что критики, обрушившиеся на «Гимны», не поняли их, «прозевали слова о великой радости».[4] Общая тема этих стихотворений — действительно тема жизненной радости, в противовес мотивам скепсиса, разочарованности, скорби и страдания, сильно звучащим во втором разделе книги. Однако эта по-своему «жизнеутверждающая» тема связана с мотивами отрицания и сомнения, она как бы является своеобразным, развернутым выводом из стихотворения «Героям нашего времени». Путь к преодолению жизненных трудностей, путь к «великой радости» идет через внутреннюю деятельность самоусовершенствования. Стихотворение «Героям нашего времени» является идейным

---

[1] «Финский вестник», 1846, № 9, стр. 47. Б. Я. Бухштаб в названном ниже исследовании высказывает весьма убедительное предположение, что автором этой рецензии является кто-либо из круга литераторов-петрашевцев.

[2] Вл. Княжнин. Аполлон Григорьев — поэт. «Русская мысль», 1916, № 5, стр. 21.

[3] «Ученые записки Саратовского государственного университета», т. 56, 1957, стр. 184—201.

[4] Судьба Аполлона Григорьева. — А. Григорьев. Стихотворения. М., 1916, стр. XXXVII.

центром книги. Выводы из своего анализа «современной души» Григорьев декларативно выдвигает на первый план в виде «Гимнов».

Художественная слабость этих стихотворений заключается в том, что философская тема «жизнеутверждения» дана здесь в оголенном виде. Григорьев отказывается в этих стихах от того, что составляет его реальную художественную силу в ряде стихотворений второго раздела книги, — от соединения высокой философской темы с темой конкретно-психологической и социальной. Говоря словами самого Григорьева, «высокое значение повседневной жизни» совсем не ощущается в «Гимнах». Выдвигая «Гимны» на первый план, Григорьев как бы настаивает на том, что ключом к решению духовных и социальных коллизий, изображенных во втором разделе, является внутреннее воспитание личности. Белинский очень точно определил идейную функцию этого цикла в общем замысле книги: «В его гимнах есть признаки довольно дешевого примирения при помощи мистицизма, на манер г. Ф. Глинки» (IX, 593).

Сама композиция книги, таким образом, носит программный характер. Григорьев как бы навязывает читателю мысль о том, что социальные проблемы не могут быть решены «герценовским», революционным путем. Композиционное расположение материала в книге Григорьева выражает определенный идейный замысел поэта, определенную трактовку социально-философской темы.

3

Во время первого своего пребывания в Петербурге Григорьев, по-видимому, основные свои творческие надежды возлагал на художественную, и в особенности на поэтическую деятельность. Создать себе сколько-нибудь весомое поэтическое имя ему не удалось. В связи с острой идейной борьбой в литературе и публицистике требовалось также определить свою позицию в плане мировоззрения. Обозревая в целом свою духовную эволюцию в конце жизни, во вступлении к своим неоконченным мемуарам «Мои литературные и нравственные скитальчества» Григорьев первый этап своей литературной работы оценивает как «полосу жизни совершенно фантастическую», полосу, в которой он отдался «могущественным веяниям науки и литературы».[1] В своеобразном эмоционально-лирическом контексте воспоминаний Григорьева эта

[1] Полн. собр. соч., т. 1, стр. 3.

оценка означает признание сильного воздействия передовых общественных идей эпохи. Второй этап определяется как этап «веры в народ и народность», дошедшей «до фанатической, исключительной веры, до нетерпимости, до пропаганды».[1] Опять-таки в переводе на язык более четких общественных критериев это означает признание в принадлежности к консервативному, славянофильскому лагерю.

Однако необходимо иметь в виду то, что наиболее существенным для развития Григорьева является сказывающееся всегда в его деятельности стремление найти некую «среднюю» линию между борющимися лагерями. Анализ книги «Стихотворения» показывает, что такую «среднюю», «синтетическую» линию должны были представлять «Гимны» с их темой внутреннего совершенствования, самовоспитания личности. Но есть объективная логика общественной борьбы: попытки найти «среднюю» линию в виде масонских «Гимнов» вызывают недоумение или откровенные насмешки современников. Такая линия идейно означала оправдание замкнутой «самобытности», которая, по выражению Белинского, «не стоит даже подражательности» (X, 36), то есть объективно вела в лагерь реакции. Художественно такая линия могла быть только бесплодной. До выхода книги «Стихотворения» Белинский в обзоре литературы за 1945 год в общем доброжелательно оценивает поэтическую работу Григорьева, отмечая при этом сильное воздействие Лермонтова; после выхода книги, когда стала ясна тенденция Григорьева к поискам «средней линии» в борьбе, меняется общий тон оценок Белинского: он не возлагает уж на молодого поэта никаких надежд и обобщает свою оценку художественных возможностей Григорьева словами: «он не поэт, вовсе не поэт» (IX, 593).

Нереальность, фантастичность попыток Григорьева найти «среднюю линию» в обостряющейся общественной борьбе осознается самим Григорьевым как крах его идейных и художественных устремлений начального периода. Возникает духовный кризис, особенно явственно выраженный в письмах к Гоголю, о которых шла речь выше. В плане личном этот кризис осложняется крайней беспорядочностью жизни, в особенности пьянством, уже в эти годы переходившим в алкоголизм. В 1847 году Григорьев вернулся в Москву. Это объяснялось, по-видимому, как стремлением упорядочить свою личную жизнь, так и желанием в более знакомой и близкой ему среде найти выход из того духовного разброда, в ко-

---

[1] Полн. собр. соч., т. 1, стр. 3.

тором он оказался. В начале своей новой московской жизни он сотрудничает в «Московском городском листке», где публикует рецензию на «Выбранные места из переписки с друзьями». Письма к Гоголю связаны также с выходом этой книги; они свидетельствуют не только о духовном кризисе, но и о стремлении найти выход из серьезных внутренних противоречий, осознанных самим Григорьевым.

В чисто личном плане жизнь Григорьева, действительно, несколько упорядочилась. В том же 1847 году он женился на Лидии Корш, сестре той самой Антонины Корш, образом которой навеяны лучшие образцы его ранней любовной лирики. На протяжении всего этого периода Григорьев работает учителем, с разной степенью активности сотрудничает в московских и петербургских периодических изданиях. Главным направлением его деятельности в это время является уже литературная критика.

Наиболее важным событием общественной и внутренней жизни Григорьева этой эпохи является сближение его с кружком литературной и художественно-артистической молодежи, в начале 50-х годов сгруппировавшейся вокруг так называемой «молодой редакции» журнала «Москвитянин». В этот кружок входили Островский, Б. Н. Алмазов, Е. Н. Эдельсон, Т. И. Филиппов, И. Т. Кокорев, И. Ф. Горбунов и другие. Григорьев в этом кружке вскоре начинает играть роль главной идеологической силы. Одной из важнейших своих задач кружок ставит пропаганду по-новому трактуемой «народности», при этом находясь в довольно сложных отношениях как со старшим поколением славянофилов, так и с М. П. Погодиным — издателем журнала «Москвитянин», на страницах которого, на особых условиях, выступают литераторы кружка. Погодин более или менее последовательно и жестко проводит свою достаточно консервативную как в общественно-политическом, так и в художественном плане линию, что вызывает частые трения между издателем и «молодой редакцией». Литературным знаменем кружка является драматургия Островского; пропаганда ее делается одним из его первейших заданий.

Этот, сравнительно короткий, период более или менее организованной деятельности кружка Григорьев всегда считал своей второй, «настоящей молодостью», «с жаждою настоящей жизни, с тяжкими уроками и опытами».[1] Распад кружка, последовавший в середине 50-х годов, он рассматривал как одно из наиболее го-

---

[1] Мои литературные и нравственные скитальчества. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 3.

рестных событий своей жизни. Григорьеву показалось, что он нашел здесь группу единомышленников, в их совместной литературно-художественной деятельности — некую последовательную линию общественного поведения. Это было его новой иллюзией. Кружок, с довольно шаткой программой «непосредственности», «демократизма» и «искусства», выражающего «жизнь по душе»,[1] скоро распался. Надежды Григорьева опять, как и в первый период, потерпели крушение. Но, тем не менее, именно в этот период он окончательно формируется как литературный критик, — в дальнейшем его взгляды в наиболее существенных чертах не менялись. Было бы крайне неосмотрительным предполагать, что художественное творчество Григорьева является всего лишь иллюстрацией определенных теоретических положений. Точно так же было бы неосторожно и необдуманно пытаться противопоставлять художественную практику Григорьева его теориям. Работа Григорьева-критика сложным образом переплетается с деятельностью Григорьева-поэта; один и тот же цикл идейных проблем и серьезных противоречий по-разному преломляется в разных областях его литературного творчества. «Нетерпимая фанатичность» его литературной программы обнаруживает в конечном счете противоречия, по-иному преломляющиеся в его поэзии и объясняющие ряд ее особенностей.

Существенное значение для литературных взглядов Григорьева имеет его отношение к историческому принципу, выдвинутому в русской критике Белинским. На разных этапах своей деятельности Григорьев по-разному оценивал деятельность Белинского. Наиболее резко он осуждал «односторонность» Белинского как раз в период своей работы в «Москвитянине», тем не менее он всегда признавал свою известную преемственность по отношению к Белинскому, подчеркивая при этом особое значение для себя раннего периода его деятельности. Принцип историзма в критике Григорьев понимал следующим образом: «Наш век есть век по преимуществу исторический... Исторический взгляд есть приобретение, завоевание, купленное многими тяжкими опытами, многими трудами. Странно бы было, если бы эта общая схема не приложена была и к искусству, странно было бы, если бы не было исторической критики. Мы сами — поборники исторической критики; скажем еще более, мы сами думаем, что едва ли в наше время может и существовать иная критика, кроме исторической».[2] С другой стороны, по мысли

---

[1] Письмо к Е. Н. Эдельсону от 13 ноября 1857 г. Материалы для биографии, стр. 184—185.

[2] Русская литература в 1851 году. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 99.

Григорьева, исторический принцип неспособен охватить всю народную «органическую» жизнь в ее целостности. Это резкое противоречие сказывается в симптоматических колебаниях в оценке данного принципа, в частых противопоставлениях «истории» и «жизни».

Сама «народность» и «народная жизнь» толкуются весьма противоречиво. Григорьев высоко ценит историческую жизнь народа и народное художественное творчество, превыше всего он ценит народную «самобытность». Григорьев определяет народ как своеобразную историческую личность, открещиваясь от славянофильства как от «старобоярского направления», но в то же время заявляет, что «вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности» — «глубже и обширнее по своему значению» вопроса о крепостном праве.[1] Выходит, что «народ» и «народность» лишены исторического развития; для народной жизни характерны некоторые в основном не изменяющиеся начала, так что возможности революционного изменения, революционного развития народной жизни — исключены.

Эта же несогласованность разных сторон, двойственность сказывается и в конкретных оценках современных литературных явлений, и в художественных категориях, выдвигаемых Григорьевым. В известных пределах Григорьев принимает критическое направление современной литературы, но отрицает сатиру как жанр. Он находит, что в современной литературе критическое, отрицательное направление принимает односторонние, даже уродливые формы, критицизм доходит до отрицания положительных нравственных идеалов. В противовес одностороннему критицизму, сатире Григорьев выдвигает комизм как наиболее высокую художественную категорию. Категория комизма определяется им так: «Комизм есть правое отношение к неправде жизни во имя идеала, на прочных основах покоящегося, — комизм есть праведный суд над уклонившейся от идеала жизнию».[2]

Гоголевской критике общественной жизни России он отдает предпочтение перед творчеством Лермонтова прежде всего потому, что в произведениях Гоголя, согласно Григорьеву, ярко проступают идеальные стороны жизни. Однако же идеалы Гоголя во многом являются абстрактными и заемными и поэтому не могут быть сочтены в полной мере национальными идеалами. Лермонтовское направление оценивается им резче на том основании, что в нем критик находит чрезмерное развитие отрицательного начала. Впро-

---

[1] Воспоминания, стр. 451.
[2] «Время», 1862, № 10, стр. 12.

чем, Григорьев глубоко и тонко прослеживает эволюцию Лермонтова, усматривая в ней движение к тем категориям, которые определялись как комизм. В целом же и Лермонтов, и Гоголь, на взгляд Григорьева, художники односторонние, художники крайностей. Наиболее глубоким, «органическим» художником русской жизни Григорьев считает Пушкина, в творчестве которого особенно отчетливо выражены национальные, общественные и нравственные идеалы. Только Пушкин постиг в художественной гармонии реальное соотношение двух основных человеческих типов, выдвинутых русской национальной жизнью, — типа хищного и типа смиренного. При этом смиренный тип отнюдь не отождествляется с художественным идеалом Григорьева. «Смиренным характером» только соизмеряются герои иного плана с художественным идеалом; сам по себе он не является идеальным — он так же односторонен, как и, скажем, Алеко. Белкин и Максим Максимыч, по Григорьеву, «вовсе не герои, а только контрасты типов!» вроде Алеко, только способ проверки подлинной духовной высоты и общественной значимости героев индивидуалистического плана.[1]

Герой более широкий, более соответствующий идеалам национальной жизни, должен быть порожден русской жизнью в целом, он еще впереди. Ни герой типа Печорина, ни герой типа Белкина порознь не являются художественной нормой. Они свидетельствуют лишь о необходимости поисков этой художественной нормы. В сущности своей мысль Ап. Григорьева сводится к необходимости поисков новых возможностей реалистически-широкого, объемного раскрытия в искусстве характера русского человека. Высшим в искусстве для Григорьева является сочетание изображения реальной жизни народа с изображением личности, народного идеала с идеальными устремлениями личности. Целью искусства, по Григорьеву, является органичность, творческий синтез. Пушкин потому ставится им на такую высоту, что он полнее, чем кто-либо другой, выражал этот синтез.

В связи с этим понятно, что в современности Григорьев наиболее яростно ополчается против «натуральной» школы. В «натуральной» школе он находит одностороннее увлечение изображением реальности, без должного внимания к идеалу. Он обрушивается в равной мере и на Гончарова, и на раннего Достоевского, в особенности же резко, по его мысли, односторонность отрицания в «натуральной» школе выступает у Герцена. Элементы «синтеза»

---

[1] Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. «Русское слово», 1859, № 2, стр. 27—28.

реального и идеального, то есть следование национальному идеалу, он находит позднее, в конце 50-х годов, в творчестве Тургенева, в современной же литературе наиболее точное выражение национальных, общественных и эстетических идеалов осуществлено в творчестве Островского. Согласно Григорьеву, именно Островский изображает и ту социальную среду, и те характеры, в которых с наибольшей силой выразились органические для русской национальной жизни идеалы. Здесь-то и проступает наиболее явственно противоречивость теорий Григорьева: борясь за реализм Островского, он в то же время односторонне подчеркивает в нем консервативные элементы. «Органичность» предполагает отрицание возможностей революционного развития народной жизни. Противоречивость эта свойственна и тому художественному идеалу, который выдвигает Григорьев. Здесь также Григорьев, с одной стороны, стремится к историзму и к реалистической многогранности образа, с другой — он проводит непроходимую грань между элементом историческим в собственном смысле слова и элементом идеальным. Григорьев писал: «В сердце у человека лежат простые вечные истины, и по преимуществу ясны они истинно гениальной натуре. От этого и сущность миросозерцания одинакова у всех истинных представителей литературных эпох, различен только цвет». «Та же самая нота» звучит в творчестве Пушкина, Гоголя, Гете, Шекспира — «различие может быть только в степени и в цвете чувствования».[1] Историческое начало в творчестве художника — это только некая одежда, надетая на вечную сущность. Сама основа искусства становится, таким образом, неподвижной, неизменной, лишенной подлинного развития. Получается дуализм — противоречие между историческим и вечным, между реальным и идеальным. Такая «разорванность идеала» связана с тем, что, согласно Григорьеву, как народ в своей самобытности лишен развития, так и личность в своих глубочайших основах неподвижна. Это противоречие между задачами, которые Григорьев ставит перед искусством, и итогами, к которым он приходит, обусловлено стремлением Григорьева рассматривать народную жизнь вне ее революционного развития, а решение противоречий в жизни личности искать в самовоспитании. В несколько иной форме, в ином выражении эта же противоречивость выступает и в поэзии Григорьева 50-х годов.

В творчестве его этих лет выделяется стихотворный цикл «Борьба». Как и ранее в его поэтической работе, известное значение имеет автобиографическая подоснова этого цикла.

---

[1] Русская литература в 1851 году. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 106.

Как уже говорилось, после переезда в Москву и женитьбы на Л. Ф. Корш быт Григорьева несколько упорядочился. Относительным спокойствием и благоустроенностью характеризуется и его семейная жизнь в первые годы нового пребывания в Москве. Однако через некоторое время супруги обнаруживают серьезное несходство в характерах, а затем и вовсе расходятся. Одной из причин этого семейного разлада является, по-видимому, трагически страстная и сложная любовь, которая овладела Григорьевым, вероятно, с начала 50-х годов. Он знакомится с семьей своего сослуживца по Московскому воспитательному дому Визарда, которая, как и семья Коршей, была, по всей видимости, либерально-западнической семьей. Григорьеву «не везло» во всех его романах. С обычной для него необузданностью он влюбился — «до низости, до самоунижения»,[1] до «тоски пса»[2] — в младшую дочь хозяина Леониду Яковлевну Визард. Сам Григорьев писал, что Л. Я. Визард «была создана совсем по мне, как и я создан был совсем по ней».[3] По позднейшему свидетельству сестры Л. Я. Визард, «с ее стороны не было взаимности никакой».[4] В 1856 году Л. Я. Визард, ради которой Григорьев, по собственному признанию, мог «из бродяги-бессемейника, кочевника обратиться в почтенного и, может быть (чего не может быть?), в нравственного мещанина»,[5] вышла замуж за одного из посетителей дома, начинающего драматурга М. Н. Владыкина.

Драматический исход личных отношений совпал с распадом молодой редакции «Москвитянина». Развал дружеского объединения переживался Григорьевым чрезвычайно болезненно. Сам он объяснял это расхождение мотивами личными и литературными. Прежде всего, он говорил об «адской скупости редактора» — М. П. Погодина.[6] Разумеется, для всегда остро нуждавшегося Григорьева это обстоятельство имело большое значение. Далее, Погодин вмешивался в работу тех отделов журнала, которыми, согласно первоначальной договоренности, ведала «молодая редакция». Пользу-

---

[1] Письмо к Е. С. Протопоповой от 24 ноября 1857 г. Материалы для биографии, стр. 193.

[2] Письмо к Е. С. Протопоповой от 26 января 1859 г. Там же, стр. 240.

[3] Письмо к Е. С. Протопоповой от 6 января 1858 г. Там же, стр. 207.

[4] Цит. по статье В. Княжнина «А. А. Григорьев и Л. Я. Визард». Там же, стр. XXI.

[5] Письмо к Е. С. Протопоповой от 26 января 1858 г. Там же, стр. 240.

[6] Краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям. Там же, стр. 306.

ясь своими правами издателя, он систематически помещал в журнале литературный материал, который не удовлетворял «молодую редакцию» как по своей политической направленности, так и по своим художественным качествам. Резко принципиального в литературных вопросах Григорьева это обстоятельство не могло не волновать. Однако подлинные объяснения распада кружка следует искать в более глубоких и серьезных общеисторических причинах.

В эпоху Крымской войны обнаружились глубокие внутренние противоречия крепостнически-самодержавного строя. В. И. Ленин писал: «Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России».[1] Острота исторических противоречий выявила и разность общественных путей членов кружка. В последующую эпоху они шли совсем разными дорогами. В особенности болезненно переживал Григорьев отход от идей кружка Островского; об Островском он писал впоследствии как о человеке, «подавшем руку тушинцам»,[2] то есть как о человеке, все более и более сближавшемся с передовыми литературными кругами. Всю эту совокупность неразрешимых для него общественных, литературных и личных коллизий Григорьев обрубил обычным для себя способом: летом 1857 года он уехал внезапно за границу в качестве домашнего учителя и воспитателя в семье князей Трубецких. В начале его пребывания за границей и был напечатан лирический цикл «Борьба» — лучшее из того, что было создано Григорьевым-поэтом в тот период.

Цикл «Борьба» представляет собой необычное явление русской лирической поэзии не только этой эпохи. В предшествующий период своей поэтической деятельности Григорьев стремился к изменению лирического субъекта, лирического «я». В ряде стихотворений он достиг этого путем «объективирования» лирического субъекта, выделения «героя» из лирического потока, отделения переживаний «героя» от возможного слияния этих переживаний с читательским «я». Дальнейшее развитие этого художественного качества заключалось, очевидно, в более смелом и последовательном изменении и лирического объекта, всего материала стихотворения, с тем чтобы это новое лирическое «я» соединилось, слилось, «синтезировалось» с решенным несколько иначе «объективным» материалом вещи. В цикле «Борьба» Григорьев попытался воплотить эту новую художественную возможность объединения ряда стихотворений единым сюжетом или даже фабулой. В лирическом сюжете участвуют

---

[1] В. И. Ленин. «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция. Сочинения, т. 17, стр. 95.

[2] Воспоминания, стр. 450.

два постоянных героя. Четкость развития событий в пределах этих 18 стихотворений такова, что здесь можно совершенно отчетливо выделить завязку драматического действия; дальнейшее движение событий и лирических характеров ведет к развернутой кульминации; завершается все построение развязкой и эпилогом. Такого последовательного, обдуманного сюжетного построения лирического цикла в русской поэзии до цикла «Борьба» не было. Поэт сознательно организует своего рода сложный сюжетный психологический роман.[1] Развернутого внешнего действия в цикле нет, конкретизируются позиции участников «борьбы» психологически, а не во внешнем действии, поэтому точнее всего определить это новообразование не как драму, а именно как лирический роман. Такое сюжетное построение целого ведет к дальнейшей конкретизации героев, «лирических характеров», необычных для поэзии своей определенностью.

В первом стихотворении цикла дается завязка лирического романа. Если бы это стихотворение не было включено в цикл, не начинало единый сюжет цикла, его можно было бы принять за обычное для романтической поэзии лирическое повествование о неясном, смутном душевном состоянии героя. Стихотворение выполнено в обычных для русской романтической лирики приемах мелодического построения.[2] Оно все строится на системе вопросительных интонаций, которые должны дать представление о противоречивом душевном состоянии героя. Для читателя очевидно, что герой уже любит героиню, но не смеет еще сам себе признаться в этом. Неясное психологическое состояние героя несет в себе определенную драматическую функцию. Продолжение этой темы дано в следующем стихотворении. Лирический герой уже осознал характер своего чувства, он убеждает возлюбленную в том, что испытываемое им чувство не является любовью, хотя читатель понимает, что здесь речь идет просто о продолжающемся внутреннем смятении героя. Все яснее и яснее проступает драматический ха-

---

[1] Подобного рода попытку сознательной сюжетной циклизации можно усмотреть в созданном в 40-х годах и не публиковавшемся при жизни поэта цикле Огарева «Buch der Liebe», где разнородный жизненный и идейный материал объединен по принципу последовательного, «дневникового» развертывания любовного сюжета. Характерна здесь установка на последовательность фабульного раскрытия любовной истории, на «лирический роман», включающий широкий материал идейной и душевной жизни лирического героя «по ходу действия».

[2] О мелодическом построении русского романтического стиха см. Б. М. Эйхенбаум. Мелодика русского лирического стиха. Пг., 1922.

рактер отношений. Второе стихотворение кончается следующим обращением к возлюбленной, цель которого выявить противоречивость чувства:

О, молю тебя — будь холоднее,
И меня, и себя пожалей!

В третьем стихотворении выясняется, что герои разделены жизненными обстоятельствами и соединение для них невозможно вследствие этой неблагоприятной жизненной ситуации. Вместе с тем суть здесь отнюдь не в фабульном пояснении «борьбы», а прежде всего — в раскрытии все большего и большего обострения единого лирического сюжета и конкретизации характеров борющихся. Стихотворение кончается признанием в том, что «бегство больше невозможно». По смыслу лирического сюжета, герой втягивается в непреодолимый для него круг коллизий любовной драмы.

В четвертом стихотворении раскрывается психология героини. В начале цикла героиня представала робким, неопытным ребенком, наивной и чистой душой. Теперь мы узнаем, что героиня романа — это «Евы лукавой лукавая дочь», что ее поведению свойственны обычные для женского характера уловки. Герой обнаруживает ненужность, бессмысленность для данной конкретной ситуации, которая носит серьезный, трагический характер, условной «любовной игры».

Чего ты хотела? Чтобы вовсе с ума
Сошел я? чтоб всё, что кругом нас, забыл?

В шестом стихотворении оказывается, что дело не только во внешних преградах, во внешних стеснительных общественных условиях, которые разделяют героев, — значительно сложнее то обстоятельство, что герои сами наделены противоречивой психологией современного человека. И основное в драматических отношениях определяется именно тем, что характеры участников борьбы проникнуты болезненным эгоизмом современного человека:

Но если б я свободен даже был...
Бог и тогда б наш путь разъединил,
И был бы прав суровый путь господень!
Не мне удел с тобою был бы дан...
Я веком развращен, сам внутренне развратен;
На сердце у меня глубоких много ран
И несмываемых на жизни много пятен.

Разъединяет героев и то, что они — «дети века» и, как «дети века», больны «эгоизмом». Их могла бы излечить, вернуть на обыч-

ные жизненные пути любовь, но и в любви они оказываются «эгоистами».

Таким образом, основная ситуация «лирического романа» обнаруживает все больше и больше сходства с драмой «Два эгоизма». Однако важно здесь не только сходство, но и различия. Последовательно развивая основной лирический сюжет, Григорьев время от времени перебивает его отдельными лирико-психологическими новеллами, усложняющими и обогащающими главную ситуацию особыми психологическими темами и «случаями» душевной жизни. Такой «перебивкой» является пятое стихотворение цикла, представляющее собой перевод из В. Гюго. Подлинное изменение лирического объекта могло бы возникнуть, если бы Григорьев был способен отдельную, особую психологическую ситуацию решить на каком-то соответствующем ей, органическом бытовом материале. Но слить «быт» и «новую психологию» Григорьев и здесь еще, как правило, не может. Поэтому «вставные новеллы» окрашены особым романтическим колоритом, как бы выводят за границы прямого бытового протекания романа. Возникает возможность использования перевода в оригинальном лирическом цикле, что само по себе достаточно неожиданно.

Такой же вставной «психологической новеллой» в цикле является восьмое стихотворение, где дается особый романтический сюжет воображаемой беседы лирического героя с умершей возлюбленной. Вставной же новеллой романтического типа является и девятое стихотворение, представляющее собой перевод отрывка из «Конрада Валленрода» Мицкевича. Тема отрывка — утверждение высокого смысла полноты романтически-интенсивного чувства даже в страдании и гибели. Эти стихи обнаруживают непреодолимость для Ап. Григорьева ряда традиционных романтических тем.

Предельного напряжения достигает та же ситуация вполне определившейся трагически-безвыходной любви «двух эгоистов» в непосредственно предшествующих кульминации «лирического романа» стихотворениях одиннадцатом и двенадцатом. Смысл их в том, что герои «предназначены» друг другу, но сойтись не могут, и чем это яснее для каждого из них, тем безнадежнее драматизм их отношений. Полное прояснение основной ситуации — вот назначение этих стихотворений в общей композиции «лирического романа», в движении его сюжета накануне кульминационного взрыва.

И я и ты равно друг друга знаем,
А между тем наедине молчим,

И я и ты — мы поровну страдаем
И скрыть равно страдание хотим...
...Тому, кто раз встречался с половиной
Своей души, — иной не отыскать!

Роковую драматическую перипетию, уже совершившуюся где-то за рамками непосредственного протекания сюжета, обнаруживают знаменитые стихотворения «О, говори хоть ты со мной...» и «Цыганская венгерка», охарактеризованные Блоком как «единственные в своем роде перлы русской лирики».[1] В самом деле, может быть, Григорьев не создавал в своей поэзии ничего более высокого, чем «Цыганская венгерка». Здесь он добился — совершенно особым способом — слияния «правды быта», правды «внешних обстоятельств» с глубиной и сложностью трагического психологизма, пронизывающего всю атмосферу стихотворения. Роковое уже совершилось. По самой природе отношений героев главное событие сюжета могло нагрянуть только откуда-то извне, в рамках самих этих отношений оно необъяснимо. Внезапность кульминации — ее характернейший признак, поэтому она и не показана непосредственно, а только в восприятии героя, переживающего ее где-то в иных, не относящихся прямо к роману обстоятельствах. Трагический контраст этих не относящихся к сюжету обстоятельств и сознания страдающего героя и составляет основную стилевую характеристику стихотворения. Герой находится одновременно в самом центре трагических событий и где-то вне его, где-то в стороне. Здесь явное противопоставление началу романа, его завязке, первому стихотворению цикла. Там было все еще неясно, герой не хотел сам себе признаться в природе своего чувства, и этим определялся смутный романтический колорит стихотворения. Здесь все совершилось, все до конца ясно, ничего поправить уже нельзя. Герой понимает это, но примириться со своей потерей пока еще не хочет и не может. Безнадежность странным образом контрастирует здесь с ярким колоритом обстановки. Обстановка эта — чувственная, «стихийная» атмосфера цыганского табора. Эти два плана, при всей их контрастности, переплетаются между собой. Одним и тем же языком — одновременно простонародным и взвинченно-эмоциональным языком цыганской песни — говорится и о трагически безнадежном внутреннем состоянии героя, и о преувеличенно яркой обстановке таборного разгула.

---

[1] Судьба Аполлона Григорьева. — Аполлон Григорьев. Стихотворения. М., 1916, стр. XXXVIII.

Соберись и умирать —
Не придет проститься!
Станут люди толковать —
Это не годится!
Отчего б не годилось,
Говоря примерно?
Значит, просто всё хоть брось...
Оченно уж скверно!

О трагическом душевном состоянии героя рассказано просто, без всяких ухищрений, без романтической выспренности, герой увиден глазами цыгана или цыганки. Сам же страдающий герой видит и слышит вокруг себя разгул простейших, но ярких страстей:

Звуки шепотом журчат
Сладострастной речи...
Обнаженные дрожат
Груди, руки, плечи.
Звуки все напоены
Негою лобзаний,
Звуки воплями полны
Страстных содроганий.

То трагически-сложное, необычайное, что произошло с героем, имеет одновременно простейшую, нагляднейшую, явную форму — поэтому-то оно и понятно окружающим его сейчас людям:

Я увидел у нее
На руке колечко!

В трагическом рефрене, обрамляющем сюжетно-психологическое событие, опять-таки сливаются темы глубокого горя героя и цыганского разгула, веревочкой завивающего это горе:

Басан, басан, басана,
Басаната, басаната.

Контрастные темы с высоким искусством слиты в одну тему трагического разрыва. Найден особый «быт», особый тип «простонародности», который позволяет достичь своеобразного художественного единства в рассказе о том, как не состоялось «жизненное единство». Иначе говоря, строго организованный сюжет «Борьбы» приводит к крушению идеала жизненной цельности, «синтеза».

Таким образом, художественное единство в вершинном стихотворении цикла «Борьба» — в «Цыганской венгерке» — это единство

в выражении глубокой противоречивости, в признании полной неразрешимости основного трагического конфликта личных отношений. «Цыганская венгерка», по определению самого Григорьева, — это «метеорская, кабацкая поэма звуков безвыходного страдания».[1] Способы изобразительности, свойственные бытовой, цыганской песне, примененные здесь Григорьевым, как раз имеют целью наиболее ярко выразить эту неразрешимость основного конфликта. Такого типа способы изобразительности использовались также его современниками и друзьями по университету — Фетом и Полонским. На этом основании проводились аналогии между поэзией Григорьева, Фета и Полонского. Подразумевалось, что это некая единая линия русской поэзии — линия «канонизации цыганского романса», завершающаяся творчеством Блока. Сопоставления эти не учитывали разных идейно-художественных заданий, ставившихся перед собой этими разными поэтами. Верно, что Ап. Григорьев и Фет опираются иногда в своей работе на бытовую песню, однако способы обработки этой песни и поэтические выводы, которые делаются из этой обработки, у них различны. Можно прибегнуть к сопоставлению аналогичных лирических ситуаций у обоих поэтов, для того чтобы выявить различие реального поэтического содержания. Вот, скажем, стихотворение Фета «Отчего со всеми я любезна. . .» Стихотворение это строится на психологической теме, очень близкой к той ситуации, которая развертывается в первом стихотворении цикла «Борьба». Анализируется неясное еще самой лирической героине стихотворения Фета любовное чувство. Неясность психологического состояния героини обусловливает применение поэтом сложной системы мелодического построения стиха. Композиция стихотворения строится на вопросительной интонации, на том, что все время возникает один и тот же вопрос — отчего?

Отчего, когда его увижу,
Словно весь я свет возненавижу?

Героиня еще не смеет сама себе признаться в том, что она любит отсутствующего в стихотворении героя. Противоречивость ее поведения как раз обусловлена неясностью ее внутреннего психологического состояния:

Отчего, как с ним должна остаться,
Так и рвусь над ним же издеваться?

---

[1] Письмо к Е. С. Протопоповой от 6 января 1858 г. Материалы для биографии, стр. 209.

Наиболее остро подлинный смысл двойственного поведения героини обнаруживается в концовке стихотворения, где уже почти прямо читателю открывается причина странных действий героини:

Отчего — кто разрешит задачу? —
До зари потом всю ночь проплачу?

Однако в этом «почти», в этой намеренной неясности, в этом подчеркнутом отсутствии развязки — весь смысл лирического задания Фета. Характер чувства здесь таков, что его и нельзя назвать по имени. Договоренное до конца переживание потеряло бы всю свою цену. Именно смутность, зыбкость лирического рисунка и является здесь целью. Фета интересует сама причудливая логика человеческих чувств, само движение чувств, сама неоформленность, нечеткость эмоций. Его меньше всего интересует характер человека, переживающего это чувство, поэтому, конечно, здесь нет и героя. Поэтому здесь нет и определенной личности героини. Мы не видим лиц ни «ее», ни «его», да и не в лицах тут совсем дело.

Ап. Григорьев, как мы видели, в движении основной темы всего цикла добивается решения другой задачи. Его интересуют не столько оттенки чувства, сколько индивидуальность, личность героя и его состояние в данный, определенный момент, в данной, определенной ситуации; не столько даже взволнованная речь потрясенного противоречивостью своего переживания человека, сколько сам человек, его драматическая роль в единой лирической теме «борьбы». Григорьева интересует характеристика этапа душевного движения человека, поэтому «лирический герой» в начальном стихотворении и в «Цыганской венгерке» — один и тот же, он и различен постольку, поскольку различны этапы «борьбы». Короче говоря, Григорьев рисует «лирический характер», и прежде всего характер, его движение. Поэтому в целом цикле он добивается не приглушенности чувства, а его яркости. Он применяет «мелодические» приемы, возможно — и даже вероятно — подсказанные пристальным наблюдением над работой своего поэтического товарища. Тем не менее применяет он их совершенно иначе и в иных целях. Неясность чувства — там, где она у него есть, скажем, в первом стихотворении цикла «Борьба» — контрастна по отношению ко всей позиции героя «лирического романа». Герой не смеет признаться самому себе в своем чувстве только в определенный момент драматической ситуации — и, как выясняется в дальнейшем, потому, что как обстоятельства «борьбы», так и «характеры» героев сулят трагический, слишком ясный и определенный исход. В «Цыганской

венгерке» применение приемов таборной песни, романса имеет целью дать как можно более определенное и ясное представление о герое цикла и о переживаемой им роковой драме. Поэта волнует не песня сама по себе, а исполнитель песни, человек, в собственной своей жизни трагически повторяющий роль героя песни, и это для Григорьева самое важное.

Однако лирический герой «Цыганской венгерки» меньше всего позер, игрок, актерствующий любитель «острых ощущений», и в цыганский табор он пришел вовсе не из «эстетических соображений». Он — прежде всего глубоко страдающий человек, измученный лживой условностью, стандартным благополучием раз навсегда установленных мнимодобропорядочных отношений. Есть в нем — с его высокой и неблагополучной любовью, с его тоской и отчаянием, с его нереализованными стремлениями к простоте, чистоте, ясному благородству человеческих начал и концов — нечто от «рыцаря бедного», нечто от будущего Феди Протасова. Вспомним, что Федя Протасов, в прямом противоречии с толстовскими нравственными идеалами, говорит о цыганской песне: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля». Именно «воля» — в смысле прямоты и ясности ничем внешним не связанных отношений между людьми — и нужна григорьевскому герою, слушающему или исполняющему таборную песню.

В поэтической практике Григорьева, таким образом, чрезвычайно остро выступает противоречие, свойственное и его теоретическим воззрениям, — иллюзорный характер «примирения», «синтеза» разных начал. Вместе с тем существует и явное несоответствие между тем, что доказывает и пропагандирует Григорьев-теоретик и о чем пишет Григорьев-поэт. Как критик, он отстаивает необходимость изображения положительных народных идеалов и людей, нашедших или ищущих эти положительные идеалы, изображение среды, в которой сохранились и способны развиваться эти идеалы. Как поэт, он изображает особыми средствами людей страдающих, разбитых жизнью, людей, зашедших в тупик, людей, души которых опустошены современной жизнью. Такого типа герои были излюбленным предметом изображения «натуральной» школы, с которой Григорьев-критик яростно боролся. В особенности Григорьев ополчался на литературные явления, которые он именовал «сентиментальным натурализмом», на те произведения, где гнет жизни изображался в его воздействии на человеческое сознание, на психику («Двойник» Достоевского). Но Григорьев-поэт как раз изображал жизненные коллизии такого рода. Несогласованность теоретических программ и собственной художественной практики была

относительно рано осознана Григорьевым. В качестве критика он пытается снять это несоответствие указаниями на особую жанровую природу лирики и на ее особые смысловые, содержательные задачи. Так, стремясь обосновать закономерность изображения болезненного сознания современного городского человека в поэзии Гейне, Огарева, Фета (которого Григорьев без особых оснований относит к этой линии поэтического развития), он писал: «Как манера натуральной школы состоит в описывании частных, случайных подробностей действительности, в придаче всему случайному значения необходимого, так же точно и манера болезненной поэзии отличается отсутствием типичности и преобладанием особности и случайности в выражении, особности и случайности, доходящих, как у немецких стихотворцев, так и у наших, до неясности и причудливого уродства; как в натуральной школе, так и в болезненной поэзии все такие качества происходят от непомерного развития субъективности. Различие заключается в том только, что в лиризме такое миросозерцание и такая манера имеют некоторое оправдание, даже, пожалуй, свою прелесть: в совершенно же объективном роде творчества — они неуместны и оскорбительны».[1]

Все сказанное здесь может быть отнесено и к поэзии самого Григорьева. Однако то решение идейно-эстетической коллизии, которое он предлагает, является мнимым, иллюзорным. Ведь Григорьев в своих общетеоретических построениях говорил об идеале искусства в широком смысле слова, об общественных задачах искусства. Попытка вывести за пределы этих общественных задач какой-то один жанр есть не что иное, как признание в бессилии решить существенную коллизию современного искусства, коллизию, так остро сказывавшуюся в его собственном поэтическом творчестве. Поэтому-то и само оправдание возможности «болезненной поэзии» носит такой неуверенный, половинчатый характер. В сущности, в этой частной проблеме выявляется общая противоречивость идейно-общественной позиции Григорьева.

4

С огромной силой и в несравненно более широких масштабах общая противоречивость мировоззрения Григорьева выступает в последний период его творческой работы, в конце 50-х и начале 60-х годов. Во время своего пребывания за границей он чрезвы-

---

[1] Русская изящная литература в 1852 году. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 191—192.

чайно серьезно смотрит на свою работу домашнего воспитателя, но в конце концов осознает невозможность осуществления своих нравственно-воспитательных планов в княжеской семье. Как и всегда в таких случаях, он внезапно, круто меняет свой образ жизни: соблазненный предложением графа Кушелева-Безбородко стать во главе организованного этим меценатом журнала «Русское слово», Григорьев возвращается в конце 1858 года в Петербург. Вскоре он порывает с этим изданием, мечется по разным журналам и в конце концов находит себе пристанище в журнале братьев Достоевских. Здесь, после долгих метаний, он находит среду литературных единомышленников, притом среду, как это сейчас нам ясно в исторической перспективе, несравненно более ему близкую по существу его идейно-теоретических воззрений, чем даже круг его «второй молодости» в обновленной редакции «Москвитянина» начала 50-х годов. Устраивается и личная жизнь, — он испытывает серьезное чувство к женщине, которая отвечает взаимностью. Однако все это длится недолго. Вновь вспыхнувшие литературные и житейские метания говорили о глубочайшем и серьезнейшем идейно-творческом кризисе Григорьева, наглядно показывали несостоятельность литературно-творческой концепции, которую он в течение долгих лет вынашивал.

Конец 50-х — начало 60-х годов — это эпоха крайнего обострения общественных противоречий, эпоха напряженной идейной борьбы. С чрезвычайной четкостью проходит в этот период водораздел между двумя ведущими тенденциями в общественной мысли и литературе; в идейных боях конца 50-х — начала 60-х годов обнажается подлинный социальный смысл всяких оттенков либеральных программ, для представителей которых решающей оказывается боязнь перед движением широких масс. Вернувшийся из-за границы Ап. Григорьев пытается отстаивать в новых работах свои прежние позиции, которые свидетельствуют о попытках найти «среднюю линию» между революцией и самодержавно-крепостнической реакцией. Оправдать такую линию должны были идеи о незыблемости традиционных «почвенных» устоев русской жизни. Естественно, что в статьях о «Дворянском гнезде» Тургенева, напечатанных в «Русском слове», Григорьев всячески превозносит Лаврецкого, считая, что «прежде всего он дитя почвы — вследствие чего и кончает нравственным смирением перед нею».[1] Для Добролюбова при оценке этого же образа наиболее существенной оказывается жизненная драма Лаврецкого, которая должна «служить

[1] Собр. соч., вып. 10. М., 1915, стр. 82.

сильною пропагандою и наводить каждого читателя на ряд мыслей о значении целого огромного отдела понятий, заправляющих нашей жизнью»,[1] — то есть для Добролюбова важнее всего то, что драма Лаврецкого объясняется общими особенностями крепостнического строя, и поэтому он — лицо «законно трагическое». Для Григорьева Лаврецкий — человек, нашедший правду в народных идеалах, в «почве», и поэтому он способен внутренне преодолеть трагизм своего положения. Совершенно органично для Григорьева его сближение с журналами братьев Достоевских, журналами, программой которых было нахождение «синтеза», единства между образованным меньшинством и социальными низами в некоей высшей правде «народной самобытности», в преклонении перед «почвой».

Очевидно, осознавая слабость, внутреннюю противоречивость своей литературной программы периода «молодой редакции» «Москвитянина», Григорьев пытается построить целостную концепцию общественно-исторического движения, противопоставленную тем теориям русского исторического процесса и движения русской общественной мысли, которые выдвигались в революционных кругах. Этому заданию, по-видимому, должны были отвечать публиковавшиеся на страницах «Времени» за 1862 год и продолженные в «Эпохе» за 1864 год художественные мемуары Григорьева, озаглавленные им «Мои литературные и нравственные скитальчества». В этой книге Григорьев пытается обосновать выдвинутую им концепцию «веяний» как главного двигателя в развитии русской культуры, русской общественной мысли и — шире — русской жизни. Григорьев не дает точного рационального определения того, что следует понимать под «веянием»; однако из его мемуаров ясно, что опираясь на философию Шеллинга, Григорьев пытается сконструировать некое понятие синтеза, охватывающего разные стороны жизни — как духовной, так и материальной, синтеза, который преодолевает «ограниченность» материализма и идеализма.

На страницах мемуаров Григорьева имеются глухие ссылки на «гениально остроумного автора писем о дилетантизме в науке»,[2] то есть на Герцена. Можно предположить, что сам замысел книги во многом обусловлен полемическим заданием противопоставить изображению процесса идейного формирования под воздействием русской действительности борца-революционера в «Былом и думах» совершенно иное освещение (в особой художественной форме,

---

[1] Когда же придет настоящий день? Полн. собр. соч., т. 2. Л., 1935, стр. 212.

[2] Полн. собр. соч., т. 1, стр. 80.

во многом близкой — хотя и в порядке отталкивания — к стилистике гениальной книги Герцена) того же или очень близкого отрезка русской действительности. Если вспомнить, что Григорьев в своих работах часто полемизировал с Герценом, то такая трактовка его художественных мемуаров может оказаться вполне правдоподобной. Как бы то ни было, но основным заданием мемуаров Григорьева, очевидно, является попытка философско-исторического обоснования позиций «третьей силы» в напряженнейшем общественно-идеологическом конфликте.

Однако, несмотря на большую идейную близость с концепциями «почвенничества», Григорьев, как это с ним всегда бывало, резко порывает наладившиеся было отношения с «Временем». Официальным поводом для разрыва была разная оценка Григорьевым и М. М. Достоевским старших славянофилов. Суть дела заключалась, очевидно, в чем-то несравненно более существенном. Письма Григорьева Н. Н. Страхову из Оренбурга представляют в своем роде замечательные по искренности человеческие документы, свидетельствующие об огромном духовном кризисе. Григорьев по-прежнему выражает неверие в политическую борьбу, ставит знак равенства между идеологией прогрессивно-демократической «Искры» и «Русским вестником», настаивает на том, что политическая борьба ничего не решает и решить не может. Григорьев указывает на свое одиночество, отсутствие подлинной близости с каким-либо из направлений общественной мысли. «Самая горестная вещь — что я решительно один, без всякого знамени».[1]

Но с наибольшей силой сказывается крушение мировоззрения Григорьева в произведениях очерково-публицистического характера «Безвыходное положение» и «Плачевные размышления о деспотизме и вольном рабстве мысли», напечатанных в предпринятом по возвращении из Оренбурга еженедельном издании «Якорь», вскоре потерпевшем крах, как и все другие начинания Григорьева. В «Плачевных размышлениях» с наибольшей резкостью сформулирована волновавшая Григорьева на протяжении всей его творческой жизни мысль о бесплодности партийно-групповой борьбы разных направлений общественной жизни. Он утверждает здесь, что одинаково правомерны как направление «Современника» с его революционно-демократическими тенденциями, так и направление славянофильское, ибо они одинаково теоретичны. Здесь же с наибольшей последовательностью Григорьев отмежевывается от славянофильства, доказывая, что «оно не народное, а старобоярское направле-

---

[1] Воспоминания, стр. 450.

ние», про себя же он пишет: «Глубоко ненавижу это старобоярское направление», так как оно ослеплено «своей татарской гордостью».[1]

Что же остается от «синтетических» концепций Ап. Григорьева при таком резком отмежевании от главных направлений современной политической мысли? Личная свобода, следование тенденциям, подсказываемым жизнью, и умение уважать чужие мнения, кем бы они ни были высказаны — будь то Добролюбов или Аскоченский, или даже юродивый Корейша. Получается, как это ни странно на первый взгляд для такого непримиримого противника политического либерализма, нечто вроде вполне заурядного либерализма. Но ни по своему темпераменту, ни по всем навыкам литературно-общественного поведения Григорьев никак не способен примириться с ролью заурядного пропагандиста либеральных идей. Так выявляется духовная драма «ненужного человека» (термин этот употреблен в подзаголовке и в подписи статей) — человека, осознавшего тот факт, что поиски своей, «третьей» программы в борьбе политических направлений эпохи завершились полным крушением.

Сознанием этого крушения в полной мере проникнут очерк «Безвыходное положение». Значение этого очерка — в осмыслении Григорьевым исторических корней своей духовной драмы. Оказывается, в общественной жизни все, чего можно и должно было требовать, — уже свершилось, уже создано «великими реформами». Тем самым оказался в «безвыходном положении» целый слой людей, к которым Григорьев причисляет и себя, — людей, специализировавшихся на отрицании, на борьбе с застоем, с реакцией, с «проклятой централизацией», как выражался Григорьев в письмах к Страхову. «Мы, как филины и совы, были зрячи и голосисты только во мраке хаоса и ночи»,[2] — пишет Григорьев. Есть люди, миссия которых заключалась в том, «чтобы будить, шевелить, дразнить и тревожить спавшую тупым сном жизнь. Дело наше покончено».[3] Оказывается, отрицание сейчас возможно только с точки зрения «продолжения бывалого застоя», поэтому те, кто занимался отрицанием, должны, если они будут честны, искренни хотя бы наедине сами с собой, признаться: «мы „упразднены“».[4] Здесь же раскрывается и позитивная программа Григорьева, всегда ратовавшего за положительные жизненные идеалы: программа эта — отсутствие всяких программ, это — «дело», обычная, ничем примечательным и ярким не отличающаяся жизненная деятельность. Она,

---

[1] Воспоминания, стр. 332—333.
[2] Там же, стр. 325.
[3] Там же, стр. 327.
[4] Там же, стр. 325.

и только она, является и программой народа: «И вот — заря занимается, свежим воздухом повеяло... Великий народ пробуждается к великой жизни, и, только что пробудясь, уже учит нас, как жить по-божески, по-земски: честно, незазорно, нешумно, неблазно».[1] Здесь договорена до логического конца философско-историческая концепция «Моих литературных и нравственных скитальчеств». Программно-положительная сторона и «Скитальчеств», и «Безвыходного положения» — одна и та же: деятельная, практическая жизнь, чуждая каких бы то ни было «программ», жизнь, недоступная не только «теоретикам» разных складов, но и тем, кого представляет сам Григорьев. В сущности, это ничем не отличается от либерализма, только вся суть в том, что Григорьев откровенно обнажает трагизм своего положения: рухнула — при свете «занявшегося дня» — и его собственная программа «синтеза» разных направлений, программа «почвенничества», перед лицом жизни она оказалась бесперспективной. Не покрывают процесс жизни никакие программы, в том числе и «почвеннические», — они так же ненужны жизни, как и программы «теоретиков».

С еще большей откровенностью — но с иной стороны — обнажается кризис мировоззрения Ап. Григорьева в 60-е годы в его художественном творчестве, в поэзии, и прежде всего — в его замечательной поэме «Вверх по Волге», опубликованной в 1862 году. Григорьев с самого начала своей литературной деятельности стремился создавать поэмы, или «рассказы в стихах», как обозначена жанрово первая из опубликованных им поэм — «Олимпий Радин». Белинский писал об этой поэме, что стих ее «силен и прекрасен» в тех местах, где «он одушевлен негодованием, превращается в бич сатиры» (IX, 593), что здесь «целое темно, бессвязно, но есть прекрасные места» (IX, 393).

Стремление создать «рассказ в стихах» характерно в той или иной степени для всех поэм Григорьева («Видения» — 1846, «Предсмертная исповедь» — 1846, «Встреча» — 1846, «Отпетая» — 1847, «Venezia la bella» — 1858), и оно чрезвычайно характерно для общей идейно-художественной тенденции поэта. Григорьев пытается и в поэме создать образ личности, находящейся в сложных, противоречивых отношениях с обществом, но если в лучших образцах лирики ему удается создать романтическими средствами эмоционально-яркие образы лирических героев, находящихся в состоянии «борьбы», то в поэмах ему всегда недостает «правды обстоятельств», конкретности изображения совокупности жизненных отно-

[1] Воспоминания, стр. 328—329.

шений, в кругу которых должна была бы выступить эта «борьба» героев с обстоятельствами и друг с другом. Отсюда неясность фабулы, которая связана и с романтической неопределенностью самих героев. Именно «рассказа в стихах», к которому стремился Григорьев, не получается. Нет реальной, бытовой атмосферы, которая должна была бы конкретизировать происходящие в поэмах драматические перипетии изображенных лиц. А правда быта обязательна в «рассказе в стихах», в том виде, как представлял его себе Григорьев. В этой неслиянности «конкретности» и философской темы, сюжета и «психологии» героев — сказывается художественная неполноценность, слабость Григорьева, преломляющая в себе общие мировоззренческие противоречия поэта.

Ощущая, очевидно, этот разрыв, Григорьев придавал большое значение своей работе над поэмой «Venezia la bella», которая протекала уже после создания цикла «Борьба». В цикле «Борьба» Григорьевым был найден принцип сюжетной связи лирического психологизма отдельных вещей. Освоение принципа цикличности должно было стимулировать новые попытки работы над произведениями большого, эпического жанра, и так это и происходит. Григорьев органически приходит к работе над поэмой «Venezia la bella». Но, очевидно, им не был в полной мере творчески осмыслен опыт того, что же ему удалось и не удалось в цикле «Борьба».

В дальнейшем, по-видимому, следовало ожидать усиления реалистической повествовательности и в связи с ней — большей бытовой конкретности.

В поэме «Venezia la bella» тоже рассказывается о любви к Л. Я. Визард, но рассказывается уже как о прошлом — на фоне итальянской народной жизни — шумной и красочной жизни, которая должна контрастировать с повествованием о любви к гордой, замкнутой, сильной в сдерживании своих страстей женщине, о любви к «сильфу с душой из крепкой стали». Григорьев пытается, в сущности, использовать тот же прием контраста, который был применен им в «Цыганской венгерке». В центре повествования здесь как будто бы образ героини, но именно он-то отсутствует, это воспоминание о героине, а не она сама. С усилением повествовательного элемента следовало попытаться иначе, более психологически-конкретно раскрыть характер героини. В поэме этого нет, как нет и конкретного бытового рисунка отношений героев. Поэтому задуманный поэтом трагический контраст не получил достаточно яркого воплощения. Целое в итоге «темно и бессвязно», если пользоваться выражением Белинского. Блок тонко заметил, что сама форма поэмы, написанной сонетами, очевидно, явилась средством

обуздания душевного хаоса.[1] Точнее было бы сказать, что тяготение к классичности формы обусловлено стремлением во что бы то ни стало связать рассыпающееся, не оформившееся воедино лирическое целое. В работе Ап. Григорьева над жанром поэмы проявилась острая двойственность, доходящая в своем внешнем выражении до парадоксальности. Приблизиться в какой-то мере к своему творческому идеалу в этой области ему удалось только в произведении, которое выражает одновременно с этим глубокий кризис всей системы его общественных взглядов в 60-е годы, — в поэме «Вверх по Волге».

В основу фабулы легли, как это всегда было у Ап. Григорьева, реальные жизненные события. В большой степени «Вверх по Волге» является рассказом о жизненной драме, пережитой самим Григорьевым. Вскоре после приезда из-за границы, вероятно в 1859 году, во время одного из своих «загулов» он познакомился с девицей «легкого поведения», фамилия которой неизвестна, — с Марией Федоровной, или «устюжской барышней». Это случайное знакомство переходит через некоторое время в большую и сложную любовь. Григорьев смотрит на сложившиеся отношения серьезно, пытается легализовать эту связь. Из этого ничего не выходит, житейски это было трудно осуществимо: Григорьев был женат, прошлое «устюжской барышни» было хорошо известно в среде его знакомых, попытки превратить «падшую женщину» в равноправного товарища жизни не очень удавались и во внутреннем плане.

В 1861 году он внезапно уезжает с Марией Федоровной в Оренбург и поступает учителем в кадетский корпус. Однако совместная жизнь с Марией Федоровной трагически не удается. Григорьев хотел перевоспитать «падшую женщину», — это стремление наталкивается на сопротивление самой воспитуемой, активно отстаивающей свои представления о жизни. Судя по всему, Мария Федоровна желала войти в чиновничий круг в качестве равноправной и вполне обычной по своей мещанской респектабельности дамы. Таким образом, в быту терпит крушение давняя идея Ап. Григорьева о выходе из общественных коллизий старого общества путем воспитания новой личности. Отношения Ап. Григорьева с Марией Федоровной все обостряются, приходится идти на разрыв. Наконец, учинив ряд скандалов, в которые пришлось вмешаться даже полиции, Мария Федоровна была вынуждена в марте 1862 года выехать из Оренбурга. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Сам Григорьев к лету 1862 года возвращается в Петербург. Эти собы-

[1] Судьба Аполлона Григорьева. — Аполлон Григорьев. Стихотворения. М., 1916, стр. XXXIX.

тия его личной жизни и легли в основу сюжета поэмы «Вверх по Волге».

С первых же строк поэмы читатель вводится прямо в драму любовного разрыва. Задача первой главы — обрисовать в общем виде характеры основных героев, показать общие, важнейшие причины главного драматического события. Герой поэмы осмысляет только что происшедший разрыв «союза несчастного» как некую непреложность. Между этими людьми, как бы говорит автор, ничего другого и не могло произойти. Дается общий очерк двух разных характеров. О героине романа здесь говорится следующее:

Жизнь не была тебе борьба...
Уездной барышни судьба
Тебя опутала с рожденья...
Тщеславно-пошлые мечты
Забыть была не в силах ты
В самих порывах увлеченья.

Героиня поэмы — носительница мещанских жизненных идеалов, которые она не в силах преодолеть. Второй участник драмы, герой поэмы, рисуется как мечтательный романтик. Он руководствовался в своих действиях неприменимыми к жизни абстрактными идеалами человечности, он чувствовал себя в этой любовной истории как бы соучастником общественной несправедливости, превратившей заурядную провинциальную барышню в проститутку:

Постой... рыданья давят грудь,
Дай мне очнуться и вздохнуть,
Чтоб передать любви той повесть.
О! пусть не я тебя сгубил, —
Но, если б я кого убил,
Меня бы так не грызла совесть.

Получается так, что сошлись люди совершенно различных характеров, разрыв между которыми был неизбежен. Здесь нет однотипных «эгоистов», борющихся за «самоутверждение», — перед нами живые, конкретные люди, духовная драма не только в своих истоках, но и в результатах, в самих характерах людей и их отношениях социальна. Именно поэтому сюжет носит четкий и жизненно достоверный характер, индивидуальности участников определенны и конкретны. Григорьев начисто отказывается тем самым от той бесфабульности и романтически неопределенной «возвышенности» лиц, которыми отличались его предшествующие поэмы.

Следующие главы углубляют представление о характерах участников драмы. Дается отступление в прошлое, обусловленное всем построением поэмы. Во второй главе рисуется провинциальный городок, в котором росла героиня, отец, злой и раздражительный от своих неудач человек, противодействующий всем порывам подрастающей дочери к самостоятельности мысли. В результате пытливый ум девочки, не находя выхода в иную, более высокую сферу — в область знания, мысли, высоких интересов,— направляется по ложному пути. Мать, напротив, балует девочку, стремясь посвоему оградить ее от серой скуки и обыденности жизни. Природный ум ребенка в таких условиях — в душной провинциальной среде, не имеющей выходов в более широкие жизненные сферы, — ведет к цинизму. Григорьев и ранее стремился социально обосновывать излюбленные им духовные коллизии и характеры. Однако делалось это в самой общей форме, в виде абстрактных, общих предпосылок — исторические обстоятельства трактовались как «дух времени». Здесь обстоятельства непосредственно формируют характер, личность, и это ново, принципиально важно для художественной эволюции поэта. Показано реалистическими средствами, как вырастает претенциозная мещанка. Григорьев настаивает на том, что, если бы жизненное развитие провинциальной барышни не пошло такими кривыми, окольными путями, из нее мог бы вырасти человек. Даже драматизм личной судьбы — «падение» и превращение в «падшую» женщину, что в иных обстоятельствах могло бы быть источником серьезного внутреннего перелома, — в данных условиях ничего не меняет в характере девушки, в ее взглядах на жизнь. Став «падшим созданием», она остается той же мещанкой, которой ее воспитала русская провинциальная дореформенная среда.

В третьей главе — несколько иными средствами — так же социально-исторически конкретизирован характер героя. Для героини характерен цинизм, мещанская опустошенность души. Герой предстает человеком трагически-противоречивым. В начале главы рассказывается о письме, полученном героем от некоего достопочтенного моралиста, укоряющего его в недостойной связи, лишенной моральной основы. Здесь изображен, по-видимому, М. П. Погодин, с которым Григорьева на протяжении всей жизни связывали сложные отношения. Герой поэмы опровергает односторонние представления о жизни, согласно которым можно разделять нравственные и физические начала человеческого существования. Речь идет, по существу, о том же идеале «синтеза», который Григорьев отстаивал в своих теоретических работах. Опровергая традиционные разделе-

ния морального и физического начал, герой обращается к достопочтенному моралисту со словами:

Ты страсти знал по одному
Лишь слуху, а кто жил — тому
Подразделенья ваши дики.

Как будто бы утверждается необходимость единства физического и духовного начал. Но на деле оказывается, что неправ был не только достопочтенный моралист, но и сам герой поэмы. Надуманные идеалы неприменимы к сложностям жизни. Герой рассказывает о большой любви, владевшей им до связи с провинциальной барышней и описанной в поэме «Venezia la bella» (речь идет о любви Ап. Григорьева к Л. Я. Визард). Герой сомневается в подлинной высоте этой любви:

...в той любви лишь призрак сна
Все были радости и боли.

Оказывается, горький жизненный опыт приучил героя к тому, что подлинность чувства проверяется реальностями жизни, конкретными отношениями. И та высокая любовь — любовь-мечта — могла бы обессмыслиться, стать чем-то низменным и обыденным, если бы она была проверена жизнью, практикой обычных людских отношений. Получается так, что герой не верит не только сентенциям достопочтенного моралиста, но и своим собственным выкладкам. Рассудку вопреки, он продолжает любить «высокой» любовью ту же женщину, которая описана в «Venezia la bella». Иначе говоря, дело, очевидно, в разорванности сознания героя, порожденной реальными жизненными условиями. Драма героя параллельна драме героини, провинциальной барышни. Она принесла в новые отношения свои мещанские идеалы, он — свою старую, далекую от жизни любовь к Л. Я. Визард, описанную в поэме «Venezia la bella». В трагическом исходе любовной коллизии повинны оба ее участника.

По существу, эта сложная внутренняя тема поэмы построена на идее крушения «почвеннических» идеалов «синтеза». Дальнейшее, довольно прихотливое развитие сюжета поэмы, где рассказ о настоящем все время прерывается отступлениями в прошлое, состоит во все более ясном обнаружении несостоятельности обоих участников любовной драмы перед лицом жизни, ее простейших обстоятельств. По-разному оба героя терпят крушение в одной и той же области — в прозе жизни, в ее повседневности. Оказывается, героиня способна на высокую самоотверженность, на по-

ступки, граничащие с героизмом, с подвигом. Но стать над прозой жизни она не в силах. Именно жизненные бытовые мелочи, повседневные тяготы оказались непреодолимыми:

Но пить по капле жизни яд,
Но вынесть мелочностей ад
Без жалоб, хныканья, упреков
Ты, даже искренно любя,
Была не в силах... От тебя
Видал немало я уроков.

Оба героя не выдерживают этой проверки жизнью по одной и той же причине — у каждого идеалы не вошли в повседневный обиход, проверка бытом, конкретностью жизни и приводит каждого из них к неизбежному разрыву.

В общей идейной концепции поэмы особое значение имеют завершающие ее главы, как бы подводящие итоги всему развитию событий и характеров. В седьмой главе герой поэмы показан у гроба Минина. После всех трагических событий личной жизни, предаваясь размышлениям о великом прошлом своего народа, он должен здесь заново обрести веру в жизнь, в нерушимость своих основных духовных устремлений. Поэт пытается заново утвердить свои «почвеннические» идеалы. Однако показательно, что утверждение происходит на фоне картин рушащейся личной жизни, так что ни о каком «синтезе» не может быть и речи. Вера в стихийную народность немедленно же разрушается в восприятии читателя яркими образами горя, страданий, внутренней опустошенности разбитых жизнью героев поэмы, предстающими вновь в финальной, восьмой главе. Описывается страшная ночь нужды — без дров, без хлеба, с больным ребенком, — ночь, которая самим поэтом названа «некрасовской ночью» (имеется в виду стихотворение Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...»). Здесь, в сущности, опровергаются «почвеннические» идеалы, утверждавшиеся в седьмой главе. Вся композиция поэмы говорит о крушении их.

В своих прозаических, очерковых произведениях 60-х годов, о которых шла речь выше, Ап. Григорьев обнаружил полную несостоятельность своей общей теоретической концепции, полную нереальность идей «третьего пути» в большой общественной борьбе эпохи. В поэме «Вверх по Волге» с еще большей силой обнаруживается крах другой, чрезвычайно важной стороны общих воззрений Григорьева — крах представлений о возможности изменения общественных отношений путем самовоспитания личности. Весь сюжет поэмы убедительно доказывает нереальность, нежизненность этой

концепции воспитания личности помимо общественной борьбы. Как герой, так и героиня выходят из конфликта измученными, опустошенными, но, в сущности, столь же мало способными к изменению общественных и личных отношений, сколь мало они были к этому способны до начала их драмы. «Воспитательная коллизия» еще больше обездолила и опустошила их — и только. Героиня снова уходит в проституцию, герой высказывает свою романтическую веру в «жизнь», но романтик этот воочию убедился в несостоятельности, неосуществимости своих идеалов.

Вместе с тем в сложной концепции поэмы, в особенности в ее финале, появляются столь же отчетливо, как и в теоретических работах Григорьева последнего периода его жизни, неожиданные для него идеи. Широкие, многообещающие теории «синтеза» потерпели крах, несостоятельность их осознана самим автором. Так что же остается? «Нешумно» и «неблазно» делать малые дела жизни. Таким «малым делом» может быть человеческое сочувствие, повседневная, неэффектная человеческая помощь страдающим, нуждающимся в поддержке. Именно этот смысл имеет, в сущности, последний эпизод поэмы — появление в «некрасовскую» ночь заезжего друга молодости, не сообразившего протянуть руку помощи там, где она была всего нужнее. Завершается этот эпизод обращением к кругу друзей «второй молодости»:

...Коль вам ее
Придется встретить падшей, бедной,
Худой, больной, разбитой, бледной,
Во имя грешное мое
Подайте ей хоть грош вы медный.

Оказалось, что раз жизненные обстоятельства изменить невозможно, то единственное, что остается делать человеку, — это по-человечески сочувствовать униженным и оскорбленным. Тот особый тип «гуманного» либерализма «малых дел», который появляется в прозаических произведениях Григорьева, явственно звучит и в обобщающих частях его последней и лучшей трагической поэмы.

Однако художественная сила поэмы заключается не в этих либеральных иллюзиях поэта, а в бесстрашном обнажении реальных противоречий жизни и сознания, в беспощадном признании собственного бессилия в решении этих противоречий. Последние строки поэмы говорят о безвыходности, душевном тупике, отчаянии:

Однако знобко... Сердца боли
Как будто стихли... Водки, что ли?

Завершается строфа и вся поэма двумя рядами точек — это сгущает, усиливает атмосферу трагической безнадежности и тоски.

Так же, как и в «Цыганской венгерке», в поэме «Вверх по Волге» Ап. Григорьеву удается достичь серьезного художественного успеха путем обостренного выявления душевного смятения, непримиримых внутренних противоречий. Принципиально новым художественным качеством является здесь то, что сложная философская тема поэмы органически сливается с ее жизненно-убедительным сюжетом. Психология героев дана через быт, в естественной связи и взаимообусловленности с их конкретными бытовыми отношениями. Рассказано обо всем этом простым, обычным разговорным языком. Просторечный стиль поэмы ни в коей степени не противоречит ее сложной, глубокой теме — напротив, он с большой силой способствует ее раскрытию. В частности, концовка поэмы действует так сильно именно потому, что о страшной человеческой драме безвыходности, отчаяния, полного крушения всех иллюзий рассказывается так просто, такими обычными словами, так неприкрашенно. Проблему слияния «быта» и «психологии», «конкретности» и «возвышенности» Григорьев не мог решить на протяжении всей своей художественной жизни — даже в «Цыганской венгерке» успех был обусловлен нахождением особого, по-своему романтически-яркого «быта» цыганского табора. В поэме «Вверх по Волге» единство «быта» и «философии» — опять-таки единство глубочайшего противоречия, оно куплено ценой отказа от всех важнейших идей поэта.

Парадоксальность художественного развития Григорьева, внутренняя противоречивость его пути в финале его творчества выражается в том, что он добивается единства поэзии и прозы, философии и жизненной реальности, психологии и быта бесстрашным отказом от того, что он доказывал на протяжении всей своей творческой жизни. В поэме не случайно упоминается имя Некрасова, — поэма написана под несомненным воздействием этого поэта. В этом тоже сказывается органическое для Григорьева противоречие. Признание в собственном крахе стилистически оформлено так, что боровшийся с «натуральной» школой Григорьев в конце своего пути как бы подает руку своим художественным противникам и этим достигает наибольшего возможного для него приближения к «дельной» поэзии.

Остаток жизни Григорьева полон судорожных метаний. Он пытается организовать собственный журнал, но из этого ничего не выходит — журнал скоро прекращает свое существование. Григорьев пьет, попадает, как это часто с ним бывало, в долговое

отделение. Конец его жизни отмечен происшествием, имеющим характер трагического анекдота. Из долгового отделения его выкупает некая генеральша Бибикова, видимо стремившаяся как-то литературно его эксплуатировать. Благодарный Григорьев падает перед ней на колени на набережной Фонтанки. Дня через два-три после этого происшествия, 25 сентября 1864 года, Ап. Григорьев умер.

5

В поэзии Блока получили дальнейшее и своеобразное развитие творческие темы, волновавшие Григорьева.[1] Показательно то обстоятельство, что для Блока реальное художественное значение поэзия Григорьева приобретает после революции 1905 года. В эпоху революции 1905 года в поэтической работе Блока терпят крушение типичные для его раннего творчества идеи мистического идеализма. В этот период у Блока появляется разработанная в образах снежной метели, вьюги, грозы, ветра, пожара тема стихии. Характерно, что в поэзии Блока с самого начала этот ряд образов предстает как в виде темы личной, индивидуальной страсти, так и в виде очистительного общественного катаклизма. Стихия противостоит в поэзии Блока как явлениям идеологического и политического ряда — кадетскому либерализму, различным вариантам символистской мистики — так и мещански-упорядоченному, буржуазному жизненному укладу. В теме стихии в поэзии Блока выражено стремление понять жизнь народа, сдвинувшуюся со своих старых основ и несущуюся навстречу революции.

Как это часто бывает в творчестве большого художника, когда появляется новая, существенно важная тема, рождается вместе с тем необходимость опоры на какие-то художественные традиции. Как будто бы эта блоковская тема явно связана с тютчевской темой хаоса. Однако сам Блок, очевидно, эту связь ощущал мало — ему не казалось, что он следует в чем-то Тютчеву. Стихи Блока свидетельствуют, что он искал опоры в поэзии Григорьева. Иногда даже кажется, что Блок просто цитирует Григорьева, настолько близок целый ряд поэтических вариантов темы стихии у Блока к ранним стихам Григорьева о комете. Так, Блок пишет:

Комета! Я прочел в светилах
Всю повесть раннюю твою,

[1] См. об этом: Д. Д. Благой. Блок и Аполлон Григорьев — в его кн.: «Три века». М., 1933, стр. 269—300.

И лживый блеск созвездий милых
Под черным шелком узнаю!

Однако это не только очень похоже на Григорьева, это и очень на него не похоже. Поражает в стихах Блока на эти темы, по сравнению с Григорьевым, необычайная легкость переходов Блока от бытового к общему, от конкретности к философскому обобщению. Григорьев, конечно, никогда не рискнул бы непосредственно сопоставить шелест и блеск женского платья со светом звезд. Такая легкость и простота в решении чрезвычайно сложной для Григорьева стилистической проблемы объясняется иным идейным подходом Блока к самой теме стихии — нераздельностью в поэтическом восприятии Блока «общественных» и «личных» аспектов темы.

Блок персонифицирует своего лирического героя, в его поэзии лирическое «я» как бы наделено драматическим «характером», превращено в драматический персонаж. У Блока часто выступают не обычные для поэзии «я» и «ты», а как бы персонажи разных драм — рыцарь и Прекрасная Дама, Фаина и ее поклонник, Кармен и Хозе, Гамлет и Офелия, воин Куликовской битвы и его «верная жена» — Родина, персонифицированные герои цикла «Черная кровь» и т. д. Здесь Блок опять-таки опирается на Григорьева, на его поиски нового типа лирического героя — конкретизированного и объективированного. Блок не только персонифицирует лирического героя, превращает его в конкретное лицо — он также циклизирует стихи, связывает их неким единством «сюжетной темы», ее драматизмом, разными переходами и гранями. Тут Блок тоже по-своему продолжает художественные поиски Григорьева, стремившегося создать единый, целостный лирический роман.

Однако и в этом плане есть существенная разница между Блоком и Григорьевым. Опять-таки поражает, по сравнению с Григорьевым, легкость переходов между отдельными темами и «сюжетами» в пределах одного цикла. Построение сюжета лирического романа носит у Григорьева напряженный характер. Он как бы с усилием стремится подогнать отдельные фабульные ситуации к некоему сюжетному единству. Создавая свои циклы, Блок избегает внешней законченности фабулы. Темы разных стихов перекликаются друг с другом, переходят одна в другую, целостность цикла получается от единства разных, внутренне между собой связанных тем. Да и лирические персонажи у Блока не связываются друг с другом в прямой фабульной борьбе, герои входят в разные конкретные сюжетные ситуации и здесь проявляют раз-

ные черты характеров, их изменение, развитие. Внутренняя связь опять-таки — в богатстве разветвлений единой темы, а не в искусственной подгонке фабулы. Новое художественное качество получается у Блока потому, что он не противопоставляет «стихию» человеческой души общественному развитию, — напротив, Блок показывает единство общественного развития и движения человеческой души. По Блоку, в единичной человеческой душе происходит то же, что в душе народной. Тема стихии в блоковской поэзии — это, в конечном счете, тема революции. В специальной записке о поэме «Двенадцать» Блок писал: «В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907, или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией».[1] Блок говорит здесь в одном ряду о своих любовных циклах 1907 и 1914 годов и о поэме «Двенадцать», поэме о революции. Пожалуй, это высказывание Блока лучше всего объясняет, почему ему удалось во многом решить те большие проблемы жизни и искусства, с которыми оказался не в силах справиться Григорьев.

Блок сумел в какой-то степени снять, преодолеть основное глубокое противоречие творческой жизни Григорьева. Но, конечно, само блоковское решение проблем, волновавших Григорьева, содержало в себе элементы тех же глубоких противоречий. В предпосланной книге стихотворений старшего поэта вступительной статье «Судьба Аполлона Григорьева» Блок настойчиво утверждал, что сила Григорьева в «надпартийности», иначе говоря, Блок возводил в достоинство то, что было реальной слабостью Григорьева. Блок сам воспроизводил в новой форме свойственные Григорьеву противоречия. Об этом же свидетельствует и то, что Блок находился в какой-то степени под воздействием философско-теоретических взглядов Григорьева. Столь важная для философских взглядов Блока концепция единого музыкального ритма, напора, объединяющего разные стороны жизни и определяющего ход исторического развития — концепция, развитая в предисловии к поэме «Возмездие» и в статье «Крушение гуманизма», — видимо, восходит в какой-то степени к создававшейся Григорьевым теории «веяний». Это значит, что в творческой работе Блока как-то по-новому воспроизводились и слабые стороны воззрений Григорьева. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что Блок сумел отразить в своеобразном виде революционное развитие народа, и смог это сделать, опираясь в известной степени на творчески переработанное поэтическое наследие Григорьева.

[1] Собр. соч., т. 5. Л., 1933, стр. 133—134.

* * *

Законченной, развернутой поэтической системы Ап. Григорьев не создал. Но в его художественном наследии есть около десятка замечательных стихотворений, оригинальных по своей поэтической мысли, резко индивидуальных по способам построения и эмоциональной окраске. Если вы их полюбили, эмоционально «заразились» (пользуясь выражением Л. Толстого) ими в молодости, вы их уже никогда не забудете. Таких лириков «второго плана», как Григорьев, в истории русской поэзии не так уж много.

Поразительная черта поэзии Григорьева—ее неровность. Рядом с вещами большой внутренней силы и обаяния — такими, как «Комета», «О, сжалься надо мной...», «Над тобою мне тайная сила дана...», «К Лавинии» («Для себя мы не просим покоя...»), «Город», «Женщина», «О, говори хоть ты со мной...», «Цыганская венгерка», «Глубокий мрак, но из него возник...», «О, помолись хотя единый раз...», «Вверх по Волге», — стихотворения и поэмы неровные, неряшливые, иногда просто технически беспомощные. Знать эти стихи тоже полезно и необходимо — как некую почву, некое окружение, в котором возникают подлинные поэтические ценности. Сама эта неровность поэзии Григорьева по-своему преломляет общий драматизм его исторической судьбы: ведь эти вспышки яркого, своеобразного таланта часто свидетельствуют о том, что Григорьев — человек и поэт — никак не может убедиться в справедливости и основательности многих теоретических построений Григорьева-критика.

В истории русской лирики важной и ценной оказалась общая направленность поэтических поисков Григорьева. Иногда объединяют Григорьева, Фета и Полонского в один общий ряд лириков «романсного стиха». На деле это поэты очень разные, а иногда и противостоящие. Поэзия Фета, в 90-е — 900-е годы оказавшая большое воздействие на массовую стихотворную продукцию буржуазно-дворянского лагеря, превращаясь в руках эпигонов в некий штамп поэзии «чистого искусства», в то же время своими импрессионистическими тенденциями оказывала воздействие на символистскую поэтическую школу. Молодой Блок во многом вырастает из этой импрессионистической тенденции. Своеобразным противовесом к этой поэзии зыбких, смутных переживаний, намеков, недомолвок оказывается Григорьев с его стремлением к эмоциональной сгущенности, яркости, своеобразному душевному «примитиву», непосредственности.

Но важнее всего — поиски Григорьевым яркой личности

лирического героя. Лирика Григорьева своеобразно сплавляет «стихийность» (эмоциональную интенсивность) с поэтической рефлексией, с мыслью в стихе. Как это ни парадоксально на первый взгляд, Григорьев с его традициями интеллектуализма 40-х годов оказывается в XX веке поэтом не только яркой эмоции (что само по себе важно на фоне импрессионистической зыбкости фетовской школы), но и поэтом мысли, посредствующим звеном между интеллектуальной лирикой Тютчева, Баратынского, отчасти Лермонтова — с тенденциями высокой интеллектуально-философской и эмоциональной лирики в поэзии XX века. Более или менее ясно, как тесно связан с традицией Григорьева Блок «второго тома» — Блок «Фаины» и «Снежной маски». Еще важнее то обстоятельство, что в мужественной трагедийности блоковского «третьего тома» несомненны лермонтовские тона; для самой же лермонтовской традиции в поэзии Блока (а через Блока — и в дальнейшем развитии русской поэзии) существенное значение имела, как своего рода «посредствующее звено», поэзия Григорьева.

Среди массы очень неровных стихов Ап. Григорьева его лучшие, яркие и своеобразные произведения представляют собой как бы зерна, прорастание которых в будущем, в иных исторических условиях, дало одну из блестящих сторон поэтической системы Блока. Сам Григорьев такой системы создать не смог. Это было обусловлено многими причинами, и в первую очередь тем, что в эпоху напряженной исторической борьбы он хотел занять некую среднюю между борющимися лагерями позицию. Но эти подлинные поэтические ценности, созданные Григорьевым, заслуживают пристального внимания и изучения, без них было бы неполным наше представление об общих процессах развития большой русской поэзии. Вспомним, что давая в 1864 году на страницах «Эпохи» общую оценку творческой деятельности Григорьева, Ф. М. Достоевский сказал о нем знаменательные слова: «Григорьев был бесспорный и страстный поэт».[1]

Павел Громов

[1] Собр. соч., т. 13. М., 1930, стр. 353.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Е. С. Р.

Да, я знаю, что с тобою
Связан я душой;
Между вечностью и мною
Встанет образ твой.

И на небе очарован
Вновь я буду им,
Всё к чертам одним прикован,
Всё к очам одним.

Ослепленный их лучами,
С грустью на челе,
Снова бренными очами
Я склонюсь к земле.

Связан буду я с землею
Страстию земной, —
Между вечностью и мною
Встанет образ твой.

1842

* * *

Нет, за тебя молиться я не мог,
Держа венец над головой твоею.
Страдал ли я, иль просто изнемог,
Тебе теперь сказать я не умею, —
Но за тебя молиться я не мог.

И помню я — чела убор венчальный
Измять венцом мне было жаль: к тебе
Так шли цветы... Усталый и печальный,
Я позабыл в то время о мольбе
И всё берег чела убор венчальный.

За что цветов тогда мне было жаль —
Бог ведает: за то ль, что без расцвета
Им суждено погибнуть, за тебя ль —
Не знаю я... в прошедшем нет ответа...
А мне цветов глубоко было жаль...

1842

ДОБРОЙ НОЧИ

Спи спокойно — доброй ночи!
    Вон уж в небесах
Блещут ангельские очи
    В золотых лучах.
Доброй ночи... Выдет скоро
    В небо сторож твой
Над тобою путь дозора
    Совершать ночной.

Чтоб не смела сила злая
    Сон твой возмущать:
Час ночной, пора ночная —
    Ей пора гулять.
В час ночной, тюрьмы подводной
    Разломав запор,
Вылетает хороводной
    Цепью рой сестер.

Лихорадки им прозванье;
    Любо им смущать
Тихий сон — и на прощанье
    В губы целовать.
Лихоманок-лихорадок,
    Девяти подруг,
Поцелуй и жгуч, и сладок,
    Как любви недуг.

Но не бойся: силой взора
    С неба сторож твой
Их отгонит — для дозора
    Светит он звездой.
Спи же тихо — доброй ночи!..
    Под лучи светил,
Над тобой сияют очи
    Светлых божьих сил.

Июнь 1843

ОБАЯНИЕ

Безумного счастья страданья
Ты мне никогда не дарила,
Но есть на меня обаянья
В тебе непонятная сила.

Когда из-под темной ресницы
Лазурное око сияет,
Мне тайная сила зеницы
Невольно и сладко смыкает.

И больше все члены объемлет
И лень, и таинственный трепет,
А сердце и дремлет, и внемлет
Сквозь сон твой ребяческий лепет.

И снятся мне синие волны
Безбрежно-широкого моря,
И, весь упоения полный,
Плыву я на вольном просторе.

И спит, убаюкано морем,
В груди моей сердце больное,
Расставшись с надеждой и горем,
Отринувши счастье былое.

И грезится только иная,
Та жизнь без сознанья и цели,
Когда, под рассказ усыпляя,
Качали меня в колыбели.

Июнь 1843

КОМЕТА

Когда средь сонма звезд, размеренно и стройно,
Как звуков перелив, одна вослед другой,
Определенный путь свершающих спокойно,
Комета полетит неправильной чертой,
Недосозда́нная, вся полная раздора,
Невзнузданных стихий неистового спора,
Горя еще сама и на пути своем
Грозя иным звездам стремленьем и огнем,
Что́ нужды ей тогда до общего смущенья,
До разрушения гармонии?.. Она
Из лона отчего, из родника творенья
В созданья стройный круг борьбою послана,
Да совершит путем борьбы и испытанья
Цель очищения и цель самосозданья.

Июнь 1843

* * *

Вы рождены меня терзать —
И речью ласково-холодной,
И принужденностью свободной,
И тем, что трудно вас понять,
И тем, что жребий проклинать
Я поневоле должен с вами,
Затем что глупо мне молчать
И тяжело играть словами.
Вы рождены меня терзать,
Зане друг другу мы чужие.
И ничего, чего другие
Не скажут вам, мне не сказать.

Июнь 1843

* * *

О, сжалься надо мной!.. Значенья слов моих
В речах отрывочных, безумных и печальных
Проникнуть не ищи... Воспоминаний дальных
Не думай подстеречь в таинственности их.

Но если на устах моих разгадки слово,
Полусорвавшись с языка,
Недореченное замрет на них сурово
Иль беспричинная тоска
Из гру́ди, сдавленной бессвязными речами,
Невольно вырвется... молю тебя, шепчи
Тогда слова молитв безгрешными устами,
Как перед призраком, блуждающим в ночи.
Но знай, что тяжела отчаянная битва
С глаголом тайны роковой,
Что для тебя одной спасительна молитва,
Неразделяемая мной...

29 июля 1843

ВОЛШЕБНЫЙ КРУГ

Тебя таинственная сила
Огнем и светом очертила,
Дитя мое.
И всё, что грустно иль преступно,
Черты боясь недоступной,
Бежит ее.

И всё, что душно так и больно
Мне давит грудь и так невольно
Перед тобой
Порою вырвется невнятно, —
Тебе смешно иль непонятно,
Как шум глухой...

Когда же огненного круга
Коснется веянье недуга, —
Сливаясь с ним
И совершая очищенья,
К тебе несет оно куренья
И мирры дым.

Июль 1843

* * *

Нет, никогда печальной тайны
Перед тобой
Не обнажу я, ни случайно,
Ни с мыслью злой...
Наш путь иной... Любить и верить —
Судьба твоя;
Я не таков, и лицемерить
Не создан я.
Оставь меня... Страдал ли много,
Иль знал я рай
И верю ль в жизнь, и верю ль в бога —
Не узнавай.
Мы разойдемся... Путь печальный
Передо мной...
Прости, — привет тебе прощальный
На путь иной.
И обо мне забудь иль помни —
Мне всё равно:
Забвенье полное давно мне
Обречено.

Июль 1843

* * *

Над тобою мне тайная сила дана,
Это — сила звезды роковой.
Есть преданье — сама ты преданий полна —
Так послушай: бывает порой,
В небесах загорится, средь сонма светил,
Небывалое вдруг иногда,
И гореть ему ярко господь присудил —
Но падучая это звезда...
И сама ли нечистым огнем сожжена,
Или, звездному кругу чужда,
Серафимами свержена с неба она, —
Рассыпается прахом звезда;

И дано, говорят, той печальной звезде
　　Искушенье посеять одно,
Да лукавые сны, да страданье везде,
　　Где рассыпаться ей суждено.

Над тобою мне тайная сила дана,
　　Эту силу я знаю давно:
Так уносит в безбрежное море волна
　　За собой из залива суднó,
Так, от дерева лист оторвавши, гроза
　　В вихре пыли его закружит,
И, с участьем следя, не увидят глаза,
　　Где кружится, куда он летит...
Над тобою мне тайная сила дана,
　　И тебя мне увлечь суждено,
И пускай ты горда, и пускай ты скрытна, —
　　Эту силу я понял давно.

Август 1843

К ЛАВИНИИ

Чтó не тогда явились в мир мы с вами,
　　　　Когда он был
Еще богат любовью и слезами
　　　　И полон сил?..
Да! вас увлечь так искренно, так свято
　　　　В хаóс тревог
И, может быть, в паденье без возврата
　　　　Тогда б я мог...
И под топор общественного мненья,
　　　　Шутя почти,
С таким святым порывом убежденья
　　　　Вас подвести...
Иль, если б скуп на драмы был печальный
　　　　Всё так же рок,
Всё ж вас любить любовью идеальной
　　　　Тогда б я мог...
А что ж теперь? Не скучно ль нам обоим
　　　　Теперь равно,
Что чувство нам, хоть мы его и скроем,
　　　　Всегда смешно?..

Что нет надежд, страданий и волненья,
Что драмы — вздор
И что топор общественного мненья —
Тупой топор?

Сентябрь 1843

ЖЕНЩИНА

Вся сетью лжи причудливого сна
Таинственно опутана она,
И, может быть, мирятся в ней одной
Добро и зло, тревога и покой...
И пусть при ней душа всегда полна
Сомнением мучительным и злым —
Зачем и кем так лживо создана
Она, дитя причудливого сна?
Но в этот сон так верить мы хотим,
Как никогда не верим в бытие...
Волшебный круг, опутавший ее,
Нам странно-чужд порою, а порой
Знакомою из детства стариной
На душу веет... Детской простотой
Порой полны слова ее, и тих,
И нежен взгляд, — но было б верить в них
Безумием... Нежданный хлад речей
Неверием обманутых страстей
За ними вслед так странно изумит,
Что душу вновь сомненье посетит:
Зачем и кем так лживо создана
Она, дитя причудливого сна?

Декабрь 1843

К ЛАВИНИИ

Для себя мы не просим покоя
И не ждем ничего от судьбы,
И к небесному своду мы двое
Не пошлем бесполезной мольбы...

Нет! пусть сам он над нами широко
Разливается яркой зарей,
Чтобы в грудь нам входили глубоко
Бытия полнота и покой...
Чтобы тополей старых качанье,
Обливаемых светом луны,
Да лепечущих листьев дрожанье
Навевали нам детские сны...
Чтобы ухо средь чуткой дремоты,
В хоре вечном зиждительных сил,
Примирения слышало ноты
И гармонию хода светил;
Чтобы вечного шума значенье
Разумея в таинственном сне,
Мы хоть раз испытали забвенье
О прошедшем и будущем дне.
Но доколе страданьем и страстью
Мы объяты безумно равно
И доколе не верим мы счастью,
Нам понятно проклятье одно.
И проклятия право святое
Сохраняя средь гордой борьбы,
Мы у неба не просим покоя
И не ждем ничего от судьбы...

Декабрь 1843

МОЛИТВА

По мере горенья
Да молится каждый
Молитвой смиренья
Иль ропотом жажды,
Зане, выгорая,
Горим мы недаром
И, мир покидая
Таинственным паром,
Как дым фимиама,
Всё дальше от взоров
Восходим до хоров
Громадного храма.

По мере страданья
Да молится каждый —
Тоскою желанья
Иль ропотом жажды!

1843

ТАЙНА СКУКИ

Скучаю я, — но, ради бога,
Не придавайте слишком много
Значенья, смысла скуке той.
Скучаю я, как все скучают...
О чем?.. Один, кто это знает, —
И тот давно махнул рукой.

Скучать, бывало, было в моде,
Пожалуй, даже о погоде
Иль о былом — что всё равно...
А нынче, право, до того ли?
Мы все живем с умом без воли,
Нам даже помнить не дано.

И даже... Да, хотите — верьте,
Хотите — нет, но к самой смерти
Охоты смертной в сердце нет.
Хоть жить уж вовсе не забавно,
Но для чего ж не православно,
А самовольно кинуть свет?

Ведь ни добра, ни даже худа
Без непосредственного чуда
Нам жизнью нашей не нажить
В наш век пристойный... Часом ране
Иль позже — дьявол не в изъяне, —
Не в барышах ли, может быть?

Оставьте ж мысль — в зевоте скуки
Душевных ран, душевной муки

Искать неведомых следов...
Что вам до тайны тех страданий,
Тех фосфорических сияний
От гнили, тленья и гробов?..

1843

ПАМЯТИ В ***

Он умер... Прах его истлевший и забытый,
В глуши, как жизнь его печальная, сокрытый,
Почиет под одной фамильною плитой
Со многими, кому он сердцем был чужой...
Он умер — и давно... О нем воспоминанье
Хранят немногие, как старое преданье,
Довольно темное... И даже для меня
Темнее и темней тот образ день от дня...
Но есть мгновения... Спадают цепи лени
С измученной души — и память будит тени,
И длинный ряд годов проходит перед ней,
И снова он встает... И тот же блеск очей
Глубоких, дышащих таинственным укором,
Сияет горестным, но строгим приговором,
И то же бледное, высокое чело,
Как изваянное, недвижно и светло,
Отмечено клеймом божественной печати,
Подъемлется полно дарами благодати —
Сознания борьбы, отринувшей покой,
И року вечному покорности немой.

1843

К ***

Мой друг, в тебе пойму я много,
Чего другие не поймут,
За что тебя так судит строго
Неугомонный мира суд...
Передо мною из-за дали
Минувших лет черты твои
В часы суда, в часы печали
Встают в сиянии любви,

И так небрежно, так случайно
Спадают локоны с чела
На грудь, трепещущую тайно
Предчувствием добра и зла...
И в робкой деве влагой томной
Мечта жены блестит в очах,
И о любви вопрос нескромный
Стыдливо стынет на устах...

1843

ПАМЯТИ ОДНОГО ИЗ МНОГИХ

В больной груди носил он много, много
Страдания, — но было ли оно
В нем глубоко и величаво-строго,
Или в себя неверия полно —
Осталось тайной. Знаем мы одно,
Что никогда ни делом, ниже словом
Для нас оно не высказалось новым...

Вопросам, нас волнующим, и он,
Холодности цинизма не питая,
Сочувствовал. Но, видимо страдая,
Не ими он казался удручен.
Ему, быть может, современный стон
Передавал неведомые звуки
Безвременной, но столь же тяжкой муки.

Хотел ли он страдать, как сатана,
Один и горд — иль слишком неуверен
В себе он был, — таинственно темна
Его судьба; но нас, как письмена,
К себе он влек, к которым ключ потерян,
Которых смысл стремимся разгадать
Мы с жадною надеждой — много знать.

А мало ль их, пергаментов гнилых,
Разгадано без пользы? Что ж за дело!
Пусть ложный след обманывал двоих,
Но третий вновь за ним стремится смело...
. . . .

Таков удел, и в нем затаено
Всеобщей жизни вечное зерно.

И он, как все, он шел дорогой той,
Обманчивой, но странно-неизбежной.
С иронией ли гордою и злой,
С надеждою ль, волнующей мятежно,
Но ей он шел; в груди его больной
Жила одна, нам общая тревога...
Страдания таилось много, много.

И умер он — как многие из нас
Умрут, конечно, — твердо и пристойно;
И тень его в глубокой ночи час
Живых будить не ходит беспокойно.
И над его могилою цветут,
Как над иной, дары благой природы;
И соловьи там весело поют
В час вечера, когда стемнеют воды
И яворы старинные заснут,
Качаяся под лунными лучами
В забвении зелеными главами.

<1844>

ВОЗЗВАНИЕ

Восстань, о боже! — не для них,
Рабов греха, жрецов кумира,
Но для отпадших и больных,
Томимых жаждой чад твоих, —
Восстань, восстань, спаситель мира!
Искать тебя пошли они
Путем страдания и жажды...
Как ты *лимá савахвaнй*
Они взывали не однажды,
И так же видели они
Твой дом, наполненный купцами,
И гордо встали — и одни
Вооружилися бичами...

Январь 1844

ДВЕ СУДЬБЫ

Лежала общая на них
Печать проклятья иль избранья,
И одинаковый у них
В груди таился червь страданья.
Хранить в несбыточные дни
Надежду гордую до гроба
С рожденья их осуждены
Они равно, казалось, оба.
Но шутка ль рока то была —
Не остроумная нимало, —
Как он, горда, больна и зла,
Она его не понимала.
Они расстались... Умер он,
До смерти мученик недуга,
И где-то там, под небом юга,
Под сенью гор похоронен.
А ей послал, как он предрек,
Скупой на всё, дающий вволю,
Чего не просят, мудрый рок
Благополучнейшую долю:
Своя семья, известный круг
Своих, которые играли
По гро́шу в преферанс, супруг,
Всю жизнь не ведавший печали,
Романов враг, халата друг, —
Ей жизнь цветами украшали.
А всё казалось, что порой
Ей было душно, было жарко,
Что на щеках горел так ярко
Румянец грешный и больной,
Что жаждой прежних, странных снов
Болезненно сияли очи,
Что не одной бессонной ночи
Вы б доискались в ней следов.

Август 1844

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Душный вечер, зимний вечер;
Всё окно заволокло,
Нагорели тускло свечи —
Не темно и не светло...
Брось «Дебаты», ради бога!
Брось заморское!.. Давно
В «Москвитянине» престрого
О Содоме решено.
Слушай лучше... Тоном выше
Тянет песню самовар,
И мороз трещит на крыше —
Оба, право, божий дар, —
В зимний вечер, в душный вечер...
Да и вечер нужен нам,
Чтоб без мысли и без речи
Верный счет вести часам.

1844

ПРОСТИ

I only know — we loved in vain —
I only feel — farewell, farewell!

Byron

Прости!.. Покорен воле рока,
Без глупых жалоб и упрека,
Я говорю тебе: прости!
К чему упрек? Я верю твердо,
Что в нас равно страданье гордо,
Что нам одним путем идти.

Мы не пойдем рука с рукою,
Но память прошлого с собою
Нести равно осуждены.
Мы в жизнь, обоим нам пустую,
Уносим веру роковую
В одни несбыточные сны.

---

[1] Лишь знаю: тщетно мы любили,
Лишь чувствую: прощай, прощай!
Байрон (перевод Ап. Григорьева, см. стр. 459). — Ред.

И пусть душа твоя нимало
В былые дни не понимала
Души моей, любви моей...
Ее блаженства и мученья
Прошли навек, без разделенья
И без возврата... Что́ мне в ней?

Пускай за то, что мы свободны,
Что горды мы, что странно сходны,
Не суждено сойтиться нам;
Но всё, что мучит и тревожит,
Что грудь сосет и сердце гложет,
Мы разделили пополам.

И нам обоим нет спасенья!..
Тебя не выкупят моленья,
Тебе молитва не дана:
В ней небо слышит без участья
Томленье скуки, жажду счастья,
Мечты несбыточного сна...

Сентябрь 1844

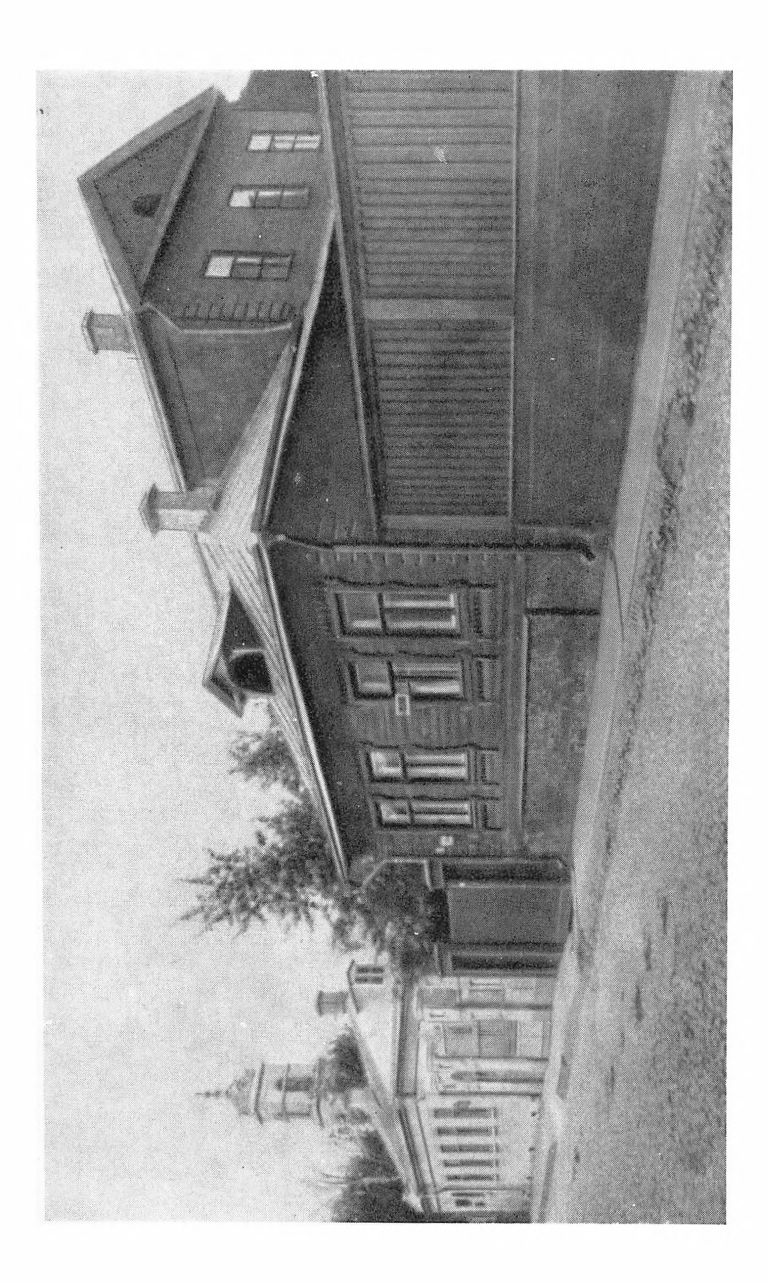
МОЛИТВА

О боже, о боже, хоть луч благодати твоей,
Хоть искрой любви освети мою душу больную;
Как в бездне заглохшей, на дне всё волнуется в ней,
Остатки мучительных, жадных, палящих страстей...
Отец, я безумно, я страшно, я смертно тоскую!

Не вся еще жизнь истощилась в бесплодной борьбе:
Последние силы бунтуют, не зная покою,
И рвутся из мрака тюрьмы разрешиться в тебе!
О, внемли же их стону, спаситель! внемли их мольбе,
Зане я истерзан их страшной, их смертной тоскою.

Источник покоя и мира, — страданий пошли им скорей,
Дай жизни и света, дай зла и добра разделенья —
Освети, оживи и сожги их любовью своей,
Дай мира, о боже, дай жизни и дай истощенья!

<1845>



ОТРЫВОК ИЗ СКАЗАНИЙ ОБ ОДНОЙ ТЕМНОЙ ЖИЗНИ

1

С пирмонтских вод приехал он,
Всё так же бледный и больной,
Всё так же тяжко удручен
Ипохондрической тоской...
И, добр по-прежнему со мной,
Он только руку мне пожал
На мой вопрос, что было с ним,
Скитальцем по краям чужим?
Но ничего не отвечал...
Его молчанье было мне
Не новость... Он, по старине,
Рассказов страшно не любил
И очень мало говорил...
Зато рассказывал я сам
Ему подробно обо всех,
Кого он знал; к моим словам
Он был внимателен — и грех
Сказать, чтоб Юрий забывал,
Кого он в старину знавал...
Когда ж напомнил я ему
Про Ольгу... к прошлому всему
Печально-холоден, зевнул
Мой Юрий и рукой махнул...

2

Бывало, часто говорил
Он мне, что от природы был
Он эгоистом сотворен,
Что в этом виноват не он,
Что если нет в душе любви
И веры нет, то не зови
Напрасно их, — спасен лишь тот,
Кто сам спасенья с верой ждет, —
Что неотступно он их звал,
Что, мучась жаждою больной,
Всё ждал их, ждал — и ждать устал...
И, разбирая предо мной

Свои мечты, свои дела,
Он мне доказывал, что в них
Не только искры чувств святых,
Но даже не было и зла.
Он говорил, что для других
В преданьях прошлого — залог
Любви и веры, — а ему
Преданий детства не дал бог;
Что, веря одному уму,
Привык он чувство рассекать
Анатомическим ножом
И с тайным ужасом читать
Лишь эгоизм, сокрытый в нем,
И знать, что в чувство ни в одно
Ему поверить не дано.

3

Одну привязанность я знал
За Юрием... Не вспоминал
О ней он после никогда;
Но знаю я, что ни года,
Ни даже воля — истребить
Ее печального следа
Не в силах были: позабыть
Не мог он ни добра, ни зла;
И та привязанность была
Так глубока и так странна,
Что любопытна, может быть,
И вам покажется она...
Не думайте, чтоб мог любить
Он женщину, хотя в любовь,
Бывало, веровал вполне,
Хоть в нем кипела тоже кровь...
Но неспособен был вдвойне
И в те лета влюбиться он:
Он был и ветрен, и умен.
Зато в душе иную страсть
Носил он . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

4

Его я знал... Лицо его
Вас поразить бы не могло;
Одно высокое чело
Носило резкую печать
Высоких дум... Но угадать
Вам было б нечего на нем...
Да взгляд его сиял огнем...
Как бездна темен и глубок,
Тот взгляд одно лишь выражал —
Высокий помысл иль упрек...
На нем так ясно почивал
Судьбы таинственный призыв...
К чему — бог весть! Не совершив
Из дум любимых ни одной,
В деревне, при смерти больной,
Он смерти верить не хотел —
И умер... И его удел
Могилой темною сокрыт...
Но цвет больной его ланит
Давно пророчил для него
Чахотку — больше ничего!

5

Его я знал, — и никого,
И никогда не уважал
Я так глубоко, хоть его
Почти по виду только знал,
Иль знал, как все, не больше... Он
Ко всем был холоден равно
И неприступно затаен
От всех родных и чуждых; но
Та затаенность не могла
Вас оттолкнуть, — она влекла
К себе невольно. Но о нем
Довольно... К делу перейдем.

6

Одно я знаю: Юрий мой
Был горд до странности смешной;
Ко многим — к тем, кто выше был
Его породой, или слыл
Аристократом (но у нас,
Скажите, где же высший класс?) —
Не слишком ездить он любил...
Но к князю часто он езжал
И свой холодный, резкий тон
С ним в разговоре оставлял...
Хоть с Юрием, быть может, он
Был даже вдвое холодней,
Чем с прочими, — в любви своей
Был Юрий мой неизменим
И, вечно горд, в сношеньях с ним
Был слаб и странен, как дитя...
Да! он любил его, хотя
На сердца искренний привет
Встречал один сухой ответ...

7

Он помнил вечер... Так ясна
Плыла апрельская луна,
Такой молочной белизной
Сияла неба синева,
Так жарко жизнью молодой
Его горела голова,
Так было грустно одному,
И так хотелося ему
Открыться хоть кому-нибудь
И перелить в чужую грудь
Хоть раз один, что он таил,
Как злой недуг, в себе самом,
Чему он с верою служил
И что мучительным огнем
Его сжигало, — и теперь,
В груди его открывши дверь,
На божий мир взглянуло раз

И с ним слилося в этот час
В созвучьи тайном... В этот миг
Зачем судьба столкнула их?
Бог весть! ..

8

Случалось вам видать,
Когда начнут издалека
Сбегаться к буре облака
И ветром их начнет сдвигать
Одно с другим? Огонь и гром
Они несут — и ожидать
Сдвиженья страшно вам... Потом
Противный ветер разнесет
Их по противным сторонам...
Скажите: грустно было вам
Иль было весело?..

<1845>

ГОРОД

Да, я люблю его, громадный, гордый град,
Но не за то, за что другие;
Не здания его, не пышный блеск палат
И не граниты вековые
Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой
Я прозираю в нем иное —
Его страдание под ледяной корой,
Его страдание больное.

Пусть почву шаткую он заковал в гранит
И защитил ее от моря,
И пусть сурово он в самом себе таит
Волненье радости и горя,
И пусть его река к стопам его несет
И роскоши, и неги дани, —
На них отпечатлен тяжелый след забот,
Людского пота и страданий.

И пусть горят светло огни его палат,
Пусть слышны в них веселья звуки, —
Обман, один обман! Они не заглушат
Безумно страшных стонов муки!
Страдание одно привык я подмечать,
В окне ль с богатою гардиной,
Иль в темном уголку, — везде его печать!
Страданье — уровень единый!

И в те часы, когда на город гордый мой
Ложится ночь без тьмы и тени,
Когда прозрачно всё, мелькает предо мной
Рой отвратительных видений...
Пусть ночь ясна, как день, пусть тихо всё вокруг,
Пусть всё прозрачно и спокойно, —
В покое том затих на время злой недуг,
И то — прозрачность язвы гнойной.

1 января 1845

К ЛАВИНИИ

Он вас любил как эгоист больной,
И без надежд, и без желаний счастья;
К судьбе своей и к вашей без участья,
Он предавался силе роковой...
И помните ль, как он, бывало, вам
Передавал безумно, безотрадно
Свою тоску — и вы к его словам
Прислушивались трепетно и жадно?..
Он понимал, глубоко понимал,
Что не пустым, бесплодно-громким звуком
Его слова вам будут... Обрекал
Он вас давно неисцелимым мукам...

И был вам странен смысл его речей;
Но вполовину понятые речи
Вас увлекали странностью своей
И, всё одни, при каждой новой встрече
Бывали вам понятней и ясней...

И день от дня сильнее обаяли
Вас речи те, как демонская власть,
День ото дня страдание и страсть
Всё новые вам тайны открывали...

И реже стал, и реже с каждым днем
Доверчивый и детски простодушный
Вопрос о жизни, о любви, о том,
Зачем так плакать хочется и скучно...
И всё с ланит заметней исчезал
Румянец детства, глупый и здоровый...
Зато на них румянец жизни новой
Порою ярким пламенем пылал.
И демон жизни с каждым новым днем
Всё новые нашептывал вам сказки,
И стало груди тесно... и огнем,
Огнем соблазна засияли глазки.

И помните ль, как ночь была ясна,
Как шелест листьев страстного лобзанья
Исполнен был... как майская луна
На целый мир кидала обаянье
Несбыточно-восторженного сна?
И помните ль, потупив тихо очи,
Но с радостью, хоть тайной и немой,
Вы слушали — и бред его больной
О полноте блаженства этой ночи,
И то, что он томим недугом злым
И что недуг его неизлечим.
Что он теперь как будто детской сказке
Внимает, что значенье сказки той
Глубоко, но затеряно душой...
И, говоря, он в голубые глазки
Смотрел спокойно, тихо, — а потом
Он говорил так искренно о том,
Что вы — неразрешимая загадка,
Что вы еще не созданы, — и вас
Еще ничто не мучило в тот час,
А с ним была невольно лихорадка...
И лгал ли он пред вами и собой,
Или ему блеснула вера в счастье —
Что́ нужды вам? зачем ему участье?

Он вас любил как эгоист больной...
И сон любви, и сон безумной муки
Его доныне мучит, может быть,
Но, думаю, от безысходной скуки...
По-моему, пора бы позабыть!

Январь 1845

* * *

Que celui à qui on a fait tort te salue.[1]

Когда в душе твоей, сомнением больной,
Проснется память дней минувших,
Надежд, отринутых без трепета тобой
Иль сердце горько обманувших,
И снова встанет ряд первоначальных снов,
Забвенью тщетно обреченных,
Далеких от тебя, как небо от духов,
На небеса ожесточенных,
И вновь страдающий меж ними и тобой
Возникнет в памяти случайно
Смутивший некогда их призрак роковой,
Запечатленный грустной тайной, —
Не проклинай его... Не сожалей о них,
О снах, погибших без возврата.
Кто знает, — света луч, быть может,
уж проник
Во тьму страданья и разврата!
О, верь! Ты спасена, когда любила ты...
И в час всеобщего восстанья,
Восстановления начальной чистоты
Глубоко падшего созданья, —
Тебе любовию с ним слиться суждено,
В его сияньи возвращенном,
В час озарения, как будут два одно,
Одним божественным законом...

Апрель 1845

---

[1] Пусть тебя приветствует тот, кому оказали несправедливость (франц.) — *Ред.*

ГЕРОЯМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Fecit indignatio versum.
Horatius[1]

Нет, нет — наш путь иной... И дик, и страшен вам,
Чернильных жарких битв копеечным бойцам,
Подъятый факел Немезиды;
Вам низость по душе, вам смех страшнее зла,
Вы сердцем любите лишь лай из-за угла
Да бой петуший за обиды!
И где же вам любить, и где же вам страдать
Страданием любви распятого за братий?
И где же вам чело бестрепетно подъять
Пред взмахом топора общественных понятий?
Нет, нет — наш путь иной, и крест не вам нести:
Тяжел, не по плечам, и вы на полпути
Сробеете пред общим криком,
Зане на трапезе божественной любви
Вы не причастники, не ратоборцы вы
О благородном и великом.
И жребий жалкий ваш, до пошлости смешной,
Пророки ваши вам воспели...
За сплетни праздные, за эгоизм больной,
В скотско́м бесстрастии и с гордостью немой,
Без сожаления и цели,
Безумно погибать и завещать друзьям
Всю пустоту души и весь печальный хлам
Пустых и детских грез, да шаткое безверье;
Иль целый век звонить досужим языком
О чуждом вовсе вам великом и святом
С богохуленьем лицемерья!..
Нет, нет — наш путь иной! Вы не видали их,
Египта древнего живущих изваяний,
С очами тихими, недвижных и немых,
С челом, сияющим от царственных венчаний.
Вы не видали их, — в недвижных их чертах
Вы жизни страшных тайн бесстрашного сознанья
С надеждой не прочли: им книга упованья
По воле вечного начертана в звездах.
Но вы не зрели их, не видели меж нами

[1] Негодование рождает стих. *Гораций.* (лат.) — *Ред.*

И теми сфинксами таинственную связь...
Иль, если б видели, — нечистыми руками
С подножий совлекли б, чтоб уравнять их
с вами,
В демагогическую грязь!

22 мая 1845

ПЕСНЯ ДУХА НАД ХРИЗАЛИДОЙ

1

Ты веришь ли в силу страданья,
Ты веришь ли в право святого восстанья,
Ты веришь ли в счастье и в небо, дитя?
О, если ты веришь — со мною, за мною!
Я дам тебе муки и счастья, хотя
От тебя я не скрою,
Что не дам я покою,
Что тебя я страданьем измучу, дитя!..

2

Ты ждешь ли от сна пробужденья,
Ты ждешь ли рассвета, души откровенья,
Ты чуешь ли душу живую, дитя?
О, если ты чуешь — со мною, за мною!
Сведу тебе с неба я душу, хотя
От тебя я не скрою,
Что безумной тоскою
По отчизне я душу наполню, дитя.

3

Меня ль одного ты любила,
Моя ль в тебе воля, моя ль в тебе сила,
Мое ли дыханье пила ты, дитя?
О, если мое, — то со мною, за мною!
Во мне ты исчезнешь любовью, хотя
От тебя я не скрою,
Что тобой не одною
Возвращусь я к покою и свету, дитя.

Июль 1845

* * *

Нет, не тебе идти со мной
К высокой цели бытия,
И не тебя душа моя
Звала подругой и сестрой.

Я не тебя в тебе любил,
Но лучшей участи залог,
Но ту печать, которой бог
Твою природу заклеймил.

И думал я, что ту печать
Ты сохранишь среди борьбы,
Что против света и судьбы
Ты в силах голову поднять.

Но дорог суд тебе людской,
И мненье дорого рабов,
Не ненавидишь ты оков, —
Мой путь иной, мой путь не твой.

Тебя молить я слишком горд, —
Мы не равны ни здесь, ни там,
И в хоре звезд не слиться нам
В созвучий родственных аккорд.

И пусть твой образ роковой
Мне никогда не позабыть, —
Мне стыдно женщину любить
И не назвать ее сестрой.

Июль 1845

ЗВУКИ

(А. Е. Варламову)

Опять они... Звучат напевы снова
Безрадостной тоской...
Я рад им, рад! они — замена слова
Душе моей больной.

Они звучат безумными мечтами,
Которые сказать
Смешно и стыдно было бы словами,
Которых не прогнать.

Они звучат прошедшим небывалым
И снами светлых лет —
Стремлением напрасным и усталым
К теням, которых нет...

Август 1845

ПРИЗРАК

Проходят годы длинной полосою,
Однообразной цепью ежедневных
Забот, и нужд, и тягостных вопросов;
От них желаний жажда замирает,
И гуще кровь становится, и сердце,
Больное сердце, привыкает к боли;
Грубеет сердце: многое, что прежде
В нем чуткое страданье пробуждало,
Теперь проходит мимо незаметно;
И то, что грудь давило прежде сильно
И что стряхнуть она приподнималась,
Теперь легло на дно тяжелым камнем;
И то, что было ропотом надежды,
Нетерпеливым ропотом, то стало
Одною злобой гордой и суровой,
Одним лишь мятежом упорным, грустным,
Одной борьбой без мысли о победе;
И злобный ум безжалостно смеется
Над прежними, над светлыми мечтами,
Зане вполне, глубоко понимает,
Как были те мечты несообразны
С течением вещей обыкновенным.

Но между тем с одним лишь не могу я
Как с истиной разумной примириться,
Тем примиреньем ненависти вечной,
В груди замкнутой ненависти... — Это
Потеря без надежды, без возврата,

Потеря, от которой стон невольный
Из сердца вырывается и трепет
Объемлет тело, — судорожный трепет!..

Есть призрак... В ночь бессонную ль, во сне ли
Мучительно-тревожном он предстанет,
Он — будто свет зловещей, но прекрасной
Кометы — сердце тягостно сжимает
И между тем влечет неотразимо,
Как будто есть меж ним и этим сердцем
Неведомая связь, как будто было
Возможно им когда соединенье.

Еще вчера явился мне тот призрак,
Страдающий, болезненный... Его я
Не назову по имени; бывают
Мгновения, когда зову я этим
Любимым именем все муки жизни,
Всю жизнь... Готов поверить я, что демон,
Мой демон внутренний, то имя принял
И образ тот... Его вчера я видел...

Она была бледна, желта, печальна,
И на ланитах впалых лихорадка
Румянцем жарким разыгралась; очи
Сияли блеском ярким, но холодным,
Безжизненным и неподвижным блеском...
Она была страшна... была прекрасна...
«О, вы ли это?», — я сказал ей. Тихо
Ее уста зашевелились, речи
Я не слыхал, — то было лишь движенье
Без звука, то не жизнь была, то было
Иной и внешней силе подчиненье —
Не жизнь, но смерть, подъятая из праха
Могущественной волей чуждой силы.

Мне было бесконечно грустно... Стоны
Из груди вырвались, — то были стоны
Проклятья и хулы безумно-страшной,
Хулы на жизнь... Хотел я смерти бледной
Свое дыханье передать, и страстно
Слились мои уста с ее устами...

И мне казалось, что мое дыханье
Ее насквозь проникло, — очи в очи
У нас гляделись, зажигались жизнью
Ее глаза, я видел...
Смертный холод
Я чувствовал...
И целый день тоскою
Терзался я, и тягостный вопрос
Запал мне в душу: для чего болезнен
Сопутник мой, неотразимый призрак?
Иль для чего в душе он возникает
Не иначе... Иль для чего люблю я
Не светлое, воздушное виденье,
Но тот больной, печальный, бледный призрак.

Август 1845

ВОПРОС

. . . .
. . . .
Уехал он. В кружке, куда, бывало,
Ходил он выливать всю бездну скуки
Своей, тогда бесплодной, ложной жизни,
Откуда выносил он много желчи
Да к самому себе презренья; в этом
Кружке, спокойном и довольном жизнью,
Собой, своим умом и новой книгой,
Прочтенной и положенной на полку, —
Подчас, когда иссякнут разговоры
О счастии семейном, о погоде,
Да новых мыслей, вычитанных в новом
Романе Санда (вольных, страшных мыслей,
На вечер подготовленных нарочно
И скинутых потом, как вицмундир),
Запас нежданно истощится скоро, —
О нем тогда заводят речь иные
С иронией предоброй и преглупой
Или с участием, хоть злым, но пошлым
И потому нисколько не опасным,
И рассуждают иль о том, давно ли
И как он помешался, иль о том,

Когда он, сыну блудному подобный,
Воротится с раскаяньем и снова
Придет в кружок друзей великодушных
И рабствовать, и лгать...
Тогда она,
Которую любил он так безумно,
Так неприлично истинно, она
Что думает, когда о нем подумать
Ее заставят поневоле? — То ли,
Что он придет, склонив главу под гнетом
Необходимости и предрассудков,
И что больной, но потерявший право
На гордость и проклятие, он станет
Искать ее участья и презренья?
Иль то, что он, с челом, подъятым к небу,
Пройдет по миру, вольный житель мира,
С недвижною презрительной улыбкой
И с язвою в груди неизлечимой,
С приветом ей на вечную разлуку,
С приветом оклеветанного гордым,
Который первый разделил, что было
Едино, и подъял на раменах
Всю тяжесть разделения и жизни?

Сентябрь 1845

НОЧЬ

Немая ночь, сияют мириады
Небесных звезд — вся в блестках синева:
То вечный храм зажег свои лампады
Во славу божества.

Немая ночь, — и в ней слышнее шепот
Таинственных природы вечной сил:
То гимн любви, пока безумный ропот
Его не заглушил.

Немая ночь; но тщетно песнь моленья
Больному сердцу в памяти искать...
Ему смешно излить благословенья
И страшно проклинать.

Пред хором звезд невозмутимо-стройным
Оно судьбу на суд дерзнет ли звать,
Или своим вопросом беспокойным
Созданье возмущать?

О нет! о нет! когда благословенья
Забыты им средь суетных тревог,
Ему на часть, в час общий примиренья,
Послал забвенье бог.

Забвение о том, что половиной,
Что лучшей половиною оно
В живую жертву мудрости единой
Давно обречено...

Сентябрь 1845

ВЛАДЕЛЬЦАМ АЛЬБОМА

Пестрить мне страшно ваш альбом
Своими грешными стихами;
Как ваша жизнь, он незнаком
Иль раззнакомился с страстями.

Он чист и бел, как светлый храм
Архитектуры древне-строгой.
Где служат истинному богу,
Там места нет земным богам.

И я, отвыкший от моленья,
Я — старый нравственности враг —
Невольно сам в его стенах
Готов в порыве умиленья
Пред чистотой упасть во прах.

О да, о да! не зачернит
Его страниц мой стих мятежный
И в храм со мной не забежит
Мой демон — ропот неизбежный.

Пускай больна душа моя,
Пускай она не верит гордо...
Но в вас я верю слишком твердо,
Но веры вам желаю я.

Ноябрь 1845

ДВА СОНЕТА

1

Привет тебе, последний луч денницы,
Дитя зари, — привет прощальный мой!
Чиста, как свет, легка, как божьи птицы,
Ты не сестра душе моей больной.

Душа моя в тебе искала жрицы
Святых страданий, воли роковой,
И в чудных грезах гордостью царицы
Твой детский лик сиял передо мной.

То был лишь сон... С насмешливой улыбкой
Отмечен в книге жизни новый лист
Еще одной печальною ошибкой...

Но я, дитя, перед тобою чист!
Я был жрецом, я был пророком бога,
И, жертва сам, страдал я слишком много.

2

О, помяни, когда тебя обманет
Доверье снам и призракам крылатым
И по устам, невольной грустью сжатым,
Змея насмешки злобно виться станет!..

О, пусть тогда душа твоя помянет
Того, чьи речи буйством и развратом
Тебе звучали, пусть он старшим братом
Перед тобой, оправданный, восстанет.

О, помяни... Он верит в оправданье,
Ему дано в твоем грядущем видеть,
И знает он, что ты поймешь страданье,

Что будешь ты, как он же, ненавидеть,
Хоть небеса к любви тебя создали, —
Что вспомнишь ты пророка в час печали.

1 декабря 1845

А. Е. ВАРЛАМОВУ

(При посылке стихотворений)

Да будут вам посвящены
Из сердца вырванные звуки:
Быть может, оба мы равны
Безумной верой в счастье муки.

Быть может, оба мы страдать
И не просить успокоенья
Равно привыкли — и забвенье,
А не блаженство понимать.

Да, это так: я слышал в них,
В твоих напевах безотрадных,
Тоску надежд безумно жадных
И память радостей былых.

1845

К ЛЕЛИИ

(А. И. О.)

Я верю, мы равны... Неутолимой жаждой
Страдаешь ты, как я, о гордый ангел мой!
И ропот на небо мятежный — помысл каждый,
Молитва каждая души твоей больной.
Зачем же, полные страданья и неверья

В кумиры падшие, в разбитые мечты,
Личину глупую пустого лицемерья
Один перед другим не сбросим я и ты?
К чему служение преданиям попранным
И робость перед тем, что нам смешно давно,
Когда в грядущем мы живем обетованно,
Когда прошедшее отвергли мы давно?
Хотела б тщетно ты мольбою и слезами
Душе смирение и веру возвратить...
Молитва не дружна с безумными мечтами,
Страданьем гордости смиренья не купить...
И если б даже ты нашла покой обмана,
То верь, твоя душа, о гордый ангел мой,
Отринет вновь его... И поздно или рано —
Но мы пойдем опять страдать рука с рукой.

1845

* * *

Расстались мы — и встретимся ли снова,
И где и как мы встретимся опять,
То знает бог, а я отвык уж знать,
Да и мечтать мне стало нездорово...
Знать и не знать — ужель не всё равно?
Грядущее — неумолимо строго,
Как водится... Расстались мы давно,
И, зная то, я знаю слишком много...
Поверье то, что знание беда, —
Сбывается. Стареем мы прескоро
В наш скорый век. Так в ночь, от приговора,
Седеет осужденный иногда.

1845

ГОРОД

(Посвящается И. А. Манну)

Великолепный град! пускай тебя иной
    Приветствует с надеждой и любовью,
Кому не обнажен скелет печальный твой,
    Чье сердце ты еще не облил кровью

И страшным холодом не мог еще обдать,
И не сковал уста тяжелой думой,
И ранней старости не положил печать
На бледный лик, суровый и угрюмый.

Пускай мечтает он над светлою рекой
Об участи, как та река, широкой,
И в ночь прозрачную, любуяся тобой,
Дремотою смежить боится око,
И длинный столб луны на зыби волн следит,
И очи шлет к неведомым палатам,
Еще дивясь тебе, закованный в гранит
Гигант, больной гниеньем и развратом.

Пускай, по улицам углаженным твоим
Бродя без цели, с вечным изумленьем,
Еще на многих он встречающихся с ним
Подъемлет взор с немым благоговеньем
И видеть думает избранников богов,
Светил и глав младого поколенья,
Пока лицом к лицу не узрит в них глупцов
Или рабов презренных униженья.

Пускай, томительным снедаемый огнем,
Под ризою немой волшебной ночи,
Готов поверить он, с притворством незнаком,
В зовущие увлажненные очи,
Готов еще страдать о падшей красоте
И звать в ее объятьях наслажденье,
Пока во всей его позорной наготе
Не узрит он недуга истощенье.

Но я — я чужд тебе, великолепный град.
Ни тихих слез, ни бешеного смеха
Не вырвет у меня ни твой больной разврат,
Ни над святыней жалкая потеха.
Тебе уже ничем не удивить меня —
Ни гордостью дешевого безверья,
Ни коловратностью бессмысленного дня,
Ни бесполезной маской лицемерья.

Увы, столь многое прошло передо мной:
    До слез, до слез страдание смешное,
И не один порыв возвышенно-святой,
    И не одно великое земное
Судьба передо мной по ветру разнесла,
    И не один погиб избранник века,
И не одна душа за деньги продала
    Свою святыню — гордость человека.

И не один из тех, когда-то полных сил,
    Искавших жадно лучшего когда-то,
Благоразумно бред покинуть рассудил
    Или погиб добычею разврата;
А многие из них навеки отреклись
    От всех надежд безумных и опасных,
Спокойно в чьи-нибудь холопы продались
    И за людей слывут себе прекрасных.

Любуйся ж, юноша, на пышный, гордый град,
    Стремись к нему с надеждой и любовью,
Пока еще тебя не истощил разврат
    Иль гнев твое не обдал сердце кровью,
Пока еще тебе в божественных лучах
    Сияет всё великое земное,
Пока еще тебя не объял рабский страх
    Иль истощенье жалкое покоя.

1845 или 1846

* * *

Нет, не рожден я биться лбом,
Ни терпеливо ждать в передней,
Ни есть за княжеским столом,
Ни с умиленьем слушать бредни.
Нет, не рожден я быть рабом,
Мне даже в церкви за обедней
Бывает скверно, каюсь в том,
Прослушать августейший дом.

И то, что чувствовал Марат,
Порой способен понимать я,
И будь сам бог аристократ,
Ему б я гордо пел проклятья...
Но на кресте распятый бог
Был сын толпы и демагог.

1845 или 1846

ВСЕВЕДЕНЬЕ ПОЭТА

О, верь мне, верь, что не шутя
Я говорю с тобой, дитя.
Поэт — пророк, ему дано
Провидеть в будущем чужом.
Со всем, что для других темно,
Судьбы избранник, он знаком.
Ему неведомая даль
Грядущих дней обнажена,
Ему чужая речь ясна,
И в ней и радость, и печаль,
И страсть, и муки видит он,
Чужой подслушивает стон,
Чужой подсматривает взгляд,
И даже видит, говорят,
Как зарождается, растет
Души таинственный цветок,
И куклу — девочку зовет
К любви и жизни вечный рок,
Как тихо в девственную грудь
Любви вливается струя,
И ей от жажды бытия
Вольнее хочется вздохнуть,
Как жажда жизни на простор
Румянца рвется в ней огнем
И, утомленная, потом
Ей обливает влагой взор,
И как глядится в влаге той
Творящий душу дух иной...
И как он взглядом будит в ней
И призывает к бытию

На дне сокрытую змею,
Змею страданий и страстей —
Змею различия и зла...

Дитя, дитя, — ты так светла,
В груди твоей читаю я,
Как бездна, движется она,
Как бездна, тайн она полна,
В ней зарождается змея.

<1846>

ОЖИДАНИЕ

Тебя я жду, тебя я жду,
Сестра харит, подруга граций;
Ты мне сказала: «Я приду
Под сень таинственных акаций».
Облито влагой всё кругом,
Немеет всё в томленьи грезы,
Лишь в сладострастии немом
Благоуханьем дышат розы,
Да ключ таинственно журчит
Лобзаньем страстным и нескромным,
Да длинный луч луны дрожит
Из-за ветвей сияньем томным.

Тебя я жду, тебя я жду.
Нам каждый миг в блаженстве дорог;
Я внемлю жадно каждый шорох
И каждый звук в твоем саду.
Листы ли шепчутся с листами,
На тайный зов, на тихий зов
Я отвечать уже готов
Лобзаний жадными устами.
Сестра харит, — тебя я жду;
Ты мне сама, подруга граций,
Сказала тихо: «Я приду
Под сень таинственных акаций».

<1846>

В АЛЬБОМ В. С. М<ЕЖЕВИ>ЧА

Чредою быстрой льются годы, —
Но, боже мой, еще быстрей
И безвозвратней для людей
Проходят призраки свободы,
Надежды участи иной,
Теней воздушных легкий рой!

И вы — не правда ль? — вы довольно
На свете жили, чтобы знать,
Как что-то надобно стеснять
Порывы сердца добровольно,
Зане — увы! кто хочет жить,
Тот должен жизнь в себе таить!

Блажен, блажен, кто не бесплодно
В груди стремленья заковал,
Кто их, для них самих, скрывал;
Кто — их служитель благородный —
На свете мог хоть чем-нибудь
Означить свой печальный путь!

И вы стремились, вы любили
И часто, может быть, любя
Себя — от самого себя —
С сердечной болью вы таили! . .
И, верьте истины словам,
«По вере вашей будет вам!»

И пусть не раз святая вера
Была для вас потрясена,
Пусть жизнь подчас для вас полна
Страдания — награды мера!
И кто страданием святым
Страдал — тот возвеличен им!

Да! словом веры, божьим словом,
На новый жизни вашей год
Я вас приветствую! Пройдет

Для вас, я верю, он не в новом
Стремленьи — хоть одной чертой
Означить бедный путь земной!

26 февраля 1846

ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ

Прощай, холодный и бесстрастный,
Великолепный град рабов,
Казарм, борделей и дворцов,
С твоею ночью гнойно-ясной,
С твоей холодностью ужасной
К ударам палок и кнутов,
С твоею подлой царской службой,
С твоим тщеславьем мелочным,
С твоей чиновнической ... ,
Которой славны, например,
И Калайдович, и Лакьер,
С твоей претензией — с Европой
Идти и в уровень стоять...
Будь проклят ты, ... !

Февраль 1846

* * *

Когда колокола торжественно звучат
Иль ухо чуткое услышит звон их дальний,
Невольно думою печальною объят,
Как будто песни погребальной,
Веселым звукам их внимаю грустно я,
И тайным ропотом полна душа моя.

Преданье ль темное тайник взволнует груди,
Иль точно в звуках тех таится звук иной,
Но, мнится, колокол я слышу вечевой,
Разбитый, может быть, на тысячи орудий,
Властям когда-то роковой.

Да, умер он, давно замолк язык народа,
Склонившего главу под тяжкий царский кнут;
Но встанет грозный день, но воззовет свобода
 И камни вопли издадут,
И расточенный прах и кости исполина
Совокупит опять дух божий воедино.

И звучным голосом он снова загудит,
И в оный судный день, в расплаты час кровавый,
В нем новгородская душа заговорит
 Московской речью величавой...
И весело тогда на башнях и стенах
Народной вольности завеет красный стяг...

1 марта 1846
Москва

ЭЛЕГИИ

1

В час, когда утомлен бездействием душно-тяжелым
Или делом бесплодным — делом хуже безделья, —
Я под кров свой вхожу — и с какой-то тоской озираю
Стены, ложе да стол, на котором по глупой,
Старой, вечной привычке ищу поневоле глазами,
Нет ли вести какой издалёка, худой или доброй
Всё равно, лишь бы вести, и роюсь заведомо тщетно —
Так, чтоб рыться, — в бумагах...В час, когда
 обливает
Светом серым своим финская ночь комнату, — снова
Сердце болит и чего-то просит, хотя от *чего-то*
Я отрекся давно, заменил неизвестное что-то —
Глупое, сладкое что-то — суровым, холодно-
 печальным
Нечто... Пусть это нечто звучит душе одномерно,
Словно маятник старых часов, — зато для желудка
Это нечто здоро́вей... Чего тебе, глупое сердце?
Что за вестей тебе хочется? Знай себе, бейся
 ровнее,
Лучше будет, поверь... Вести о чем-нибудь малом,

Дурны ль они, хороши ль, только кровь понапрасну
волнуют.
Лучше жить без вестей, лучше, чтоб не было даже
И желаний о ком да о чем-нибудь знать. И чего же
Надо тебе, непокорное, гордое сердце, — само ты
Хочешь быть господином, а просишь всё уз да неволи,
Женской ласки да встречи горячей... За эти
Ласки да встречи — плохая расплата, не всё ли
Ты свободно любить, ничего не любя... не завидуй.
Бедное сердце больное — люби себе всё, или вовсе
Ничего не любя — от избытка любви одиноко,
Гордо, тихо страдай, да живи презрением вволю.

2

Будет миг... мы встретимся, это я знаю — недаром
Словно песня мучит меня недопетая часто
Облик тонко-прозрачный с больным лихорадки
румянцем,
С ярким блеском очей голубых... Мы встретимся —
знаю,
Знаю всё наперед, как знал я про нашу разлуку.
Ты была молода, от жизни ты жизни просила,
Злилась на свет и людей, на себя, на меня еще
злилась...
Злость тебе чудно пристала... но было бы трудно
ужиться
Нам обоим... упорно хотела ты верить надеждам
Мне назло да рассудку назло... А будет время иное,
Ты устанешь, как я, — усталые оба, друг другу
Руку мы подадим и пойдем одиноко по жизни
Без боязни измены, без мук душевных, без горя,
Да и без радости тоже — выдохшись поровну оба,
Мудрость рока сознавши. Дает он, чего мы не просим,
Сколько угодно душе — но опасно, поверь мне, опасно
И просить, и желать — за минуты мы платим
Дорого. Стоит ли свеч игра?.. И притом же
Рано иль поздно — устанем... Нельзя ж поцелуем
Выдохнуть душу одним... Догорим себе тихо,
Но, догорая, мой друг, в пламень единый сольемся.

3

Часто мне говоришь ты, склонясь темно-русой головкой,
Робко взор опустив, о грустном и тяжком бывалом.
Бедный, напуганный, грустный ребенок, о, верь мне:
Нас с тобою вполне сроднило крепко — паденье.
Если б чиста ты была — то, знай, никогда б головою
Гордой я не склонился к тебе на колени и страстно
Не прильнул бы ни разу к маленькой ножке устами.
Только тому я раб, над чем безгранично владею,
Только с тобою могу я себе самому предаваться,
Предаваясь тебе... Подними же чело молодое,
Руку дай мне и встань, чтобы мог я упасть пред тобою.

Май 1846

К ***

Была пора... В тебе когда-то,
Как и во многих, был готов
Я признавать по духу брата...
Еще тогда себя за злато
Не продал ты в рабы рабов.

Еще тогда тоской стремленья,
Тоскою общею томим,
Ты не чертил... *для примиренья*
Обычно-глупого теченья
Желаньям бешеным своим.

Была пора... но осквернили
Мы оба праздною враждой
Свое прошедшее, и ты ли,
Иль я был прав — мы оба были
Рабами глупости смешной.

И вновь мы встретилися оба,
Свела случайно нас судьба,
Давно ребяческая злоба
Прошла... но, видно, уж до гроба
Мы вечно будем два раба.

Боясь узнать один другого,
Стыдясь взаимной клеветы,
Из-за тщеславия пустого
Один другому руку снова
Не подадим — ни я, ни ты.

20 июля 1846

СТАРЫЕ ПЕСНИ, СТАРЫЕ СКАЗКИ

Посвящены С-е Г—е К.

1

Книга старинная, книга забытая,
Ты ли попалась мне вновь —
Глупая книга, слезами облитая,
В годы, когда, для любви не закрытая,
Душа понимала любовь!

С страниц пожелтелых, местами разорванных,
Что это веет опять?
Запах цветов ли, безвременно сорванных,
Звуки ли струн, в исступлении порванных,
Святой ли любви благодать?

Что бы то ни было, — книга забытая,
О, не буди, не тревожь
Муки заснувшие, раны закрытые...
Прочь твои пятна, годами не смытые,
И прочь твоя сладкая ложь!

Ждешь ли ты слез? Ожидания тщетные! —
Ты на страницах своих
Слез сохранила следы неисчетные;
Были то первые слезы, заветные,
Да что ж было проку от них?

В годы ли детства с моления шепотом,
Ночью ль бессонной потом,
Лились те слезы с рыданьем и ропотом, —
Что мне за дело? Изведан я опытом,
С надеждой давно незнаком.

Звать я на суд тебя, книга лукавая,
    Перед рассудком готов —
Ты содрогнешься пред ним как неправая:
Ты облила своей сладкой отравою
    Ряд даром прожитых годов...

2

В час томительного бденья,
В час бессонного страданья
О тебе мои моленья,
О тебе мои стенанья.

И тебя, мой ангел света,
Озарить молю я снова
Бедный путь — лучом привета,
Звуком ласкового слова.

Но на зов мой безответна —
Тишина и тьма ночная...
Безраздельна, беспредметна
Грусть бесплодная, больная!

Или то, что пережито,
Как мертвец, к стенаньям глухо,
Как эдем, навек закрыто
Для отверженного духа?

Отчего же сердце просит
Всё любви, не уставая,
И упорно память носит
Дней утраченного рая?

Отчего в часы томленья,
В ночь бессонную страданья
О тебе мои моленья,
О тебе мои стенанья?

3

Бывают дни... В усталой и разбитой
Душе моей огонь, под пеплом скрытый,
Надежд, желаний вспыхнет... Снова, снова
Больная грудь высоко подыматься,
И трепетать, и чувствовать готова,
И льются слезы... С ними жаль расстаться,
Так хороши и сладки эти слезы,
Так верится в несбыточные грезы.

Одной тебе, мой ангел, слезы эти,
Одной тебе... О, верь, ничто на свете
Не выжмет слез из глаз моих иное...
Пускай любви, пускай я воли жажду,
В спокойствие закован ледяное,
Внутри себя я радуюсь и стражду,
Но образ твой с очами голубыми
Встречаю я рыданьями глухими.

4

То летняя ночь, июньская ночь то была,
Когда они оба под старыми липами вместе бродили —
Казенная спутница страсти, по небу плыла
Луна неизбежная... Тихо листы говорили —
Всё было как следует, так, как ведется всегда,
Они только оба о вздоре болтали тогда.

Две тени большие, две тени по старой стене
За ними бежали и тесно друг с другом сливались.
И эти две тени большие — молчали оне,
Но, видно, затем, что давно уж друг другу сказались;
И чуть ли две тени большие в таинственный миг
Не счастливей были, умней чуть ли не были их.

Был вечер тяжелый и душный... и вьюга в окно
Стучала печально... в гостиной свеча нагорела —
Всё было так скучно, всё было так кстати темно —
Лицо ее ярким румянцем болезни алело;
Он был, как всегда, и насмешлив, и холодно зол,
Зевая, взял шляпу, зевая, с обычным поклоном ушел.

И только... Он ей не сказал на разлуку *прости,*
Комедией глупой не стал добиваться признанья,
И память неконченной драмы унес он в груди...
Он право хотел сохранить на хулу и роптанье —
И долго, и глупо он тешился праздной хулой,
Пока над ним тешился лучше и проще другой.

5

Есть старая песня, печальная песня одна,
И под сводом небесным давно раздается она.

И глупая старая песня — она надоела давно,
В той песне печальной поется всегда про одно.

Про то, как любили друг друга — человек и жена,
Про то, как покорно *ему* предавалась *она*.

Как часто дышала она тяжело-горячо,
Головою склоняяся тихо к нему на плечо.

И как божий мир им широк представлялся вдвоем,
И как трудно им было расставаться потом.

Как ему говорили: «Пускай тебя любит она —
Вы не пара друг другу», а ей: «Ты чужая жена!»

И как умирал он вдали изнурен, одинок,
А она изнывала, как сорванный с корня цветок.

Ту глупую песню я знаю давно наизусть,
Но — услышу ее — на душе безысходная грусть.

Та песня — всё к тем же несется она небесам,
Под которыми весело-любо свистать соловьям,

Под которыми слышен страстный шепот листов
И к которым восходят испаренья цветов.

И доколе та песня под сводом звучит голубым,
Благородной душе не склониться во прахе пред ним.

Но, высоко поднявши чело, на вражду, на борьбу,
Видно, звать ей надменно всегда лиходейку-судьбу.

6

Старинные, мучительные сны!
Как стук сверчка иль визг пилы железной,
Как дребезжанье порванной струны,
Как плач и вой о мертвом бесполезный,
Мне тягостны мучительные сны.

Зачем они так дерзко неотвязны,
Как ночи финские с их гнойной белизной, —
Зачем они терзают грудь тоской?
Зачем безумны, мутны и бессвязны,
Лишь прожитым одним они полны —
Те старые, болезненные сны?

И от души чего теперь им надо?
Им — совести бичам и выходцам из ада,
Со дна души подъявшимся змеям?
Иль больше нечего сосать им жадно там?
Иль жив доселе коршун Прометея,
Не разрешен с Зевесом старый спор,
И человек, рассеять дым не смея,
Привык лишь проклинать свой страшный приговор?

Или за миром призрачных явлений
Нам тщетно суждено, бесплодно жизнь губя,
Искать себя, искать тебя,
О разрушения зиждительного гений?
Пора, пора тебе, о демон мировой,
Разбить последние оплоты
И кончить весь расчет с дряхлеющей землей...

Уже совершены подземные работы,
Основы сущего подкопаны давно...
Давно создание творцом осуждено,
Чего ж ты ждешь еще?..
. . . .

Июль 1846

К ***

«Ты веришь в правду и в закон,
Скажи мне не шутя?»
— «Дитя мое, любовь — *закон,*
И *правда* — то, что я влюблен
В тебя, мое дитя».

— «Но в благородные мечты
Ты веришь или нет?»
— «Мой друг, ты лучше, чем мечты, —
Что благородней красоты?
В тебе самой ответ!»

— «Хотя в добро бы иль хотя б
В свободу верил ты?»
— «К чему, дитя мое? Тогда б
Я не был счастлив, не был раб
Любви и красоты».

— «Хотя бы в вечную любовь
Ты верить, милый, мог?»
— «Дитя мое! волна — любовь,
Волна с волной сойдется ль вновь —
То знает только бог!»

— «Ну, если так — то верь хоть в страсть,
Предайся ей вполне!»
— «Тебе ль не знать, что верю в страсть?
Но я, храня рассудка власть,
Блаженствую вдвойне!»

Август 1846

АРТИСТКЕ

Когда, как женщина, тиха
И величава, как царица,
Ты предстоишь рабам греха,
Искусства девственного жрица,

Как изваянье холодна,
Как изваянье, ты прекрасна,
Твое чело — спокойно-ясно;
Богов служенью ты верна.

Тогда тебе ненужны дани
Вперед заказанных цветов,
И выше ты рукоплесканий
Толпы упившихся рабов.

Когда ж и их восторг казенный
Расшевелит на грубый взрыв
Твой шепот, страстью вдохновленный,
Твой лихорадочный порыв,

Мне тяжело, мне слишком гадко,
Что эта страсти простота,
Что эта сердца лихорадка
И псами храма понята.

Октябрь 1846

* * *

С тайною тоскою,
Смертною тоской,
Я перед тобою,
Светлый ангел мой.

Пусть сияет счастье
Мне в очах твоих,
Полных сладострастья,
Томно-голубых.

Пусть душой тону я
В этой влаге глаз,
Всё же я тоскую
За обоих нас.

Пусть журчит струею
Детский лепет твой,
В грудь мою тоскою
Льется он одной.

Не тоской стремленья,
Не святой слезой,
Не слезой моленья —
Грешною хулой.

Тщетно на распятье
Обращен мой взор —
На устах проклятье,
На душе укор.

1846(?)

ТОПОЛЮ

Серебряный тополь, мы ровни с тобой,
Но ты беззаботно-кудрявой главой
Поднялся высоко; раскинул широкую тень
И весело шелестом листьев приветствуешь день.

Ровесник мой тополь, мы молоды оба равно
И поровну сил нам, быть может, с тобою дано —
Но всякое утро поит тебя божья роса,
Ночные приветно глядят на тебя небеса.

Кудрявый мой тополь, с тобой нам равно тяжело
Склонить и погнуть перед силою ветра чело...
Но свеж и здоров ты, и строен и прям,
Молись же, товарищ, ночным небесам!

6 июля 1847

АВТОРУ «ЛИДИИ» И «МАРКИЗЫ ЛУИДЖИ»

Кто б ни был ты, иль кто б ты ни была,
Привет тебе, мечтатель вдохновенный,
Хотя привет безвестный и смиренный
Не обовьет венцом тебе чела.
Вперед, вперед без страха и сомнений;
Темна стезя, но твой вожатый — гений!

Ты не пошел избитою тропой.
Не послужил ты прихоти печальной

Толпы пустой и мелочной,
Новейшей школы натуральной,
До пресыщенья не ласкал
Голядкина любезный идеал.

Но прожил ты, иль прожила ты много,
И много бездн душа твоя прошла,
И смутная живет в тебе тревога;
Величие добра и обаянье зла
Равно изведаны душой твоей широкой.
И образ Лидии, мятежной и высокой,
Не из себя ль самой она взяла?

Есть души предызбранные судьбою:
В добре и зле пределов нет для них;
Отмечен помысл каждый их
Какой-то силой роковою.
И им покоя нет, пока не изольют
Они иль в образы, иль в звуки
Свои таинственные муки.
Но их немногие поймут.
Толпе неясны их желанья,
Тоска их — слишком тяжела,
И слишком смутны ожиданья.

Пусть так! Кто б ни был ты, иль кто б ты ни была,
Вперед, вперед, хоть по пути сомнений,
Кто б ни был твой вожатый, дух ли зла,
Или любви и мира гений!

Декабрь 1848

ПОДРАЖАНИЯ

1

Песня в пустыне

Пускай не нам почить от дел
В день вожделенного покоя —
Еговы меч нам дан в удел,
Предуготованным для боя.

И бой, кровавый, смертный бой
Не утомит сынов избранья;
Во брани падших ждет покой
В святом краю обетованья.

Мы по пескам пустым идем,
Палимы знойными лучами,
Но указующим столпом
Егова сам идет пред нами.

Егова с нами — он живет,
И крепче каменной твердыни,
Несокрушим его оплот
В сердцах носителей святыни.

Мы ту святыню пронесли
Из края рабства и плененья —
Мы с нею долгий путь прошли
В смиренном чаяньи спасенья.

И в бой, кровавый, смертный бой
Вступить с врагами мы готовы:
Святыню мы несем с собой —
И поднимаем меч Еговы.

2

Проклятие

Да будет проклят тот, кто сам
Чужим поклонится богам
И — раб греха — послужит им,
Кумирам бренным и земным,
Кто осквернит Еговы храм
Служеньем идолам своим,
Или войдет, подобный псам,
С нечистым помыслом одним...
Господь отмщений, предков бог,
Ревнив, и яростен, и строг.

Да будет проклят тот вдвойне,
Кто с равнодушием узрит

Чужих богов в родной стране
И за Егову не отмстит,
Не препояшется мечом
На Велиаровых рабов,
Иль укоснит изгнать бичом
Из храма торжников и псов.
Господь отмщений, предков бог,
Ревнив, и яростен, и строг.

Да будет трижды проклят тот,
Да будет проклят в род и в род,
Кто слезы лить о псах готов,
Жалеть о гибели сынов:
Ему не свят святой Сион,
Не дорог Саваофа храм,
Не знает, малодушный, он,
Что нет в святыни части псам,
Что Адонаи, предков бог,
Ревнив, и яростен, и строг.

<1852>

ПОСЛАНИЕ К ДРУЗЬЯМ МОИМ
А. О., Е. Э. и Т. Ф.

В давно прошедшие века, «во время оно»
Спасенье (traditur[1]) сходило от Сиона...
И сам я молод был и верил в благодать,
Но наконец устал и веровать, и ждать,
И если жду теперь от господа спасенья,
Так разве в виде лишь огромного именья,
И то, чтоб мог иметь и право я, и власть
Хандрить и пьянствовать, избрать благую часть.
Теперь, друзья мои, и рад бы я, конечно,
Хандрить и пьянствовать, пожалуй, даже вечно,
Да бедность не велит... Как века сын прямой,
С самолюбивою родился я душой.
Мне в высшей степени бывает неприятно,
Когда меня хандра случайно посетит,

[1] Как передают (лат.). — *Ред.*

Услышать про себя: «Хандрит? Ну да! Хандрит!»
Он «домотался», вероятно.
Известно, отчего хандрит наш брат бедняк,
Известно, пьянствуя, он заливает горе,
Известно, пьяным всем нам *по колено море*.
Но я б хотел хандрить не так,
Хандрить прилично, благородно,
И равнодушно, и свободно...
Хандрить и пьянствовать! Ужель
Одну ты видишь в жизни цель,
Мне возразишь печально, строго
Ты ci-devant[1] социалист
И беспощадный атеист,
А ныне весь ушедший в бога,
Ф<илиппов> мой, кого на памяти моей
Во Ржеве развратил премудрый поп Матвей.
Хандрить и пьянствовать! Предвижу укреканья
Я даже от тебя, души моей кумир,
Полу <*нрзб*> полу-Шекспир,
Распутства с гением слепое сочетанье.
Хандрить и пьянствовать! Я знаю наперед,
Что мне по Бенеке опровергать начнет
Евгений Э<дельсон> печальное ученье
И сам для вящего напьется наставленья...

Начало 1850-х годов

ИСКУССТВО И ПРАВДА

Элегия-ода-сатира

> О, как мне хочется смутить веселье их
> И дерзко бросить им в лицо железный стих,
> Облитый горечью и злостью!
>
> *Лермонтов.*

1

Была пора: театра зала
То замирала, то стонала,
И незнакомый мне сосед
Сжимал мне судорожно руку,

[1] В недавнем прошлом (франц.). — *Ред.*

И сам я жал ему в ответ,
В душе испытывая муку,
Которой и названья нет.
Толпа, как зверь голодный, выла,
То проклинала, то любила...
Всесильно властвовал над ней
Могучий, грозный чародей.

Я помню бледный лик Гамлéта,
Тот лик, измученный тоской,
С печатью тайны роковой,
Тяжелой думы без ответа.
Я помню, как пред мертвецом
С окаменившимся лицом,
С бессмысленным и страшным взглядом,
Насквозь проникнут смертным хладом,
Стоял немой он... и потом
Разлился всем душевным ядом,
И слышал я, как он язвил,
В тоске больной и безотрадной,
Своей иронией нещадной
Всё, что когда-то он любил...
А он любил, я верю свято,
Офелию побольше брата!
Ему мы верили; одним
С ним жили чувством, дети века,
И было нам *за человека,*
За человека страшно с ним!

И помню я лицо иное,
Иные чувства прожил я:
Еще доныне предо мною
Тиран — гиена и змея,
С своей язвительной улыбкой,
С челом бесстыдным, с речью гибкой,
И безобразный, и хромой,
Ричард коварный, мрачный, злой.
Его я вижу с леди Анной,
Когда, как рая древний змей,
Он тихо в слух вливает ей
Яд обаятельных речей,

И сам над сей удачей странной
Хохочет долго смехом злым,
Идя поговорить с портным...
Я помню сон и пробужденье,
Блуждающий и дикий взгляд,
Пот на челе, в чертах мученье,
Какое знает только ад.
И помню, как в испуге диком
Он леденил всего меня
Отчаянья последним криком:
«Коня, полцарства за коня!»

Его у трупа Дездемоны
В нездешних муках я видал,
Ромео плач и Лира стоны
Волшебник нам передавал...
Любви ли страстной нежный шепот,
Иль корчи ревности слепой,
Восторг иль грусть, мольбу иль ропот —
Всё заставлял делить с собой...
В нескладных драмах Полевого,
Бывало, за него сидишь,
С благоговением молчишь
И ждешь: вот скажет два-три слова,
И их навеки сохранишь...
Мы Веронику с ним любили,
За честь сестры мы с Гюгом мстили,
И — человек уж был таков —
Мы терпеливо выносили,
Как в драме хвастал Ляпунов.

Угас волкан, окаменела лава...
Он мало жил, но много нам сказал,
Искусство в нем нам не была забава;
Страданием его повита слава...
Как Промифей, он пламень похищал,
Как Промифей, он был терзаем враном...
Действительность с сценическим обманом
Сливались так в душе его больной,
Что жил вполне он жизнию чужой
И верил сердца вымышленным ранам.

Он трагик был с людьми, с собой один,
Трагизма жертва, жрец и властелин.

Угас волкан, но были изверженья
Так страшны, что поддельные волненья
Не потрясут, не растревожат нас.
Мы *правду* в нашем трагике любили,
Трагизма *правду* с ним мы хоронили;
Застыла лава, лишь волкан погас.
Искусственные взрывы сердцу чужды,
И сердцу в них нет ни малейшей нужды,
Покойся ж в мире, старый властелин...
Ты был один, останешься один!

2

И вот, пришла пора другая...
Опять в театре стон стоит;
Полусмеясь, полурыдая,
На сцену вновь толпа глядит,
И с нею истина иная
Со сцены снова говорит.
Но эта правда не похожа
На правду прежнюю ничуть;
Она простее, но дороже,
Здоровей действует на грудь...
Дай ей самой здоровье, боже,
Пошли и впредь счастливый путь.

Поэт, глашатай правды новой,
Нас миром новым окружил
И новое сказал он слово,
Хоть правде старой послужил.
Жила та правда между нами,
Таясь в душевной глубине;
Быть может, мы ее и сами
Подозревали не вполне.
То в нашей песне благородной,
Живой, размашистой, свободной,
Святой, как наша старина,
Порой нам слышалась она,

То в полных доблестей сказаньях
О жизни дедов и отцов,
В святых обычаях, преданьях
И хартиях былых веков,
То в небалованности здравой,
В ума и чувства чистоте,
Да в чуждой хитрости лукавой
Связей и нравов простоте.

Поэта образы живые
Высокий комик в плоть облек...
Вот отчего теперь впервые
По всем бежит единый ток,
Вот отчего театра зала,
От верху до низу, одним
Душевным, искренним, родным
Восторгом вся затрепетала.
Любим Торцов пред ней живой
Стоит с поднятой головой,
Бурнус напялив обветшалый,
С растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но с русской, чистою душой.

Комедия ль в нем плачет перед нами,
Трагедия ль хохочет вместе с ним,
Не знаем мы и ведать не хотим!
Скорей в театр! Там ломятся толпами,
Там по душе теперь гуляет быт родной,
Там песня русская свободно, звонко льется,
Там человек теперь и плачет и смеется,
Там — целый мир, мир полный и живой...
И нам, простым, смиренным чадам века,
Не страшно — *весело теперь за человека!*
На сердце так тепло, так вольно дышит грудь,
Любим Торцов душе так прямо кажет путь!
Великорусская на сцене жизнь пирует,
Великорусское начало торжествует,
Великорусской речи склад
И в присказке лихой, и в песне игреливой,
Великорусский ум, великорусский взгляд —

Как Волга-матушка, широкий и гульливый!
Тепло, привольно, любо нам,
Уставшим жить болезненным обманом...

3

Театра зала вновь полна,
Партер и ложи блещут светом,
И речь французская слышна
Привыкших шаркать по паркетам.
Французский *n* произносить
Тут есть охотников немало
(Кому же обезьяной быть
Ума и сметки не ставало?).
Но не одни *бонтоны* тут:
Видна мужей ученых стая;
Похвальной ревностью пылая,
Они безмездно взяли труд
По всем эстетикам немецким
Втолковывать героям светским
Чтó есть трагизм и то и сё,
Корнель и *эдакое всё*...
Из *образованных* пришли
Тут два-три купчика в немецком
(Они во вкусе самом светском
Себе бинокли завели).

Но бросим шутки тон... Печально, не смешно —
Что слишком мало в нас достоинства, сознанья,
Что на эффекты нас поддеть не мудрено,
Что в нас не вывелся, бичеванный давно,
Дух рабского, слепого подражанья!
Пускай она талант, пусть гений! — дай бог ей!
Да нам *не ко двору* пришло ее искусство...
В нас слишком девственно, свежо и просто чувство,
Чтобы выкидывать *колена почудней.*

Пусть будет фальшь мила Европе старой
Или Америке беззубо-молодой,
Собачьей старостью больной...

Но наша Русь крепка. В ней много силы, жара;
И правду любит Русь, и правду понимать
Дана ей господом святая благодать;
И в ней одной теперь приют себе находит
Всё то, что человека благородит.

Пусть дети старые, чтоб праздный ум занять,
Хлам старых классиков *для штуки* воскрешают...
Но нам за ними лезть какая будет стать,
Когда иное нас живит и занимает?
Пускай боролися в недавни времена
И Лессинг там, и Шиллер благородный
С ходульностью (увы — как видится, бесплодно!) —
Но по натуре нам ходульность та смешна.

Я видел, как Рислей детей наверх бросает...
И больно видеть то, и тяжко было мне!
Я знаю, как Рашель по часу умирает,
И для меня вопрос о ней решен вполне!
Лишь в сердце истина: где нет живого чувства,
Там правды нет и жизни нет...
Там фальшь — не вечное искусство!

И пусть в восторге целый свет,
Но наши неуместны восхищенья.
У нас иная жизнь, у нас иная цель!
Америке с Европой мы — Рашель,
Столодвижение, иные ухищренья
(Игрушки, сродные их старческим летам)
Оставим... Пусть они оставят *правду* нам!

1854

* * *

За Вами я слежу давно
С горячим, искренним участьем,
И верю: будет Вам дано
Не многим ведомое счастье.
Лишь сохраните, я молю,
Всю чистоту души прекрасной
И взгляд на жизнь простой и ясный,
Всё то, за что я Вас люблю!

Первая половина 1850-х годов

ОТРЫВОК ИЗ НЕКОНЧЕННОГО СОБРАНИЯ САТИР

Я не поэт, а гражданин!

Сатиры смелый бич, заброшенный давно,
Валявшийся в пыли, я снова поднимаю:
Поэт я или нет — мне, право, всё равно,
Но язвы наших дней я сердцем понимаю.
Я сам на сердце их немало износил,
Я сам их жертвою и мучеником был.
Я взрос в сомнениях, в мятежных думах века,
И современного я знаю человека:
Как ни вертися он и как ни уходи,
Его уловкам я лукавым не поверю,
Но, обратясь в себя, их свешу и измерю
Всем тем, что в собственной творилося груди.
И, зная наизусть его места больные,
Я буду бить по ним с уверенностью злой
И нагло хохотать, когда передо мной
Драпироваться он в страдания святые,
В права проклятия, в идеи наконец,
Скрывая гордо боль, задумает, подлец...

23 августа 1855
Москва

БОРЬБА

1

Я ее не люблю, не люблю...
Это — сила привычки случайной!
Но зачем же с тревогою тайной
На нее я смотрю, ее речи ловлю?

Что мне в них, в простодушных речах
Тихой девочки с женской улыбкой?
Что в задумчиво-робко смотрящих очах
Этой тени воздушной и гибкой?

Отчего же — и сам не пойму —
Мне при ней как-то сладко и больно,
Отчего трепещу я невольно,
Если руку ее на прощанье пожму?

Отчего на прозрачный румянец ланит
Я порою гляжу с непонятною злостью
И боюсь за воздушную гостью,
Что, как призрак, она улетит.

И спешу насмотреться, и жадно ловлю
Мелодически-милые, детские речи;
Отчего я боюся и жду с нею встречи?..
Ведь ее не люблю я, клянусь, не люблю.

<1853, 1857>

2

Я измучен, истерзан тоскою...
Но тебе, ангел мой, не скажу
Никогда, никогда, отчего я,
Как помешанный, днями брожу.

Есть минуты, что каждое слово
Мне отрава твое и что рад
Я отдать всё, что есть дорогого,
За пожатье руки и за взгляд.

Есть минуты мучений и злобы,
Ночи стонов безумных таких,
Что, бог знает, не сделал чего бы,
Лишь упасть бы у ног у твоих.

Есть минуты, что я не умею
Скрыть безумия страсти своей...
О, молю тебя — будь холоднее,
И меня и себя пожалей!

<1857>

3

Я вас люблю... что делать — виноват!
Я в тридцать лет так глупо сердцем молод,
Что каждый ваш случайный, беглый взгляд
Меня порой кидает в жар и холод...

Борьба

XVIII

стихотворений

1846

[illegible]

[illegible]

I

*

А я ее не любил, не люблю
Это все привычкой случайной!
Но зачем же с тревогой тайной
На нее я смотрю, ее речи ловлю?

[illegible]

Отчего я ее — я сам не пойму —
Мне при ней так и сладко и больно?
От чего трепещу я невольно,
Если руку ее на прощанье пожму?

[illegible]

[illegible]
[illegible]
Нет, не люблю я, клянусь не люблю

—

II

Я встречал, не тревожась ответом
Ее взор, и твой легкий поклон
Никогда, никогда [illegible]
[illegible]
Если минуты, [illegible]
[illegible]

И в этом вы должны меня простить,
Тем более, что запретить любить
Не может власть на свете никакая;
Тем более, что, мучась и пылая,
Ни слова я не смею вам сказать
И принужден молчать, молчать, молчать!..

Я знаю сам, что были бы преступны
Признанья или смысла лишены:
Затем, что для меня вы недоступны,
Как недоступен рай для сатаны.
Цепями неразрывными окован,
Не смею я, когда порой, взволнован,
Измучен весь, к вам робко подхожу
И подаю вам руку на прощанье,
Сказать простое слово: до свиданья!
Иль, говоря, — на вас я не гляжу.

К чему они, к чему свиданья эти?
Бессонницы — расплата мне за них!
А между тем, как зверь, попавший в сети,
Я тщетно злюсь на крепость уз своих.
Я к ним привык, к мучительным свиданьям...
Я опиум готов, как турок, пить,
Чтоб муку их в душе своей продлить,
Чтоб дольше жить живым воспоминаньем...
Чтоб грезить ночь и целый день бродить
В чаду мечты, под сладким обаяньем
Задумчиво опущенных очей!
Мне жизнь темна без света их лучей.

Да... я люблю вас... так глубоко, страстно,
Давно... И страсть безумную свою
От всех, от вас особенно таю.
От вас, ребенок чистый и прекрасный!
Не дай вам бог, дитя мое, узнать,
Как тяжело любить такой любовью,
Рыдать без слов, метаться, ощущать,
Что кровь свинцом расплавленным, не кровью,
Бежит по жилам, рваться, проклинать,
Терзаться ночи, дни считать тревожно,

Бояться встреч и ждать их, жадно ждать;
Беречься каждой мелочи ничтожной,
Дрожать за каждый шаг неосторожный,
Над пропастью бездонною стоять
И чувствовать, что надо погибать,
И знать, что бегство больше невозможно.

<1857>

4

Опять, как бывало, бессонная ночь!
Душа поняла роковой приговор:
Ты Евы лукавой лукавая дочь,
Ни хуже, ни лучше ты прочих сестер.

Чего ты хотела?.. Чтоб вовсе с ума
Сошел я?.. чтоб всё, что кругом нас, забыл?
Дитя, ты сама б испугалась, сама,
Когда бы в порыве я искренен был.
Ты знаешь ли всё, что творилось со мной,
Когда не холодный, насмешливый взор,
Когда не суровость, не тон ледяной,
Когда не сухой и язвящий укор,
Когда я не то, что с отчаяньем ждал,
Во встрече признал и в очах увидал,
В приветно-тревожных услышал речах?
Я был уничтожен, я падал во прах...
Я падал во прах, о мой ангел земной,
Пред женственно-нежной души чистотой,
Я падал во прах пред тобой, пред тобой,
Пред искренней, чистой, глубокой, простой!
Я так тебя сам беззаветно любил,
Что бодрость мгновенно в душе ощутил,
И силу сковать безрассудную страсть,
И силу бороться, и силу не пасть.
Хоть весь в лихорадочном был я огне,
Но твердости воли достало во мне —
Ни слова тебе по душе не сказать,
И даже руки твоей крепче не сжать!
Зато человека, чужого почти,

Я встретил, как брата лишь встретить мог брат,
С безумным восторгом, кипевшим в груди...
По-твоему ж, был я умен невпопад.

Дитя, разве можно иным было быть,
Когда я не смею, невправе любить?
Когда каждый миг должен я трепетать,
Что завтра, быть может, тебя не видать,
Когда я по скользкому должен пути,
Как тать, озираясь, неслышно идти,
Бессонные ночи в тоске проводить,
Но бодро и весело в мир твой входить.
Пускай он доверчив, сомнений далек,
Пускай он нисколько не знает тебя...
Но сам в этот тихий земли уголок
Вхожу я с боязнью, не веря в себя.

А ты не хотела, а ты не могла
Понять, что творилось со мною в тот миг,
Что если бы воля мне только была,
Упал бы с тоской я у ног у твоих
И током бы слез, не бывалых давно,
Преступно-заглохшую душу омыл...
Мой ангел... так свято, глубоко, полно
Ведь я никого никогда не любил!..

При новой ты встрече была холодна,
Насмешливо-зла и досады полна,
Меня уничтожить хотела совсем...
И точно!.. Я был безоружен и нем.
Мне раз изменила лишь нервная дрожь,
Когда я в ответ на холодный вопрос,
На взгляд, где сверкал мне крещенский мороз, —
Борьба, так борьба! — думал грустно, — ну что ж!
И ты тоже Евы лукавая дочь,
Ни хуже, ни лучше ты прочих сестер.
И снова бессонная, длинная ночь, —
Душа поняла роковой приговор.

20 января 1847(?)

5

Oh! Qui que vous soyez,
jeune ou vieux, riche ou sage.

V. Hugo[1]

О! кто бы ни был ты, в борьбе ли муж созрелый
Иль пылкий юноша, богач или мудрец —
Но если ты порой ненастный вечер целый
Вкруг дома не бродил, чтоб ночью наконец,
Прильнув к стеклу окна, с тревожной лихорадкой
Мечтать, никем не зрим и в трепете, что вот
Ты девственных шагов услышишь шелест сладкий,
Что милой речи звук поймаешь ты украдкой,
Что за гардиною задернутой мелькнет
Хоть очерк образа неясным сновиденьем
И в сердце у тебя след огненный прожжет
Мгновенный метеор отрадным появленьем...

Но если знаешь ты по слуху одному
Иль по одним мечтам поэтов вдохновенных
Блаженство, странное для всех непосвященных
И непонятное холодному уму,
Блаженство мучиться любви палящей жаждой,
Гореть на медленном, томительном огне,
Очей любимых взгляд ловить случайный каждый,
Блаженство ночь не спать, а днем бродить во сне...

Но если никогда, печальный и усталый,
Ты ночь под окнами сиявшей ярко залы
Неведомых тебе палат не проводил,
Доколе музыка в палатах не стихала,
Доколь урочный час разъезда не пробил
И освещенная темнеть не стала зала;
Дыханье затаив и кутаясь плащом,
За двери прыгая, не ожидал потом,
Как отделяяся от пошлой черни светской,
Вся розово-светла, мелькнет она во мгле,
С усталостью в очах, с своей улыбкой детской,
С цветами смятыми на девственном челе...

---

[1] О, кто бы вы ни были, молодыми или старыми, богатыми или мудрыми. *В. Гюго* (франц.) — *Ред.*

Но если никогда ты не изведал муки,
Всей муки ревности, когда ее другой
Свободно увлекал в безумный вальс порой,
И обвивали стан ее чужие руки,
И под томительно-порывистые звуки
Обоих уносил их вихорь круговой,
А ты стоял вдали, ревнующий, несчастный,
Кляня веселый бал и танец сладострастный...

Но если никогда, в часы, когда заснет
С дворцами, башнями, стенами вековыми
И с колокольнями стрельчатыми своими
Громадный город весь, усталый от забот,
Под мрачным пологом осенней ночи темной,
В часы, как смолкнет всё и с башни лишь
огромной,
Покрытой сединой туманною веков,
Изборожденной их тяжелыми стопами,
Удары мерные срываются часов,
Как будто птицы с крыш неровными толпами;

В часы, когда на всё наляжет тишина,
В часы, когда, дитя безгрешное, она
Заснет под сенью крил хранителей незримых,
Ты, обессилевший от мук невыразимых,
В подушку жаркую скрываясь, не рыдал
И имя милое сто раз не повторял,
Не ждал, что явится она на зов мученья,
Не звал на помощь смерть, не проклинал
рожденья...

И если никогда не чувствовал, что взгляд,
Взгляд женщины, как луч таинственный сияя,
Жизнь озарил тебе, раскрыл все тайны рая;
Не чувствовал порой, что за нее ты рад,
За эту девочку, готовую смеяться
При виде жгучих слез иль мук твоих немых,
Колесования мученьям подвергаться, —
Ты не любил еще, ты страсти не постиг.

<1853, 1857>

6

Прости меня, мой светлый серафим,
Я был на шаг от страшного признанья;
Отдавшись снам обманчивым моим,
Едва я смог смирить в себе желанье
С рыданием упасть к ногам твоим.
Я изнемог в борьбе с безумством страсти,
Я позабыл, что беспощадно строг
Закон судьбы неумолимой власти,
Что мера мук и нравственных несчастий
Еще не вся исполнилась... Я мог
За звук один, за милый звук привета,
За робкий звук, слетевший с уст твоих
В доверчивый самозабвенья миг, —
Взять на душу тяжелый гнет ответа
Перед судом небесным и земным
В судьбе твоей, мой светлый серафим!
Мне снился сон далеких лет волшебный,
И речь младенчески приветная твоя
В больную грудь мне влагою целебной
Лилась, как животворная струя...
Мне грезилось, что вновь я молод и свободен...
Но если б я свободен даже был...
Бог и тогда б наш путь разъединил,
И был бы прав суровый суд господень!
Не мне удел с тобою был бы дан...
Я веком развращен, сам внутренне развратен;
На сердце у меня глубоких много ран
И несмываемых на жизни много пятен...
Пускай могла б их смыть одна слеза твоя, —
Ее не принял бы правдивый судия!

<1857>

7

Доброй ночи!.. Пора!
Видишь: утра роса небывалая там
Раскидала вдали озера...
И холмы поднялись островами по тем озерам.

Доброй ночи! .. Пора!
Посмотри: зажигается яркой каймой
На востоке рассвета заря...
Как же ты хороша, освещенная утра зарей!

Доброй ночи! .. Пора!
Слышишь утренний звон с колоколен церквей;
Тени ночи спешат до утра,
До урочного часа вернуться в жилище теней...

Доброй ночи! .. Засни.
Ночи тайные гости боятся росы заревой,
До луны не вернутся они...
Тихо спи, освещенная розовой утра зарей.

1843, <1857>

8

Вечер душен, ветер воет,
Воет пес дворной;
Сердце ноет, ноет, ноет,
Словно зуб больной.

Небосклон туманно-серый,
Воздух так сгущен...
Весь дыханием холеры,
Смертью дышит он.

Всё одна другой страшнее
Грезы предо мной;
Всё слышнее и слышнее
Похоронный вой.

Или нервами больными
Сон играет злой?
Но запели: «Со святыми, —
Слышу, — упокой!»

Всё сильнее ветер воет,
В окна дождь стучит...
Сердце ломит, сердце ноет,
Голова горит!

Вот с постели поднимают,
Вот кладут на стол...
Руки бледные сжимают
На груди крестом.

Ноги лентою обвили,
А под головой
Две подушки положили
С длинной бахромой.

Тёмно, тёмно... Ветер воет...
Воет где-то пес...
Сердце ноет, ноет, ноет...
Хоть бы капля слез!

Вот теперь одни мы снова,
Не услышат нас...
От тебя дождусь ли слова
По душе хоть раз?

Нет! навек сомкнула вежды,
Навсегда нема...
Навсегда! и нет надежды
Мне сойти с ума!

Говори, тебя молю я,
Говори теперь...
Тайну свято сохраню я
До могилы, верь.

Я любил тебя такою
Страстию немой,
Что хоть раз ответа стою...
Сжалься надо мной.

Не сули мне счастье встречи
В лучшей стороне...
Здесь — хоть звук бывалой речи
Дай услышать мне.

Взгляд один, одно лишь слово...
Холоднее льда!
Боязлива и сурова
Так же, как всегда!

Ночь темна и ветер воет,
Глухо воет пес...
Сердце ломит, сердце ноет!..
Хоть бы капля слез!..

<1857>

9

«Надежду!» — тихим повторили эхом
Брега, моря, дубравы... и не прежде
Конрад очнулся. «Где я? — с диким смехом
Воскликнул он. — Здесь слышно о надежде!
Но что же песня?.. Помню без того я
Твое, дитя, счастливое былое...
Три дочери у матери вас было,
Тебе судьба столь многое сулила...
Но горе к вам, цветы долины, близко:
В роскошный сад змея уже проникла,
И всё, чего коснулась грудью склизкой,
Трава ль, цветы ль — краса и прелесть сада, —
Всё высохло, поблекло и поникло,
И замерло, как от дыханья хлада...
О, да! стремись к минувшему мечтою,
Припоминай те дни, что над тобою
Неслись доселе б весело и ясно,
Когда б... молчишь?.. Запой же песнь проклятья:
Я жду ее, я жду слезы ужасной,
Что и гранит прожечь, упавши, может...
На голову ее готов принять я:
Пусть падает, пускай палит чело мне,
Пусть падает! Пусть червь мне сердце гложет,
И пусть я всё минувшее припомню
И всё, что ждет в аду меня, узнаю!»

— «Прости, прости! я виновата, милый!
Пришел ты поздно, ждать мне грустно было:

Невольно песнь какая-то былая...
Но прочь ее!.. Тебя ли упрекну я?
С тобой, о мой желанный, прожила я
Одну минуту... но и той одною
Не поменялась бы с людской толпою
На долгий век томлений и покоя...
Сам говорил ты, что судьба людская
Обычная — судьба улиток водных:
На мутном дне печально прозябая,
В часы одних волнений непогодных,
Однажды в год, быть может, даже реже,
Наверх они, на вольный свет проглянут,
Вдохнут в себя однажды воздух свежий,
И вновь на дно своей могилы канут...
Не для такой судьбы сотворена я:
Еще в отчизне, девочкой, играя
С толпой подруг, о чем-то я, бывало,
Вздыхала тайно, смутно тосковала...
Во мне тревожно сердце трепетало!
Не раз, от них отставши, я далеко
На холм один взбегала на высокой
И, стоя там, просила со слезами,
Чтоб божьи пташки по перу мне дали
Из крыл своих — и, размахнув крылами,
Порхнула б я к небесной синей дали...
С горы бы я один цветок с собою,
Цвет незабудки унесла, высоко
За тучи, с их пернатою толпою
Помчалася — и в вышине далекой
Исчезла!.. Ты, паря над облаками,
Услышал сердца пылкое желанье
И, обхватив орлиными крылами,
Унес на небо слабое созданье!
И пташек не завидую я доле...
Куда лететь? исполнено не всё ли,
Чего просили сердца упованья?
Я божье небо в сердце ощутила,
Я человека на земле любила!»

<1857>

10

Прощай, прощай! О, если б знала ты,
Как тяжело, как страшно это слово...
От муки разорваться грудь готова,
А в голове больной бунтуют снова
Одна другой безумнее мечты.

Я гнал их прочь, обуздывая властью
Моей любви глубокой и святой;
В борьбу и в долг я верил, веря счастью;
Из тьмы греха исторгнут чистой страстью,
Я был царем над ней и над собой.

Я, мучася, ревнуя и пылая,
С тобою был спокоен, чист и тих,
Я был с тобою свят, моя святая!
Я не роптал — главу во прах склоняя,
Я горько плакал о грехах своих.

Прощай! прощай!.. Вновь осужден узнать я
На тяжкой жизни тяжкую печать
Не смытого раскаяньем проклятья...
Но, испытавший сердцем благодать, я
Теперь иду безропотно страдать.

<1857>

11

Ничем, ничем в душе моей
Заветной веры ты не сгубишь...
Ты можешь полюбить сильней,
Но так легко ты не разлюбишь.
Мне вера та — заветный клад,
Я обхватил его руками...
И, если руки изменят,
Вопьюсь в безумии зубами.
Та вера — жизнь души моей,
Я даром не расстанусь с ней.

Тебя любил я так смиренно,
Так глубоко и так полно,

Как жизнью новой озаренной
Душе лишь раз любить дано.
Я всё, что в сердце проникало
Как мира высшего отзыв,
Что ум восторгом озаряло, —
Передавал тебе, бывало,
И ты на каждый мой порыв
Созвучьем сердца отвечала.

Как в книге, я привык читать
В душе твоей и мог по воле
Всем дорогим мне наполнять
Страницы, белые дотоле.
И с тайной радостью следил,
Как цвет и плод приносит ныне
То, что вчера я насадил
В заветной, девственной святыне.

Я о любви своей молчал,
Ее таил, как преступленье...
И жизни строгое значенье
Перед тобой разоблачал.
А всё же чувствовали сами
Невольно оба мы не раз,
Что душ таинственная связь
Образовалась между нами.
Тогда... хотелось мне упасть
К твоим ногам в порыве страсти...
Но сила непонятной власти
Смиряла бешеную страсть.

Нет! Не упал бы я к ногам,
Не целовал бы след твой милый,
Храня тебя, хранимый сам
Любви таинственною силой...
Один бы взгляд, один бы звук,
Одно лишь искреннее слово —
И бодро я пошел бы снова
В путь одиночества и мук.

Но мы расстались без прощанья,
С тоской суровой и немой,

И в час случайного свиданья
Сошлись с холодностью сухой;
Опущен взгляд, и чинны речи,
Рука как мрамор холодна...
А я, безумный, ждал той встречи,
Я думал, мне простит она
Мою тоску, мои мученья,
Невольный ропот мне простит
И вновь в молитву обратит
Греховный стон ожесточенья!

<1857>

12

Мой ангел света! Пусть перед тобою
Стихает всё, что в сердце накипит;
Немеет всё, что без тебя порою
Душе тревожной речью говорит.

Ты знаешь всё... Когда благоразумной,
Холодной речью я хочу облечь,
Оледенить души порыв безумный —
Лишь для других не жжется эта речь!

Ты знаешь всё... Ты опускаешь очи,
И долго их не в силах ты поднять,
И долго ты темней осенней ночи,
Хоть никому тебя не разгадать.

Один лишь я в душе твоей читаю,
Непрошенный, досадный чтец порой...
Ты знаешь всё... Но я, я также знаю
Всё, что живет в душе твоей больной.

И я и ты равно друг друга знаем,
А между тем наедине молчим,
И я и ты — мы поровну страдаем
И скрыть равно страдание хотим.

Не видясь, друг о друге мы не спросим
Ни у кого, хоть спросим обо всем;
При встрече взгляда лишнего не бросим,
Руки друг другу крепче не пожмем.

В толпе ли шумной встретимся с тобою,
Под маскою ль подашь ты руку мне —
Нам тяжело идти рука с рукою,
Как тяжело нам быть наедине.

И чинны ледяные наши речи,
Хоть, кажется, молчать нет больше сил,
Хоть так и ждешь, что в миг подобной встречи
Всё выскажешь, что на сердце таил.

А между тем, и ты и я — мы знаем,
Что мучиться одни осуждены,
И чувствуем, что поровну страдаем,
На жизненном пути разделены.

Молились мы молитвою единой,
И общих слез мы знали благодать:
Тому, кто раз встречался с половиной
Своей души, — иной не отыскать!

<1857>

13

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!

Вон там звезда одна горит
Так ярко и мучительно,
Лучами сердце шевелит,
Дразня его язвительно.

Чего от сердца нужно ей?
Ведь знает без того она,
Что к ней тоскою долгих дней
Вся жизнь моя прикована...

И сердце ведает мое,
Отравою облитое,
Что я впивал в себя ее
Дыханье ядовитое...

Я от зари и до зари
    Тоскую, мучусь, сетую...
Допой же мне — договори
    Ты песню недопетую.

Договори сестры твоей
    Все недомолвки странные...
Смотри: звезда горит ярчей...
    О, пой, моя желанная!

И до зари готов с тобой
    Вести беседу эту я...
Договори лишь мне, допой
    Ты песню недопетую!

<1857>

14

Цыганская венгерка

Две гитары, зазвенев,
    Жалобно заныли...
С детства памятный напев,
    Старый друг мой — ты ли?

Как тебя мне не узнать?
На тебе лежит печать
    Буйного похмелья,
    Горького веселья!

Это ты, загул лихой,
Ты — слиянье грусти злой
С сладострастьем баядерки —
    Ты, мотив венгерки!

Квинты резко дребезжат,
    Сыплют дробью звуки...
Звуки ноют и визжат,
    Словно стоны муки.

И до сих пор топчет со злобой
Всё мою бедную душу...
Пусть [illegible] — дорогой
[illegible] подачкою!

Венгерка

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли...
С детства памятный напев,
Старый друг мой, ты ли?

Как тебя мне не узнать?
На тебе лежит печать
Буйного похмелья,
Горького веселья!

Это ты — загул лихой,
Ты, слиянье грусти злой
С сладострастьем баядерки.
Ты — мотив венгерки!

Квинты резко дребезжат,
Сыплют дробью звуки...
Звуки ноют и визжат,
Словно стоны муки!

Что за горе! плачь да пой,
Ты завейся, завей
Веревочкой горе,
Топи тоску во море

Вот проходка по баскам
С удалью небрежной,
А за нею звон и гам
Буйный и мятежный... и...

Перебор... и квинта вновь
Ноет-завывает
Приливает к сердцу кровь,
Голова пылает

Чибиряк-чибиряк-чибиряшечка
С голубыми ты глазками, моя душечка!

Что за горе? Плюнь, да пей!
Ты завей его, завей
Веревочкой горе!
Топи тоску в море!

Вот проходка по баскам
С удалью небрежной,
А за нею — звон и гам
Буйный и мятежный.

Перебор... и квинта вновь
Ноет-завывает;
Приливает к сердцу кровь,
Голова пылает.

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка!

Замолчи, не занывай,
Лопни, квинта злая!
Ты про них не поминай...
Без тебя их знаю!
В них хоть раз бы поглядеть
Прямо, ясно, смело...
А потом и умереть —
Плевое уж дело.
Как и вправду не любить?
Это не годится!
Но, что сил хватает жить,
Надо подивиться!
Соберись и умирать,
Не придет проститься!
Станут люди толковать:
Это не годится!
Отчего б не годило́сь,
Говоря примерно?
Значит, просто всё хоть брось...
Оченно уж скверно!
Доля ж, доля ты моя,
Ты лихая доля!
Уж тебя сломил бы я,
Кабы только воля!

Уж была б она моя,
    Крепко бы любила...
Да лютая та змея,
    Доля, — жизнь сгубила.
По рукам и по ногам
    Спутала-связала,
По бессонным ночам
    Сердце иссосала!
Как болит, то ли болит,
    Болит сердце — ноет...
Вот что квинта говорит,
    Что басок так воет.

. . . .
. . . .

Шумно скачут сверху вниз
    Звуки врассыпную,
Зазвенели, заплелись
    В пляску круговую.
Словно табор целый здесь,
    С визгом, свистом, криком
Заходил с восторгом весь
    В упоеньи диком.
Звуки шепотом журчат
    Сладострастной речи...
Обнаженные дрожат
    Груди, руки, плечи.
Звуки все напоены
    Негою лобзаний.
Звуки воплями полны
    Страстных содроганий...
Ба́сан, ба́сан, басана́,
Басана́та, басана́та,
Ты другому отдана
Без возврата, без возврата...
Что за дело? ты моя!
Разве любит он, как я?
    Нет — уж это дудки!
Доля злая ты моя,
    Глупы эти шутки!
Нам с тобой, моя душа,
    Жизнью жить одною,

Жизнь вдвоем так хороша,
Порознь — горе злое!
Эх ты, жизнь, моя жизнь...
К сердцу сердцем прижмись!
На тебе греха не будет,
А меня пусть люди судят,
Меня бог простит...

Что же ноешь ты, мое
Ретиво сердечко?
Я увидел у нее
На руке колечко!..
Ба́сан, ба́сан, басана́,
Басана́та, басана́та!
Ты другому отдана
Без возврата, без возврата!
Эх-ма, ты завей
Веревочкой горе...
Загуляй да запей,
Топи тоску в море!
Вновь унылый перебор,
Звуки плачут снова...
Для чего немой укор?
Вымолви хоть слово!
Я у ног твоих — смотри —
С смертною тоскою,
Говори же, говори,
Сжалься надо мною!
Неужель я виноват
Тем, что из-за взгляда
Твоего я был бы рад
Вынесть муки ада?
Что тебя сгубил бы я,
И себя с тобою...
Лишь бы ты была моя,
Навсегда со мною.
Лишь не знать бы только нам
Никогда, ни здесь, ни там
Расставанья муки...
Слышишь... вновь бесовский гам,
Вновь стремятся звуки...

В безобразнейший хаос
Вопля и стенанья
Всё мучительно слилось.
Это — миг прощанья.
Уходи же, уходи,
Светлое виденье!..
У меня огонь в груди
И в крови волненье.
Милый друг, прости-прощай,
Прощай — будь здорова!
Занывай же, занывай,
Злая квинта, снова!
Как от муки завизжи,
Как дитя от боли,
Всею скорбью дребезжи
Распроклятой доли!
Пусть больнее и больней
Занывают звуки,
Чтобы сердце поскорей
Лопнуло от муки!

<1857>

15

Будь счастлива... Забудь о том, что было,
Не отравлю я счастья твоего,
Не вспомяну, как некогда любила,
Как некогда для сердца моего
Твое так безрассудно сердце жило.

Не вспомяну... что было, то прошло...
Пусть светлый сон души рассеять больно,
Жизнь лучше снов — гляди вперед светло.
Безумством грез нам тешиться довольно.
Отри слезу и подними чело.

К чему слеза? раскаянье бесплодно...
Раскаянье — удел души больной,
Твое же сердце чисто и свободно,
И пусть мое измучено борьбой,
Но понесет свой жребий благородно...

О, полюби, коль можешь ты, опять,
Люби сильней и глубже, чем любила...
Не дай лишь сердца силам задремать,
Живым душам бесстрастие — могила,
А на твоей — избрания печать.

Будь счастлива... В последний раз мне руку
Свою подай; прижав ее к устам,
Впервые и на вечную разлуку
В лобзаньи том тебе я передам
Души своей безвыходную муку.

В последний раз натешу сердце сном,
Отдамся весь обманчивому счастью,
В последний раз в лобзании одном
Скажусь тебе всей затаенной страстью
И удалюсь в страдании немом.

И никогда, ни стоном, ни мольбою,
Не отравлю покоя твоего...
Я требую всего, иль ничего...
Прости, прости! да будет бог с тобою!

<1857>

16

В час томительного бденья,
В ночь бессонного страданья
За тебя мои моленья,
О тебе мои страданья!

Всё твои сияют очи
Мне таинственным приветом,
Если звезды зимней ночи
Светят в окна ярким светом.
Тесно связанный с тобою,
Возникает мир бывалый,
Вновь таинственной мечтою
Он звучит душе усталой.
Вереницей ряд видений
Призван к жизни странной властью:

Неотвязчивые тени
С неотвязчивою страстью!

Пред душевными очами
Вновь развернут свиток длинный...
Вот с веселыми жильцами
Старый дом в глуши пустынной,
Вот опять большая зала
Пред моим воспоминаньем,
Облитая, как бывало,
Бледных сумерек мерцаньем;
И старик, на спинку кресел
Головой склонясь седою,
О бывалом, тих и весел,
Говорит опять со мною;
Скорой смерти приближенье
Он встречает беззаботно.
От него и поученье
Принимаешь так охотно!

И у ног его склоняся,
Вся полна мечты случайной,
Ты впервые отдалася
Грез волшебных силе тайной,
Бледных сумерек мерцанью
Простодушно доверяясь,
Подчинилась обаянью,
Не лукавя, не пугаясь,
Ты мне долго смотришь в очи,
Смотришь кротко и приветно,
Позабыв, что лунной ночи
Свет подкрался незаметно,
Что в подобные мгновенья
Ясно всё без разговора,
Что таится преступленье
Здесь в одном обмене взора.

О ребенок! ты не знала,
Что одним приветным взглядом
Ты навеки отравляла
Жизнь чужую сладким ядом.

Так меня воспоминанья
В ночь бессонную терзают,
И тебя мои стенанья
Снова тщетно призывают,
И тебя, мой ангел света,
Озарить молю я снова
Грустный путь лучом привета,
Звуком ласкового слова...

Но мольбы и стоны тщетны:
С неба синего сверкая,
Звезды хладно-безответны,
Безответна ночь глухая.

Только сердце страшно ноет,
Вызывая к жизни тени,
Да собака дико воет,
Чуя близость привидений.

<1857>

17

Благословение да будет над тобою,
Хранительный покров святых небесных сил,
Останься навсегда той чистою звездою,
Которой луч мне мрак душевный осветил.

А я сознал уже правдивость приговора,
Произнесенного карающей судьбой
Над бурной жизнию, не чуждою укора, —
Под правосудный меч склонился головой.

Разумен строгий суд, и вопли бесполезны,
Я стар, как грех, а ты, как радость, молода,
Я долго проходил все развращенья бездны,
А ты еще светла, и жизнь твоя чиста.

Суд рока праведный душа предузнавала,
Недаром встреч с тобой боялся я искать:
Я должен был бежать, бежать еще сначала,
Привычке вырасти болезненной не дать.

Но я любил тебя... Твоею чистотою
Из праха поднятый, с тобой был чист и свят,
Как только может быть с любимою сестрою
К бесстрастной нежности привыкший с детства
брат.

Когда наедине со мною ты молчала,
Поняв глубокою, хоть детскою душой,
Какая страсть меня безумная терзала,
Я речь спокойную умел вести с тобой.

Душа твоя была мне вверенной святыней,
Благоговейно я хранить ее умел...
Другому вверено хранить ее отныне,
Благословен ему назначенный удел.

Благословение да будет над тобою,
Хранительный покров святых небесных сил,
Останься лишь всегда той чистою звездою,
Которой краткий свет мне душу озарил!

<1857>

18

О, если правда то, что помыслов заветных
Возможен и вдали обмен с душой родной...
Скажи: ты слышала ль моих призывов тщетных
Безумный стон в ночи глухой?

Скажи: ты знала ли, какою скорбью лютой
Терзается душа разбитая моя,
Ты слышала ль во сне иль наяву минутой,
Как проклинал и плакал я?

Ты слышала ль порой рыданья, и упреки,
И зов по имени, далекий ангел мой?
И между строк для всех порой читала ль строки,
Незримо полные тобой?

И поняла ли ты, что жар и сила речи,
Что всякий в тех строках заветнейший порыв
И правда смелая — всё нашей краткой встречи
Неумолкающий отзыв?

Скажи: ты слышала ль? Скажи: ты поняла ли?
Скажи — чтоб в жизнь души я верить мог вполне
И знал, что светишь ты из-за туманной дали
Звездой таинственною мне!

<1857>

ТИТАНИИ

Посвящение перевода комедии «Сон в летнюю ночь» Шекспира

1

Титания! пусть вечно над тобой
Подруги-сильфы светлые кружатся,
Храня тебя средь суеты дневной,
Когда легко с толпой душе смешаться,

Баюкая в безмолвный час ночной,
Как тихим сном глаза твои смежатся.
Зачем не я твой дух сторожевой?
Есть грезы... Им опасно отдаваться.

Их чары сильны обаяньем зла,
Тревожными стремленьями куда-то;
Не улетай за ними, сильф крылатый,
Сияй звездой, спокойна и светла,

В начертанном кругу невозмутима,
Мучительно, но издали любима!

2

Титания! недаром страшно мне:
Ты, как дитя, капризно-прихотлива,
Ты слишком затаенно-молчалива
И, чистый дух, — ты женщина вполне.

Перед тобой покорно, терпеливо
Душа чужая в медленном огне
Сгорала годы, мучась в тишине...
А ты порой — беспечно-шаловливо

Шутила этой страстию немой,
Измученного сердца лучшим кладом,
Блаженных грез последнею зарей;
Порою же глубоким, грустным взглядом,

Душевным словом ты играть могла...
Титания! Ужели ты лгала?

3

Титания! я помню старый сад
И помню ночь июньскую. Равниной
Небесною, как будто зауряд,
Плыла луна двурогой половиной.

Вы шли вдвоем... Он был безумно рад
Всему — луне и песне соловьиной!
Вдруг господин... припомни только: вряд
Найдется столько головы ослиной

Достойный... Но Титания была
Титанией; простая ль шалость детства,
Иль прихоть безобразная пришла
На мысли ей, — осел ее кокетства

Не миновал. А возвратясь домой,
Как женщина, в ту ночь рыдал другой.

4

Титания! из-за туманной дали
Ты всё, как луч, блестишь в мечтах моих,
Обвеяна гармонией печали,
Волшебным ароматом дней иных.

Ему с тобою встретиться едва ли;
Покорен безнадежно, скорбно-тих,
Велений не нарушит он твоих,
О, чистый дух с душой из крепкой стали!

Он понял всё, он в жизнь унес с собой
Сокровище, заветную святыню:

Порыв невольный, взор тоски немой,
Слезу тайком... Засохшую пустыню

Его души, как божия роса,
Увлажила навек одна слеза.

5

Да, сильны были чары обаянья
И над твоей, Титания, душой, —
Сильней судьбы, сильней тебя самой!
Как часто против воли и желанья

Ты подчинялась власти роковой!
Когда, не в силах вынести изгнанья,
Явился он последнего свиданья
Испить всю горечь, грустный и больной,

С проклятием мечтаньям и надежде —
В тот мирный уголок, который прежде
Он населял, как новый Оберон,
То мрачными, то светлыми духами,

Любимыми души своей мечтами, —
Всё, всё в тебе прочел и понял он.

6

Титания! не раз бежать желала
Ты с ужасом от странных тех гостей,
Которых власть чужая призывала
В дотоле тихий мир души твоей:

От новых чувств, мечтаний, дум, идей!
Чтоб нá землю из царства идеала
Спуститься, часто игры детских дней
Ты с сильфами другими затевала.

А он тогда, безмолвен и угрюм,
Сидел в углу и думал: для чего же
Бессмысленный, несносный этот шум
Она затеяла?.. Бессмыслен тоже

И для нее он: лик ее младой
Всё так же тайной потемнен тоской.

7

Титания! прости навеки. Верю,
Упорно верить я хочу, что ты —
Слиянье прихоти и чистоты,
И знаю: невозвратную потерю

Несет он в сердце; унеслись мечты,
Последние мечты — и рая двери
Навек скитальцу-другу заперты.
Его скорбей я даже не измерю

Всей бездны. Но горячею мольбой
Молился он, чтоб светлый образ твой
Сиял звездой ничем не помраченной,
Чтоб помысл и о нем в тиши бессонной

Святыни сердца возмутить не мог,
Которое другому отдал бог.

<1857>

* * *

Хоть тихим блеском глаз, улыбкой, тоном речи
Вы мне напомнили одно из милых лиц
Из самых близких мне в гнуснейшей из столиц...
Но сходство не было так ярко с первой встречи...
Нет — я к вам бросился, заслыша первый звук
На языке родном раздавшийся нежданно...
Увы! речь женская доселе постоянно,
Как электричество, меня пробудит вдруг...
Мог ошибиться я... нередко так со мною
Бывало — и могло в сей раз законно быть...
Что я не облит был холодною водою
Кого за то: судьбу иль вас благодарить?

6 декабря 1857
Флоренция

ИМПРОВИЗАЦИИ СТРАНСТВУЮЩЕГО РОМАНТИКА

1

Больная птичка запертáя,
В теплице сохнущий цветок,
Покорно вянешь ты, не зная,
Как ярок день и мир широк,

Как небо блещет, страсть пылает,
Как сладко жить с толпой порой,
Как грудь высоко подымает
Единство братское с толпой.

Своею робостию детской
Осуждена заглохнуть ты
В истертой жизни черни светской.
Гони же грешные мечты,

Не отдавайся тайным мукам,
Когда лукавый жизни дух
Тебе то образом, то звуком
Волнует грудь и дразнит слух!

Не отдавайся... С ним опасно,
Непозволительно шутить...
Он сам живет и учит жить
Полно, широко, вольно, страстно!

25 января 1858

2

Твои движенья гибкие,
Твои кошачьи ласки,
То гневом, то улыбкою
Сверкающие глазки...
То лень в тебе небрежная,
То — прыг! поди лови!
И дышит речь мятежная
Всей жаждою любви.

Тревожная загадочность
И ледяная чинность,

То страсти лихорадочность,
То детская невинность,
То мягкий и ласкающий
Взгляд бархатных очей,
То холод ужасающий
Язвительных речей.

Любить тебя — мучение,
А не любить — так вдвое...
Капризное творение,
Я полон весь тобою.
Мятежная и странная —
Морская ты волна,
Но ты, моя желанная,
Ты киской создана.

И пусть под нежной лапкою
Кошачьи когти скрыты —
А всё ж тебя в охапку я
Схватил бы, хоть пищи ты...
Что хочешь, делай ты со мной,
Царапай лапкой больно,
У ног твоих я твой, я твой —
Ты киска — и довольно.

Готов я все мучения
Терпеть, как в стары годы,
От гибкого творения
Из ко́шачьей породы.
Пусть вечно когти разгляжу,
Лишь подойду я близко.
Я по тебе с ума схожу,
Прелестный друг мой — киска!

6(18) февраля 1858
Città dei Fiori

3

Глубокий мрак, но из него возник
Твой девственный, болезненно-прозрачный
И дышащий глубокой тайной лик...

Глубокий мрак, и ты из бездны мрачной
Выходишь, как лучи зари, светла;
Но связью страшной, неразрывно-брачной

С тобой навеки сочеталась мгла...
Как будто он, сей бездны мрак ужасный,
Редеющий вкруг юного чела,

Тебя обвил своей любовью страстной,
Тебя в свои объятья заковал,
И только раз по прихоти всевластной

Твой светлый образ миру показал,
Чтоб вновь потом в порыве исступленья
Пожрать воздушно-легкий идеал!

В тебе самой есть семя разрушенья —
Я за тебя дрожу, о призрак мой,
Прозрачное и юное виденье;

И страшен мне твой спутник, мрак немой;
О, как могла ты, светлая, сродниться
С зловещею, тебя объявшей тьмой?

В ней хаос разрушительный таится.

1858

4

О, помолись хотя единый раз,
Но всей глубокой девственной молитвой
О том, чья жизнь столь бурно пронеслась
Кружащим вихрем и бесплодной битвой.
О, помолись!..
Когда бы знала ты,
Как осужденным заживо на муки
Ужасны рая светлые мечты
И рая гармонические звуки...
Как тяжело святые сны видать
Душам, которым нет успокоенья,
Призывам братьев-ангелов внимать,
Нося на жизни тяжкую печать
Проклятия, греха и отверженья...

Когда бы ты всю бездну обняла
Палящих мук с их вечной лихорадкой,
Бездонный хаос и добра и зла,
Всё, что душа безумно прожила
В погоне за таинственной загадкой,
Порывов и падений страшный ряд,
И слышала то ропот, то моленья,
То гимн любви, то стон богохуленья, —
О, верю я, что ты в сей мрачный ад
Свела бы луч любви и примиренья...
Что девственной и чистою мольбой
Ты залила б, как влагою целебной,
Волкан стихии грозной и слепой
И закляла бы силы власть враждебной.
О, помолись!..
                        Недаром ты светла
Выходишь вся из мрака черной ночи,
Недаром грусть туманом залегла
Вкруг твоего прозрачного чела
И влагою сияющие очи
Болезненной и страстной облила!

27 января (10 февраля) 1858
Флоренция

5

О, сколько раз в каком-то сладком страхе,
Волшебным сном объят и очарован,
К чертам прозрачно-девственным прикован,
Я пред тобой склонял чело во прахе.
Казалось мне, что яркими очами
Читала ты мою страданий повесть,
То суд над ней произнося, как совесть,
То обливая светлыми слезами...
Недвижную, казалось, покидала
Порой ты раму, и свершалось чудо:
Со тьмой, тебя объявшей отовсюду,
Ты для меня союз свой расторгала.
Да! Верю я — ты расставалась с рамой,
Чело твое склонялось надо мною,
Дышала речь участьем и тоскою,
Глядели очи нежно, грустно, прямо.

Безумные и вредные мечтанья!
Твой мрак с тобой слился неразделимо,
Недвижна ты, строга, неумолима...
Ты мне дала лишь новые страданья!

1858

ПЕСНЯ СЕРДЦУ

Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
Nenns Glück, Liebe, Gott!
Ich kenne keinen Namen
Dafür. Gefühl ist alles...
Name ist Schall und Rauch
Umnebelnd Himmelsglut.
Göthe. Faust. I Teil. [1]

Над Флоренцией сонной прозрачная ночь
Разлила свой туман лучезарный.
Эта ночь — точно севера милого дочь!
Фосфорически светится Арно...

Почему же я рад как дурак, что грязна
Как Москва и Citta dei Fiori? [2]
Что луна в облаках как больная бледна
Смотрит с влагою тусклой во взоре?

О владыка мой, боже! За душу свою
Рад я всею *поющей* душою;
Рад за то, что я гимн мирозданью пою
Не под яркой полудня луною...

Что не запах могучих полудня цветов
Душу дразнит томленьем и страстью,
Что у неба туманного, серого — вновь
Сердце молит и требует счастья;

---

[1] Наполни же всё сердце этим чувством
И, если в нем ты счастье ощутишь,
Зови его как хочешь:
Любовь, блаженство, сердце, бог!
Нет имени ему! Всё — в чувстве!
А имя — только дым и звук,
Туман, который застилает небосвод.
Гете. «Фауст», I часть. Пер. М. Холодковского. — Ред.

[2] Город цветов (итал.). — *Ред.*

Что я верю в минуту как в душу свою,
Что в душе у меня лучезарно,
Что я гимн мирозданью и сердцу пою
На сыром и на грязном Лунг-Арно.

Тихо спи под покровом прозрачно-сырой
Ночи, полной туманных видений,
Мой хранитель таинственный, странный,
больной,
Мое сердце, мой северный гений.

17 февраля 1858
Флоренция

* * *

Страданий, страсти и сомнений
Мне суждено печальный след
Оставить там, где добрый гений
Доселе вписывал привет...

Стихия бурная, слепая,
Повиноваться я привык
Всему, что, грудь мою сжимая,
Невольно лезет на язык...

Язык мой — враг мой, враг издавна...
Но, к сожаленью, я готов,
Как христианин православный,
Всегда прощать моих врагов.
И смолкнет он по сей причине,
Всегда как колокол звуча,
Уж разве в «метеорском чине»
Иль под секирой палача...

Паду ли я в грозящей битве
Или с «запоя» кончу век,
Я вспомнить в девственной молитве
Молю, что был де человек,
Который прямо, беззаветно
Порывам душу отдавал,
Боролся честно, долго, тщетно
И сгиб или усталый пал.

16 февраля 1858
Флоренция

ОТЗВУЧИЕ КАРНАВАЛА

Помню я, как шумел карнавал,
    Завиваяся змеем гремучим,
Как он несся безумно и ярко сверкал,
Как он сердце мое и колол и сжимал
    Своим хоботом пестрым и жгучим.

Я, пришелец из дальней страны,
    С тайной завистью, с злобой немою
Видел эти волшебно-узорные сны,
Эту пеструю смесь полной сил новизны
    С непонятно-живой стариною.

Но невольно я змéю во власть
    Отдался, закружен его миром, —
Сердце поняло снова и счастье, и страсть,
И томленье, и бред, и желанье упасть
    В упоеньи пред новым кумиром.

Май 1858
Чивитта-Веккиа

* * *

Прощай и ты, последняя зорька,
    Цветок моей родины милой,
Кого так сладко, кого так горько
    Любил я последнею силой...

Прости-прощай ты и лихом не вспомни
    Ни снов тех ужасных, ни сказок,
Ни этих слез, что было дано мне
    Порой исторгнуть из глазок.

Прости-прощай ты — в краю изгнанья
    Я буду, как сладким ядом,
Питаться словом последним прощанья,
    Унылым и долгим взглядом.

Прости-прощай ты, стемнели воды...
    Сердце разбито глубоко...
За странным словом, за сном свободы
    Плыву я далеко, далеко...

Июнь 1858
Флоренция

К МАДОННЕ МУРИЛЬО В ПАРИЖЕ

Из тьмы греха, из глубины паденья
К тебе опять я простираю руки...
Мои грехи — плоды глубокой муки,
Безвыходной и ядовитой скуки,
Отчаянья, тоски без разделенья!

На высоте святыни недоступной
И в небе света взором утопая,
Не знаешь ты ни страсти мук преступной,
Наш грешный мир стопами попирая,
Ни мук борьбы, мир лучший созерцая.

Тебя несут на кральях серафимы,
И каждый рад служить тебе подножьем.
Перед тобой, дыханьем чистым, божьим
Склонился в умиленьи мир незримый.

О, если б мог в той выси бесконечной,
Подобно им, перед тобой упасть я
И хоть с земной, но просветленной страстью
Во взор твой погружаться вечно, вечно.

О, если б мог взирать хотя со страхом
На свет, в котором вся ты утопаешь,
О, если б мог я быть хоть этим прахом,
Который ты стопами попираешь.

Но я брожу один во тьме безбрежной,
Во тьме тоски, и ропота, и гнева,
Во тьме вражды суровой и мятежной...
Прости же мне, моя святая Дева,
Мои грехи — плод скорби безнадежной.

16 июля 1858
Париж

* * *

Мой старый знакомый, мой милый альбом!
Как много безумства посеяно в нем!
    Как светит в нем солнце Италии яркое,
    Как веет в нем жизни дыхание жаркое
Из моху морского, из трав и цветов,
Из диких каракуль и диких стихов.
Мой старый знакомый, мой милый альбом,
Как будто поминки творю я по нем,
    Как будто бы севера небо холодное
    Все светлое, яркое в нем и свободное
Туманом своим навсегда облекло...
Как будто навек все что было — прошло!

7 ноября 1858
С. Петербург

* * *

И всё же ты, далекий призрак мой,
В твоей бывалой, девственной святыне
Перед очами духа встал немой,
Карающий и гневно-скорбный ныне,

Когда я труд заветный кончил свой.
Ты молнией сверкнул в глухой пустыне
Больной души... Ты чистою струей
Протек внезапно по сердечной тине,

Гармонией святою вторгся в слух,
Потряс в душе седалище Ваала —
И всё, на что насильно был я глух,

По ржавым струнам сердца пробежало
И унеслось — «куда мой падший дух
Не досягнет» — в обитель идеала.

26 июля 1864

ДВА ЭГОИЗМА

Драма в четырех действиях, в стихах

Они любили друг друга так долго и нежно
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

Лермонтов

ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Степан Степанович Донской, московский барин, член Английского клуба.

Марья Васильевна, его жена.

Любовь Степановна, или Эме́, сестра его, 30-летняя дева.

Владимир Петрович Ставунин, молодой неслужащий человек.

Николай Ильич Столетний, капитан в отставке.

Борис Федорович Вязмин, 18-летний юноша.

Кобылович, заезжий петербургский чиновник.

Баскаков, философ-славянофил.

Мертвилов, философ-гегелист.

Петушевский, фурьерист из Петербурга.

Раскатин, молодой поэт, подающий большие надежды.

Ломберов, поэт безнадежный.

Подкосилов, опасный сосед.

Отец семейства.

Постин, богатый откупщик.

Корнет.

Доктор Гольдзелиг.

Вера Вязмина.

Елена.

Дама под вуалем.

Незнакомец.

Маски.

Действие — в Москве.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Аванзала Благородного собрания, налево ряд колонн. Маски и лица без масок входят почти беспрестанно. Из залы несутся звуки «Hoffnungs Strahlen». [1]

Ставунин в маске и шляпе выходит из залы и медленно идет к креслам направо. Вскоре за ним Капуцин.

Ставунин

(про себя)

Безумец! та же дрожь и нетерпенье то же,
Как за пять лет тому назад.
И для чего я здесь? Чего ищу я, боже!..
Чего я трепещу, чему я глупо рад?..
Пять лет... Давно, давно... Иль не дано забвенья
Душе измученной моей?..
Иль в пустоте ее сильнее и сильней
Воспоминания мученья?..
Иль есть предчувствие! Иль точно было нам
Не суждено расстаться без признанья,
И равнодушного страданья
Мы выпьем чашу пополам?

Капуцин

(ударяя его по плечу, тихо)

Memento mori! [2]

---

[1] «Лучей надежды» (немецк.). — *Ред.*
[2] Помни о смерти (лат.). — *Ред.*

Ставунин

(спокойно вглядываясь в него)

Вы ошиблись, вероятно,
Святой отец!

Капуцин

Что, верно, не совсем
Memento mori нравится вам всем?
Напоминанье неприятно?

Ставунин

Ступай к другим, тебе я незнаком.

Капуцин

Бог ведает, но дело лишь в одном
Memento mori. Час расплаты,
Быть может, близок, быстрым сном
Бегут минуты без возврата.

Ставунин

Я старых истин не люблю,
Ступай других морочить ими...

Капуцин

Я так не говорю с другими, —
На уду их другую я ловлю...

Ставунин

(оборачиваясь к нему спиною)

Так в добрый час!

Капуцин

(тихо)

Ставунин... В час последний
Ты также ль скажешь «В добрый час»?..

Ставунин

(быстро оборачиваясь, но твердо и спокойно)

А отчего же нет? Давно не раб я бредней,
И удивить меня труднее во сто раз,
Чем знать, что многие не знают.

Капуцин

Memento mori — повторяют
Уставы братства моего...

Ставунин

И что же? Верно, оттого
Гораздо легче умирают?

Капуцин

Быть может.

Ставунин

Знаешь ли — тебе обязан я
За развлечение...

Капуцин

Давно душа твоя
Искала мира и забвенья, —
Ты их найдешь...

Ставунин

Всё это знаю я.

Капуцин

И скоро, может быть...

Ставунин

(задумчиво)

Но тайны разрешенья
Добиться ль мне?..

Капуцин уходит.

Кто он? Но что за дело мне?
Смутить меня не мог он речью страшной...
Ведь к жизни ль, к смерти ль — постоянно
Я равнодушен — и вполне.

(Садится.)

Вязмин и Столетний в костюме петуха, рука об руку.

Столетний

Ты видишь, милый мой... я плохо как-то верю
В эманципацию — и в этом вовсе я
Для странности не лицемерю.

По-моему, для женщины семья
Есть дело первое. Донская,
Положим, и умна, как бес, и хороша...

Ставунин

(вздрагивая, про себя)

Донская...

Столетний

Но поверь, моя душа,
Что мужу-то с ней каторга прямая...

Вязмин

(с жаром)

Молчи — не оскорбляй, чего не в силах ты
Понять и оценить. Вгляделся ль ты глубоко
В ее болезненно-прозрачные черты?
В ее страданием сияющее око?..
Да! женщины судьбу готовы вы всегда
Понять по-своему — и гнусного суда
Неотменимы приговоры...
Зачем она чиста, зачем она горда,
Зачем больна она? Зачем пустые вздоры
Ее не могут занимать...
Зачем ей гадок муж? Как смеет презирать
Она рабов общественного мненья?

Столетний

Не то, совсем не то... Ведь мужа жизнь — мученье;
Его не знаешь ты, добрейший человек;
Немного лгать привык — и то, когда женился;
Водой не замутит — и без нее бы ввек
С ним никогда никто не побранился.

Уходят оба в залу.

Ставунин

Я узнаю ее... Проклятия печать
Лежит на ней — ей суждено страдать,
И мучить суждено. Но, боже, эти муки
Мне возврати скорей... Бежал я тщетно их,
Ни здесь, ни в небе нет разлуки
Для нас двоих!

Ставунин, Розовое домино.

Розовое домино

(вглядываясь, про себя)

Да, это точно он, меня не обманули.

(Ему.)

Je vous connais, beau masque.[1]

Ставунин

Едва ль.
А если так, то очень жаль...

Розовое домино

Жаль — отчего ж?

Ставунин

Вы вспомянули
Некстати слишком старину.
Скажу вам истину одну,
Увы! печальную, быть может:
Я знаю вас...

Розовое домино

И что же?..

Ставунин

Это вас тревожит?
Не правда ли?.. Но верьте, между нас
Давным-давно печальною развязкой
Окончилась комедия, — одно
Скажу я вам: расстались мы давно.

Розовое домино

(с видимым волнением)

Хотите ль, вас я позабавлю сказкой,
И длинною?

Ставунин

(спокойно подавая стул)

Садитесь — всё равно —
Я слушаю.

---

[1] Я вас знаю, прекрасная маска (франц.). — *Ред.*

Розовое домино

(с трепетом)

Она и он когда-то...

Ставунин

(улыбаясь)

Она и он — заглавие старо...

Розовое домино

(сквозь слезы)

О, знаю я, что вам ничто не свято,
Что надо всем вы шутите остро,
Но умоляю вас, как брата,
Как друга, выслушать...

Ставунин

Известно вам, что слез
Я не терплю, — воспоминаний тоже.

Розовое домино

Ставунин... я была тогда моложе
И ветренней...

Ставунин

И, кроме детских грез,
Из жизни ничего не вынесли вы, боже!
О, мне вас жаль, глубоко жаль.

Розовое домино

И только?..

Ставунин

Что же вам угодно?

Розовое домино

(схватывая его за руку)

Любви...

Ставунин

Увы — любовь свободна.

Розовое домино

Ты любишь?

Ставунин

Может быть.

Розовое домино

Любил?

Ставунин

Едва ль.

Розовое домино

(грустно)

По крайней мере!

Ставунин

Рада ты?

Розовое домино

Чему же?
Мне разве лучше оттого,
Что для тебя на свете хуже?..
Ты женщин знаешь, может быть,
Но не совсем...

Ставунин

Любить и мстить —
Вот общий их девиз...

Розовое домино

О, нет... любить, любить,
И только... Ты бежишь...

Ставунин

(вставая)

Прощайте, маска...

Розовое домино

Минуту: обещал ты — что же сказка?

Ставунин

Конец я знаю наперед.

Розовое домино

А если нет?..

Ставунин

Так пусть нежданно он придет.

(Уходит.)

Розовое домино, потом Капуцин.

Розовое домино

Безумная!.. искать, что отвергала прежде,
И глупо верить так несбыточной надежде...
О боже, боже! пала я...
Но, что бы ни было, слезами и тоскою
Ужель хоть миг один забвения с тобою
Не заслужила я?..

Капуцин

Зачем ты здесь?

Розовое домино

Кто вы?..

Капуцин

Тебе скажу я,
Кто ты.

(Говорит ей на ухо.)

Розовое домино

(с смущением)

Что ж далее?

Капуцин

Ты хочешь?

Розовое домино

Да, хочу...

Капуцин

(тихо)

Оставь его!..

Розовое домино

Его?..

Капуцин

Твою мечту пустую.
Тебя не любит он.

Розовое домино

Молчите.

Капуцин

Я молчу.

Розовое домино

Кого он любит?

Капуцин

Я молчу.

Розовое домино

Скажите,
Что нужно вам: молений, слез?.. Кого
Он любит?.. Говорите, говорите...

Капуцин

Узнаете... За мною!

Розовое домино

Для чего?

Капуцин

Узнаете...

Подает ей руку; они уходят.

Вязмин, Баскаков, рука об руку.

Баскаков

Семья — славянское начало,
Я в диссертации моей
Подробно изложу, как в ней преобладала
Без примеси других идей
Идея чистая, славянская идея...
Читая Гегеля с Мертвиловым вдвоем,
Мы согласились оба в том,
Что, чувство с разумом согласовать умея,
Различие полов — славяне лишь одни

Уразуметь могли так тонко и глубоко...
У них одних, от самой старины,
Поставлена разумно и высоко
Идея мужа и жены...
Жена не res[1] у них, не вещь, но нечто; воля
Не признается в ней, конечно, но она
Законами ограждена...
Муж может бить ее, но убивать не смеет:
Над ней духовное лишь право он имеет,
И только частию in corpore[2] притом,
Глубокий смысл в преданьи том,
Иль, лучше, в мысли той о власти над женою.
Пусть проявляется под жесткою корою,
Под формою побой; что форма? Признаюсь,
Семья меня всегда приводит в умиленье...
Власть мужа, и жены покорное смиренье...
Чета славянская — я ей не надивлюсь!

Те же. Петушевский, Мертвилов.

Мертвилов

Баскаков, — вот рекомендую,
Мсье Петушевский...

Петушевский и Баскаков кланяются друг другу и проницают один другого взглядами.

Петушевский

Вас узнать
Давно хотелось мне... Я истины искать
Привык во всем, и мненья чту я.

Баскаков

Да... то есть, мненье...

Петушевский

Да, субъекты изучать,
Как анатомик, я в виду имею...
Семейства, слышал я, штудируя идею,
О нем хотите вы писать?
Вы «Новый мир» Фурье изволили читать?

[1] Предмет, вещь (лат.). — *Ред.*
[2] Над телом (лат.). — *Ред.*

Баскаков
(вспыльчиво)

Фурье, сударь... ужель отсталое ученье?

Петушевский
(оскорбленный)

Отсталое? — Я фурьерист!

Баскаков

Тем хуже вам — вы в заблужденьи.

Петушевский
(насмешливо)

Не вы ль, скорей, московский гегелист?

Мертвилов
(становясь между ними)

Messieurs [1], помилуйте... За мненья!

Петушевский

Но мненье
И человек — одно и то ж...

Мертвилов

Э, полноте шутить — ну кто ж
Серьезно верит в убежденье?

Те же, Донской, Донская, за нею два поэта.

Донская
(обращаясь к ним)

Bonsoir, messieurs! [2]

Мертвилов
(давая ей дорогу)

Madame. [3]

Донская
(к Баскакову)

Вы спорили?

[1] Господа (франц.). — *Ред.*
[2] Добрый вечер, господа (франц.). — *Ред.*
[3] Мадам (франц.). — *Ред.*

Петушевский
(красуясь)

Со мной.

Донская
(небрежно)

Танцуют там?

Вязмин

Давно.

Донская
(подавая ему руку)

Вы нынче мой.

Вязмин
(робко и почтительно)

Madame.

Донская
(к трем философам)

К себе вас завтра жду я...

Они безмолвно кланяются.

(Мужу.)

Etienne, поправьте мне боа...
Как душно, боже мой...

(Мужу и двум поэтам.)

Messieurs, suivez moi.[1]

Баскаков, Мертвилов, Петушевский.

Мертвилов
(в середине)

Не вздорьте, господа...

Петушевский

Все мненья свято чту я...

[1] Господа, пойдемте (франц.). — *Ред.*

Мертвилов

(a parte [1])

Свое особенно...

(Вслух.)

Я также гегелист.
Как он, как все в Москве... здесь редкость фурьерист.
Подайте ж руки мне...

(Соединяет их руки.)

Обоих вас везу я
Отсюда в Английский... За ужином скорей
Сойдутся крайности идей...

Уходит под руку с обоими; Баскаков, видимо, недоволен.

Столетний

(выходит из залы)

И вот он, их кумир!.. За них мне, право, стыдно!
Как мальчиков, она трактует их,
А им нисколько не обидно...
Презренье женщины, ее насмешек злых
Они совсем не замечают...
Эх, жаль мне Вязмина — им женщины играют,
Как куклою...

(Садится.)

Капуцин

(подходит к нему)

Кричи скорей, петух.
Зови скорее час рассвета...

Столетний

Гм! Кажется, что мне знакома маска эта...
Кто вы?..

Капуцин

Зачем тебе? Твой друг.

---

[1] В сторону (итал.). — *Ред.*

Столетний

Пусть будет так... Что ж дальше?

Капуцин

Пробужденье
От сна любви, от жизни сна
Подчас невесело... Лови скорей мгновенье
У женщины — как вольная волна,
Лобзает грудь твою она,
Потом уходит вдаль, упасть на грудь иную...

Столетний

Загадки!..

Капуцин

Разгадать успеешь скоро сам...
Скажу одно — не верь волнам...

Столетний

Каким волнам?.. Оставь игру пустую.

Капуцин

Ты веришь? Да... но веру потерять
Придется, может быть...

Столетний
(бледнея)

Ты должен мне сказать...

Те же. Подкосилов. Капуцин уходит.

Подкосилов

Моншер, не скроешься... У Ваньки я справлялся,
В чем ты сегодня отправлялся...
Ну, молодец же, петухом!
Да что же ты молчишь?.. Ну полно же, кутнем
Сегодня мы с тобой?

Столетний
(хочет идти за Капуцином)

Оставь меня.

Подкосилов

Куда ты?
Что Верочка твоя?.. Ее я видел брата
Недавно... Что с тобой?

Столетний

(с нетерпением)

Я нездоров.

Подкосилов

Пойдем
Отсюда! Скучно здесь... Кутнем, душа, кутнем...
Развеселись же, брат!.. Ты обещал недавно
Со мною покутить... Мы дернем на лихих.

Столетний

Чтоб черт тебя побрал!

Подкосилов

Мы в табор хватим вмиг,
И «Я на лавочке сижу...» отдернуть славно.
Поедем же.

Столетний

Отстань.

Подкосилов

«Пойду, пойду косить...»
Эх, черт меня возьми... Душа, тебя люблю я...
Поедем же... Ну, что ты за подлец!
Сам для тебя вприсядку отдеру я...
Поедем, милочка...

Те же. Ломберов с неестественно растрепанною физиономиею.

Ломберов

(не замечая никого)

Итак, всему конец...
Непризнанный людьми, обманутый любовью...
О! я обиду смою кровью!

Подкосилов

(подходя к нему и корча одного комика)

О! крови, крови жажду я!

Ломберов

Эх, боже мой, — всё те же вечно шутки.

Подкосилов

(подмигивая)

Кутнем, душа.

Ломберов

Ни-ни... ни зá что!

Подкосилов

Дудки!
Ведь ты — поэт, ведь ты — душа!
Ну, пусть Донская хороша.
Да Груша, Груша-то чего-нибудь да стоит!

Ломберов

Когда б ты знал... Молокосос
У ней какой-то там.

Подкосилов

Эх, плюнь, душа, — не стоит!
Зацепим лихача.

Ломберов

Куда же?

Подкосилов

Вот вопрос!
Известно уж куда!

Ломберов

Я твой... Живую душу
Я утоплю в вине.

Подкосилов

Поедем слушать Грушу.

(Уходит под руку с Ломберовым, напевая вполголоса.)

С тобой на поле чести,
С тобою неразлучно...
С тобою встретим вместе
Победу или смерть...

Столетний

Мне душно... голова горит.
Кто эта маска?.. Что за речи?..
Быть может, вздор, но кровь моя кипит...
Пойду искать с ним новой встречи.

(Уходит.)

Донская об руку с Ставуниным.

Ставунин

Но если для кого забвенья нет,
Но если для кого и муки даже сладки?..

Донская

Поверьте мне, что вот уж много лет
Я не больна болезнью лихорадки...

Ставунин
(с иронией)

Я верю вам... я верить вам готов
Во всем, хотя бы вы сказали мне, что в счастье
Вы верите, что любите глупцов,
Что в них вы ищете участья...
О, верьте мне, во всем я верить вам готов...
И как не верить вам?

Донская

Мне кажется, вы сами
Теперь играете словами?

Ставунин

Не правда ли?.. О да! вам это лучше знать,
Вы так в игре искусны этой...

Донская
(задумчиво идя с ним)

Вы странны, как всегда... Законов света
Вы так упорно не хотите знать?

Ставунин

А вы их знаете?.. Скажите, ради бога,
Давно ль? Послушайте: я знал вас слишком много,
Чтобы теперь вас также знать,
К чему притворство вам со мною?..
Я вас не стану упрекать
Иль тешить праздною хвалою...
Я знаю вас.

Донская
(играя концом боа)

Давно вы здесь?

Ставунин

Вчера приехал я.

Донская
(бросая на него испытующий взгляд)

И надолго?

Ставунин

Бог весть!

Донская

Зачем вы здесь?

Ставунин

Зачем? Я сам не знаю...
Есть слово: так! Я всё им объясняю.

Донская
(качая головою)

Безумец вы по-прежнему.

Ставунин

Всегда.

Себе я верен... Кстати, хоть случайно,
Собою вы бываете ль когда?

Донская

Была.

Ставунин

Но будете ль?

Донская

Покамест это тайна.

Ставунин

Неразрешимая?

Донская

Быть может.

Ставунин

Никогда?

Донская

Есть час один, когда вполне собою
Я буду.

Ставунин

Это?

Донская

Смертный час.

Ставунин

Но он далек...

Донская

И близок он от нас.

Ставунин

Смеетесь вы...

Донская

Над чем же?

Ставунин

Над судьбою!

Донская

Ее я жду с покорностью немою.

Ставунин

А ежели она нежданно встретит вас?

Донская

(грустно)

Так что же?

Те же. Донской, Раскатин, еще несколько молодых людей.

Донская

(идя к ним навстречу)

Вот мой муж... Этьень, рекомендую,
Знакомый старый мой, monsieur Ставунин.

Донской

(дружески тряся руку Ставунина)

Рад,
Душевно рад... Вас в клубе не видать?

Ставунин

Я только что вчера...

Донской

Я вас баллотирую...
Пожалуй, завтра же... Вы завтра, верно, к нам?

Донская

Вы будете?

Ставунин

Когда угодно вам...

Раскатин

(лорнируя, про себя)

Ставунин... Que'est ce que c'est?[1] Соперник
неопасный.

Донской

(Ставунину)

Ведь вы играете, надеюсь?

Ставунин

Иногда.

Донской

Теперь бы партию составить.

Ставунин

Я всегда
К услугам вашим.

Донской берет его под руку и ведет с собою. Донская садится у колонны и рассеянно смотрит им вслед. Раскатин лорнирует и красуется.

Раскатин

(a parte)

Труд напрасный
Припоминать...

(Донской.)

Вам кажется скучна
Веселость общая... Быть может, вы устали?

Донская

(вздрагивая)

Ах, боже мой, меня вы напугали.

Раскатин

Нечаянно.

---

[1] Что это такое? (франц.) — *Ред.*

Донская

(подавая ему руку)

Пойдемте.

Идут и встречают Капуцина об руку с Розовым домино.

Капуцин

(останавливаясь у колонны и показывая глазами на Донскую)

Вот она!

Розовое домино пристально смотрит на Донскую.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Гостиная Донских. Мебель рококо; по местам козетки. Освещено. 9 часов вечера.

Донской

(с сигарой прохаживается взад и вперед, заложив руку на спину)

Чтоб черт его побрал!.. Его я жду с утра...
И в клуб не удалось... Неужто, как вчера,
Обманет он? Ну, ну, тогда я славный малый!
Блажен, стократ блажен, кто может отдавать
Имение в залог... Ну то ли, как бывало,
Лишь в Опекунский заезжать?
А то гоняй себе по всем концам столицы
Иль дома целый день сиди,
Зевай, кури и спи — да аферистов жди...
И что за тон, и что за лица
У этих всех господ? Ей-богу, на порог
Я не пустил бы их к себе в другую пору...
А вот теперь попутал бог —
Всем кланяйся и без разбору...
На спекуляцию надеяться пришлось...
Акционером быть... Именье
Разорено, хоть просто брось...
А надо поддержать общественное мненье.
Женатый человек — нельзя ж без вечеров!
Женатый, боже мой, — да это не во сне ли
Уж делается всё?.. Но нет, от этих слов
Седеет голова... И для какой мне цели
Жениться вздумалось?.. Зачем и для чего?

Женат не для себя, живу не для себя я;
Жена умна как бес, но в женщине ума я
Терпеть не мог давно: довольно своего...

Донской, Донская, совершенно одетая.

Донская

(тихо)

Вы так встревожены; что с вами?

Донской

(бросая сигару)

Ничего.
Жду кой-кого теперь... Mon ange, [1] вы очень кстати,
Я с вами говорить хотел.

Донская

(с удивлением)

Со мной? о чем?

Донской

Я был вчера в палате, —
Хотелось ускорить раздел
С кузином... Дело в том, к необходимой трате
Всё это повлекло.

Донская

(холодно)

Так что ж за дело мне?

Донской

Придется заложить нам тульское именье...

Донская

(пристально смотря на него)

Скажите мне, Этьень, зачем вы лжете мне?

Донской

(с видом оскорбленного достоинства)

Я лгу, сударыня?

---

[1] Мой ангел (франц.). — *Ред.*

Донская
(презрительно)

Вам правда — оскорбленье...
Но дело в том — к чему без нужды лгать?..
Вчера, наверно, вам случилось проиграть...
Но мне-то что до этого за дело?
Зачем же прямо вам и смело,
Иль лучше вовсе не сказать?..

Донской, уничтоженный, садится на козетку, Донская на диван.

Слуга
(входит)

Приехал-с!

Донской
(поспешно вставая)

В кабинете?

Слуга

В кабинете.

Донской
(уходя)

Вели закладывать! Поеду я в карете.

Донская
(одна)

Несчастный человек! Его мне часто жаль!
Но виновата ль я в моем к нему презреньи?
Друг другу чужды мы — едва ль
Не будем вечно так: чужое униженье
Мне слишком тягостно... сама я для смиренья
Не создана, о нет, мой боже, нет!..
Что будет далее?.. Я чувствую, больна я,
Быть может, зла... Мечты минувших лет
Меня преследуют... День каждый, засыпая,
Молюся я о вечном сне...
Мечты прошедшего гоню я — но оне
Меня тоскою безотрадной
Неумолимо-долго жгут...
И снова образы встают,

И сердце просится так жадно
Вздохнуть вольней — любить хоть что-нибудь,
Надеяться, молиться, плакать, верить...
Но день встает — и снова лицемерить,
И снова сдавлена моя больная грудь...
Он часто говорил, я помню: мы одною
Идем дорогою, и вы когда-нибудь
Меня поймете... Этот путь
Теперь, как он, уже прошла я,
Теперь его насмешка злая,
Его проклятие безумное всему...
Его неверие и искренность сухая,
Бывало, вредная ему,
Они понятны мне.

Донская, Любовь Степановна, или Эме, вся в розовом.

Эме

Cher ange...[1] Вы замечтались...
Я испугала вас.

Донская

(равнодушно)

О нет.

Эме

Готова я...
А вы еще не одевались?

Донская

Давно уже.

Эме

Советовала б я
Надеть вам черное... вы в нем чудесно милы...
Блондинкам черное пристало à merveille...[2]
Но вы сегодня так унылы...
Так бледны — et faut-il que je vous conseille?[3]
Вам просто надобно лечиться...

---

[1] Милый ангел (франц.). — *Ред.*
[2] Чудесно (франц.). — *Ред.*
[3] И могу ли я вам посоветовать? (франц.). — *Ред.*

Донская
(рассеянно)

Вы думаете?

Эме

Цвет у вас совсем больной...

Донская

Вам кажется...

Эме

Cher ange... Вы скрытны...
Не годится
Так скрытной быть с сестрой.

Донская
(с улыбкою)

Эме, сегодня вас, наверно, ждут победы?

Эме
(скромно потупляя глаза)

Меня?

Донская

Я думаю...

Мертвилов входит фатом.

Мертвилов

Bonsoir, mesdames,[1] я к вам
Сегодня рано — с званого обеда.

Донская

Садитесь.

Мертвилов
(разваливаясь подле нее на козетке)

Что ваш муж?
(Доставая porte de cigares[2])
Vous permettez, madame?[3]

---

[1] Добрый вечер, мадам (франц.). — *Ред.*
[2] Портсигар (франц.). — *Ред.*
[3] Вы позволите, мадам? (франц.). — *Ред.*

Донская

Уехал.

Мертвилов

В клуб?

Донская

О нет, напротив, по делам.

Мертвилов

Сегодня много вам готовлю я смешного.

Донская

Чего ж? — Баскакова!

Мертвилов

Кого ж иного?
Во-первых, явится он к вам
В костюме истинно славянском.

Донская

Вы злы...

Мертвилов

Мы с ним друзья. В театре итальянском
Его вчера уже я многим показал.
Он будет в охабне: за вход сюда свободный
Уже за вас я слово дал.
Он чудно сановит в одежде благородной,
Приедет вместе с ним заезжий фурьерист...

Донская

Вы их поссорите?

Мертвилов

Я умываю руки
И, как Пилат, хочу быть в этом чист.
Еще кто будет к вам? Наверно, Кобылович?
Il est habitué chez vous...[1]

[1] Он завсегдатай ваш... (франц.). — *Ред.*

Эме

(облокачиваясь на спинку козетки)

Кто это? Николай Петрович?

Мертвилов

Я злым у вас давно слыву,
А всё не в силах удержаться,
Чтоб русской правды не сказать...
В Москве я не встречал, признаться,
Подобной глупости; за деньги я казать
Его готов, как редкость, — любоваться
Им надобно — он просто клад,
Его всегда я видеть рад,
Чтоб Петербургу удивляться,
Как дураками он богат.

Эме

Он что-то медлит здесь... По важным приказаньям...

Мертвилов

По государственным... Так говорит он сам
За тайну всем, а чудесам
Здесь верят свято, по преданьям...

Донская

Смотрите! — Он известный дуэлист.

Мертвилов

Уж он вам сказывал?.. Слыхал я, перед боем
Он удивительно речист...
Глядит решительно героем
И не один последний лист
С рапóртом или отношеньем
В последний раз успел уж подписать
С трагическим телодвиженьем.
Дивлюсь я, как он уцелел
В несостоявшихся дуэлях...

Донская

Но он не очень глуп.

Мертвилов

Да! — всё о высших целях
Толкует он. И даже он умел
Под ум подделаться; о нем слыхал он много.

Донская

Скажите мне, вы ум встречали ли когда?

Мертвилов

Да, редко, но встречал...

Донская

А чувство?

Мертвилов

Никогда.

Эме

Ах, перестаньте ради бога:
Вы в чувстве не судья.

Мертвилов

Сужу я слишком строго...
Что делать... Но умы — их всех наперечет
Я знаю, — два иль три, не больше: остальное
С чужого голосу поет.

Донская

Знавали вы Ставунина?

Мертвилов

Его я
Имел сейчас в виду... Знаком он вам?

Донская

Знаком.

Мертвилов

Он дьявольски умен, но дело только в том,
Что, к сожалению, картежным игроком
Он сделался...

Донская
(равнодушно)
Давно?

Мертвилов
Лет пять иль шесть. Именье
Он проиграл давно; общественное мненье...
С тех пор...

Донская
С тех пор, когда именье проиграл?
Не правда ли? — добавьте прямо.

Мертвилов
Почти что так; но нет, он мнением играл
Непозволительно упрямо...
Наперекор идя всему,
Рассудку, чести и преданьям,
И веря одному уму...
За то общественным наказан он изгнаньем...

Те же, Вязмин (одет довольно изысканно).

Вязмин
Простите — без докладу к вам
Вошел я нынче...

Мертвилов
(протягиваясь на козетке)
Стыд и срам!
Что говорите вы, мой милый?..
(Пожимает ему руку.)

Донская
Я очень рада вам... Садитесь! Вы давно
Мне ничего не говорили
О ваших.

Вязмин
(садясь против нее на кресло)
От сестры — я с сентября одно
Всего лишь получил письмо.

Донская

И отвечали?..
Молчите... Верно, нет, — ну, как не стыдно вам?

Мертвилов

Вас en flagrant délit, mon cher ami,[1] поймали.
Вперед остерегайтесь дам...
Вы курите — хотите ли сигару?
Берите же смелей...

Донская

Курите.

Вязмин

Mais, madame...[2]

Донская

К сигарам я привыкла.

Мертвилов

И угару
Вы не боитесь уж давно,
Не правда ли?

Те же, Кобылович, разодетый в пух, входит с уверенностью

Кобылович

(кланяясь)

Mesdames, messieurs, сейчас лишь дело
Окончил, — тотчас к вам... Мне редко суждено
Свободно подышать... У вас, скажу я смело,
Совсем забудешься.

Донская

(грациозно улыбается)

Тем лучше.

Кобылович

(садясь)

Да — оно,
Когда хотите, так; в Москву для излеченья

---

[1] На месте преступления, мой дорогой друг (франц.). — *Ред.*
[2] Но, мадам... (франц.). — *Ред.*

Приехал я, — рассеянье, забвенье
Мне нужно было бы зимой,
Пророчил мне чахотку доктор мой...
Да что прикажете?.. Когда же мне лечиться?
Андрей Михайлыч навязал
Мне поручений тьму; работой наповал
Я завален и здесь. Решительно кружится
От дел различных голова...
У вас в Москве совсем не знают, как трудиться...
Чужим трудом живет Москва...
Ей до практических вопросов
И дела нет — она абстрактами живет,
И каждый здесь сидит и ждет
Доходов с пашни, с сенокосов
И прочего... Прощаяся со мной,
Мне говорил Андрей Михайлыч мой,
Что он и воздуха московского боится...
Но, видно, мне не заразиться
Московской праздностью... Я страшною хандрой
Томлюсь в бездействии, — мне дела вечно мало...
Андрей Михайлыч говорит,
Что он, хоть так же мало спит,
Но больше моего... Me croirez-vous? [1] Бывало,
Двенадцать сряду я часов
Был просидеть всегда готов,
Потом куда-нибудь на вечер отправляться.
И там всё та ж потребность заниматься...
Не сладить с глупою хандрой...
Что ж делал я?.. Чтоб силам дать движенье,
Я занимал себя азартною игрой...
Всё это что-нибудь, всё это раздраженье,
А не восточный ваш покой...
И раз Андрей Михайлыч мой...

Донская

(которая слушала все это, видимо, рассеянно)

Вы были в Лючии?.. Как Сальви вам в сравненьи
С Рубини кажется?

---

[1] Поверите ли мне? (франц.). — *Ред.*

Кобылович

Да кстати! здесь и мненья
Общественного нет, — у нас
Гарсисты есть, кастелянисты,
Есть жизнь, есть общество — у вас
Ничто нейдет: одни лишь гегелисты
С абстрактами! Андрей Михайлыч раз...

Мертвилов

(перебивая его)

Скажите, говорят, у вас в ходу букеты, —
Возами возят их на сцену, слышал я?

Кобылович

Бросают даже и браслеты,
Особенно Вьярдо... и точно, должен я
Сознаться, есть за что... Не понимал нимало
Я вкусу в музыке, бывало, —
Но с итальянцами... я к пению привык,
И даже понимал язык —
Так мелодичен он... Мне говорил недавно
Андрей Михайлович, что слух развил я славно.

Те же, Елена с мужем.

Донская

(вставая и идя к ней навстречу)

Que vous êtes obligeante! [1]

Елена

Я вам плачу визит...
Без церемонии — мой муж, рекомендую.

Донская

(ведет ее на диван)

Садитесь здесь... со мной...

Елена

(садясь)

Merci. [2]

---

[1] Как вы любезны! (франц.). — *Ред.*
[2] Спасибо (франц.). — *Ред.*

Донская

Сегодня жду я
Madame Приклонскую.

Елена

Она
Недели с две была больна
И уж давно не выезжала...

Донская

Она помолвлена. C'est une nouvelle du jour...[1]

Мертвилов

(громко)

C'est un scandale du jour.[2]

Елена

(увидя его)

Ах, это вы, bonjour.[3]
Вы вечно с сплетнями, — сначала
Я не видала вас.

Мертвилов

(вставая)

Приклонской суждено
Переживать мужей. Одно
Готов я предвещать, что много два, три года
Осталось Постину прожить...

Муж Елены

Ему — помилуйте, для этого народа,
Откупщиков, и смерть нетрудно подкупить.

Те же, Ставунин; при появлении его Мертвилов принимает еще более небрежную позу; Кобылович оправляет галстук и идет к огню закуривать сигару.

Донская

Так поздно...

---

[1] Это последняя новость... (франц.). — *Ред.*
[2] Это последний скандал (франц.). — *Ред.*
[3] Здравствуйте (франц.). — *Ред.*

Ставунин

Виноват, простите, ради бога,
Меня за медленность винить
Я умоляю вас не строго:
В Москве мне так давно не приходилось быть,
И я обычаев салонных
Успел так много позабыть...

Донская

С друзьями стыдно вам.

Ставунин

Вы слишком благосклонны.

(Садится и взглядывает на всех равнодушно.)

Скажите, где ж monsieur Донской?

Донская

Он будет скоро...

Перебирает конец шарфа. Минута общего молчания, во время которого Елена оставляет свое место на диване и садится на креслах подле Ставунина так, что он сидит между ней и Донской.

Ставунин
(с иронией)

Я с Москвой
Расстался так давно; в ней многое и многих
Не узнаю теперь, что шаг, то новость мне.
Скажите, в ней по старине
Полны ли все приличий строгих?

Мертвилов
(Эме)

Удар назначен, верно, мне,
Но я вам говорил...

Ставунин
(равнодушно и спокойно)

Давно уж с удивленьем
Я раззнакомился совсем,
И удивляться, между тем,

Теперь учуся я с терпеньем,
Как учатся иные удивлять.

Минута молчания.

Елена

(громко и смело)

Вы и сами удивить, как кажется, забвеньем
Хотите здесь меня?

Муж Елены смотрит на нее чуть не с изумлением ужаса. Мертвилов иронически улыбается. Эме опускает глаза в землю. Кобылович поправляет галстук.

Ставунин

О! памятью скорей
Меня вы так нежданно изумили.
Merci, merci, madame...[1] Я думал, вы забыли...

Елена

Не стыдно ль забывать старинных всех друзей?

Ставунин

О! дружбу женщины ценю я слишком свято.

Елена

(добродушно-насмешливо)

Вы доказали это мне.

Ставунин

(наклонясь к ее уху)

Тебя я понял — и вполне,
О добрый ангел мой...

Мертвилов

(комически с пафосом Кобыловичу)

Не правда ль? век разврата.

Те же, Донской.

---

[1] Спасибо, спасибо, мадам (франц.). — *Ред.*

Донской
(входя)

Je vous salue, messieurs...[1] Простите, по делам
Я хлопотал, теперь... Monsieur Ставунин, вам
Глубокий мой поклон за вист вчерашний, — ныне
Мы сядем, верно, вновь?

Ставунин

Играть?
Простите, не могу...

Донская
(быстро приподнимая голову)

Я с вами в половине.

Ставунин

Вам не могу я отказать.

Донской
(которому человек раздает карты)

Monsieur Мертвилов, вы?

Мертвилов

Увольте, умоляю.

Донской
(с маленьким неудовольствием)

Насильно я играть не заставляю.
Вы, Николай Петрович?

Кобылович

Нет, —
И я сегодня не играю.

Донской

Вот странность, господа, у вас один ответ.
Так как же партию?..
(Мужу Елены.)
Фома Ильич, мы с вами.
Да вот monsieur Ставунин, и втроем
Сыграем пульку мы?

---

[1] Я вас приветствую, господа (франц.). — *Ред.*

Муж Елены

(нехотя)

Пожалуй!..

Те же, Постин, Петушевский, Баскаков в красных шароварах, бархатном охабне, с мурмолкой под мышкой.

Донской

(с радостью)

Вчетвером!
Брависсимо! Иван Игнатьич с нами.

Постин

(раскланиваясь с неловкостью)

Мое почтение... Я часом опоздал,
Да вот господ к себе всё долго поджидал.

Баскаков и Петушевский

(в один голос)

Pardon, mesdames. [1]

Мертвилов

(подавая им руки)

Друзья! Я говорил, с Москвою
Сойдется Петербург и с Гегелем Фурье.

Петушевский

(Донской, вынимая книгу из кармана)

Имел я честь вам обещать Минье.

Донская

Merci beaucoup. [2]

Донской

(подавая Постину карту)

Иван Игнатьич, вы со мною
Садитесь vis-à-vis. [3]

Уходят под руку с Ставуниным, за ними идут Постин и муж Елены.

---

[1] Простите, мадам (франц.). — *Ред.*
[2] Большое спасибо (франц.). — *Ред.*
[3] Напротив (франц.). — *Ред.*

Петушевский

(вынимая porte de cigares, Донской)

Вас не обеспокою
Я пахитоскою?

Донская

Fumez, je vous en prie.[1]

Кобылович

(Мертвилову, показывая на уходящего Ставунина)

Ведь надо ж, — front d'airain![2] Нет, что ни говори,
А мненье общества...

Мертвилов

(громко)

Общественное мненье
Есть воля общества живая и оплот
Цивилизации, — и горе, кто пойдет
Бороться с волею истории.

Баскаков

Смиренье
Пред этой волею славяне лишь одни
Способны понимать.

Кобылович

И кто же в наши дни
Серьезно верует в какие убежденья?
Бороться с обществом!..

Петушевский

Позвольте... различать
Привык я мнения от мнений,
Иное можно защищать,
Иное же не стоит защищений,
А ваше таково... Я слышал про оплот
Цивилизации... ну стоит ли хлопот
Цивилизация?

---

[1] Курите, прошу вас (франц.). — *Ред.*
[2] Медный лоб (франц.). — *Ред.*

Кобылович

Позвольте наперед
Вам о приличии напомнить... Защищений
Не стоит мнение мое,
Сказали вы?

Мертвилов
(с хохотом)

Опять конфликт противных мнений.
Laissez donc vos folies, messieurs. [1]

Донская
(поднимаясь с места)

Здесь душно, chère amie, [2] пойдемте в залу.

Она и Елена уходят, за ними Вязмин.

Мертвилов
(оглядываясь)

Mais vous chassez les dames... [3] и боже, как отстало
От века это всё, к чему враждебный тон,
За дамами пойдемте лучше в залу.

Кобылович

Ставунин там?

Мертвилов

Играет он.

Все уходят, кроме Мертвилова и Эме, которые сидят у окна.

Мертвилов, Эме.

Мертвилов

Ставунин с вашею сестрою
Знаком давно?

Эме
(с досадою)

Не знаю я.

---

[1] Оставьте же ваши безумства, господа (франц.). — *Ред.*
[2] Милый друг (франц.). — *Ред.*
[3] Но вы пугаете дам (франц.). — *Ред.*

Мертвилов

Вы скажете, я зол... но я от вас не скрою,
Что странно это всё.

Эме

(со скромностью потупляя глаза)

Она — сестра моя.

Мертвилов

Послушайте, ведь есть всему границы.
Когда в ваш дом такие лица
Являться будут...

Эме

(со злостью)

Он старинный друг.

Мертвилов

Да старина забудется, конечно...

Эме

Но согласитесь, что не вдруг.

Мертвилов

Возобновиться может...

Эме

Злы вы вечно.

Мертвилов уходит. Эме одна.

Эме

Так вот оно... Его я поняла.
Да, да — она горда и зла,
Но не для всех... И что в ней все находят?
И что за вкус у всех дурной?
О, хорошо! Ее приводят
В пример... Хорош пример... А! это братец мой.

Донской

(входя)

Где мел? Подайте мел...

Эме

Mon frère...[1] Два слова.

Донской

Скорее, матушка, — там партия готова.

Эме

Кого вы в дом к себе изволили принять?

Донской

(с изумлением)

Кого? Но я тебя не понимаю.

Эме

Нетрудно будет вам понять,
Когда я вам скажу, что знаю...
Известный он игрок.

Донской

Кто он?

Эме

(злобно)

Приятель новый ваш, друг дома...

Донской

Говорите,
Эме, понятнее... Мне странен этот тон.

Эме

Ах, братец, вы себя стыдите...
Но тише...

Те же, Мертвилов.

Мертвилов

Партия расстроилась совсем,
Играть никто теперь не хочет.
Напрасно братец ваш хлопочет...
Да вот и сам он...

---

[1] Брат (франц.). — *Ред.*

Донской

Так совсем
Расстроилась?.. Эме, скажите, ради бога...

Эме

Пойдемте, вам сказать мне нужно много.

(Уходят в кабинет направо.)

Мертвилов

Как это всё смешно! Удача нынче мне:
Во-первых, общая тревога,
Как будто целый дом в огне,
Потом, в душонке престарелой девы
Поднял я столько зависти и гнева.

(Уходит.)

Елена, Ставунин.

Ставунин

Зачем ты здесь, зачем играть
Так бесполезно общим мненьем...
Зачем привязанность пустую показать!
Ведь я сказал тебе: забвеньем
Пора окончить всё давно.

Елена

Нет, мне забвенье не дано.
Но что тебе до этого за дело!

Ставунин

Мне? Видишь ли: я сам, могу я смело
И гордо голову поднять...
Но ты — к чему тебе страдать?

Елена

Владимир, есть блаженство и в страданьи,
Ты знаешь сам.

Ставунин

Да, знаю, — что ж потом?

Елена

Ты шел один твоим путем,
Теперь пойдем рука с рукою...

Ставунин

Нет, нет, — оставь меня. Безумною, больною,
Неизлечимой страстью болен я.

Елена

Я знаю... Мы больны болезнию одною...
Лечиться вместе нам.

Ставунин

Дитя, оставь меня...
Бороться не тебе с стоглавой гидрой мненья!..
Когда, когда кругом тебя раздастся грозный клик
Ожесточенного гоненья,
Тогда что скажешь ты?

Елена

Но ты...

Ставунин

О, я привык
Презреньем отвечать на общее презренье,
А твой удел иной, оставь меня, дитя...
Дай руку на прощанье.
Я мог бы, над тобой презрительно шутя,
Как эгоист, тебя увлечь в мои страданья...

Елена
(с отчаянием)

Меня не любишь ты...

Ставунин
(оглядываясь)

Сюда идут, — скорей.
Оставь меня.

Елена
(уходя)

Владимир, до свиданья...

Ставунин

За гробом, если есть за гробом для людей
Хоть что-нибудь...
Безумец бедный,
Ужель всё прошлое, как призрак грустно-бледный,
Способно обдавать меня одной тоской?
И ни один порыв святой
Не в силах отзыва найти во мне: ужели
Я вовсе чужд всему? Иль точно в самом деле
Осталось мне лишь смерть лицом к лицу узнать?
Да, правду он сказал — пора мне умирать.
Одно живет во мне, одно во мне покоя
Не знает: эгоизм... то не любовь, о нет,
Мне нужно лишь одно — ее прямой ответ...
Страдал недаром я... Что б ни было, его я
Так или иначе, но вырву... Много лет
Меня вопрос неразрешенный
Преследовал, как труд недовершенный!
Пора окончить всё, пора испить до дна
Всю чашу бытия... Но тише, вот она.

Донская, Ставунин.

Донская

Я вас искала.

Ставунин

Вы?

Минута молчания.

Донская

(в замешательстве)

Я вас просить хотела
Мне объяснить... Когда в вас память прежних лет
И прежних дружб...

Ставунин

Я знаю... Мой ответ
Короток будет вам и груб, но что за дело?..
Я презираю всё — и презираю смело.

Донская

Да — клеветы.

Ставунин
(спокойно)

Здесь нет клевет.

Минута молчания. Донская опускает глаза.

Ставунин
(так же спокойно)

Да — я таков... я даже не скрываю
Презренья ко всему, ко всем... Идти с собой
Я никого не принуждаю...
Но с вами б я хотел идти рука с рукой.

Донская

Со мной?

Ставунин

Да, с вами, только с вами...
Вы миру чужды, как и я,
Вы надо всем смеетесь сами...
И вы давно — сестра моя...
За вас одних я не боюсь страданий,
И вам одним готов я целый ад
Мук без конца, без упований
Желать бестрепетно, как брат...
Вам чужд такой язык, как чужды эти речи...
Но вспомните одно — я вами жил одной,
Всю жизнь я жаждал этой встречи,
Чтоб всё безумие любви моей больной
Вам высказать хоть раз, бестрепетно и прямо,
Я к смерти близок был, но жить хотел упрямо.
И жив, вы видите...

Донская

Молчите... Смерти час
Еще не близок... Между нами
Есть жизнь и люди... Так вы сами
Сказали мне в последний раз,
Когда надолго мы прощались с вами...
Страдала ль я, любила ль я...
Вам не узнать...

(Хочет идти.)

Ставунин
(останавливается)

Я это знаю...
Моя любовь — сестра моя...

Донская
(вырывая свою руку)

Есть час один, я повторяю,
Когда собою буду я.

Идет. Ее встречают гости, которые идут в гостиную.

Мертвилов
(иронически)

А мы искали вас.

Донская
(равнодушно)

Вы, верно, извините
Мое отсутствие.

(Подавая руку Ставунину, который берет безмолвно шляпу и раскланивается.)

Monsieur Ставунин, вы спешите?
Увидимся.

Эме
(выходя из кабинета с Донским, тихо)

Mais quelle horreur! O cieux! [1]

Ставунин уходит. Все в каком-то неподвижном изумлении смотрят на Донскую.

---

[1] Но какой ужас! О небеса! (франц.). — *Ред.*

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина первая

Комната Ставунина, у письменного стола кресла; Ставунин лежит в них и дремлет, из отворенной двери слышны звуки рояля и голос Веры. Вечер.

Голос Веры

Когда без движенья
И без речей,
В безумстве забвенья,
С твоих очей
Очей не сводя, я
Перед тобой
Томлюсь и сгораю,
О милый мой...
И долгие ночи
Без слов и сна
Очами я в очи
Погружена...
О, знай — я читаю
В очах твоих,
И верь — я страдаю,
Читая в них...
Ты скрытен глубоко,
О милый мой,
Но светлое око
Предатель твой...
И пусть я страдаю
Тоской твоей,
Но я понимаю
Язык очей...

Голос Веры становится все тише и тише.

Ставунин

(просыпаясь)

Проклятый сон... так душно! Вера, Вера!

Вера

(входя тихо)

Тебя я разбудила?

Ставунин

Нет, давно
Пора уж встать.

Вера

(подавая ему письмо)

Письмо.

Ставунин

По почте?

Вера

От курьера,
По городской...

Ставунин

Подай сюда, — окно
Нельзя ли отворить?

Вера

Зимою?

Ставунин

Забылся я...

(Пробегая письмо и бросая его на стол.)

Мне душно.

Вера

(садясь на табурет, почти у ног его)

Что с тобою?

Ставунин

Так.

Вера

Болен ты?..

Ставунин

(играя ее волосами)

Нет, нет... на память мне
Пришли теперь ребяческие годы...

(Как бы говоря с самим собою.)

Одну тоску я помню в старине...
Всё так же душно было мне,
И всё хотелося свободы,
И всё сжимало что-то грудь,
И всё просило что-то воли...
И что-то сжатое свободнее вздохнуть
Хотело... Боже мой... широкой, светлой доли
Молил я жадно... жил во мне недуг
Неизлечимый вечно — а вокруг
Всё было пусто так и душно...
Тогда я подходил к замерзшему окну
Взглянуть на звезды... Звезды равнодушно
Сияли мне... И что-то в вышину
Просилось — здесь ему казалось скучно...
Над этим сам смеялся я потом...
Но что же делать? Жил я долго сном,
Не жизнию... и верил долго вздору,
И вздор один сменил на вздор другой,
Такой же странный...
И другую пору
Я помню: стал мне гадок шум людской...
Среди людей, как и с самим собою,
Мне стало душно... был я одинок
Средь их толпы, меня с рожденья рок
Наполнил глупою тоскою...
И в жизни также жил я сном,
И также пусто было всё кругом...
В сравненьи с этим сном так вяло, бледно,
Так злом и горем бедно...
К звездам я не стремлюся... но не мог
Владеть я тем, что грудь мою давило...
Во мне по-прежнему неведомая сила
Искала расширенья... На Восток
Помчался я искать успокоенья, —
Надежда тщетная... но верю, близок срок,
Когда и я дождуся примиренья...

Вера
(поднимая на него глаза)

Умрем мы вместе?

Ставунин

Бедное дитя!
Зачем тебя увлек я в путь страданья?
Ты жить могла б, жить долго...

Вера

Без желанья
Жить долго.

Ставунин
(берет ее руку)

Говоришь ты не шутя?

Вера
(спокойно и тихо)

Страдала я с тобой одной тоскою,
От жизни жизни так же я ждала,
Но я любила, я жила...
Жила с тобой, жила тобою!..

Ставунин
(грустно)

А я?

Вера

Ты дал мне жизнь... ее я прожила
В одном мятежно-страстном поцелуе...
Чего мне ждать? Пускай теперь умру я:
Земля мне всё в мгновении дала...
В мгновеньи вечность я вкусила...
Я знаю полноту и радость бытия...
Довольно, больше я от неба не просила,
Его я поняла...

Ставунин

А я?..
Чего я ждал, чему я верил?..
Что жизнью долгой нажил я?..

Зачем разувереньем мерил
Мой грустный путь... и лицемерил
С людьми... с тобою, наконец?..
Давным-давно живой мертвец,
Зачем я жил? Зачем надежде
Безумной долго предан был,
Что всё, чему я верил прежде,
Что всё, что прежде я любил,
Предстанет мне в иной одежде,
Просветлено, озарено
Лучами света и свободы...
Чего я ждал? Промчались годы...
Всё было душно и темно
Во мне, за мной, передо мною...
Не веря в чувство ни в одно,
От скуки я играл твоей душою...

Вера

Я это знала и — давно.

Ставунин

И шла за мной ты?

Вера

За судьбою.

Ставунин

Жила обманом ты?

Вера

Обман
Иль правда было то, но смело
Я шла за роком... Что за дело,
Что краткий срок блаженству дан?

Ставунин

Блаженству?..

Вера

Да... за счастие мученья,
За миг единый сбывшегося сна
Благодарю тебя, о милый... Пусть одна
Любила я, без разделенья...

Любила я... довольно. Решена
Моя судьба. Пред вечным роком
Смиренно голову склоня,
Его не оскорблю упреком...
Любила я...

Ставунин

И для меня
Отвергла ты семейство, счастье...

Вера

(иронически)

Счастье?

Ставунин

Да — счастье тишины, спокойствия...

Вера

Цепей?..

Ставунин

Пожалуй, да — цепей участья,
Цепей любви, цепей связей...

Вера

Ты жил без них?

Ставунин

Но много жил я с ними
И отстрадал глубоко в них...
И смело разорвал... зане ужиться с ними
Всю невозможность я постиг,
И что ж?.. Рассудком понимая,
Как жалок человек — великий житель рая,
В стране отцов и матерей...
Изведав связи те, отринув без возврата,
И одинок среди других людей,
Я часто был готов за миг минувших дней
Всю славу гордого разврата,
Всю жизнь страданий и страстей
Отдать за миг один... хоть миг забыться сладко
Среди друзей, средь братьев и родных,

Но я — чужой в толпе чужих...
Пусть сладок сон, но пробужденье — гадко,
Я слишком знаю ласки их.
Нет! есть страдание без страха и смиренья,
Есть непреклонное величие борьбы,
С улыбкой гордою насмешки и презренья
На вопль душевных сил, на бранный зов судьбы...

Погружается в задумчивость; Вера сидит у его ног, склонивши ему голову на колена. Колокольчик раздается у дверей через несколько минут.

Вера

(испуганная, вскакивает)

К тебе идут...

Ставунин

Ко мне? Кому же
Быть в этот час?..

Ставунин, Вера за креслом его. Незнакомая дама под вуалем.

Ставунин

(всматриваясь)

Елена!

Дама

(сбрасывая вуаль)

Нет...
То я, Владимир...

Ставунин

(изумленный, но спокойно)

Вы...

Минутное молчание.

Дама

(глубоко тронутым голосом, почти с рыданиями)

Прошло так много лет...
Владимир...

Ставунин

Да, что вспомнить вы о муже
От скуки вздумали. Прекрасно! Ваш визит
Приятен очень мне, садитесь.
Садитесь же...

Дама садится безмолвно против него.

Дрожите, вы боитесь...
Чего, скажите мне?.. Какая вам грозит
Опасность страшная?..

Дама

(в сильном движении)

Вы тот же равнодушный,
Холодный человек... Вам так же дела нет
До слез моих.

Ставунин

Увы! мне слезы скучны...
Притом же, право, целый свет
Вы ими залили бесплодно.

Дама

Смеетесь вы — как это благородно!..

(Возвышая голос)

Но вы смеяться можете — и я
Готова всё сносить, — да, смейтесь как угодно...
Мои права, обязанность моя,
Долг матери...

Ставунин

Вы мать? Давно ли?..

Дама

О! вы чудовище!

Ставунин

Чего ж вам, пятой доли
Или которой там, седьмой,
Из моего именья?

Дама

(с отчаянием)

Боже мой!

Ставунин

Чего же, говорите смело...
Люблю не слезы я, а дело...

Дама

(с усилием)

Ставунин... сжальтесь надо мной...
Была неправа я.

Ставунин

(насмешливо)

О нет, вы были правы!

Дама

(с силою)

Была неправа я... Но боже, боже мой...
Страдала долго я...

Ставунин

Не я ваш демон злой —
А воспитание и нравы.
Чего ж хотите вы, Евгения?.. На вас
Женился я почти случайно,
Судьба свела обоих нас,
Увы, с иронией тайной...
Любви хотели вы — я дать ее не мог,
Вступивши в брак почти по договору...
К капризам вашим был я строг.
Что ж делать? исстари уж я не верю
вздору,
Друг друга мучить стало нам
Обоим тягостно, решились мы расстаться...
Свободу предоставив вам,
Я сам свободно мог предаться
Другим и планам, и связям...
Богаты были вы — и промотать именье
Я ваше так же б скоро мог,

Как и свое. Но я вас не увлек
Ни в нищету, ни в разоренье.
Чего же нужно вам?

Дама

(падая перед ним на колени)

О! вашего прощенья,
Владимир...

Ставунин

Но за что?.. какой у вас упрек
Лежит на совести? Общественное мненье
Горой стоит за вас давно,
И им мне изверга названье
Так правосудно придано...

Дама

Но я любила вас... Быть может, в наказанье,
За что бы ни было... но я любила вас...
Владимир.,. Боже мой, вы верите в страданье!

Ставунин

Я был обманут — и не раз,
Но если б даже так — положим, даже верить
Любви способен вашей я...
Утомлена душа моя
Необходимостью печальной лицемерить...
Нет, нет, Евгения, я эгоист большой,
Оставь меня, иди своей дорогой,
Моя же кончена... Дай руку — пред тобой
Не судия уж больше строгой,
Но брат, страдающий, как ты... В последний раз
Мы видимся... и слово примиренья
Я говорю тебе, но нет соединенья
До часа смертного для нас...

Дама молча встает с места и идет, в дверях она встречается с Незнакомцем.

Те же и Незнакомец.

Незнакомец

Простите, к вам вошел я без докладу...

Ставунин

(пораженный, про себя)

О! этот голос помнить смертный час
Мне завещал...
Что нужно вам?

Незнакомец

(садясь)

Я сяду,
Пока вы кончите.

Ставунин

(вставая и приветливо делая знаки прощания жене, которая наконец уходит)

Я кончил... И для вас
Готов к услугам.

Незнакомец

(мрачно)

Будто бы?

Ставунин

Но кто вы?

Незнакомец

Кто? — Человек, вам услужить готовый...
Довольно вам... Видались мы иль нет,
Я не берусь решить — подумайте вы сами,
Есть у меня для вас секрет,
И говорить мне нужно с вами.
Угодно ль ехать вам со мной?

Ставунин

Куда?.. Но всё равно... я еду... Пред судьбой
Напрасно отступать...

Незнакомец

(идя к двери)

Идите же за мной.

Ставунин берет со стола шляпу и следует за ним.

Картина вторая

Вечер у откупщика Постина. Большая диванная с аркой вместо дверей, в которую видна анфилада освещенных комнат. Посередине комнаты пять карточных столов; за одним сидят несколько стариков, за другим Столетний, муж Елены, Кобылович. На диванах, по стенам комнаты, гости сидят в разных положениях, курят, пьют пунш и т. п. В огромных креслах подле стола, за которым играют Столетний и прочие, лежит сам Постин с сигарой; Мертвилов, также с сигарой, ходит по комнате. Налево от зрителей, в отворенных дверях, виден хор цыган и в самых дверях Подкосилов, который в неистовстве поет и пляшет с ними; вместе с ним, прислонясь к дверям, стоит безнадежный поэт и мрачно смотрит; оба беспрестанно пьют пунш.

Цыгане поют: «Я пойду, пойду косить во зеленый луг».

Столетний

В червях.

Муж Елены

(кладя карты)

Пас.

Кобылович

Тоже пас.

Постин

(Столетнему)

Везет вам нынче славно...

Столетний

Но только что это за глупая игра?

Постин

Вам всё бы банк да банк!

Кобылович

А кстати, вот забавно!
Я страшно счастлив в банк и в горку... До утра
Играл я раз — и всё на даму...
И мне везло... Андрей Михайлыч мне
Заметил, впрочем, раз...

Мертвилов

(наклонясь к Постину)

Заметьте.

Кобылович

Что упрямо,
Как дамы, счастие — и так же, как оне,
Обманчиво...

Столетний

Однако вы забыли,
Что ваша очередь сдавать.

Подкосилов

(кричит)

Иван Ильич!.. вели подать
Чего-нибудь сюда... Чудесно откосили!

Корнет

(за другим столом)

Ва-банк!

Постин

(обращаясь туда)

А куш велик?

Корнет

(меча карты, с презрением)

Что! триста серебром...

Отец семейства

(за одним столом с корнетом)

Ну, было — не было! последнюю ребром!

Постин

(обращаясь к нему)

Эй, брось играть... Домой придется воротиться!

Отец семейства

Ну, что бы ни было, косить, так уж косить!..
Вот угораздил черт меня жениться...
Да, впрочем, что тут говорить,
Валяй, коси, руби... Вели мне дать хватить
Скорее «ро́мео»... да пусть поют цыганы...

Постин

А вот за этим к атаману
Мы обратимся... Эй ты, любезный друг...

Подкосилов

(подходит, немного шатаясь, к Столетнему)

Что, каково поют?..

Столетний

(ставя карту)

Отстань, мне недосуг.

Подкосилов

Иван Ильич, вели подать туда съестного.

Постин

Распоряжайся сам, да кстати, атаман,
Вели — «Лови, лови!»

Подкосилов

(ревет неестественно в пифическом восторге)

Лови, лови
Часы любви...

Те же, доктор Гольдзелиг.

Постин

(вставая)

А! гостя дорогого
Я только что и ждал — садитесь на диван,
Ложитесь лучше, вы устали,
Я думаю...

Гольдзелиг

(подавая ему руку)

День целый я гонял...
Минуты просто нет свободной...

(Постину тихо.)

Что за народ у вас!..

Постин

(насмешливо)

Народ всё благородный,
И даже столбовой.

Гольдзелиг

Ставунин не бывал?

Постин

Покамест нет еще.

Гольдзелиг

Но будет?

Постин

Обещал.

Мертвилов

(подходя к Гольдзелигу)

Вы были у Донской?

Гольдзелиг

(сухо)

Она больна.

Мертвилов

С скандала?

Гольдзелиг

(так же сухо)

С какого?

Мертвилов

Разве нынче вам
Эме о том не рассказала?

Гольдзелиг

(почти презрительно)

Не каждый же к ее вестям,
Как вы, внимателен.

Мертвилов

(насмешливо)

Забыл я, извините,
Что влюблены вы, и давно.

Гольдзелиг

(вспыльчиво)

Мертвилов, если вы не замолчите...

Мертвилов

(с хохотом)

Monsieur, мы будем драться?

Гольдзелиг

Вам смешно?

Мертвилов

Да как же нет — вы мне простите,
Но это странно — медик вы,
Должны людей лечить, а убивать хотите!

(Отходит.)

Гольдзелиг

(про себя)

Я глуп!

(Постину)

Они играют, — что же вы?

Постин

(презрительно)

Помилуйте, они играют по полтине!
Вот подождем Ставунина, тогда...

Кобылович

(который кончил сдавать, к Постину)

Послушайте, когда я был в Волыни...

Подкосилов

(подходя об руку с безнадежным поэтом, оба уже сильно пьяные)

Что? каково поют — беда...

Безнадежный поэт

Оставь, всё это души
Холодные.

Подкосилов

(Столетнему)

Ты слушай соло Груши!

Те же, Ставунин и Незнакомец.

Ставунин

(Постину)

Я опоздал к вам — виноват.
Рекомендую вам: двоюродный мой брат.

Незнакомец молча кланяется.

Я к вам его привез без церемоний, прямо.

Постин

Обязан много. Очень рад знакомству вашему.

(Пожимает руку незнакомца.)

Ставунин

Гольдзелиг.

(Пожимая ему руку.)

Гольдзелиг

(отводя его в сторону)

Ты упрямо
Искал свидания — и что же?

Ставунин

Что она?

Гольдзелиг

Ты знаешь, верно, сам, — она больна.

Ставунин

Опасно?

Гольдзелиг

Может быть... у ней давно чахотка,
Cette femme mourra d'une mort subite, —
Je vous le dis.[1]

[1] Эта женщина умрет внезапно, — говорю вам (франц.). — *Ред.*

Ставунин

(как бы про себя)

Да, безмятежно, кротко
Она заснет!..

Гольдзелиг

Когда уже не спит...

Ставунин

(изменяясь в лице)

Что говоришь ты?

Гольдзелиг

Да — болезнь такого рода,
Что случай незначительный, пустой
Способен ускорить...

Ставунин

(про себя)

Да, видно, час свободы
И для нее настал со мной...

Постин

(садясь за стол)

Владимир Федорыч, я понтирую...
Кто с нами, господа?

Корнет

Что, куш большой?

Постин

Пятнадцать тысяч.

Отец семейства

Уж рискну я.

Столетний

(вставая)

И я.

Корнет

И я...

Ставунин

(садится у стола, за ним становится Незнакомец.)

Мечите... ставлю туз.

Постин

(мечет)

Вы странно счастливы.

Ставунин

На пе.

Цыгане поют, слышен топот и свист, Подкосилов и безнадежный поэт пляшут вприсядку с цыганами.

Столетний

Держу я...
Уймите этот шум.

Постин

(мечет)

Нельзя, — питомец муз
И атаман неудержимы стали...
Вот счастье!.. Вы, Столетний, проиграли.

Столетний

На пе...

Те же, входит поспешно Вязмин.

Вязмин

Столетний здесь?

Столетний

(слыша его голос)

Зачем ты, подожди,
Борис Владимирыч... На пе...

Вязмин

(схватывая его руку)

Нельзя — иди!
Pardon, messieurs.[1]

---

[1] Извините, господа (франц.). — *Ред.*

Столетний

Постой...

Вязмин

Скорее, о, скорее...

(Тихо.)

Сестра...

Столетний

(быстро вскакивает со стула)

Что?

Вязмин

(увлекая его в угол)

Боже мой!.. Гляди,
Письмо от матушки.

Падает на диван в волнении. Столетний, пробегая письмо, бледнеет и остается долго немым.

Столетний

(приходя в себя)

О! я убью злодея.

Вязмин

(бледный)

Он здесь... он здесь... Ставунин!

Столетний

(пораженный)

Он!

Вязмин

Сестра моя... О боже! это сон,
Ужасный сон!

Столетний

(с сосредоточенным гневом, подходя к Ставунину)

Ставунин — слово
Одно.

Ставунин

(спокойно)

Что нужно вам?..

Столетний

Сказать,
Что вы... что вы... но вам не ново
Прозванье ни одно.

Ставунин

Но я хотел бы знать,
Что значит это всё?

Столетний

Вы знаете... Пред вами
Жених и брат.

Ставунин

(холодно)

Так что ж?

Вязмин

(вставая)

Так вы деретесь с нами
На чем угодно вам.

Ставунин

Простите, господа,
Но, к сожалению, скажу я,
Что не дерусь я никогда...

Столетний

Но вас заставлю я!

Ставунин

Посмотрим... Метко бью я
И верно, мне не страшен пистолет;
Но, к сожалению, я должен отказаться, —
Я не дерусь.

Столетний

Последний ваш ответ?

Ставунин

Последний... или нет: когда нам нужно драться
И нужно умереть кому-нибудь из двух,
Есть средство лучшее.

Столетний

Какое же?

Ставунин

Сыграться
На жизнь...

Столетний

Я ваш партнер.

Ставунин

Садитесь же...

Вязмин

(Столетнему)

Мой друг,
Но он со мною должен рассчитаться...

Столетний

Со мною прежде — и обоим вдруг
Нельзя.

Ставунин

Так, если будет вам угодно...
Играем мы, но прежде благородно
Поговорим... чтоб наша смерть была
Полезна для нее... чтоб то, что честью в свете
Зовется, — возвратить она могла.
Есть у меня жених для Веры на примете.
Когда мои условья примет он,
Деремся мы, monsieur Столетний, с вами.

(Вязмину.)

А с вами я пред светом примирен,
Не правда ль!

Столетний

Это так...

Вязмин

(презрительно)

Жених? Но кто же он?
Не вы ль?

Ставунин

Нет, я женат — но здесь он, между нами.

(Столетнему.)

Садитесь же за стол, я буду к вам сейчас.

(Подходя к Мертвилову.)

Не можете ли вы поговорить со мною?

Мертвилов

(принужденно)

Que vous plaît-il, monsieur? [1]

Ставунин

(Вязмину)

Оставьте нас.
Вот видите ль, заметил в вас давно я
Так много редкого ума и вместе с тем

Мертвилов кланяется.

Так много редкого презренья
К различным предрассудкам. Так зачем

Мертвилов кланяется.

Мне предисловие... Общественного мненья
Боитесь вы немного, вот одно,
О чем хотелось мне поговорить давно.
Вы сами знаете, что главное — именье
На этом свете, да?

Мертвилов

Я вас благодарю...
За мнение... но в чем же дело?

Ставунин

Угодно слушать вам? Итак, я говорю.
И говорю без предисловий, смело;
Скажите, если б вам нежданно получить
Хоть тысяч двести, так, задаром?

Мертвилов

Я вижу, что со мной хотите вы шутить...

[1] Что вам угодно, месье? (франц.). — *Ред.*

Ставунин

Нимало.

Мертвилов

Если так... я их бы принял с жаром,
Конечно...

Ставунин

Если б вам сосватал я жену?

Мертвилов

(не много думая)

Жену!.. И вы...

Ставунин

Мне кажется, друг друга
Мы поняли...

Мертвилов

Но просьбу я одну
Имею к вам: мне звание супруга
Нейдет.

Ставунин

Вы можете в Карлсбад
Отправиться. И так?

Мертвилов

Я очень рад.

Ставунин

(берет его руку)

Итак — я вам рекомендую...

(Подходит к Вязмину с ним. Вязмину.)

Брат вашей будущей жены,
Monsieur Мертвилов...

(Оставляя их, идет к столу.)

Что ж!

Постин

Я понтирую.

Ставунин и Столетний становятся друг против друга, за Ставуниным Незнакомец. Мертвое молчание.

Постин

Направо туз... Ну-ну — вы созданы
Под счáстливой звездой.

Ставунин
(про себя)

Не странны ль игры рока?

Столетний
(ему мрачно и язвительно)

Желаю счастья вам.

Ставунин
(грустно)

Взаимно.

Столетний
(тихо ему)

Ей упрека
Не посылаю я... Желаю счастья ей.

Уходит. Вязмин хочет идти за ним, он его удерживает.

Ставунин
(про себя)

Да! рок привык играть минутами людей!

Незнакомец

Но игры рока — тайны рока!

Неистовая песня раздается в соседней комнате, с притоптыванием, со свистом и припевом: «Жизнь для нас копейка!»

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Гостиная Донских; вечер.

Донская

(одна сидит на диване, сжавши голову руками, перед ней книга)

Так страшно-тяжело! Тоска, одна тоска,
И впереди одно и то же.
Больна я, но от гроба далека...
Мне жить еще судил ты долго, боже.

(Бросая книгу.)

О, для чего раскрыты предо мной
Страданьем говорящие страницы...
Зачем они насмешливо с судьбой
Зовут меня бороться?.. Вереницы
Забытых призраков роятся вкруг меня...
Мне душно, душно... Сжалься надо мною,
Дай мира мне, дай мира и покоя,
Источник вечного огня...
Боролась я... у мира сожаленья
Я не просила... я перед тобой
Горда, чиста... но есть предел терпенья.
Возьми меня, о вечный, в твой покой...
Страдала я... конца моим страданьям
Я не просила... я любила их.
Любила ропот гордый — но роптаньям
Пределы есть в объятиях твоих...
Любила я... мне равное любила,

Не низшее иль высшее меня...
В обоих нас присутствовала сила
Единая палящего огня...
Любила я... свободно, безнадежно
Любила я... любили оба мы...
Мы разошлись, и знаю — неизбежно
Расстаться было нам... не созданы
Равно мы оба были для смиренья,
Любили мы друг друга, как судьбу,
Страдания, как гордую борьбу
Без отдыха, без сладкого забвенья...
Без чудных снов земного бытия...
Отец, отец, — в борьбе устала я,
Дай мира мне и дай успокоенья...

Донская, Донской.

Донской

Marie, к вам можно?

Донская

(выходя из самопогружения)

Что угодно вам?

Донской

Вы помните... Про тульское именье
Я говорил третьего дня — хоть нам
Оно доход порядочный приносит,
Но что же делать?..

Донская

Что же в этом мне?

Донской

Вот видите ль, Marie: для формы просит
Мой кредитор доверенность. Одни

(Вынимает из кармана доверенность.)

Лишь формы... это — подписать...

Донская

Извольте.

(Подписывает.)

Донской

Благодарю вас, ангел мой, Marie.

(Смотрит.)

Вы так добры... Еще здесь слова три
Необходимы.
Кончено... Позвольте
Теперь проститься с вами...

Донская
(презрительно)

В клуб?

Донской
(с ужимкою)

Увы!
Притом же вам авось не будет скучно,

(Насмешливо.)

И без меня найдете, верно, вы
Теперь кого-нибудь: я равнодушно
Смотрю на всё...

Донская
(с оскорбленным достоинством)

Что говорите вы?

Донской
(насмешливо пожимая плечами)

Что говорят.

Донская

Но кто же?

Донской

Пол-Москвы...
Но мне до вас нет вовсе дела,
Вы можете и жертвовать собой,
И с предрассудками бороться смело...
Я человек, известно вам, простой,
Не карточный игрок отъявленный, не гений,

Не понимаю высших я воззрений,
И предпочел давно всему покой.
Adieu, Marie! [1]

(Уходит.)

Донская

О боже, боже мой...
Так судит свет... Что, если бы для света
Любовь мою я в жертву принесла?..
Как жалко бы я пала... как ответа
И даже б веры в свете не нашла...
Но я давно общественному мненью
В лицо взглянула прямо, без страстей,
Давно уже я каждому влеченью
Свободно предавалась — для людей
Не жертвовала я ничем...
Душой моей
Пожертвовала я давно уж воле рока...
И перед ним чиста я, без упрека,
И перед ним горда я...
Скоро ль путь
Окончу я!.. Скорее бы вздохнуть
Свободнее... Скорее б духу крылья,
Чтоб, разорвав сожженную им грудь,
За гордую борьбу, за тщетные усилья
В объятиях отца он мог бы отдохнуть.

(Погружается в задумчивость.)

Донская, Ставунин входит тихо.

Донская
(быстро взглядывает на него)
Вы! в этот час...

Ставунин
(с покойною холодностью)
Проститься с вами.

Донская

Вы едете... куда же?

---

[1] До свидания, Мари (франц.). — *Ред.*

Ставунин

На Кавказ.

Донская

Хотите вы лечить себя водами...

Ставунин
(садясь)

Лечиться глупо кажется для вас
И для меня... Теперь в последний раз
Мы видимся.

Донская
(подавая ему руку)

Расстанемся друзьями.

Ставунин
(отдергивая руку быстро)

О нет, о нет, врагами же скорей!
От вас любовь или вражду возьму я —
Но дружбу — нет...

Донская
(отнимая руку, печально)

Вы правы.

Ставунин

Но одну я
Имею просьбу к вам.

Донская
(чертя по столу пальцем)

Какую?

Ставунин

Вот видите ль... Прошедшее у вас
Изгладилось иль нет из памяти, не знаю —
Но я — я помню вас... Вы помните ли, раз —
То было вечером.

Донская

(как бы пораженная)

О! я припоминаю.

Ставунин

Вы пели песню — песня та была
Исполнена таинственной надежды,
Покоя смерти... Под нее бы вежды
Закрыть хотелось мне всегда... Светла
И так полна печали песня эта...
И так мольбой покоя дышит, — вы
Ее забыли?.. Я стихи поэта
Напомню вам, но звуки, звуки — вы
Найдете в памяти... они просты
И глубоки.

Донская

(твердо и тихо)

Я помню их

(Выходит в другую комнату.)
Раздаются звуки рояля.

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой...
Не пылит дорога,
Не дрожат листы,
Подожди немного,
Отдохнешь и ты...

Ставунин

(по уходе Донской быстро вскакивая и схватывая стакан с лимонадом на ее столике)

Мгновенье
В моих руках... прости меня, прости,
Источник жизни, если преступленье
Я совершил.

Бросает яд; слышно: «Отдохнешь и ты».

Да, да — мы отдохнем,
Мы отдохнем с тобою оба...
Мы жили врозь, но вместе мы умрем,
Соединит нас близость гроба.

Донская

(входит и бросается на диван в сильном волненьи, грудь ее сильно поднимается)

Ставунин... мы расстаться навсегда
Теперь должны...

Ставунин

Кто знает?

Донская

Воля рока.

Ставунин

Всё рок один!

Донская

Нам больше никогда
Не встретиться... Быть может, я жестоко
Играла вами, вашею душой...
Что ж делать, час последний мой
Еще не близок... Душно мне.

(Пьет.)

Ставунин

(вставая медленно и торжественно)

Для вас
Теперь он пробил...

Донская

Что?

Ставунин

Ваш смертный час.

Донская смотрит на него неподвижно.

Мари, Мари... вы пили яд.

Донская

(как бы потрясенная электрическою искрою, с радостью)

Ужели?..

Ставунин

Ты яд пила, Мари... Безумной цели
Достиг я... я у берега.

Донская

О нет,
Не верю я... вы обмануть хотите
Меня, Ставунин... Искупленье, свет,
Свобода... Говорите, говорите,
То правда ли?

Ставунин
(падая у ног ее)

О да, дитя мое...
Прости меня... тебя любил я странно,
Болезненно, безумно, постоянно,
Тебя любил я — бытие свое
Я приковал давно к одной лишь цели,
К тебе одной... Не спрашивай меня,
Зачем я жил так долго, — и тебе ли
Об этом спрашивать?.. Давно, со дня
Разлуки нашей, мыслию одной
Я жил — упасть у ног твоих хоть раз...
Хоть раз один тебе спокойно в очи
Смотреть, в больные очи... Смерный час
Твой пробил... ты свободна; вечной ночи
Добыча ты — ты кончила расчет
С людьми и миром...

Донская

О! как страшно жжет
Мне грудь твой яд...

Ставунин
(у ног ее)

Мгновение мученья
Пройдет, дитя...

Донская
(слабым голосом)

Проходит... Добрый друг,
Благодарю тебя; освобожденье
Я чувствую... почти затих недуг...

Свободна я... Владимир, руку, руку,
Дай руку мне!

Ставунин

На вечную разлуку,
Дитя мое, мой ангел... навсегда!
Прости... прости...

Донская

Владимир, до свиданья!
Свиданье есть... я чувствую... о да,
Свиданье есть... кто гордо нес страданье,
Тот в жизнь его иную унесет...
Мне кажется, заря теперь встает,
И дышит воздух утренней прохладой,
И мне дышать легко, легко... отрадой
Мне жизнь иная веет...

Ставунин

О! не умирай,
Еще одно, еще одно мгновенье,
Последнее дыханье передай
В лобзаньи мне последнем, первом...

Долгий поцелуй, после которого Донская вдруг отрывается от него.

Донская

(слабо и прерывисто)

Пробужденье...
Любовь... Свобода... Руку!..

(Умирает.)

Ставунин

Умерла!

(Склоняется головою на ее колени; потом через несколько минут приподнимается.)

Всё кончено... теперь скорей с судьбою
Кончать расчет...

(Бросается, но останавливается на минуту и снова падает у ног ее.)

Нет, жить ты не могла,
Дитя мое, — обоих нас с тобою
Звала судьба!.. Но ты мертва, мертва...,

Мари, Мари,— ужели ты не слышишь?..
Мертва, бледна... О боже, голова
Моя кружится... Ты нема, мертва...
Мари, дитя мое, мертва, не дышишь...
О, это страшно... Но твои слова
Я понимаю: до свиданья, до свиданья...
О, если бы!..

(Встает и идет медленно к дверям; тихо.)

Ставунин и доктор Гольдзелиг.

Гольдзелиг

Ты здесь...

Ставунин
(тихо)

Тс!..

Гольдзелиг

Спит она?

Ставунин
(с страшною улыбкою)

Сном смерти.

Гольдзелиг
(бросаясь к ней)

Умерла!

Ставунин

Отравлена!

Минута молчания.

Гольдзелиг
(оставляя ее руку, мрачно и грустно)

Ее, как ты, любил я, — но роптанья
Безумны будут; над тобой, над ней
Лежит судьба.

Ставунин

Прощай.

Гольдзелиг

Навеки?

Ставунин

К ней.

Молча пожимают друг другу руки. Ставунин уходит, в последний раз поцеловавши руку Донской. Гольдзелиг садится и долго смотрит на мертвую.

Гольдзелиг

Да, это странно, странно... Налегла
На них печать страданья и проклятья,
И тем, которых жизнь навеки развела,
Открыла смерть единые объятья...

Донской
(входя с Кобыловичем)

Marie, вы здесь...

(Подходит и с удивлением обращается к доктору.)

Что с нею?

Гольдзелиг
(спокойно)

Умерла.

Донской
(с удивлением)

Как? умерла...

(С горестью ударяя себя в лоб.)

А я об завещаньи
Не хлопотал, — седьмая часть одна
Мне по закону следует.

Кобылович

Она
Скоропостижно так скончалась... Здесь нужна
Полиция... Ничто без основанья
Законного не должно делать вам...
Мне часто говорил Андрей Михайлыч сам...

Занавес падает при последних словах.

1845

ПОЭМЫ

ОЛИМПИЙ РАДИН

Рассказ

1

Тому прошло уж много лет,
Что вам хочу я рассказать,
И я уверен — многих нет,
Кого бы мог я испугать
Рассказом; если же из них
И есть хоть кто-нибудь в живых,
То, верно, ими всё давно
Забвению обречено.
И что до них? Передо мной
Иные образы встают...
И верю я: не упрекнут,
Что их неведомой судьбой,
Известной мне лишь одному,
Что их непризнанной борьбой
Вниманье ваше я займу...

2

Тому назад лет шесть иль пять,
Не меньше только, — но в Москве
Еще я жил... Вам нужно знать,
Что в старом городе я две
Отдельных жизни различать
Привык давно: лежит печать
Преданий дряхлых на одной,

Еще не скошенных досель...
О ней ни слова... Да и мне ль
Вам говорить о жизни той?
И восхищаться бородой,
Да вечный звон колоколов
Церквей различных сороков
Превозносить?.. Иные есть,
Кому охотно эту честь
Я уступить всегда готов;
Их голос важен и силен
В известном случае, как звон
Торжественный колоколов...
Но жизнь иную знаю я
В Москве старинной...

. . . .
. . . .
. . . .

3

Из всех людей, которых я
В московском обществе знавал,
Меня всех больше занимал
Олимпий Радин... Не был он
Умом начитанным умен,
И даже дерзко отвергал
Он много истин, может быть;
Но я привык тот резкий тон
Невольно как-то в нем любить;
Был смел и зол его язык,
И беспощадно он привык
Все вещи звать по именам,
Что очень часто страшно нам...
В душе ль своей, в душе ль чужой
Неумолимо подводить
Любил он под итог простой
Все мысли, речи и дела
И в этом пищу находить
Насмешке вечной, едко-злой,
Над разницей добра и зла...
В иных была б насмешка та
Однообразна и пуста,

Как жизнь без цели... Но на нем
Страданья гордого печать
Лежала резко — и молчать
Привык он о страданьи том...
В былые годы был ли он
Сомненьем мучим иль влюблен —
Не знал никто; да и желать
Вам в голову бы не пришло,
Узнав его, о том узнать,
Что для него давно прошло...
Так в жизнь он веру сохранил,
Так был он полон свежих сил,
Что было б глупо и смешно
В нем тайну пошлую искать,
И то, что им самим давно
Отринуто, разузнавать...
Быть может, он, как и другой,
До истин жизненных нагих,
Больной, мучительной борьбой,
Борьбою долгою достиг...
Но ей он не был утомлен, —
О нет! из битвы вышел он
И здрав, и горд, и невредим...
И не осталося за ним
Ни страха тайного пред тем,
Что разум отвергал совсем,
Ни даже на́ волос любви
К прошедшим снам... В его крови
Еще пылал огонь страстей;
Еще просили страсти те
Не жизни старческой — в мечте
О жизни прошлых, юных дней, —
А новой пищи, новых мук
И счастья нового... Смешон
Ему казался вечный стон
О ранней старости вокруг,
Когда он сам способен был
От слов известных трепетать,
Когда в душе его и звук,
И шорох многое будил...
Он был женат... Его жена
Была легка, была стройна,

Умела ежедневный вздор
Умно и мило говорить,
Подчас, пожалуй, важный спор
Вопросом легким оживить,
Владела тактом принимать
Гостей и вечно наполнять
Гостиную и, может быть,
Умела даже и любить,
Что, впрочем, роскошь. Пол-Москвы
Была от ней без головы,
И говорили все о ней,
Что недоступней и верней
Ее — жены не отыскать,
Хотя, признаться вам сказать,
Как и для многих, для меня,
К несчастью, нежная жена —
Печальный образ... — Но она
Была богата... Радин в ней
Нашел блаженство наших дней,
Нашел свободу — то есть мог
Какой угодно вам порок
Иль недостаток не скрывать
И смело тем себя казать,
Чем был он точно...

4

Я ему
Толпою целою друзей
Представлен был, как одному
Из замечательных людей
В московском обществе... Потом
Видался часто с ним в одном
Знакомом доме... Этот дом
Он постоянно посещал,
Я также... Долго разговор
У нас не ладился: то был
Или московский старый спор
О Гегеле, иль просто вздор...
Но слушать я его любил,
Затем что спору никогда
Он важности не придавал,

Что равнодушно отвергал
Он то же самое всегда,
Что перед тем лишь защищал.
Так было долго... Стали мы
Друг другу руку подавать
При встрече где-нибудь, и звать
Меня он стал в конце зимы
На вечера к себе, чтоб там
О том же вздоре говорить,
Который был обоим нам
Смешон и скучен... Может быть,
Так шло бы вечно, если б сам
Он не предстал моим глазам
Совсем иным...

5

Тот дом, куда и он, и я
Езжали часто, позабыть
Мне трудно... Странная семья,
Семья, которую любить
Привыкла так душа моя —
Пусть это глупо и смешно, —
Что и теперь еще по ней
Подчас мне скучно, хоть равно,
Без исключений, — прошлых дней
Отринул память я давно...
То полурусская семья
Была, — заметьте: это я
Вам говорю лишь потому,
Что, чисто-русский человек,
Я, как угодно вам, вовек
Не полюблю и не пойму
Семейно-бюргерских картин
Немецкой жизни, где один
Благоразумно-строгий чин
Владеет всем и где хранят
До наших пор еще, как клад,
Неоцененные черты
Печально-пошлой чистоты,
Бирсуп и нежность... Русский быт,
Увы! совсем не так глядит, —

Хоть о семейности его
Славянофилы нам твердят
Уже давно, но, виноват,
Я в нем не вижу ничего
Семейного... О старине
Рассказов много знаю я,
И память верная моя
Тьму песен сохранила мне,
Однообразных и простых,
Но страшно грустных... Слышен в них
То голос воли удалой,
Всё злою долею женой,
Всё подколодною змеей
Опутанный, то плач о том,
Что тускло зимним вечерком
Горит лучина, — хоть не спать
Бедняжке ночь, и друга ждать,
И тешить старую любовь,
Что ту лучину залила
Лихая, старая свекровь...
О, верьте мне: невесела
Картина — русская семья...
Семья для нас всегда была
Лихая мачеха, не мать...
Но будет скучно вам мои
Воззрения передавать
На русский быт... Мы лучше той
Не чисто русскою семьей
Займемся...
Вся она была
Из женщин. С матери начать
Я должен... Трудно мне сказать,
Лет сорок или сорок пять
Она на свете прожила...
Да и к чему? В душе моей
Хранятся так ее черты,
Как будто б тридцать было ей...
Такой свободной простоты
Была она всегда полна,
И так нежна, и так умна,
Что становилося при ней
Светлее как-то и теплей...

Она умела, видя вас,
Пожалуй, даже в первый раз,
С собой заставить говорить
О том, о чем не часто вам
С другим придется, может быть;
Насмешке ль едкой, иль мечтам
Безумно-пламенным внимать
С участьем равным; понимать
Оттенки все добра и зла
Так глубоко и так равно,
Как женщине одной дано...
Она жила... Она жила
Всей бесконечной полнотой
И мук, и счастья, — и покой
Печально-глупый не могла
Она от сердца полюбить...
Она жила, и жизни той
На ней на всей печать легла,
И ей, казалось, не забыть
Того, чего не воротить...
И тщетно опыт многих лет
Рассудка речи ей шептал
Холодные, и тщетно свет
Ее цепями оковал...
Вам слышен был в ее речах
Не раболепно-глупый страх
Пред тем, что всем уже смешно,
Но грустный ропот, но одно
Разуверенье в гордых снах...
И между тем была она
Когда-то верная жена
И мать примерная потом,
Пример всегда, пример во всем.
Но даже добродетель в ней
Так пошлости была чужда,
Так благородна, так проста,
Что в ней одной, и только в ней,
Была понятна чистота...
И как умела, боже мой!
Отпечатлеть она во всем
Свой мир особый, — и притом
Не быть хозяйкой записной, —

Не быть ни немкою, и речь
Вести о том, как дом беречь,
Ни русской барыней кричать
В огромной девичьей... О нет!
Она жила, она страдать
Еще могла, иль сохранять,
По крайней мере, лучших лет
Святую память... Но о ней
Пока довольно: дочерей,
Как я умею, описать
Теперь, мне кажется, пора...
Их было две, и то была
Природы странная игра:
Она, казалось, создала
Необходимо вместе их,
И нынче, думая о них,
Лишь вместе — иначе никак —
Себе могу представить их.
Их было две... И, верно, так
Уж было нужно... Создана
Была, казалося, одна
Быть вечной спутницей другой,
Как спутница земле луна...
И много общих черт с луной
Я в ней, особенно при той,
Бывало, часто находил,
Хоть от души ее любил...
Но та... Ее резец творца
Творил с любовью без конца,
Так глубоко и так полно,
И вместе скупо, что одно
Дыханье сильное могло
Ее разбить... Всегда больна,
Всегда таинственно-странна,
Она влекла к себе сильней
Болезнью странною своей...
И я так искренно любил
Капризы вечные у ней —
Затем ли, что каприз мне мил
Всегда, во всем — и я привык
Так много добрых, мало злых
Встречать на свете, — или жаль

Цветка больного было мне,
Не знаю, право; да и льзя ль,
И даже точно ли дано
Нам чувство каждое вполне
Анализировать?.. Одно
Я знаю: с тайною тоской
Глядел я часто на больной,
Прозрачный цвет ее лица...
И долго, долго без конца,
Тонул мой взгляд в ее очах,
То чудно ярких, будто в них
Огонь зажегся, то больных,
Полупогасших... Странный страх
Сжимал мне сердце за нее,
И над душой моей печаль
Витала долго, — и ее
Мне было долго, долго жаль...
Она страдать была должна,
Страдать глубоко, — не одна
Ей ночь изведана без сна
Была, казалось; я готов
За это был бы отвечать,
Хоть никогда б не отыскать
Вам слез в очах ее следов...
Горда для слез, горда и зла,
Она лишь мучиться могла
И мучить, может быть, других,
Но не просить участья их...
Однако знал я: до зари
Сидели часто две сестры,
Обнявшись, молча, и одна
Молиться, плакать о другой
Была, казалось, создана...
Так плачет кроткая луна
Лучами по земле больной...
Но сухи были очи той,
Слова молитв ее язык
Произносить уже отвык...
Она страдала: много снов
Она рассеяла во прах
И много сбросила оков,
И ропот на ее устах

Мне не был новостью, хотя
Была она почти дитя,
Хоть часто был я изумлен
Вопросом тихим и простым
О том, что детям лишь одним
Ново̀; тем более, что он
Так неожиданно всегда
Мелькал среди ее речей,
Так полных жизнию страстей...
И вдвое, кажется, тогда
Мне становилося грустней...
Ее иную помню я,
Беспечно-тихое дитя,
Прозрачно-легкую, как тень,
С улыбкой светлой на устах,
С лазурью чистою в очах,
Веселую, как яркий день,
И юную, как детский сон...
Тот сон рассеян... Кто же он,
Который первый разбудил
Борьбу враждебно-мрачных сил
В ее груди и вызвал их,
Рабов мятежных власти злой,
Из бездны тайной и немой,
Как бездна, тайных и немых!

6

Безумец!.. Знал или не знал,
Какие силы вызывал
Он на страданья и борьбу, —
Но он, казалось, признавал
Слепую, строгую судьбу
И в счастье веровать не мог,
И над собою и над ней
Нависший страшно видел рок...
То был ли в нем слепых страстей
Неукротимый, бурный зов,
Иль шел по воле он чужой —
Не знаю: верить я готов
Скорей в последнее, и мной

Невольный страх овладевал,
Когда я вместе их видал...
Мне не забыть тех вечеров,
Осенних, долгих... Помню я,
Как собиралась вся семья
В свой тесный, искренний кружок,
И лишь она, одна она,
Грозой оторванный листок,
Вдали садилась. Предана
Влиянью силы роковой,
Всегда в себя погружена,
И, пробуждаяся порой
Лишь для того, чтоб отвечать
На дважды сделанный вопрос,
И с гордой грустию молчать,
Когда другому удалось
Ее расстройство увидать...
Являлся он... Да! в нем была —
Я в это верю — сила зла:
Она одна его речам,
Однообразным и пустым,
Давала власть. Побывши с ним
Лишь вечер, грустно было вам,
Надолго грустно, хоть была
Непринужденно-весела
И речь его, хоть не был он
«Разочарован и влюблен»...
Да! обаянием влекло
К нему невольно... Странно шло
К нему, что было бы в другом
Одной болезнью иль одним
Печально-пошлым хвастовством.
И взором долгим и больным,
И испытующим она
В него впивалась, и видна
Во взгляде робость том была:
Казалось, трудно было ей
Поверить в обаянье зла,
Когда неумолим, как змей,
Который силу глаз своих
Чутьем неведомым постиг,
Смотрел он прямо в очи ей...

7

А было время... Предо мной
Рисует память старый сад,
Аллею лип... И говорят
Таинственно между собой,
Качая старой головой,
Деревья, шепчутся цветы,
И, озаренные луной,
Огнями светятся листы
Аллеи темной, и кругом
Прозрачно-светлым, юным сном
Волшебным дышит всё... Они
Идут вдали от всех одни
Рука с рукой, и говорят
Друг с другом тихо, как цветы...
И светел он, и кротко взгляд
Его сияет, и возврат
Первоначальной чистоты
Ему возможен... С ней одной
Хотел бы он рука с рукой,
Как равный с равною, идти
К высокой цели... В ней найти,
Лишь в ней одной найти он мог
Ту половину нас самих,
Какую с нами создал бог
Неразделимо. . . . . .
. . . .

8

То был лишь сон один... Иных,
Совсем иных я видел их...
Я помню вечер... Говорил
Олимпий много, помню я,
О двух дорогах бытия,
О том, как в молодости был
Готов глубоко верить он
В одну из двух... и потому
Теперь лишь верит одному,

Что верить вообще смешно,
Что глупо истины искать,
Что нужно счастье, что страдать
Отвыкнуть он желал давно,
Что даже думать и желать —
Напрасный труд и что придет
Для человечества пора,
Когда с очей его спадет
Безумной гордости кора,
Когда вполне оно поймет,
Как можно славно есть и пить
И как неистинно любить...
С насмешкой злобною потом
Распространялся он о том,
Как в новом мире все равны,
Как все спокойны будут в нем,
Как будут каждому даны
Все средства страсти развивать,
Не умерщвляя, и к тому ж
Свободно их употреблять
На обрабатыванье груш.
Поникнув грустно головой,
Безмолвно слушала она
Его с покорностью немой,
Как будто власти роковой
И неизбежной предана...
Что было ей добро и зло?
На нем, на ней давно легло
Проклятие; обоим им
Одни знакомы были сны,
И оба мучились по ним,
Еще в живых осуждены...
Друг другу никогда они
Не говорили ни о чем,
Что их обоих в оны дни
Сжигало медленным огнем, —
Обыкновенный разговор
Меж ними был всегда: ни взор,
Ни голос трепетный порой
Не обличили их...
Лишь раз
Себе Олимпий изменил,

И то, быть может, в этот час
Он слишком искренно любил...
То было вечером... Темно
В гостиной было, хоть в окно
Гляделся месяц; тускло он
И бледно-матово сиял.
Она была за пьяно; он
Рассеянно перебирал
На пьяно ноты — и стоял,
Облокотяся, перед ней,
И в глубине ее очей
С невольной, тайною тоской
Тонул глазами; без речей
Понятен был тот взгляд простой:
Любви так много было в нем,
Печали много; может быть,
Воспоминания о том,
Чего вовек не возвратить...
Молчали тягостно они,
Молчали долго; начала
Она, и речь ее была
Тиха младенчески, как в дни
Иные... В этот миг пред ним
Былая Лина ожила,
С вопросом детским и простым
И с недоверием ко злу...
И он забылся, верить вновь
Готовый в счастье и любовь
Хоть на минуту... На полу
Узоры странные луна
Чертила... Снова жизнью сна,
Хотя больного сна, кругом
Дышало всё... Увы! потом,
К страданью снова возвращен,
Он снова проклял светлый сон...

9

Его проклясть, но не забыть
Он мог — хоть гордо затаить
Умел страдание в груди...
Казалось, с ним уже всему

Былому он сказал прости,
Чему так верил он, чему
Надеялся не верить он
И что давно со всех сторон
Рассудком бедным осудил...
Я помню раз, в конце зимы,
С ним долго засиделись мы
У них; уж час четвертый был
За полночь; вместе мы взялись
За шляпы, вместе поднялись
И вышли... Вьюга нам в глаза
Кидалась... Ветер грустно выл,
И мутно-темны небеса
Над нами были... Я забыл,
С чего мы начали, садясь
На сани: разговора связь
Не сохранила память мне...
И даже вспомнить мне о нем,
Как о больном и смутном сне,
Невольно тяжко; об одном
Я помню ясно: говорил
К чему-то Радин о годах
Иных, далеких, о мечтах,
Которым сбыться не дано
И от которых он не мог —
Хоть самому ему смешно —
Отвыкнуть... Неизбежный рок
Лежал на нем, иль виноват
Был в этом сам он, но возврат
Не для него назначен был...
Он неизменно сохранил
Насмешливый, холодный взгляд
В тот день, когда была она
Судьбой навек осуждена...

10

Ее я вижу пред собой...
Как ветром сломанный цветок,
Поникнув грустно головой,
Она стояла под венцом...
И я... Молиться я не мог

В тот страшный час, хоть все кругом
Спокойны были, хоть она
Была цветами убрана...
Или в грядущее проник
Тогда мой взгляд — и предо мной
Тогда предведеньем возник,
Как страшный сон, обряд иной —
Не знаю, — я давно отвык
Себе в предчувствиях отчет
Давать, но ровно через год,
В конце другой зимы, на ней
Я увидал опять цветы...
Мне живо бледные черты
Приходят в память, где страстей
Страданье сгладило следы
И на которых наложил
Печать таинственный покой...
О, тот покой понятен был
Душе моей, — печать иной,
Загробной жизни; победил,
Казалось, он, святой покой,
Влиянье силы роковой
И в отстрадавшихся чертах
Сиял в блистающих лучах...

11

Что сталось с ним? Бежал ли он
Куда под новый небосклон
Забвенья нового искать
Или остался доживать
Свой век на месте? — Мудрено
И невозможно мне сказать;
Мы не встречались с ним давно
И даже встретимся едва ль...
Иная жизнь, иная даль,
Необозримая, очам
Моим раскинулась... И свет
В той дали блещет мне, и там
Нам, вероятно, встречи нет...

1845

ВИДЕНИЯ

Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu[1].

1

Опять они, два призрака опять...
Старинные знакомцы: посещать
Меня в минуты скорби им дано,
Когда в душе и глухо, и темно,
Когда вопрос печальный не один
На дно ее тяжелым камнем пал
И вновь со дна затихшую подъял
Змею страданий... Длинный ряд картин
Печальною и быстрой чередой
Тогда опять проходит предо мной...
То — образы давно прошедших лет,
То — сны надежд, то — страсти жаркий бред,
То радости, которых тщетно жаль,
То старая и сладкая печаль,
То всё — чему в душе забвенья нет!
И стыдно мне, и больно, и смешно,
Но стонов я не в силах удержать
И к призракам, исчезнувшим давно,
Готов я руки жадно простирать,
Ловить их тщетно в воздухе пустом
И звать с рыданьем...

---

[1] Старинная сказка? Но вечно останется новой она (немецк., перевод А. Н. Плещеева) — *Ред.*

2

Вот он снова — дом
Архитектуры легкой и простой,
С колоннами, с балконом — и кругом
Раскинулся заглохший сад густой.
Луна и ночь... Всё спит; одно окно
В старинный сад свечой озарено,
И в нем — как сон, как тень, мелькнет подчас
Малютка ручка, пара ярких глаз
И детский профиль... Да! не спит она, —
Взгляните — вот, вполне она видна —
Светла, легка, младенчески чиста,
Полуодета... В знаменье креста
Сложились ручки бледные!.. Она
В молитве вся душой погружена...
И где ей знать, и для чего ей знать,
Что чей-то взгляд к окну ее приник,
Что чьей-то груди тяжело дышать,
Что чье-то сердце мукою полно...
Зачем ей знать? Задернулось окно
Гардиною, свеча погашена...
Немая ночь, повсюду тишина...

3

Но вот опять виденье предо мной...
Дом освещен, и в зале небольшой
Теснятся люди; мирный круг *своих*
Свободно-весел... Ланнера живой
Мотив несется издали, то тих,
Как шепот страсти, то безумья полн
И ропота, как шумный говор волн,
И вновь она, воздушна и проста,
Мелькает легкой тенью меж гостей,
Так хороша, беспечна так... На ней
Лишь белизной блестит одной убор...
Ей весело. Но снова чей-то взор
С болезненным безумием прильнул
К ее очам — и словно потонул
В ее очах: молящий и больной,
За ней следит он с грустию немой...

4

И снова ночь, но эта ночь темна.
И снова дом — но мрачен старый дом
Со ставнями у окон: тишина
Уже давным-давно легла на нем.
Лишь комната печальная одна
Лампадою едва озарена...
И он сидит, склонившись над столом,
Ребенок бледный, грустный и больной...
На нем тоска с младенчества легла,
Его душа, не живши, отжила,
Его уста улыбкой сжаты злой...
И тускло светит страшно впалый взор, —
Печать проклятья, рока приговор
Лежит на нем... Он вживе осужден,
Зане и смел, и неспособен он
Ценой свободы счастье покупать,
Зане он горд способностью страдать.

5

Старинный сад... Вечернею росой
Облитый весь... Далекий небосклон...
Как будто чаша, розовой чертой,
Зари сияньем ярко обведен.
Отец любви!.. В священный ночи час
Твой вечный зов яснее слышен в нас.
Твоим святым наитием полна,
Так хороша, так девственна она,
Так трепетно рука ее дрожит
В чужой руке — и робко так глядит
Во влаге страсти потонувший взгляд...
Они идут и тихо говорят.
О чем? Бог весть... Но чудно просветлен
Зарей любви, и чист, и весел...
. . . .
. . . .
. . . .

6

Опять толпа... Огнями блещет зал,
Огромный и высокий: светский бал
Веселостью натянутой кипит,
И масок визг с мотивом вальса слит.
Всё тот же Ланнер страстный и живой,
Всё так же глуп, бессмыслен шум людской,
И средь людей — детей или рабов
Встречает он, по-прежнему суров,
По-прежнему святым страданьем горд —
Но равнодушен, холоден и тверд.
И перед ним — она, опять она!
И пусть теперь она осквернена
Прикосновеньем уст и рук чужих, —
Она — его, и кто ж разрознит их?
Не свет ли? Не законы ли людей?..
Но что им в них? — Свободным нет цепей...

Но этот робкий, этот страстный взгляд,
Ребячески-пугливый, целый ад
В его груди измученной зажег.
О нет, о нет! не люди — гневный бог
Их разделил... Обоим дико им
Среди людей встречаться, как чужим,
Но суд небес над ними совершен,
И холоден взаимный их поклон,
Едва заметный, робкий.

7

И опять
Видение исчезло, чтобы дать
Иному место. Комната: она
Невелика, но пышно убрана
Причудливыми прихотями мод...
В замерзшее окно глядит луна,
И тихо всё, ни голоса... но вот
Послышался тяжелый чей-то вздох.
Опять они... и он у милых ног,
С безумством страсти в очи смотрит ей...

Она молчит, от головы своей
Не отрывает бледных, сжатых рук.
Он взял одну... он пламенно приник
Устами к той руке — но столько мук
В ее очах: больной их взгляд проник
Палящим, пожирающим огнем
В его давно истерзанную грудь...
Он тихо встал и два шага потом
К дверям он сделал... он хотел вздохнуть,
И зарыдал, как женщина... и стон,
Ужасный стон в ответ услышал он.
И вновь упал в забвении у ног...
И долго слов никто из них не мог
На языке найти — и что слова?
Она рыдала... на руки опять
Горячая склонилась голова...
Она молчала... он не мог сказать
Ни слова... Даль грядущего ясна
Была обоим и равно полна
Вражды, страданья, тайных, жгучих слез,
Ночей бессонных... Смертный приговор
Давно прочтен над ними, и укор
Себе иль небу был бы им смешон...
Она страдала, был он осужден.

8

Исчезли тени... В комнате моей
По-прежнему и пусто, и темно,
Но мысль о нем, но скорбь и грусть о ней
Мне давят грудь... Мне стыдно и смешно,
А к призракам давно минувших дней
Готов я руки жадно простирать
И, как ребенок, плакать и рыдать...

28 января 1846

ПРЕДСМЕРТНАЯ ИСПОВЕДЬ

And lives as saints have died — a martyr.

Byron[1]

1

Он умирал один, как жил,
Спокойно горд в последний час;
И только двое было нас,
Когда он в вечность отходил.
Он смерти ждал уже давно;
Хоть умереть и не искал,
Он всё спокойно отстрадал,
Что было отстрадать дано.
И жизнь любил, но разлюбил
С тех пор, как начал понимать,
Что всё, что в жизни мог он взять,
Давно, хоть с горем, получил.
И смерти ждал, но верил в рок,
В определенный жизни срок,
В задачу участи земной,
В связь тела бренного с душой
Неразделимо; в то, что он
Не вовсе даром в мир рожден;
Что жизнь — всегда он думал так —
С известной целью нам дана,
Хоть цель подчас и не видна, —
Покойник страшный был чудак!

---

[1] И живет, как усопшие святые, — мученик. Байрон (англ.). — *Ред.*

2

Он умирал... глубокий взгляд
Тускнел заметно; голова
Клонилась долу, час иль два
Ему еще осталось жить,
Однако мог он говорить.
И говорить хотел со мной
Не для того, чтоб передать
Кому поклон или привет
На стороне своей родной,
Не для того, чтоб завещать
Для мира истину, — о нет!
Для новых истин слишком он
Себе на горе был умен!
Хотел он просто облегчить
Прошедшим сдавленную грудь
И тайный ропот свой излить
Пред смертью хоть кому-нибудь;
Он также думал, может быть,
Что, с жизнью кончивши расчет,
Спокойней, крепче он уснет.

3

И, умирая, был одним,
Лишь тем одним доволен он,
Что смертный час его ничьим
Участьем глупым не смущен;
Что в этот лучший жизни час
Не слышит он казенных фраз,
Ни плача пошлого о том,
Что мы не триста лет живем,
И что закрыть с рыданьем глаз
На свете некому ему.
О да! не всякому из нас
Придется в вечность одному
Достойно, тихо перейти;
Не говорю уже о том,
Что трудно в наши дни найти,
Чтоб с гордо поднятым челом
В беседе мудрой и святой,

В кругу бестрепетных друзей,
Среди свободных и мужей,
С высоким словом на устах
Навек замолкнуть иль о той
Желанной смерти, на руках
Души избранницы одной,
Чтобы в лобзании немом,
В минуте вечности — забыть
О преходящем и земном
И в жизни вечность ощутить.

4

Он умирал... Алел восток,
Заря горела... ветерок
Весенней свежестью дышал
В полуоткрытое окно, —
Лампады свет то угасал,
То ярко вспыхивал; темно
И тихо было всё кругом...
Я говорил, что при больном
Был я один... Я с ним давно,
Почти что с детства, был знаком.
Когда он к невским берегам
Приехал после многих лет
И многих странствий по пескам
Пустынь арабских, по странам,
Где он — о, суета сует! —
Целенье думал обрести
И в волнах Гангеса святых
Родник живительный найти
И где под сенью пальм густых
Набобов видел он одних,
Да утесненных и рабов,
Да жадных к прибыли купцов.
Когда, приехавши больной,
Измученный и всем чужой
В Петрополе, откуда сам,
Гонимый вечною хандрой,
Бежал лет за пять, заболел
Недугом смертным, — я жалел
О нем глубоко: было нам

Обще с ним многое; судить
Я за хандру его не смел,
Хоть сам устал уже хандрить.

5

Его жалел я... одинок
И болен был он; говорят,
Что в этом сам он виноват...
Судить не мне, не я упрек
Произнесу; но я слыхал,
Бывало, часто от него,
Что дружелюбней ничего
Он стад бараньих не видал.
«Львы не стадятся», — говорил,
Бывало, часто он, когда
И горд, и смел, и волен был;
Но если горд он был тогда,
За эту гордость заплатил
Он, право, дорого: тоской
Тяжелой, душной; он родных
Забыл давно уже; друзей,
Хоть прежде много было их,
Печальной гордостью своей
И едкой злостию речей
Против себя вооружил.
И точно, в нем была странна
Такая гордость: сатана
Его гордее быть не мог.
Он всех так нагло презирал
И так презрительно молчал
На каждый дружеский упрек,
Что только гений или власть
Его могли бы оправдать...
А между тем ему на часть
Судьба благоволила дать
Удел и скромный, и простой.
Зато, когда бы мог прожить
Спокойно он, как и другой,
И с пользой даже, может быть,
Он жил, томясь тоскою злой,

И, словно чумный, осужден
Был к одинокой смерти он.

6

Но я жалел о нем... Не раз,
Когда, бездействием томясь,
В иные дни он проклинал
Себя и рок, напоминал
Ему о жизни я былой
И память радостных надежд
Будил в душе его больной,
И часто, не смыкая вежд,
Мы с ним сидели до утра
И говорили, и пора
Волшебной юности для нас,
Казалось, оживала вновь
И наполняла, хоть на час,
Нам сердце старая любовь
Да радость прежняя... Опять
Переживался ряд годов
Беспечных, сча́стливых; светлей
Нам становилось: из гробов
Вставало множество теней
Знакомых, милых... Он рыдал
Тогда, как женщина, и звал
Невозвратимое назад;
И я любил его, как брат,
За эти слезы, умолял
Его забыть безумный бред
И жить, как все, но мне в ответ
Он улыбался — этой злой
Улыбкой вечною, змеей
По тонким вившейся устам...
Улыбка та была страшна,
Но обаятельна: она
Противоречила слезам,
И, между тем, я даже сам
Тогда смеяться был готов
Своим словам: благодаря
Змее-улыбке смысл тех слов
Казался взят из букваря.

Так было прежде, и таков
Он был до смерти; вечно тверд,
Он умер зол, насмешлив, горд.

7

Он долго тяжело дышал
И бледный лоб рукой сжимал,
Как бы борясь в последний раз
С земными муками; потом,
Оборотясь ко мне лицом,
Сказал мне тихо: «Смертный час
Уж близок... правда или нет,
Но в миг последний, говорят,
Нас озаряет правды свет
И тайна жизни нам ясна
Становится — увы! навряд!
Но — может быть! Пока темна
Мне жизнь, как прежде». И опять
Он стал прерывисто дышать,
И ослабевшей головой
Склонился... Несколько минут
Молчал и, вновь борясь с мечтой,
Он по челу провел рукой.
«Вот наконец они заснут —
Изочтены им были дни —
Они заснут... но навсегда ль?» —
Сказал он тихо. — «Кто они?» —
С недоуменьем я спросил.
«Кто? — отвечал он. — *Силы!* Жаль
Погибших даром мощных сил.
Но точно ль даром? Неужель
Одна лишь видимая цель
Назначена для этих сил?
О нет! я слишком много жил,
Чтоб даром жить. Отец любви,
Огня-зиждителя струю,
Струю священную твою
Я чувствовал в своей крови,
Страдал я, мыслил и любил —
Довольно... я недаром жил».
Замолк он вновь; но для того,

Чтоб в памяти полней собрать
Пути земного своего
Воспоминанья, он отдать
Хотел отчет себе во всем,
Что в жизни он успел прожить,
И, приподнявшися потом,
Стал тихо, твердо говорить.
Я слушал... В памяти моей
Доселе исповедь жива;
Мне часто в тишине ночей
Звучат, как медь, его слова.

8

«Еще от детства, — начал он, —
Судьбою был я обречен
Страдать безвыходной тоской,
Тоской по участи иной,
И с верой пламенною звать
С небес на землю благодать.
И рано с мыслью свыкся я,
Что мы другого бытия
Глубоко падшие сыны.
Я замечал, что наши сны
Полней, свободней и светлей
Явлений бедных жизни сей;
Что нечто сдавленное в нас
Наружу просится подчас
И рвется жадно на простор;
Что звезд небесных вечный хор
К себе нас родственно зовет;
Что в нас окованное ждет
Минуты цепи разорвать,
Чтоб целый новый мир создать,
И что, пока еще оно
В темнице тела пленено,
Оно мечтой одной живет;
И, чуть лишь враг его заснет,
В самом себе начнет творить
Миры, в которых было б жить
Ему не тесно... То мечта
Была пустая или нет,

Мне скоро вечность даст ответ.
Но, правда то или мечта,
Причина грез моих проста:
Я слишком гордым создан был,
Я слишком высоко ценил
В себе частицу божества,
Ее священные права,
Ее свободу; а она
Давно, от века попрана,
И человек, с тех пор как он,
Змеей лукавой увлечен,
Добро и зло равно познал,
От знанья счастье потерял.

9

Я сам так долго был готов
Той гордости иных основ
Искать в себе и над толпой
Стоять высоко головой,
И думал гения залог
Носить в груди, и долго мог
Себя той мыслью утешать,
Что на челе моем печать
Призванья нового лежит,
Что, рано ль, поздно ль, предлежит
Мне в жизни много совершить
И что тогда-то, может быть,
Вполне оправдан буду я;
Потом, когда душа моя
Устала откровений ждать,
Призванья нового, мечтать
И грезить стал я как дитя
О лучшей участи, хотя
Не о звездах, не о мирах,
Но о таких же чудесах:
О том, что по природе я
К иным размерам бытия
Земного предназначен был,
Что гордо голову носил
Недаром я и что придет
Пора, быть может, мне пошлет

Судьба богатство или власть.
Увы, увы! так страшно пасть
Давно изволил род людской,
Что не гордится он прямой
Единой честию своей,
Что он забыл совсем о ней,
И что потеряно навек
Святое слово — *человек*.

10

Да — этой гордостью одной
Страдал я... Слабый и больной,
Ее я свято сохранил,
И головы не преклонил
Ни перед чем: печален, пуст
Мой бедный путь, но ложью уст
Я никогда не осквернил,
Еговы имени не стер
Я чуждым именем с чела;
И пусть на мне лежит укор,
Что жизнь моя пуста была.
Я сохранил, как иудей,
Законы родины моей,
Я не служил богам иным,
Хотя б с намереньем благим,
Я жизни тяжесть долго нес,
Я пролил много жгучих слез,
Теряя то, чем мог владеть,
Когда б хотел преодолеть
Вражду к кумирам или лгать
Себе и людям; но страдать
Я предпочел, я верен был
Священной правде, и купил
Страданьем право проклинать...
Не рок, конечно, нет, ему
Я был покорен одному
И, зная твердо наперед,
Что там иль сям, наверно, ждет
Потеря новая, на зов
Идти смиренно был готов.

11

Я был один, один всегда,
Тогда ль, как в детские года
Подушку жарко обнимал
И ночи целые рыдал;
Тогда ль, как юношей потом,
Глухой и чуждый ко всему,
Что ни творилося кругом,
Стремился жадно к одному
И часто всем хотел сказать:
«О Марфа, Марфа! есть одно,
Что на потребу нам дано...
Пора благую часть избрать!»
Тогда ль, когда, больной и злой,
Как дикий волк, в толпе людской
Был отвергаем и гоним,
И эгоистом прозван злым,
И сам вражды исполнен был,
Вражды ко псам, вражды жида,
Зане я искренно любил;
Я был один, один всегда.
Увы! кто прав, кто виноват?
Другие, я ли? Но, как брат,
Других любил я, и прости
Мне гордость, боже, но вести
К свободе славы божьих чад
Хотел я многих... Сердце грусть
Стесняет мне при мысли той;
Любил я многих, молодой,
Святой любовью, да — и пусть
Я был непризнанный пророк,
Но не на мне падет упрек,
Когда досель никто из них
Нейдет дорогой божьих чад;
И пусть из уст безумцев злых
Вослед проклятья мне гремят
И обвиненья за разврат;
Я жил недаром!»

12

Смолкнул он
И вновь склонился, утомлен,
Отягощенной головой.
Молчал я... Грустно предо мной
Годов минувших длинный ряд,
Прожитых вместе, проходил,
И понял я, за что любил
Его я пламенно, как брат.
Да, снова всё передо мной
Былое ожило... и он,
Ребенок бледный и больной,
Судьбой на муки обречен,
Явился мне: предстал опять
Тогда души моей очам
Старинный, тесный, мрачный храм,
Куда он уходил рыдать,
Где в темноте, вдали, в углу,
Моленье жаркое лилось,
Где, распростертый на полу,
Он пролил много жгучих слез,
Где он со стоном умолял
Того, чей лик вдали сиял,
Ему хоть каплю веры дать
И где привык он ожидать
Явлений женщины одной...
Я видел снова пред собой
Патриархально-тихий дом
И мук семейных целый ряд,
Упреки матери больной,
Однообразных пыток ряд
И ряд печальных сцен порой...
Молчал я, голову склоня,
В раздумье тяжком, для меня
Он был оправдан... Тяжело
Вздохнул опять тогда больной,
И вновь горячее чело
Он обмахнул себе рукой.

13

«Но ты любил», — я начал речь,
Желая мысль его отвлечь
От слишком тяжких бытия
Вопросов к грезам юных лет,
С которыми, как думал я,
Покинуть веселее свет.
«Любил ты, кажется, не раз?» —
Я продолжал; но он в ответ
Как будто грезил тихо: «Нас, —
Он говорил, — еще детей
Друг другу прочили, и с ней
Мы свыклись... Бедный ангел мой!
Теперь ты снова предо мной
Сияешь, девственно-чиста
И простодушна... Вот места,
Знакомые обоим нам, —
Пригорок, роща; там и сям
Еще не смолкли голоса
И стад мычанье, хоть роса
Ночная падает... горит
Зарею алой неба свод,
И скоро ярко заблестит
Звезд величавый хоровод;
И мы одни: привольно нам,
Как детям, под шатром небес,
И вместе странно... Близок лес,
Вечерний шепот по ветвям
Уж начался, и робко мне
Ты руку жмешь, и локон твой,
Твой длинный локон над щекой
Скользит моей; она в огне.
Не видишь ты, она горит,
По телу сладостно бежит
Досель неведомая дрожь...
Мы были дети, да и кто ж
Нас разлучал тогда? Росли
Мы вместе... бедный ангел мой,
Моей сестрой, моей женой
Тебя от детства нарекли,
Чтобы с бесчувственностью злой

Обоим нам потом сказать:
«Прошла ребячества пора, —
Ведь это всё была игра;
Идите врозь теперь страдать».

14

И говорят, я сам виной,
Как и всего, потери той...
Не та беда, что одинок
Я в божьем мире брошен был,
Что слишком долог был бы срок,
Когда бы я соединил
Свою судьбу с ее судьбой...
И это правда, может быть;
Но свято гордости служить
Привык я, бедный ангел мой,
Любя тебя, тебе одной
Служа безумно... Ты могла
Любить того лишь, чье чело
Всегда подъято и светло.
Ты так горда, чиста была!
В тебе я сам же разбудил
Борьбу души мятежных сил,
Любовь к избранникам богов,
Презрение к толпе рабов.
О да! ты мною создана,
И ты со мной осуждена.
Меня, быть может, проклинать
В часы недуга ты могла;
Но ты не властна презирать
Того, чья жизнь всегда была
Неукротимою борьбой...
И чист, и светел образ мой
Среди вражды, среди клевет,
Быть может, пред одной тобой,
Мой бедный ангел лучших лет.

15

И помню: душно, тяжело
Обоим было нам; легло,

Казалось, что-то между нас.
Одни в гостиной, у окна
Мы были; но за нами глаз
Следил чужой; была больна,
Была, как тень, бледна она,
И лихорадки блеск больной
Сверкал в задумчивых очах...
Мне было тяжко; мне во прах
Упасть хотелось перед ней
И руку бледную прижать
К горячей голове моей
И, как дитя, пред ней рыдать.
Но странен был наш разговор.
В ее лице немой укор
Порой невольно мне мелькал...
Укор за то, что я не лгал
Перед другими, перед ней,
Пред гордой совестью своей;
Укор за то, что я любил,
Что я любимым быть хотел,
Всей полнотой душевных сил
Любимым быть, что, горд и смел,
Хотел пред ней всегда сиять,
Хотел бороться и страдать;
Но вечно выше быть судьбы
Среди страданий и борьбы...
Молчали грустно мы... Потом,
Я говорить хотел о том,
Что нас разрознило; она
Безмолвно слушала — грустна,
Покорна, голову склоня;
И вдруг, поднявши на меня
Болезненно сверкавший взгляд,
Сказала тихо, что «навряд
Другие это всё поймут»,
Что «так на свете не живут».

16

Я долго пó свету бродил,
С тех пор как рок нас разделил;
Но, видно, так судил уж бог, —

Ее я позабыть не мог,
Не потому, чтобы одна
Была любима мной она,
Не потому, чтоб истощил
Избыток весь душевных сил
Я в страсти той; еще не раз
Любил я, может быть, сильней
И пламенней, но каждый час
Страданья с мыслию о ней
Сливался странно... Часто мне
Она являлася во сне,
Почти всегда в толпе чужих,
Почти всегда больна, робка,
С упреком на устах немых;
И безотрадная тоска
Меня терзала. Ты видал,
Что я, как женщина, рыдал
В часы иные... Или есть
Родство существ? Увы! бог весть!
Но знаю слишком я одно,
Что было бытие мое,
Назло рассудку, без нее
Отравлено и неполно.
Но будет... вновь меня тоска
Начнет терзать, а смерть близка.
В себе присутствие ее
Я начинаю ощущать...
Зачем земное бытие
В устах с проклятьем покидать?
Благословение всему,
Благословение уму,
За то что он благословлять
До смерти жизнь нам запретил.
Благословение судьбе,
Благословение борьбе,
Хотя бесплодной, наших сил!
Дай руку мне... открой окно,
Прекрасно... так! Еще темно,
Но загорелась неба твердь...
Туда, туда! Авось хоть смерть
С звездами нас соединит,
И к бездне света отлетит

Частица светлая моя...
Авось ее недаром я,
Как клад заветный, сохранил.
Но, так иль иначе, я жил!»

17

И с этим словом на устах
Замолк он: больше не слыхал
Ни звука я; в моих руках
Я руку хладную держал
И думал, что забылся он.
И точно, будто в тихий сон
Он погрузился... Ничего
В чертах измученных его
Не изменилось; так же зла
Улыбка вечная была,
И так же горд и грустен взгляд.
Мне было тяжко... Никогда
Лучу дневному не был рад
Я так от сердца, как тогда;
Вставало солнце, и в окно
Блеснуло, юное всегда,
Всегда прекрасное равно,
И озарило бедный прах,
Мечтавший так же, как оно,
Лучами вечными сиять,
И на измученных чертах
Еще не стертую печать,
Недавней мысли грустный след,
Всему насмешливый привет.

Февраль 1846

ВСТРЕЧА

Рассказ в стихах

Посвящается А. Фету

1

Опять Москва, — опять былая
Мелькает жизнь передо мной,
Однообразная, пустая,
Но даже в пустоте самой
Хандры глубоко безотрадной
В себе таящая залог —
Хандры, которой русский бог
Души, до жизни слишком жадной,
Порывы дерзкие сковал, —
Зачем? Он лучше, верно, знал,
Предвидя гордую замашку
Жить чересчур уж нараспашку,
Перехватившим на лету
И пережив почти задаром,
Что братья старшие в поту
Чела, с терпением и жаром,
Века трудились добывать,
. . . .

2

Одни верхушки, как известно,
Достались нам от стран чужих.
И что же делать? Стало тесно
Нам в гранях, ими отлитых.

Мы переходим эти грани,
Но не уставши, как они:
От их борьбы, от их страданий
Мы взяли следствия одни.
И русский ум понять не может,
Что их и мучит, и тревожит,
Чего им рушить слишком жаль...
Ему, стоящему на гранях,
С желаньем жизни, с мощью в дланях,
Ясней неведомая даль,
И видит он орлиным оком
В своем грядущем недалеком
Мету совсем иной борьбы —
Иракла новые столбы.

3

Теперь же — зритель равнодушный
Паденья старых пирамид —
С зевотой праздною и скучной
На мир спросонья он глядит,
Как сидень Муромец, от скуки
Лежит да ждет, сложивши руки...
Зачем лежит? чего он ждет?
То знает бог... Он воззовет
К работе спящий дух народа,
Когда урочный час придет!
Недаром царственного рода
Скалы недвижней в нем оплот...
Недаром бдят неспящим оком
Над ним преемники Петра! —
Придет та славная пора,
Когда в их подвиге высоком
Заветы господа поймет
Избранный господом народ!

4

И пусть покамест он зевает,
В затылке роется подчас,
Хандрит, лениво протирает
Спросонья пару мутных глаз.

Так много сил под ленью праздной
Затаено, как клад, лежит,
И в той хандре однообразной
Залог грядущего сокрыт,
И в песни грустно-полусонной,
Ленивой, вялой, монотонной
Порыв размашисто-живой
Сверкает молнией порой.
То жажда лесу, вольной воли,
Размеров новых бытия —
Та песнь, о родина моя,
Предчувствие великой доли!..
Проснешься ты, — твой час пробьет,
Избранный господом народ!

5

С тебя спадут оковы лени,
Сонливость праздной пустоты;
Вождем племен и поколений
К высокой цели встанешь ты.
И просияет светом око,
Зане, кто зрак раба приял,
Тебя над царствами высоко,
О Русь, поставить предызбрал.
И воспарит орел державный,
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

6

Но в срок великого призванья,
Всё так же степь свою любя,
Ты помянешь, народ избранья,
Хандру, вскормившую тебя,

Как нянька старая, бывало...
Ты скажешь: «Добрая хандра
За мною по пятам бежала,
Гнала, бывало, со двора
В цыганский табор, в степь родную
Иль в европейский Вавилон,
Размыкать грусть-кручину злую,
Рассеять неотвязный сон».
Тогда тебе хандры старинной,
Быть может, будет даже жаль —
Так степняка берет печаль
По стороне своей пустынной;
Так первый я — люблю хандру
И, вероятно, с ней умру.

7

Люблю хандру, люблю Москву я,
Хотел бы снова целый день
Лежать с сигарою, тоскуя,
Браня родную нашу лень;
Или, без дела и без цели,
Пуститься рыскать по домам,
Где все мне страшно надоели,
Где надоел я страшно сам
И где, приличную осанку
Принявши, с повестью в устах
О политических делах,
Всегда прочтенных наизнанку,
Меня встречали... или вкось
И вкривь — о вечном Nichts и Alles [1]
Решали споры. Так велось
В Москве, бывало, — но остались
В ней, вероятно, скука та ж,
Вопросы те же, та же блажь.

8

Опять проходят предо мною
Теней китайских длинный ряд,

[1] Ничто и всё (немецк.). — *Ред.*

И снова брошен я хандрою
На театральный маскарад.
Театр кончается: лакеи,
Толчками все разбужены,
Ленивы, вялы и сонны,
Ругая барские затеи,
Тихонько в двери лож глядят
И карт засаленных колоды
В ливреи прячут... Переходы
И лестницы уже кипят
Толпой, бегущею заране
Ко входу выбраться, — она
Уж насладилася сполна
И только щупает в кармане,
Еще ль фуляр покамест цел
Или сосед его поддел?

9

А между тем на сцене шумно
Роберта-Дьявола гремит
Трио́ последнее: кипит
Страданием, тоской безумной,
Борьбою страшной... Вот и *он*,
Проклятьем неба поражен
И величав, как образ медный,
Стоит недвижимый и бледный,
И, словно вопль, несется звук:
Gieb mir mein Kind, mein Kind zurück! [1]
И я... как прежде, я внимаю
С невольной дрожью звукам тем
И, снова полон, болен, нем,
Рукою трепетной сжимаю
Другого руку... И готов
Опять лететь в твои объятья —
Ты, с кем мы долго были братья,
Певец хандры, певец снегов!..

---

[1] Верни мне мое дитя, мое дитя! (немецк.). — *Ред.*

10

О, где бы ни был ты и что бы
С тобою ни было, но нам,
Я верю твердо, пополам
Пришлось на часть душевной злобы,
Разубеждения в себе,
Вражды ко псам святого храма,
И, знаю, веришь ты борьбе
И *добродетели* Бертрама,
Как в годы прежние... И пусть
Нас разделили эти годы,
Но в час, когда больная грусть
Про светлые мечты свободы
Напомнит нам, я знаю, вновь
Тогда является пред нами
Былая, общая любовь
С ее прозрачными чертами,
С сияньем девственным чела,
Чиста, как луч, как луч, светла!

11

Но вот раздался хор финальный,
Его не слушает никто,
Пустеют ложи; занято
Вниманье знати театральной
Совсем не хором: бал большой
В известном доме; торопливо
Спешат кареты все домой
Иль подвигаются лениво.
Пустеет кресел первый ряд,
Но страшно прочие шумят...
Стоят у рампы бертрамисты
И не жалеют бедных рук,
И вновь усталого артиста
Зовет их хлопанье и стук,
И вас (о страшная измена!)
Вас, петербургская Елена,
С восторгом не один зовет
Московской сцены патриот.

12

О да! Склонился перед вами,
Искусством дивным увлечен,
Патриотизм; он был смешон,
Как это знаете вы сами.
Пред вами в прах и строгий суд
Парижа пал — . . . .
Так что же вам до черни праздной,
До местных жалких всех причуд?
Когда, волшебница, в Жизели
Эфирным духом вы летели
Или Еленою — змеей
Вились с вакхическим забвеньем,
Своей изваянной рукой
Зовя Роберта к наслажденьям,
То с замирающей тоской,
То с диким страсти упоеньем, —
Вы были жрицей! Что для вас
Нетрезвой черни праздный глас?

13

Смолкают крики постепенно,
Всё тихо в зале, убрались
И бертрамисты, но мгновенно
От кресел очищают низ,
Партер сливается со сценой,
Театр не тот уж вовсе стал —
И декораций переменой
Он обращен в громадный зал,
И отовсюду облит светом,
И самый пол его простой,
Хоть не совсем глядит паркетом,
Но всё же легкою ногой
По нем скользить, хоть в польке шумной,
Сумеют дамы... Но увы!
Не знать красавицам Москвы
Парижа оргии безумной.

. . . .
. . . .

14

Уж полночь било... масок мало,
Зато — довольно много шляп...
Вот он, цыганский запевало
И атаман — son nom m'échappe.[1]
Одно я знаю: всё именье
Давно растратив на цыган,
Давно уж на чужой карман
Живет, по общему он мненью;
А вот — философ и поэт
В кафтане, в мýрмолке старинной...
С физиономией длинной,
Иссохший весь во цвете лет,
И целомудренный, и чинный...
Но здесь ему какая стать?
Увы — он ходит наблюдать:
Забавы умственной, невинной
Пришел искать он на балу,
И для того засел в углу.

15

Вот гегелист — филистер вечный,
Славянофилов лютый враг,
С готовой речью на устах,
Как Nichts и Alles бесконечной,
В которой четверть лишь ему
Ясна немного самому.
А вот — глава славянофилов
Евтихий Стахьевич Панфилов,
С славянски-страшною ногой,
Со ртом кривым, с подбитым глазом,
И весь как бы одной чертой
Намазан русским богомазом.
С ним рядом маленький идет
Московский мистик, пожимая
Ему десницу, наперед
Перчатку, впрочем, надевая...
Но это кто, как властелин,
Перед толпой прошел один?

---

[1] Я забыл его имя (франц.). — *Ред.*

16

Он головой едва кивает
На многих дружеский привет,
Ему философ и поэт
С смущеньем руку пожимает.
В замену получает он
Один сухой полупоклон,
Да нагло резкий, нагло длинный
На синий охабень старинный
Насмешки злобной полный взгляд,
И дико пятится назад
Пред ним славянофил сердитый,
Нечесаный и неумытый...
Но прямо он идет к нему
С улыбкою великодушной,
Дивится он его уму,
Потом зевает равнодушно,
Лишь только тот разинул рот,
И дальше чрез толпу идет.

17

Кто он? — вы спросите, читатель, —
Кто он? — Во-первых, мой герой,
Потом — хороший мой приятель,
Сергей Петрович Моровой.
Родясь полуаристократом —
Немного с левой стороны, —
Он, говоря витиеватым
Казенным слогом, в дни весны,
Хандрою мучась беспощадной,
Свой миллионный капитал
В четыре года промотал
И, наслаждений вечно жадный,
Кругом в долгах, еще живет,
Как прежде, весело, покойно,
Пустых не ведая забот
И думая, что недостойно
С умом и волею людей
Перед судьбой упасть своей.

18

. . . .

. . . .

Не одного уж язвой дома
Его признал степенный град;
И не один, дотоле мирный,
Семейный круг расстроил он,
И не один рогато-смирный
Супруг покоя им лишен.
Его бранят и проклинают,
Он — давний ужас всех старух,
И между тем — таков уж дух! —
Его радушно принимают
Во всех порядочных домах
Богоспасаемого града,
Где он на всех наводит страх,
И в нем Москва — скандалу рада,
Хотя по сказкам — шулер он.

. . . .

19

Лукавство вкрадчивого змея,
И математика расчет,
И медный лоб, который лжет
Спокойно, гордо, не краснея,
И обаятельная речь,
И злость насмешки страшно едкой,
Всегда губительной и меткой,
И способ верный в сеть увлечь,
Владенье вечное собою —
Вот что герою моему
Дало влиянье над толпою,
Всегда покорною уму.
Он к людям не скрывал презренья —
Но их природу он постиг
И нагло требовал от них,
Как от рабов, повиновенья, —
И, сам не зная почему,
Покорен каждый был ему.

20

Его победам нет и счета,
Как говорит молвы язык, —
Но от любви уж он отвык
И любит только из расчета
Или из прихоти; зато
В искусстве дивном обольщенья
С ним не сравняется никто,
И он избытком пресыщенья,
И сердца хладом ледяным,
И зорким взглядом, вечно верным
И равнодушно-лицемерным,
Терпеньем старческим своим
Царит над женскою толпою...
Над ней лишь только тот один
Всевластный, гордый властелин,
Кто отжил жизнью молодою
И чует хлад в своей крови,
И только требует любви.

21

Его расчет был слишком верен,
И план рассчитан наперед.
В себе вполне он был уверен
И знал, что в прах он не падет
Холодно-гордой головою
Ни пред какою красотою
Иль чистотой, ни пред каким
Порывом девственно-святым.
Давно отвык он удивляться,
Давно не верил ничему,
Давно не мог он предаваться
Порыву сам ни одному,
И, тактик вечно равнодушный,
В порыве каждом видел он
Открытье слабых лишь сторон,
Да слишком длинный, слишком скучный
Маневров и усилий ряд,
Чему он вовсе не был рад.

22

И тихо, верно, постепенно
Умел до цели он дойти,
И выжидал почти смиренно,
Пока сокрытая в груди
Страсть жертвы бедной незаметно
Пробьет последний свой оплот,
Пока безумно, беззаветно
Она на грудь его падет.
Но и тогда, собой владея,
Он принимал холодный тон
И, сострадательно жалея,
Читал ей проповеди он;
Он не любил ловить мгновенья,
Он безгранично-роковой
Хотел преда́нности одной,
А не безумного забвенья.
Притом — упреков не любил
И нервами расстроен был.

23

Совсем иным его видали
С *девоткой* строгой и сухой
И с резвой, свежей, молодой,
Еще не ведавшей печали
Благоухающей душой.
Любовью пламенной и томной,
И с маской чуть ли не святой,
И речью тихою и скромной
Ловил он первую; . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Но был с другою он другой:
Он с ней свободно обращался,
Брал на руки, как пожилой,
Над ней, как над дитей, смеялся,
И постепенно, день от дня,
Вливал в нее струю огня.

24

Взгляните: вот он, гордый, стройный,
Во фраке английском своем,
Вполне комфортном и простом,
С физиономией знойной,
С бездонной пропастью очей,
Как ночь таинственная, темных
И полных пламенем страстей,
С его лениво-беззаботной
Походкой, с вечною хандрой
И с речью вялой, неохотной,
Но иронической и злой.
Взгляните: вот, толпу раздвинув,
Он в угол устремил лорнет,
От коего спасенья нет,
И, взглядом масок рой окинув,
Уже вдали узнал одно
С зеленой веткой домино.

25

Подходит он, — но как-то робко
И странно руку подает
То домино ему; идет
С ним неохотно и неловко,
А он свой беззаботный вид
Хранит по-прежнему; играя
Цепочкой, что-то говорит
Спокойно, строго, и, сгорая
Под маской злостью и стыдом,
Его молчать уж умоляют,
Но, с сожаленьем незнаком,
Он тихо проповедь читает,
За сплетню сплетней платит злой
И дамы маленькую руку
Он щиплет в кровь своей рукой.
Потом, окончив эту муку,
Уходит, поклонившись ей,
Влюбленной спутнице своей.

26

Идет он дальше... Писком шумным
Знакомых масок окружен,
Болтаньем их неостроумным
И сплетнями скучает он.
Уже зевать он начинает,
Готов отправиться домой,
Но вот одно его рукой
Из домино овладевает.
Он смотрит долго — кто оно,
Таинственное домино?
И видит только, из-под маски
Блестят полуденные глазки.
Она воздушна и мала,
Ее рука бледна, бела,
И кончик ножки из-под платья —
Из общих дамских ног изъятье.
И должен он сознаться в том,
Что с нею вовсе незнаком.

27

Была пора — и я когда-то
Любил безумно маскарад...
Годам минувшим нет возврата,
Но память их будить я рад.
И снова вы передо мною,
С своей живою красотою,
Царица масок, пронеслись!..
В ушах как будто раздались
И ваша речь, и смех ваш звонкой,
И остроумно-милый вздор,
Блестящий, светский разговор
И прелесть шутки вашей тонкой.
Философ jusqu'au bout de doigts, [1]
Как вы меня назвали сами,
Заветы мудрости едва
Не забывал я вовсе с вами,
Чуть не терял я головы,
Когда шутили только вы!..

---

[1] До ногтей (франц.) — *Ред.*

28

Но я увлекся... О герое
Я позабыл моем. Идут
Они давно уж вместе двое
И разговор живой ведут;
Но, равнодушный постоянно
И вечно дерзкий, мой герой,
Сергей Петрович Моровой,
Невольно ожил как-то странно,
И маски лепет внемлет он
С живым участьем... Неужели
Он также может быть влюблен?
О нет, о нет — но, в самом деле,
Полузагадочная речь
И тон таинственный намека
Опять могли его увлечь
К тому, что уж давно далеко,
К его забытым юным дням,
К его любви, к его мечтам...

29

И тщетно он припоминает
Событий прошлых длинный ряд, —
Так много их! Но озаряет
Его одно — и странный хлад
При мысли той бежит невольно
По телу... судорожно ей
Жмет руку он рукой своей
И, кажется, довольно больно;
Но так же весело она
Хохочет, та же речь живая
В устах, то страстная, то злая...
Она причудливо-странна,
И, околдован обаяньем,
Ей молча внемлет Моровой,
И вновь уносится душой
К своим былым воспоминаньям.
Но вот из рук его, змеей
Скользнувши к домино другой,

30

Она исчезла... Изумленный
Остался он; за нею вслед,
Встревоженный, почти смущенный,
Идти он хочет; но лорнет
В углы он тщетно направляет,—
Она исчезла, словно сон...
И сам он плохо доверяет
Тому, что здесь не грезит он.
Как? неужели это снова
Она, погибшая давно?..
То не она... твердит одно
Ему рассудок, но готово
Поверить сердце даже в вздор...
Но этот лепет, этот взор,
Как пламя яркий, долгий, нежный,
Но этот страстный и мятежный,
Причудливый и злой язык?..
Он знает их... он к ним привык!

31

Пред ним опять старинной сказки,
Волшебной сказки вьется нить,
Опять ребяческие ласки
В лобзанья страсти обратить
Он жаждет... Пылкий и богатый,
Препятствий он не хочет знать.
Но не объятия разврата
Он ищет златом покупать.
Нет! Вызывать в душе невинной
Потребность жить, любить, страдать —
Вот цель его... И в вечер длинный,
Когда заснет старушка мать,
Он начинает понемногу
Змеиной хитростью речей
В душе неопытной страстей
Будить безумную тревогу
И краску первого стыда
Сгонять лобзаньями тогда.

32

Ее ланиты рдеют жаром,
Она дрожит в его руках,
Опалена страстей пожаром,
И сердце ей стесняет страх.
Но равнодушно перед нею
Он держит зеркало... Она
Взглянуть боится... сожжена
Стыдом и страстию своею...
Но он спокоен, он глядит
Ей прямо в очи, говорит
Свободно... Жарко ей, неловко,
И темно-русая головка
На грудь склоняется к нему...
Прерывисто ее дыханье,
И внятен страстный вздох ему,
И жарких персей колыханье —

. . . .

. . . .

33

И что ж потом? Увы! укором
Встает прошедшее пред ним, —
Ребенка грустным, скорбным взором,
Старухи камнем гробовым...
Поражена стыдом разврата,
Ребенок бедный, умерла
Или исчезла ты куда-то?
А он! Ужели ты была
Одною искреннею страстью
В эгоистически-сухой
И пресыщением больной
Душе его? Ужели счастью
С тобой одною верил он?
И вот опять твой детский лепет
Услышан им — и пробужден
В его душе бывалый трепет.
Но ты ли точно? Иль обман
Ему на миг судьбою дан?

34

Стоит он грустный и суровый,
Сложивши руки на груди,
И смотрит — но народ всё новый
Напереди и назади;
Один лишь атаман цыганский,
Приятель карточный его,
Известный публике Рыганский,
Проходит мимо. «Отчего
Ты нынче нéвесел?» — с вопросом
Казенным подступает он
И, резким взглядом огромлен,
Ворча, уйти уж хочет с носом.
Но вдруг, припомня что-то вмиг,
Опять к нему он добродушно:
«Не знал я всех проказ твоих,
Ты ходишь с ней!» Но равнодушно,
Досаду скрывши, Моровой
В ответ махнул ему рукой.

35

«А чудо женщина, ей-богу,
Цыганки лучше!» — продолжал,
Одушевляясь понемногу,
Неумолкающий нахал.
«Да кто она? скажи, пожалуй», —
Спросил спокойно Моровой.
«Эге! ну, славный же ты малый,
Не знаешь Кати!..» Как чумой,
Мгновенным хладом пораженный,
Сергей Петрович отступил
И, страшным словом огромленный,
Истолкованья не просил.
Довольно!.. Всё ему понятно...
Сказали гнусные уста
Ее названье... Чистота
Ее погибла безвозвратно!
И дальше он скорей спешит,
Растерзан и почти убит.

36

Она погибла... Кто ж виною?
Не сам ли ты, кто разбудил
В ее груди начало злое?

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Она погибла... Боже мой!
И знал другой ее объятья!
Молчит он... но в груди больной
Стесняет страшный стон проклятья.
И тихо, медленно идет
Под тихим бременем мученья,
И до дверей дошел... Но вот
Он чует вновь прикосновенье
Руки иной к руке своей,
И вновь она, и вновь он с ней...

37

Она влечет его... Послушно
Идет за нею он... Увы!
Где прежний гордо-равнодушный
Герой и властелин Москвы?
Он снова внемлет эти речи,
Он снова, снова, если б мог,
Упал у этих милых ног,
Лобзал с безумством эти плечи...
Он забывается опять
Под этот лепет детски-страстный,
Уж он не может проклинать,
Уж он влюблен опять, несчастный!
Он позабыл, что чуждых уст
Осквернена она лобзаньем,
Что мир и наг ему, и пуст
И что испытан он страданьем.
Он снова верит, снова он
Безумен, счастлив и влюблен!

38

«Пускай погибла... что за дело?
Так судит свет . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . . И есть родные степи,
В степях иное небо есть.
Туда, туда! Мы позабудем
С тобою света жалкий суд,
Свободны, вольны, горды будем».
Так говорит он — жадно льнут
Его болезненные взгляды
Под маски траурный покров...
Нетерпеливый, он готов
Сорвать несносные преграды...
Но вот, далеко от людей,
Они в фойе садятся с ней.

39

Упала маска, с упоеньем
Он видит прежние черты —
Печать нездешней красоты.
Она молчит, его моленьям,
Его порывистым речам
Внимает тихо, как, бывало,
Дитя покорное внимало
Его властительным словам.
Его она не прерывает,
С него не сводит влажный взор
И, как бывало, понимает
Его мольбу, его укор;
В его душе ей всё понятно.
Но то, что было, — то прошло,
Оно прекрасно и светло,
Но, к сожаленью, невозвратно.
Меж ними опыт долгих лет...
И говорит она в ответ:

40

«Безумец, с вечной волей рока
Оставь надежду враждовать:
На нас лежит его печать,
На нас обоих; пусть жестоко
Решенье воли роковой,
Но — рока суд не суд людской;
Печален путь, избранный мною,
Но он, как все, ведет к покою...
Нам не дано с тобой любить
И мир иным и лучшим видеть,
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

41

Как жрица древняя, сияла
Она волшебной красотой,
И мерно речь ее звучала
Какой-то силою иной.
Эллады юной изваяньем
Ему казалася она...
Пред ним, перед его рыданьем
Была она светла, сильна...
И гордо встал он... Молча руку
Ей подал он, не на разлуку —
На путь свободно-роковой,
На путь борьбы, хотя бесславной,
На путь, в который, равный с равной,
Пошли они рука с рукой...
И вот уж снова пред толпою
Они идут спокойно двое,
Равно презренья к ней полны,
Равно судьбой осуждены.

Они идут — для них дорога
Давно пустынна и ровна.
За ними — прожитого много,
Пред ними — смерти тишина...
Им нет на завтра управанья;
На них печальное легло
Всей безнадежностью сознанья,
И пусть подъято их чело
Всегда невозмутимо-гордо
Пред ликом истины нагим,
Но жизнь пуста обоим им,
Хотя спокойно, тихо, твердо
Рука с рукой они идут,
Отринув радость и страданья,
И сердца суд, и света суд,
И даже суд воспоминанья...
Им прозвучал уж суд иной
Своей последнею трубой...

Март 1846

ПЕРВАЯ ГЛАВА ИЗ РОМАНА «ОТПЕТАЯ»

1

О мой читатель... вы москвич прямой
И потому, наверно, о Коломне
Не знаете... конечно, не о той
Я говорю, которая, как помню,
Лежит в стране, и мне, и вам родной,
Верст за сто от Москвы, да, впрочем, что мне
До счета верст — и вам, конечно... Есть
Другая — дай ей небо вечно цвесть!

2

В Коломне той вы, верно, не бывали.
Вы в Петербург езжали по делам —
Иль, ежели за делом приезжали,
То, вероятно, не селились там...
Литовский замок, впрочем, вы видали —
Я говорю без оскорбленья вам, —
О нет, вы не сидели в заключеньи,
Ни — даже за долги в известном отделеньи.

3

Но, может быть, вы в северную ночь
Болезненно-прозрачную бродили
По городу, как я... когда невмочь
От жару, от тоски, от страшной пыли

Вам становилось... Вас тогда томили
Бесцельные желанья — вы бежали прочь
От этих зданий, вытянутых фронтом,
От длинных улиц с тесным горизонтом.

4

Тогда, быть может, память вас влекла
Туда, где «ночь над мирною Коломной
Тиха отменно»; где в тиши цвела
Параша красотой своею скромной;
Вы вспоминали, как она была мила,
Наивно любовавшаяся томной
Луной, мечтавшая бог весть о чем...
И, думая о ней, вы думали о нем.

5

О том певце с младенческой душою,
С божественною речью на устах,
С венчанной лаврами кудрявой головою,
С разумной думой мужеской в очах;
Вы жили вновь его отрадною тоскою
О тишине полей, о трех соснах,
Тоской, которой даже в летах зрелых
Страдал «погибший рано смертью смелых».

6

Иль нет — простите, я совсем забыл —
Вы человек другого поколенья:
Иной вожатый вас руководил
В иные страсти, муки и волненья;
Другой вожатый верить вас учил...
И вы влюбились в демона сомненья,
Вблизи Коломны Пушкина — увы! —
С тем злобным демоном бродили вечно вы!

7

А может быть, и вовсе не бродили,
Что даже вероятней... По ночам
Вы спали, утром к должности ходили
И прочее, как следует... Но вам
Европеизм по сердцу... Выходили
Из оперы вы часто, где певцам,
Желая подражать приемам европейским,
С остервенением вы хлопали злодейским.

8

Зимой, конечно, было это; нос
Вы в шубу прятали — и не глядели
Кругом... и гнал вас северный мороз
Скорей — но не домой и не к постели —
На преферанс... Но, верно, удалось,
Когда вы на санях к Морской летели,
Вам видеть замок с левой стороны...
И дальше вы теперь идти со мной должны.

9

В Коломне я искать решился героини
Для повести моей... и в том не виноват.
В частях других, как некие твердыни,
Все дамы неприступны... как булат
Закалены... в китайском тверды чине...
Я добродетели их верить очень рад —
Им только семь в червях представить могут грезы,
Да повесть Z... исторгнуть может слезы.

10

А героиня очень мне нужна,
Нужнее во сто тысяч раз героя...
Герой? герой известный — сатана...
Рушитель вечный женского покоя,

Единственный... Последняя жена,
Как первая, увлечена змеею —
Быть может... демон ей сродни
И понял это в первые же дни...

11

По-старому над грешною землей,
Неистощимой бездною страданий,
Летает он, князь области мирской...
По-старому, заклятый враг преданий,
Он вечно к новому толкает род людской,
Хоть старых полон сам воспоминаний.
Всегда начало сходится с концом,
И змей таинственным свивается кольцом.

12

Он умереть не может... Вечность, вечность
Бесплодных мук, бессмысленных страстей
Сознание и жажды бесконечность!..
И муки любит старый враг людей...
И любит он ту гордую беспечность
Неисправляемых Адамовых детей,
С которою они, вполне как дети,
Кидаются в расставленные сети...

13

14

Но что до ней, что до него?.. С зарею
Слилась заря... и влагою облит
Прозрачною, туманной, водяною —
Петрополь весь усталый мирно спит;
Спят здания, спят флаги над Невою;
Спит, как всегда, и вековой гранит;
Спит ночь сама... но спит она над нами
Сном ясновидящей с открытыми очами.

15

Болезненно-прозрачные черты
Ее лица в насильственном покое.
То жизнь иль смерть? Тяжелые мечты
Над ней витают... Бытие иное
В фосфóре глаз сияет... Страшной красоты
Полна больная... Так и над Невою
Ночь севера заснула чутким сном...
Беда, кто в эту ночь с бессонницей знаком!

16

Беда тебе, дитя мое больное!..
Зачем опять сидишь ты у окна
И этой ночи влажное, сырое
Дыхание впиваешь?.. Ты больна,
Дитя мое... засни, господь с тобою...
Твой мир заснул... и ты не спишь одна...
Твой мир... и что тебе за дело до иного?
Твой мир — Коломна, к празднику обнова

17

Известный круг, *балки,* порою офицер
Затянутый, самодовольно-ловкой...
Мечтай о нем... об этом, например,
С усами черными... займись обновкой...
Вот твой удел; цвет глаз твоих так сер,
Как небо Петербурга... Но головкой
Качаешь ты, упрямица, молчишь,
С досадой детской ножкой в пол стучишь.

18

Чего ж тебе?.. Ты точно хороша —
Утешься... Эти серенькие глазки
Темны, облиты влагой... в них душа
И жажда жизни светится. Но сказки

Пока тебе любовь и жизнь... Дыша
Прерывисто, желанья, грезы, ласки
Передаешь подушке ты одной...
Ты часто резвишься, котенок бедный мой!

19

Гони же прочь бессонницу, молю я:
Тебе вредна болезненная ночь,
Твои уста так жаждут поцелуя,
И грудь твоя колышется точь-в-точь,
Как сладострастная Нева... Тоскуя,
Ведь ты сама тоски не хочешь превозмочь.
Засни, засни... и так уж засверкали
Твои глаза холодным блеском стали.

20

Погибнешь ты... меж ночью и тобой
Родство необъяснимое заметно...
Забудь о нем... Удел прекрасен твой,
Со временем и он блеснет тебе приветно
В лице супруга с Анной, даже со звездой, —
Чего тебе... Но тщетно, тщетно, тщетно!
Погибла ты... и чей-то голос над тобой
Звучит архангела судебною трубой.

21

Не слышишь ты, но вся природа внемлет
Ему в забвении, как первая жена,
И чутким сном под этот голос дремлет.
Таинственного трепета полна,
Тоска ее глубокая объемлет...
Князь области воздушной, сатана,
В сей час терзается тоскою бесконечной
И говорит с своей иронией вечной:

1

«Мелеет он, Адамов род,
И чем быстрей бежит вперед,
Тем распложается сильней,
И с каждым шагом человек
Дробится мельче на людей.
Я жду давно — который век! —
Разбить запор тюрьмы моей,
Пробиться всюду и во всем
Всепожирающим огнем,
Проклятием, объявшим всех...

. . . .

2

Был век великий, славный век,
Когда меня лицом к лицу
Почти увидел человек;
Мои страдания к концу,
Казалось, близились... Во всем
Я разливаться начинал,
И вместе с чернью с торжеством
Дубов верхушки обрезал.
Мне надоело в них сиять
Лучами славы и борьбы,
Хоть было жалко обрезать
Те величавые дубы...
Я в них страдал, я в них любил,
И, как они же, полон был
Презренья к мелочи людской
И враждования с землей...
Мне стало жаль... мне гнусен стал
Пигмеев кровожадный пир...
Я с чернью пьянствовать устал
И заливать без цели мир
Старинной кровью... Я узнал,
Что вечный рок сильней меня,
Что есть один еще оплот,
Что он созданье бережет
От разрушителя огня.



3

4

Но близок час... огонь пробьет
Последний, слабый свой оплот,
И, между тем, меня печаль
Терзает, и тебя мне жаль...
Мне страшно грустен образ твой;
Тебя я с бешеной хулой
Влеку к паденью... чистота
Твоя исчезла, и бежит
С твоих ланит хранитель — стыд;
Не облит влагой тихий взор —
Холодным блеском светит он;
Вошла ты также с небом в спор;
Из груди также рвется стон
Проклятий гордых на судьбу.
Как я, отвергла ты закон,
Как я, забыла ты мольбу,
И скоро для обоих нас
Пробьет покоя вечный час...»

22

В таком ли точно тоне говорил
Князь области воздушной, я наверно
Сказать вам не могу: сатаниил —
Поэт не нам чета, и лишь примерно
Его любимый ритм я здесь употребил —
Ритм Байрона — хотя, быть может, скверно.
Не в этом дело, впрочем: смысл же слов,
Ручаюсь головою, был таков.

23

Любил не раз он — это вам известно —
По крайней мере, вам то Мейербер
И Лермонтов открыли — очень лестно

Для женщин это... надоел размер
Страстей обыкновенных им — и тесно
Им в узких рамках . . . .
. . . .
. . . .

24

В наш век во вкусах странен Евин род;
Не красота, тем меньше добродетель,
Ни даже ум в соблазн его влечет:
К уродам страсть бывает... Не один свидетель
Тому найдется. Дьявольский расчет
И равнодушие (в глуши ль то будет, в свете ль)
С известной степенью цинизма — вот
Что нынче увлекает Евин род.

25

Жуанов и Ловласов племя ныне
Уж вывелось — героев больше нет;
Герой теперь сдал место героине,
И не Жуан — Жуана ныне свет
Дивит своим презрением к святыне
Любви и счастья, дерзостью побед...
Змеиной гибкостью души своей и стана,
Пантеры злостию — вперед, вперед, Жуана.

26

Вперед, Жуана... путь перед тобой
Лежит отныне ровный и свободный...
Иди наперекор себе самой
В очах с презрением и дерзостью холодной,
В страдающей груди с глубокою тоской,
Иди в свой путь, как бездна, неисходный,
Не знаешь ты, куда тот путь ведет, —
Но ты пошла — что б ни было — вперед!

27

Светлеет небо... близок час рассвета,
А всё моя красотка у окна...
Склонившись головой, полураздета,
Полусидит, полулежит она,
Чего-то ждет... Но ожиданье это
Обмануто... Она тоски полна,
Вот-вот на глазках засверкают слезы,
Но нет... смежает сон их... Снова грезы...

28

И девочке всё грезится о нем,
О ком и думать запретили б строго...
Герой ее танцклассам всем знаком,
Играет в карты, должен очень много...
С ним Даша часто видится тайком;
Он проезжает этою дорогой
В извозчичьей коляске на лихих,
Немного пьян — но вечно мимо них.

29

Андрей Петрович... но о нем потом...
Семнадцать лет моей шалунье было,
Родительский ей страшно скучен дом,
В ней сердце жизни да любви просило,
Рвалось на волю... Вечно мать с чулком,
Мораль с известной властию и силой;
Столоначальник, скучный, как жених,
Который никогда не ездит на лихих.

30

И в будущем всё то же, вечно то же,
Всё преферанс в копейку серебром,
Всё так на настоящее похоже —
Так страшно глупо смотрит целый дом.

Нет, нет, не создана она, мой боже!
К тому, что многим кажется добром,
И не бывать ей верною подругой...
Притом уже она просвещена подругой.

31

От наставлений матушки не раз,
От этой жизни праздной и унылой
С подругою она тайком в танцкласс
Зимою ездила... Подруге было
Лет двадцать... Даже не в урочный час
Они домой являлись. Но сходило
Всё это с рук. Умела веру дать
В сердечной простоте всему старушка мать.

32

Жених-столоначальник глуповато
Смотрел на всё: он был совсем готовый муж,
Чуждался сильно всякого разврата,
Особенно карманного, к тому ж
Доверчивостью был он одарен богато,
Носил в себе одну из допотопных душ
И, несмотря на то, что родился в столице,
Невинностью подобен был девице.

33

Поутру, вставши, пил он скверный чай,
Смотрел в окно, погоду замечая,
И собирался к должности, там рай
И ад свой весь прескромно заключая.
Но пред уходом в свой обетованный край
Он в книжке отмечал, «что будет кушать чаю
Такой-то у него», и книжку клал;
Потом: «со сливками» — подумав, прибавлял.

34

Вы спросите: зачем? Уж я не знаю —
Есть разные привычки. Так текла
Вся жизнь его. Ему всех благ желаю —
Но страшно ведь глупа она была
Во все периоды: и *до* и *после* чаю...
И Дашу бедную такая жизнь ждала,
Когда б так называемый злой гений
Ей не дал мук, желаний и волнений.

35

Пускай она заснула — в ней не спят
Безумные, тревожные волненья;
Уста полураскрытые дрожат,
Облиты глазки влагою томленья.
Что снится ей?.. Соблазна полные виденья
Над нею видимо летают и кружат...
А чей-то голос слышен из-за дали,
Исполненный таинственной печали.

Дитя мое! очей твоих
Так влажно-бархатен привет...
Не звездный свет сияет в них —
Кометы яркий свет...

Лукавой хитрости полна
Улыбка детская твоя,
И гибок стан твой, как волна...
И вся ты как змея.

Ты так светла, что не звездам
Спокойным вечно так сиять;
Ты так гибка, что разгадать
В тебе легко сестру змеям.

Дитя мое! так много их
По тверди неба голубой
Светил рассыпано благих, —
О, будь кометой роковой!

И дольний мир — ваш мир земной —
Богат стадами душ простых...
В нем много добрых, мало злых, —
    О, будь же, будь змеей!

36

Тот голос был ли внятен ей?.. Она
Едва ль могла понять слова такие
Мудреные, хоть и весьма простые.
Прочла она в свой век Карамзина
Две повести, да две Марлинского другие
(«Фрегат „Надежда"», помнится, была
Одна из них). Отборно объясняться
Привыкла потому — я должен вам признаться.

37

Но странно, что ее тревожил сон
Не Гремин с пламенной душою и с усами...
Ее герой усами не снабжен —
Он, вероятно, сталкивался с вами,
Читатель мой, быть может, часто. Он
Играет, я сказал; со многими домами
Знаком поэтому; ни дурен, ни хорош
Собой особенно — на всех людей похож.

38

Чиновник он — и жить не мог иначе,
Москвич — но с Петербургом ужился,
Привык зимой к театру, летом к даче,
Хоть молод, но серьезно занялся
Устройством дел карманных и тем паче
Служебных: рано он за ум взялся,
Как истый петербуржец. Был ласкаем
Почтенными людьми и всеми уважаем.

39

Играл же он, во-первых, потому,
Что этим путь в дома чиновнической знати
Открыл себе свободный — хоть в палате
Служил какой-то... а притом ему,
Как, верно, русскому не одному,
Разгул по сердцу был — а здесь и кстати.
Играл он ловко, нараспашку жил
И репутацию с тем вместе заслужил.

40

На женщин он смотрел с полупрезреньем,
От добродетельных чиновниц прочь
Бежал всегда... Искать любви терпеньем
Ему казалось глупо и невмочь,
В чем был он прав... Свободным наслажденьям
Любил он посвящать гораздо лучше ночь.
Он был герой, и даже очень пылкой,
В танцклассе и с друзьями за бутылкой.

41

И там-то Даша встретилася с ним.
Он был хорош, особенно вполпьяна;
В минуту эту мог он быть любим;
Разочарован был, казалось, очень рано,
И, дорожа мгновением одним,
Безумствовал. Чем не герой романа,
Особенно когда другого нет?
Ведь было ей всего семнадцать лет.

42

Он дерзостью какой-то начал с нею.
Она краснела, хоть не поняла...
Переглянувшись с менторшей своею,
Ему на польку руку подала

И улыбнулася ему, злодею...
Потом уж с ним шампанское пила
И глупости девчонка лепетала,
Хоть вся, как лист, от страха трепетала.

43

А стоил ли он трепета любви? —
Другой вопрос... Не в этом, впрочем, дело,
Он был любим... Увы! в твоей крови,
Дитя мое, страсть бешено кипела,
Рвалась наружу... а глаза твои
Сияли слишком ярко, хоть несмело,
Стыдливо опускались... ты была в огне...
Пусть судит свет — судить тебя не мне!

44

А свет свершит свой строго-неизбежный
И, может быть, свой справедливый суд,
И над твоей головкою мятежной,
Быть может, многие теперь произнесут
Свой приговор бесстрастный и безгрешный;
Быть может, камень многие возьмут,
И в том сама виновна ты, конечно...
Ты жизни предалась безумно и беспечно.

45

А впрочем, что ж? Да разве ты одна
Осуждена толпой безгрешной и бесстрастной
За то, что ты, как женщина, страстна?
Утешься — и не в этом твой ужасный
Удел, дитя мое... Иное ты должна
Узнать еще... Покамест, сладострастно
Раскинувшись... ты грезам предана...

. . . .

46

Но вот она проснулась... С Офицерской
Коляска мчится... точно, это он,
Кому от матушки иного нет, как «мерзкой»,
Названия... Завоеватель дерзкой,
Он, как всегда, разгулен и хмелен...
Его немножко клонит даже сон...
Но, тем не менее, зевая, он выходит
Из экипажа — и к окну подходит.

47

Зевая — правду вам, читатель мой,
Я говорить обязан, — да-с, зевая,
«Здорово!» он сказал ей... На такой
Привет что́ отвечать, почти не зная,
Она «здорово!» с странною тоской
Сказала также... Он, не замечая,
С ней начал говорить о том, как он играл
И как на рысака пари держал.

48

И Даша молча слушала... И в очи
Ему смотрела робко... чуть дыша...
При тусклом свете петербургской ночи
Она была так чудно хороша...
Собой владеть ей не ставало мочи,
Из груди вон просилась в ней душа;
Болезненно и сладостно тоскуя...
Уста ее просили поцелуя...

49

И вот в окошко свесилась она
И обвила его прозрачными руками,
И, трепета безумного полна,
К его устам прижалася устами...

И в полусонных глазках так видна
Вся страсть ее была... что, небесами
Клянусь, я отдал бы прохладу светлых струй,
Как некогда поэт, за этот поцелуй.

50

О поцелуй!.. тебя давно не пели
Поэты наши... Злобой и тоской
Железные стихи их нам звенели —
Но стих давно уж не звучал тобой...
На божий мир так сумрачно глядели
Избранники, нам данные судьбой,
И Лермонтов и Гоголь... так уныло,
Так без тебя нам пусто в мире было!

51

Мы знали все — я первый, каюсь, знал
Безумство влажного вакханок поцелуя...
И за него я душу отдавал,
Когда она, болезненно тоскуя,
Томилась жаждой... Но иной люблю я,
Иной я поцелуй теперь припоминал...
То первый поцелуй, упругий, острый, жгучий,
Как молния, прорезавшая тучи.

52

Как молния, по телу он бежит
Струею сладкого, тревожного томленья...
Как детский сон, он быстро пролетит —
Похищенный украдкой... Но волненья,
Оставленного им, — ничто не заменит,
Но рад бы каждый, хоть ценой спасенья...
Так робко, нежно, девственно опять
Тот поцелуй с упругих уст сорвать.

53

О Ро́мео и Юлия! Вы были
Так молоды, так чисты: целый мир
Вы в поцелуе первом позабыли...
За что же вас и люди, и Шекспир,
Насмешник старый, злобно так сгубили
За этот поцелуй?.. Безжалостный вампир
Был автор ваш... наполнил вас любовью,
Чтобы вкусней упиться вашей кровью.

54

О Ромео и Юлия!.. Не раз
Ночь, ночь Италии, я вижу пред собою,
Лимонов запах слышу, вижу вас
Под тенью их стыдливою четою,
С ресницами опущенными глаз,
Увлажненных безумной, молодою,
На всё готовой страстью... Божий мир
Благословлял вас... дьявол был Шекспир!

55

Вот поцелуй куда красотки нашей
Завел меня... Что делать? виноват,
И каюсь в том: быть может, слишком Дашей
Я занимаюсь... Но часы летят,
И веет утром... Тот, кто полной чашей
Любви блаженство пьет, едва ли утру рад...
Его наивно Даша проклинала, —
Со мною, с вами это же бывало.

56

Андрей Петрович был, напротив, рад
Успокоению от жизненных волнений;
Любил он крепко стеганый халат
И сладкий сон без всяких сновидений...

Они простились... Сел он — быстро мчат
Его лихие кони... и мгновений
Любви не жаль ему... Но думал он о чем
Дорогою — узнаете потом.

57

Она же долго вдаль с тоской глядела,
Потом окно закрыла и легла,
Всё думала, и хоть заснуть хотела,
Но и заснуть бедняжка не могла...
Уж солнце встало... Ложками гремела
Старушка мать, и к ней потом вошла,
Неся с собой свой кофе неизбежный
Да вечную мораль родительницы нежной.

58

И снова день, бесплодно-глупый день
С уборкою того, что убирать не надо,
И с вечной пустотой, которой лень
И праздность жизни прикрывать так рада
Была старушка... Вновь ночную тень
Зовет моя красотка... Хуже ада
Такая жизнь... со сплетнями, с чулком,
И с кофеем, и с глупым женихом.

<1847>

VENEZIA LA BELLA [1]

Дневник странствующего романтика

(Отрывок из книги: «Одиссея о последнем романтике»)

...Beatrice, loda di Dio vera,
Chè non soccorri quei che t'amo tanto.
Ch'uscio per te della volgare schiera?
Non odi tu la piéta del suo pianto?
Non vedi tu la morte, che'l combatte
Su la fiumana, onde'l mar non ha vanto?

Dante „Inferno", Canto II [2]

1

Есть у поэтов давние права,
Не те одни, чтоб часто самовольно
Растягивать иль сокращать слова
Да падежи тиранить произвольно;
Есть и важнее: тем, кого едва
Назвать вы смеете — и с кем невольно
Смущаетесь при встрече, слова два
С трудом проговорите... смело, вольно
Вы можете эпистолы писать...
Я выбрал формы строгие сонета;

---

[1] Прекрасная Италия (итал.). — *Ред.*

[2] ...Господня чистая хвала,
О Беатриче, помоги усилью
Того, который из любви к тебе
Возвысился над повседневной былью.
Или не внемлешь ты его мольбе?
Не видишь, как поток, грознее моря,
Уносит изнемогшего в борьбе?
Данте. «Ад», песнь II (перевод М. Л. Лозинского). — *Ред.*

Во-первых, честь Италии воздать
Хоть этим за радушие привета
Мне хочется, а во-вторых, в узде
Приличной душу держат формы те!

2

И ты прочтешь когда-нибудь (вступаю
Я в давности права и слово *ты*
С тревогой тайной ставить начинаю,
С тоской о том, что лишь в краях мечты
Мои владенья), ты прочтешь, я знаю,
Чего, о жрица гордой чистоты,
Какой тебя поднесь воображаю,
В твоей глуши, средь праздной суеты
И тишины однообразно-пошлой, —
Ты не прочла бы, судорожно смяв,
Как лист завялый, отзыв жизни прошлой,
Свой пуританский чествуя устав,
Когда б мольбы, призывы и упреки
В размеренные не замкнулись строки!

3

«Но благородно ль это?» — может быть,
Ты скажешь про себя, сей бред тревожный
Читая... В самом деле, возмутить
Пытаться то, что нужно осторожно
В тебе беречь, лелеять, свято чтить...
Да! это *безобразно* и ничтожно...
Я знаю сам... Но *так* тебя любить
Другому, кто б он ни был, — невозможно...
Где б ни был я, куда б судьба меня
Ни бросила — с собой мечту одну я
Ношу везде: в толпе ли, в шуме ль дня,
Один ли, в ночь бессонную тоскуя,
Как молодость, как свет, как благодать,
Зову тебя! Призыв мой услыхать

4

Должна же ты! .. Увы! я верю мало,
Чтоб две души беседовать могли
Одна с другой, когда меж ними стало
Пространство необъятное земли;
Иль искренней сказать: душа устала
Таинственному верить; издали
Она тебя столь часто призывала,
Что звезд лучи давно бы донесли,
Когда б то было делом их служенья,
Тебе и стон, и зов безумный мой...
Но звезды — прехолодные творенья!
Текут себе по тверди голубой
И нам бесстрастно светят в сей юдоли.
Я им не верю больше... А давно ли

5

Я звал тебя, трикраты звал, с мольбой,
С томленьем злой тоски, всей силой горя
Бывалого, всей жаждой и тоской
Минуты? .. Предо мной царица моря
Узорчатой и мрачной красотой
Раскидывалась, в обаяньи споря
С невиданною неба синевой
Ночного... Вёсел плеск, как будто вторя
Напевам гондольера, навевал
На душу сны волшебные... Чего-то
Я снова жаждал, и молил, и ждал,
Какая-то в душе заныла нота,
Росла, росла, как длинный змей виясь...
И вдруг с канцоной страстною сплелась!

6

То не был сон. Я плыл в Риальто, жадно
Глядя на лик встававших предо мной
Узорчатых палаццо. С безотрадной,
Суровой скорбью памяти немой

Гляделся в волны мраморный и хладный,
Запечатленный мрачной красотой,
Их старый лик, по-старому нарядный,
Но плесенью подернутый сырой...
Я плыл в Риальто от сиявших ярко
Огней на площади святого Марка,
От праздника беспутного под звон
Литавр австрийских... сердцем влекся в да...
Туда, где хоть у волн не замер стон
И где хоть камень полн еще печалью!

7

Печали я искал о прожитом,
Передо мной в тот день везде вставала,
Как море, вероломная в своем
Величии La bella. Надевала
Вновь черный плащ, обшитый серебром,
Навязывала маску, опахало
Брала, шутя в наряде гробовом,
Та жизнь, под страхом пытки и кинжала
Летевшая каким-то пестрым сном,
Та лихорадка жизни с шумно-праздной
И пестрой лицевою стороной,
Та греза сладострастья и соблазна,
С подземною работою глухой
Каких-то сил, в каком-то темном мире
То карнавал, то Ponte dei sospiri.[1]

8

И в оный мир я весь душой ушел, —
Он всюду выжег след свой: то кровавый,
То траурный, как черный цвет гондол,
То, как палаццо дожей, величавый.
Тот мир не опочил, не отошел...
Он в настоящем дышит старой славой
И старым мраком; память благ и зол
Везде лежит полузастывшей лавой:

[1] Мост вздохов (итал.). — *Ред.*

Тревожный дух какой-то здесь живет,
Как вихрь кружит, как вихрь с собой уносит;
И сладкую отраву в сердце льет,
И сердце, ноя, неотступно просит
Тревожных чувств и сладострастных грез,
Лобзаний лихорадочных и слез.

9

Я плыл в Риальто. Всюду тишь стояла:
В волнах канала, в воздухе ночном!
Лишь изредка с весла струя плескала,
Пронизанная месяца лучом,
И долго позади еще мелькала,
Переливаясь ярким серебром.
Но эта тишь гармонией звучала,
Баюкала каким-то страстным сном,
Прозрачно-чутким, жаждущим чего-то.
И сердце, отозвавшись, стало ныть,
И в нем давно не троганная нота
Непрошенная вздумала ожить
И быстро понеслась к далекой дали
Призывным стоном, ропотом печали.

10

Тогда-то ярко, вольно разлилась
Как бы каденца из другого тона,
Вразрез с той нотой сердца, что неслась
Печали ропотом, призывом стона,
Порывисто сверкая и виясь,
Божественной Италии канцона,
Которая как будто родилась
Мгновенно под колоннами балкона,
В час ожиданья трепета полна,
Кипенья крови, вздохов неги сладкой,
Как страстное лобзание звучна,
Тревожна, как свидание украдкой...
В ней ритм не нов, однообразен ход,
Но в ней, как встарь, волкана жизнь живет.

11

Ты вырвалась из мощного волкана,
Из груди гордым холмом поднятой,
Широкой, словно зыби океана,
Богатой звука влагою густой
И звонкостью и ясностью стеклянной,
И силой оглушительной порой;
И ты не сжалась в тесный круг избранный,
А разлилась по всей стране родной,
Божественной Италии канцона!
Ты всем далась — от славных теноров
До камеристки и до ладзарона,
До гондольеров и до рыбаков...
И мне, пришельцу из страны туманной,
Звучала ты гармонией нежданной.

12

К нам свежий женский голос долетал,
Был весь грудной, как звуки вьолончели;
Он страстною вибрацией дрожал,
Восторг любви и слезы в нем кипели...
Мой гондольер всё ближе путь держал
К палаццо, из которого летели
Канцоны звуки. Голос наполнял
Весь воздух; тихо вслед ему звенели
Гитарные аккорды. Ночь была
Такая, что хотелось плакать — много
И долго плакать! Вод сырая мгла,
Вся в блестках от лучей луны двурогой,
Истому — не прохладу в грудь лила.
Но неумолчно северная нота
Всё ныла, ныла... Это было что-то

13

Подобное германских мастеров
Квартетам, с их глубокою и странной
Постройкою, с подземной, постоянно
Работающей думой! Средь ходов

Веселых поражающий нежданно
Таинственною скорбью вечный зов
В какой-то мир, погибший, но желанный;
Подслушанная тайна у валов
Безбрежного, мятущегося моря,
У леса иль у степи; тайный яд
Отравы разъедающего горя...
И пусть аккорды скачут и звенят,
Незаглушим в Бетховена иль Шпора
Квартете этот вечный звук раздора.

14

Ты помнишь ли один, совсем больной,
Квартет глухого мастера? Сидела,
Как статуя, недвижно ты, с слезой
В опущенных очах. О! как хотела
Ты от себя прогнать меня, чтоб мой
Язык, тебе разоблачавший смело
Весь новый мир, владеющий тобой,
Замолк! Но тщетно: делал то же дело
Квартет. Дышал непобедимой он,
Хотя глухой и сдавленною страстью,
И слышалось, что в мир аккордов стон
Врывался с разрушительною властью
И разъедал основы строя их,
И в судорожном tremolo[1] затих.

15

О, вспомни!.. И нельзя тебе забыть!
Твоя душа так долго, так сурово
Возобладать собою допустить
Боялася всему, что было ново.
Ты не из тех, которые шутить
Спокойно могут с тайным смыслом слова,
Которым любо век себя дразнить,
Которым чувство каждое обнова...

---

[1] Вибрация, дрожание (итал.). — *Ред.*

Ты не из тех! И вечно будь такой,
Мой светлый сильф, с душой из крепкой стали,
Пусть жизнь моя разбита вся тобой,
Пусть в душу мне влила ты яд печали, —
Ты пра́ва! .. Но зачем у ног твоих
Я не могу, целуя страстно их,

16

Сказать, что, право, честно ты решила
Вопрос, обоим, может быть, равно
Тяжелый нам? Безмолвна, как могила,
Твоя душа на зов моей давно...
Но знай, что снова злая нота ныла
В разбитом сердце, и оно полно
Всё той же беззаконной жажды было.
Где б ни был я — во мне живет одно!
И то одно старо, как моря стоны,
Но сильно, как сокрытый в перстне яд:
Стон не затих под страстный звук канцоны,
Былые звуки tremolo дрожат,
Вот слезы, вот и редкий луч улыбки —
Квартет и страшный вопль знакомой скрипки!

17

За то, чтоб ты со мной была в сей миг,
За то, чтобы, как встарь, до нервной дрожи
Заслушавшись безумных грез моих,
Ты поняла, как внутренно мы схожи,
Чтобы, следя за ходом дум твоих
И холод их искусственный тревожа,
Овладевать нежданно нитью их...
О! я за это отдал бы, мой боже,
Без долгих справок всё, что мне судил
Ты в остальном грядущем! .. Было б пошло
Назвать и жертвой это. Тот, кто жил
Глубоким, цельным чувством в жизни прошлой
Хоть несколько мгновений, — не мечтай
Жить вновь — благодари и умирай!

18

Один лишь раз... о да! сомнений нет —
Раз только — хаос груди проникает
Таинственный глагол: «да будет свет!»
Встает светило, бездну озаряет,
И всё, что в ней кипело много лет,
Теплом лучей вкруг центра собирает.
Что жить должно — на жизнь дает ответ;
В чем меры нет — как море опадает;
Душевный мир замкнут и завершен:
Не темная им больше правит сила,
А стройно, мерно двигается он
Вокруг животворящего светила.
Из бездны темной вырвавшись, оно
Всё держит властно, всё живит равно.

19

О, не зови мечтанием безумным
Того, что сердцу опытом далось!
Едва ль не всё, что названо разумным,
Родилося сначала в царстве грез,
Явясь на свет, встречалось смехом шумным
Иль ярым кликом бешеных угроз,
Таилось в тишине благоразумным
И кровью многих смелых полилось.
И вновь нежданно миру представало,
И, бездны мрак лучами озаря,
Блестящим диском истины сияло,
А греза — то была его заря!
То было бездны смутное стремленье
Создать свой центр, найти определенье.

20

Нет! не зови безумием больным
Того, что ты, пугливою борьбою
Встречая долго и мечтам моим
Отдаться медля, чуткою душою

Поймешь, бывало, ясно той порою,
Когда пойдут по небесам ночным
Лампады зажигаться над землею!
В тот час к земле опущенным твоим
Ресницам длинным было подниматься
Вольнее — и, борьбой утомлена,
Решалася ты вере отдаваться,
И, девственно-светла, чиста, нежна,
Ты слушала с доверчивостью жадной
То проповедь, то ропот безотрадный!

21

Как я любил в тебе, мой серафим,
Борьбу твою с моею мыслью каждой,
Ту робость, что лишь избранным одним
Душа́м дается, настоящей жаждой
Исполненным... Приходит вера к ним
Не скоро, но, поверивши однажды,
Они того, что истинно-святым
Признали раз, не поверяют дважды.
Таких не много. Их благословил
Иль проклял рок — не знаю. В битву смело
Они идут, не спрашиваясь сил.
Им жизнь не сон, а явь, им слово — дело.
И часто... Но ведь есть же, наконец,
Всеправящий, всевидящий отец!

22

И что мне было в этих слепо-страстных
Иль страстно-легкомысленных душах,
Которых вечно можно влечь, несчастных,
Из неба в ад, с вершины в грязь и прах,
Которых, в сердца *чувствиях* невластных,
Таскай куда угодно, — в тех рабах,
Привыкших пыл движений любострастных
Цитатами и в прозе и в стихах
Раскрашивать? Душе противно было
Слепое их сочувствие всегда,

Пусть не одна из них меня любила
С забвеньем долга, чести и стыда,
Бессмысленно со мною разделяя
И тьму и свет, и добрая и злая!

23

Но ты... Нервический удар в тот час,
Когда б сбылись несбыточные грезы,
Разбил бы полнотой блаженства нас,
Деливших всё: молитву, думы, слезы...
Я в это верю твердо... Но не раз
Я сравнивал тебя с листом мимозы
Пугливо-диким, как и ты подчас,
Когда мой ропот в мрачные угрозы
Переходил и мой язык, как нож,
В минуты скорби тягостной иль гнева,
Мещанство, пошлость, хамство или ложь
Рубил сплеча направо и налево...
Тогда твои сжималися черты,
Как у мимозы трепетной листы.

24

Прости меня! Романтик с малолетства
До зрелых лет — увы! я сохранил
Мочаловского времени наследство
И, как Торцов, «трагедии любил».
Я склонность к *героическому* с детства
Почувствовал, в душе ее носил
Как некий клад, испробовал все средства
Жизнь прожигать и безобразно пил;
Но было в этом донкихотстве диком
Не самолюбье пошлое одно:
Кто слезы лить способен о великом,
Чье сердце жаждой истины полно,
В ком фанатизм способен на смиренье,
На том печать избранья и служенья.

25

А всё же я «трагедии ломал»,
Хоть над трагизмом первый издевался...
Мочаловский заветный идеал
Невольно предо мною рисовался;
Но с ужасом я часто узнавал,
Что я до боли сердца заигрался,
В страданьях ложных искренно страдал
И гамлетовским хохотом смеялся,
Что билася действительно во мне
Какая-то *неправильная жила*
И в страстно-лихорадочном огне
Меня всегда держала и томила,
Что в меру я — уж так судил мне бог —
Ни радоваться, ни страдать не мог!

26

О вы, насмешкой горько-ядовитой
Иль шуткой меткой иль забавно-злой
Нередко нарушавшие покой
Скрываемой и часто ловко скрытой,
Но вечной язвы, вы, кому душой,
Всей любящей без меры, хоть разбитой
Душой, я предавался — раны той,
Следов борьбы не стихшей, но прожитой,
Касались вы всегда ли в добрый час,
Всегда ль с сознаньем истины и права?
Иль часто брат, любивший братски вас,
Был дружескому юмору забава?..
Что б ни было — я благодарен вам:
Я в юморе искал отрады сам!

27

Но ты... тебя терзать мне было любо,
Сознательно, расчетливо терзать...
Боль сердца — как нытье больного зуба
Ужасную — тебе я передать

Безжалостно хотел. Я был сугубо
Виновен — я, привыкший раздувать
В себе безумство, наслаждался грубо
Сознанием, что в силах ты страдать,
Как я же! О, прости меня: жестоко
Наказан я за вызов темных сил...
Проклятый коршун памяти глубоко
Мне в сердце когти острые вонзил.
И клювом жадным вся душа изрыта
Nell mezzo del cammin di mia vita![1]

28

Я не пою «увядший жизни цвет»,
Как юноша, который сам не знает
Цены тому, что он, слепец, меняет
На тяжкое наследье зол и бед.
Обновка мрачной скорби не прельщает
Меня давно — с тех пор, как тридцать лет
Мне минуло... Не отжил я — о нет!..
И чуткая душа не засыпает!
Но в том и казнь: на что бы ни дала
Душа свой отзыв — в отзыве таится
Такое семя будущего зла,
Что чуткости своей она боится,
Но и боясь, не в силах перестать
Ни откликаться жизни, ни страдать.

29

Порой единый звук — и мир волшебный
Раскрылся вновь, и нет пределов снам!
Порою женский взгляд — и вновь целебный
На язвы проливается бальзам...
И зреет гимн лирически-хвалебный
В моей душе, вновь преданной мечтам;
Но образ твой, как хлад зимы враждебной,
Убийствен поздней осени цветам.

---

[1] Земную жизнь пройдя до половины (итал.) — *Ред.*

Из опьяненья сердце исторгая
Явленьем неожиданным своим,
Всей чистотой, всей прелестью сияя,
Мой мстительный и светлый серафим
То тих и грустен, то лукав и даже
Насмешлив, шепчет он: «Я та же, та же

80

Твоя звезда в далекой вышине,
Твой страж крылатый и твое творенье,
Твой вздох в толпе, твой вопль наедине,
Твоя молитва и твое сомненье;
Я та же, та же — мне, единой мне,
Принадлежит и новое волненье.
Вглядись, вглядись!.. Не я ли в глубине
Стою, светла, за этой бледной тенью:
И в ней моей улыбки ищешь ты,
Моих ресниц, опущенных стыдливо,
Моей лукаво-детской простоты,
Отзывчивости кротко-молчаливой...
Зачем искать? Безумец! Я одна
Твоей сестрой, подругой создана.

81

Не верь во мне — ни гордости суровой,
Ни равнодушной ясности моей.
Припомни, как одно, бывало, слово
Изобличит всю ложь моих речей.
Вглядись, вглядись! Я в мире жизни новой
Всё тот же лик волшебницы твоей,
На первый зов откликнуться готовой,
На песню первую бывалых дней!
Твоим мольбам, мечтам, восторгам, мукам
Отвечу я, сказавшись чутко им
Фиалки скромной запахом ночным,
Гитары тихим, таинственным звуком.
Ты знаешь край? О! мы опять пойдем
В тот старый сад, в тот опустелый дом!»

32

И жадно я знакомым звукам внемлю,
И обольщенья призрака порой
За тайный зов души твоей приемлю,
И мнится мне, я слышу голос твой,
Чрез горы и моря в чужую землю
Ко мне достигший из земли родной...
Но пробудясь — ясней умом объемлю
Всю бездну мук души своей больной:
Мысль о тебе железом раскаленным
Коснется ран, разбередит их вновь,
Разбудит сердце и взволнует кровь.
И нет тогда конца ночам бессонным
Или горячке безотвязных снов...
То — пса тоска, то — мука злых духов!

33

Да, пса тоска! Тот жалобно-унылый,
Однообразный вой во тьме ночей,
Что с призраками ночи и с могилой
Слился в пугливой памяти людей...
У сладостных певцов «тоской по милой»
На нежном языке бывалых дней
Звалась она, — но кто со всею силой
Ее изведал, тот зовет верней.
Правдивое, хоть грубое названье
Пришло давно мне в голову... Оно
Разлуками, отравами свиданья
Да осени ночами создано...
Глядишь, как сыч, бывало... сердце ноет,
А пес так глупо, дико, жалко воет!

34

Из тех ночей особенно одна
Мне памятна дождливая. — Проклятья
Достаточные от меня она
Терпела. В этот вечер увидать я
Тебя не мог — была увезена
Куда-то ты, — но дверь отворена

В твой уголок, дышавший благодатью,
В приют твой девственный была, и платье
Забытое иль брошенное там
Лежало на диване... С замираньем
Сердечным, с грустью, с тайным содроганьем
Я прижимал его к моим устам,
И ночь потом — сколь это ни обидно —
Я сам, как пес, выл глупо и бесстыдно!

35

И здесь, один, оторванный судьбой
От тягостных вопросов, толков праздных,
От дней, обычной текших чередой,
От дружб святых и сходок безобразных,
Я думы сердца, думы роковой
Не заглушил в блистательных соблазнах
Былых веков, встававших предо мной
Громадами чудес разнообразных...
Хоть накануне на хребте своем,
На тихом, бирюзово-голубом,
Меня адриатические волны
Лелеяли... хоть изумленья полный
Бродил я день — душою погружен
В великолепно-мрачный пестрый сон.

36

Царица моря предо мной сияла
Красой своей зловещей старины;
Она, как море, бездны прикрывала
Обманчивым покровом тишины...
Но сих-то бездн душа моя алкала!
Пришлец из дальней северной страны,
Хотел сорвать я жадно покрывало
С закутанной в плащ бархатный жены...
У траурных гондол дознаться смысла
Их тайны сладострастно-гробовой...
И допроситься, отчего нависло
С иронией сумрачной и злой
Лицо палаццо старых над водою,
И мрак темниц изведать под землею...

37

В сей мрак подземный, хладный и немой,
Сошел я... Стоном многих поколений
Звучал он — их проклятьем и мольбой...
И мнилось мне: там шелестели тени!
И мне гондолы траур гробовой
Понятен стал. День страстных упоений
В той, как могила, мрачной и немой
Обители плывучей наслаждений
Безумно-лихорадочных — прием
Волшебного восточного напитка...
Нажиться жизнью в день один... Потом
Холодный мрак тюрьмы, допрос и пытка,
Нежданная, негаданная казнь...
О! тут исчезнет всякая боязнь.

38

Тут смолкнут все пугливые расчеты.
Пока живется — жизни дар лови!
О том, что завтра, — лишние заботы:
Кто знает? chi lo sa?..[1] В твоей крови
Кипит огонь?.. Лишь стало бы охоты,
А то себе безумствуй и живи!
Какой тут долг и с жизнью что за счеты!
Пришла любовь?.. Давай ее, любви!
О милый друг! Тогда под маской черной
Ты страсти отдавалась бы смелей.
И гондольер услужливо проворный
Умчал бы нас далеко от людей,
От их суда, нравоучений, крика...
Хоть день, да наш! а там — суди, владыка!

39

Хоть день, да наш! Ужели ж лучше жить
Всей пошлостию жизни терпеливо,
А в праздники для отдыха кутить
(И то, чтоб уж не очень шаловливо!).
Так только немец может с сластью пить

[1] Кто его знает? (итал.). — *Ред.*

В Тиргартене своем берлинском пиво —
А нам — увы! — в Тиргартен не ходить!
На русский вкус, хотя неприхотливый,
Но тонкий от природы, — ни гроша
Тиргартен их с хваленой дешевизной
Не стоит. Наша странная душа
Широкою взлелеяна отчизной...
Уж если пить — так выпить океан!
Кутить — так пир горой и хор цыган!

40

А там — что будет, будет! И могла же
Ты понимать когда-то, ангел мой,
Что ничего не выдумаешь гаже
Того, в чем немцы видят рай земной;
Что «прожиганье жизни» лучше даже
Их праздничной Аркадии, сухой
Иль жирно-влажной... Ты всё та же, та же,
Стоишь полна сочувствий предо мной...
И молодую грудь твою колышет
Тревожно всё, в чем мощь и широта,
Морская безграничность жизни дышит,
Любви, надежды, веры полнота:
Свободы ли и правды смелой слово,
Стих Пушкина иль звуки песни новой.

41

Ты предо мной всё та же: узнаю
Тебя в блестящем белизной наряде
Среди толпы и шума... Вновь стою
Я впереди и, прислонясь к эстраде,
Цыганке внемлю, — тайную твою
Ловлю я думу в опущённом взгляде;
Упасть к ногам готовый, я таю
Восторг в поклоне чинном, в чинном хладе
Речей, — а голова моя горит,
И в такт один, я знаю, бьются наши
Сердца — под эту песню, что дрожит
Всей силой страсти, всем контральтом Маши...
Мятежную венгерки слыша дрожь!

42

Как в миг подобный искренности редкой
Бывала ты чиста и хороша!
Из-под ресниц, спадавших мягкой сеткой,
Столь нежная, столь кроткая душа
Глядела долгим взглядом... Если ж едкой
Тоски полна и, тяжело дыша,
Язвила ты насмешливой заметкой
Иль хладом слов того, кто, пореша
Вопрос души заветнейший, тобою,
Твоим дыханьем девственным дышал,
Твоей молился чистою мольбою,
Одной твоей тоскою тосковал...
О, как тогда глаза твои блистали
Безжалостным, холодным блеском стали!

43

Да! помню я тебя такою! Но
И блеск стальной очей, и хлад поклона —
Всё это было муками дано,
Изучено в борьбе как оборона.
Хоть быть иначе было не должно
И не могло в тебе во время оно:
С своей душою кроткой суждено
Тебе бороться было, Дездемона!
И ты боролась честно!.. Из борьбы
С задумчивым, но не смущенным взором
Ты вышла — слава богу!.. До судьбы
Другой души, зловещим метеором
На небосклоне девственном твоем
Горевшей мутным вражеским огнем,

44

Что нужды?.. Но зачем же лик твой снова
С печалью тихой предо мной стоит...
Зачем опять не гордо и сурово,
А скорбно так и робко он глядит?
Из-под ресниц слеза сбежать готова,
Рука тревожно, трепетно дрожит,

Когда язык разлуки вечной слово
Неумолимо строго говорит.
Опять окно и столик твой рабочий,
Канва шитья узорного на нем,
С печальным взором поднятые очи,
И приговор в унылом взгляде том...
И мнится — вновь я вижу с содроганьем,
Как голову склоняешь ты с рыданьем!

45

Ты знаешь ли?.. Я посетил тот дом.
Я посетил и тот другой, старинный,
С его балконом ветхим, с залой длинной
И с тишиной безлюдною кругом...
Тот старый дом, тот уголок пустынный,
Где жизнь порой неслась волшебным сном
Для нас обоих, где таким огнем,
Такой любовью — под завесой чинной,
Под хладной маской — тайный смысл речей
Пылал порой, где души говорили
То песнию, то молнией очей!
Молил я, помнишь, чтобы там застыли
Иные речи в воздухе навек...
Глуп иногда бывает человек!

46

Я посетил... Отчаянная смелость
Войти в сей мир заглохший и немой
Минувшего, с душой еще больной,
Нужна была. Но мне собрать хотелось,
Прощаяся с родимой стороной,
Хотя на миг сухие кости в целость,
Облечь скелет бывалой красотой...
И если б в них хоть искра жизни тлелась,
В сухих костях, — они на вопль души
Отозвались бы вздохом, звуком, словом,
Хоть шелестом, хоть скрежетом гробовым,
Хоть чем-нибудь... Но в сумрачной тиши
Дышало всё одной тоской немою,
Дом запустел, и двор порос травою!

47

Заглохло всё... Но для чего же ты
По-прежнему, о призрак мой крылатый,
Слетаешь из воздушных стран мечты
В печальный, запустением объятый,
Заглохший мир, где желтые листы,
Хрустя, шумят, стопой тяжелой смяты;
Сияя вся как вешние цветы
И девственна, как лик Аннунциаты,
Прозрачно-светлый догарессы лик,
Что из паров и чада опьяненья,
Из кнастерного дыма и круженья
Пред Гофманом, как светлый сон, возник —
Шипок расцвесть готовящейся розы,
Предчувствие любви, томленье грезы!

48

Аннунциата!.. Но на голос мой,
На страстный зов я тщетно ждал отзыва.
Уже заря сменялася зарей
И волны бирюзовые залива
Вдали седели... Вопль безумный мой
Одни палаццо вняли молчаливо,
Да гондольер, встряхнувши головой,
Взглянул на чужеземца боязливо,
Потом гондолу тихо повернул,
И скоро вновь Сан-Марко предо мною
Своей красой узорчатой блеснул.
Спи, ангел мой... да будет бог с тобою.
А я?.. Давно пора мне привыкать
Senza amare[1] по морю блуждать.[2]

1857

---

[1] Без любви (итал.). — *Ред.*

[2] См. повесть Гофмана «Doge und Dogaresse» в «Serapionsbrüder» (*перев.*: «Дож и догаресса» в «Серапионовых братьях». — *Ред.*).

ВВЕРХ ПО ВОЛГЕ

Дневник без начала и без конца
(Из «Одиссеи о последнем романтике»)

1

Без сожаления к тебе,
Без сожаления к себе
Я разорвал союз несчастный...
Но, боже, если бы могла
Понять ты только, чем была
Ты для моей природы страстной!..

Увы! мне стыдно, может быть,
Что мог я так тебя любить!..
Ведь ты меня не понимала!
И не хотела понимать,
Быть может, не могла понять,
Хоть так умно подчас молчала.

Жизнь не была тебе борьба...
Уездной барышни судьба
Тебя опутала с рожденья...
Тщеславно-пошлые мечты
Забыть была не в силах ты
В самих порывах увлеченья...

Не прихоть, не любовь, не страсть
Заставили впервые пасть
Тебя, несчастное созданье...

То злость была на жребий свой,
Да мишурой и суетой
Безумное очарованье.

Я не виню тебя... Еще б
Я чей-то медный лоб
Винил, что ловко он и смело
Пустить и блеск, и деньги мог,
И даже опиума сок
В такое «миленькое» дело...

Старо всё это на земли...
Но помнишь ты, как привели
Тебя ко мне?.. Такой тоскою
Была полна ты, и к тебе,
Несчастной, купленой рабе,
Столь тяготившейся судьбою,

Больную жалость сразу я
Почуял — и душа твоя
Ту жалость сразу оценила;
И страстью первой за нее,
За жалость ту, дитя мое,
Меня ты крепко полюбила.

Постой... рыданья давят грудь,
Дай мне очнуться и вздохнуть,
Чтоб передать любви той повесть
О! пусть не я тебя сгубил, —
Но, если б я кого убил,
Меня бы так не грызла совесть.

Один я в городе чужом
Сижу теперь перед окном,
Смотрю на небо: нет ответа!
Владыко боже! дай ответ!
Скажи мне: прав я был иль нет?
Покоя дай мне, мира, света!

Убийцу Каина едва ль
Могла столь адская печаль
Терзать. Душа болит и ноет...

Вина, вина! Оно одно,
Лиэя древний дар — вино,
Волненья сердца успокоит.

2

Я не был в городе твоем,
Но, по твоим рассказам, в нем
Я жил как будто годы, годы. . .
Его черт три года искал,
И раз зимою подъезжал,
Да струсил снежной непогоды,
Два раза плюнул и бежал.

Мне видится домишко бедный
На косогоре; профиль бледный
И тонкий матери твоей.
О! как она тебя любила,
Как баловала, как рядила,
И как хотелось, бедной, ей,
Чтоб ты как барышня ходила.

Отец суров был и угрюм,
Да пил запоем. Дан был ум
Ему большой, и желчи много
В нем было. Горе испытав,
На жизнь невольно осерчав,
Едва ль он даже верил в бога
(В тебя его вселился нрав).

Смотрел он с злобою печальной —
Предвидя в будущности дальной
Твоей и горе, и нужду, —
Как мать девчонку баловала,
И как в ней суетность питала,
И как ребенку ж на беду
В нем с детства куклу развивала.

И был он прав, но слишком крут;
В нем неудачи, тяжкий труд
Да жизнь учительская съели
Все соки лучшие. Умен,

Учен, однако в знаньи он
Ни проку не видал, ни цели...
Он даже часто раздражен

Бывал умом твоим пытливым,
Уже тогда самолюбивым,
Но знанья жаждавшим. Увы!
Безумец! Он и не предвидел,
Что он спасенье ненавидел
Твоей горячей головы, —
И в просвещеньи зло лишь видел.

Работы мозг лишил он твой...
Ведь если б, друг несчастный мой,
Ты смолоду чему училась,
Ты жизнь бы шире понимать
Могла, умела б не скучать,
С кухаркой пошло б не бранилась,
На светских женщин бы не злилась.

Ты поздно встретилась со мной.
Хоть ты была чиста душой,
Но ум твой полон был разврата.
Тебе хотелось бы блистать,
Да «по-французскому» болтать —
Ты погибала без возврата,
А я мечтал тебя спасать.

Вновь тяжко мне. Воспоминанья
Встают, и лютые терзанья
Мне сушат мозг и давят грудь.
О! нет лютейшего мученья,
Как видеть, что, кому спасенья
Желаешь, осужден тонуть,
И нет надежды избавленья!

Пойду-ка я в публичный сад:
Им славится Самара-град...
Вот Волга-мать передо мною
Катит широкие струи,
И думы ширятся мои,

И над великою рекою
Свежею, крепну я душою.

Зачем я в сторону взглянул?
Передо мною промелькнул
Довольно милой «самарянки»
Прозрачный облик... Боже мой!
Он мне напомнил образ твой
Каким-то профилем цыганки,
Какой-то грустной красотой.

И вновь изменчивые глазки,
Вновь кошки гибкость, кошки ласки.
Скользящей тени поступь вновь
Передо мной... Творец! нет мочи!
Безумной страсти нашей ночи
Вновь ум мутят, волнуют кровь...
Опять и ревность, и любовь!

Другой... еще другой... Проклятья!
Тебя сожмут в свои объятья...
Ты, знаю, будешь холодна...
Но им отдашься всё же, всё же!
Продашь себя, отдашься... Боже!
Скорей забвенья, вновь вина...
И завтра, послезавтра тоже!

8

Писал недавно мне один
Достопочтенный господин
И моралист весьма суровый,
Что «так и так, дескать, ты в грязь
Упал: плотская эта связь,
И в ней моральной нет основы».

О старый друг, наставник мой
И в деле мысли вождь прямой,
Светильник истины великий,
Ты страсти знал по одному
Лишь слуху, а кто жил — тому
Подразделенья ваши дики.

Да! было время... Я иной
Любил любовью, образ той
В моей «Venezia la bella»
Похоронен; была чиста,
Как небо, страсть, и песня та —
Молитва: Ave Maria stella![1]

Чтоб снова миг хоть пережить
Той чистой страсти, чтоб вкусить
И счастья мук, и муки счастья,
Без сожаленья б отдал я
Остаток бедный бытия
И все соблазны сладострастья.

А отчего?.. Так развилось
Во мне сомненье, что вопрос
Приходит в ум: не оттого ли,
Что не была моей она?..
Что в той любви лишь призрак сна
Все были радости и боли?

Как хорошо я тосковал,
Как мой далекий идеал
Меня тревожно-сладко мучил!
Как раны я любил дразнить,
Как я любил тогда любить,
Как славно «псом тогда я скучил»!

Далекий, светлый призрак мой,
Плотско́ю мыслью ни одной
В душе моей не оскорбленный!
Нет, никогда тебя у ног
Другой я позабыть не мог,
В тебя всегда, везде влюбленный.

Но то любовь, а это страсть!
Плотская ль, нет ли — только власть
Она взяла и над душою.
Чиста она иль не чиста,
Но без нее так жизнь пуста,
Так сердце мучится тоскою.

---

[1] Славься Мария. (лат.). — *Ред.*

Вот Нижний под моим окном
В великолепии немом
В своих садах зеленых тонет;
Ночь так светла и так тиха,
Что есть для самого греха
Успокоение... А стонет

Всё так же сердце... Если б ты
Одна, мой ангел чистоты,
В больной душе моей царила...
В нее сошла бы благодать,
Ее теперь природа-мать
Радушно бы благословила.

Да не одна ты... вот беда!
От угрызений и стыда
Я скрежещу порой зубами...
Ты всё передо мной светла,
Но прожитая жизнь легла
Глубокой бездной между нами.

И Нижний-город предо мной
Напрасно в красоте немой
В своих садах зеленых тонет...
Напрасно ты, ночная тишь,
Душе забвение сулишь...
Душа болит, и сердце стонет.

Былого призраки встают,
Воспоминания грызут
Иль вновь огнем терзают жгучим.
Сырых Полюстрова ночей,
Лобзаний страстных и речей
Воспоминаньями я мучим.
Вина, вина! Хоть яд оно,
Лиэя древний дар — вино!..

4

А что же делать? На борьбу
Я вызвал вновь свою судьбу,
За клад заветный убеждений
Меня опять насильно влек

В свой пеной брызжущий поток
Мой неотвязный, злобный гений.

Ты помнишь ли, как мы с тобой
Въезжали в город тот степной?
Я думал: вот приют покоя;
Здесь буду жить да поживать,
Пожалуй даже... прозябать,
Не корча из себя героя.

Лишь жить бы *честно*... Бог ты мой!
Какой ребенок я смешной,
Идеалист сорокалетний! —
Жить честно там, где всяк живет,
Неся усердно всякий гнет,
Купаясь в луже хамских сплетней.

В Аркадию собравшись раз
(Гласит нам басенный рассказ),
Волк старый взял с собою зубы...
И я, в Аркадию хамов
Взял, не боясь лая псов,
Язык свой вольный, нрав свой грубый.

По хамству скоро гвалт пошел,
Что «дикий» человек пришел
Не спать, а честно делать дело...
Ну, я, хоть вовсе не герой,
А человек весьма простой,
В борьбу рванулся с ними смело.

Большая смелость тут была
Нужна... Коли б тут смерть ждала!
А то ведь пошлые мученья,
Рутины ковы мелочной,
Интриги зависти смешной...
В конце же всех концов *лишенья*.

Ну! ты могла ль бы перенесть
Всё, что худого только есть
На свете?.. всё, что хуже смерти —

Нужду, скопленье мелких бед,
Долги докучные? О нет!
Вы в этом, друг мой, мне поверьте...

На жертвы ты способна... да!
Тебя я знаю, друг! Когда
Скакала ты зимой холодной
В бурнусе легком, чтоб опять
С безумцем старым жизнь связать,
То был порыв — и благородный!

Иль за бесценок продала
Когда ты всё, что добыла
Моя башка работой трудной, —
Чтоб только вместе быть со мной,
То был опять порыв святой,
Хотя безумно-безрассудный...

Но пить по капле жизни яд,
Но вынесть мелочностей ад
Без жалоб, хныканья, упреков
Ты, даже искренно любя,
Была не в силах... От тебя
Видал немало я уроков.

Я обмануть тебя хотел
Иною страстью... и успел!
Ты легкомысленно-ревнива...
Да сил-то где ж мне было взять,
Чтоб к цели новой вновь скакать?
Я — конь избитый, хоть ретивый!

Ты мне *мешала*... Не бедна
На свете голова одна, —
Бедна, коль есть при ней другая...
Один стоял я без оков
И не пугался глупых псов,
Ни визга дикого, ни лая.

И мне случалось (не шутя
Скажу тебе, мое дитя,
Не раз питаться коркой хлеба,

Порою кров себе искать
И даже раз заночевать
Под чистым, ясным кровом неба...

Зато же я и устоял,
Зато же идолом я стал
Для молодого поколенья...
И всё оно прощало мне:
И трату сил, и что в вине
Ищу нередко я забвенья.

И в тесной конуре моей
Высокие случались встречи,
Свободные лилися речи
Готовых честно жить людей...
О молодое поколенье!
На Волге, матери святой,
Тебе привет, благословенье
На благородное служенье
Шлет старый друг, наставник твой.

Я устоял, я перемог,
Я *победил*... Но, знает бог,
Какой тяжелою ценою
Победа куплена... Увы!
Для убеждений головы
Я сердцем жертвовал — тобою!

Немая ночь, и всё кругом
Почиет благодатным сном,
А мне не дремлется, не спится,
Страшна мне ночи тишина:
Я слышу шорох твой... Вина!
И до бесчувствия напиться!

5

Зачем, несчастное дитя,
Ты не слегка и не шутя,
А искренне меня любила.
Ведь я не требовал любви:

Одно волнение в крови
Во мне сначала говорило.

С Полиной, помнишь, до тебя
Я жил; любя иль не любя,
Но по душе... Обоим было
Нам хорошо. Я знать, ей-ей,
И не хотел, кого дарила
Дешевой ласкою своей
Она — и с кем по дням кутила.

Во-первых, всех не перечесть...
Потом, не всё ль равно?.. Но есть
На свете дурни. И влюбился
Один в Полину; был он глуп,
Как говорят, по самый пуп,
Он ревновал, страдал, бесился
И, кажется, на ней женился.

Я сам, как честный человек,
Ей говорил, что целый век
Кутить без устали нельзя же,
Что нужен маленький расчет,
Что скоро молодость пройдет,
Что замужем свободней даже...

И мы расстались. Нам была
Разлука та не тяжела;
Хотя по-своему любила
Она меня, и верю я...
Ведь любит борова свинья,
Ведь жизнь во всё любовь вложила.

А я же был тогда влюблен...
Ах! это был премилый сон:
Я был влюблен слегка, немножко...
Болезненно-прозрачный цвет
Лица, в глазах фосфóра свет,
Воздушный стан, испанки ножка,
Движений гибкость... Словом: кошка

Вполне, как ты же, может быть...
Мне было сладко так любить
Без цели, чувством баловаться,
С больной по вечерам сидеть,
То проповедовать, то петь,
То увлекать, то увлекаться...
Но я боялся заиграться...

Всецело жил в душе моей
Воздушный призрак лучших дней:
Молился я моей святыне
И вклад свой бережно хранил
И чувствовал, что свет светил
Мне издали в моей пустыне...
Увы! тот свет померкнул ныне.

Плут Алексей Арсентьев, мой
Личарда верный, нумерной
Хозяин, как-то «предоставил»
Тебя мне. Как он скоро мог
Обделать дело — знает <бог>
Да он. Купцом московским славил
Меня он, сказывала ты...
А впрочем — бог ему прости!

И впрямь, как купчик, в эту пору
Я жил... Я де́ньгами сорил,
Как миллионщик, и — кутил
Без устали и без зазору...
Я «безобразие» любил
С младых ногтей. Покаюсь в этом,
Пожалуй, перед целым светом...
Какой-то странник вечный я...
Меня оседлость не прельщает,
Меня минута увлекает...
Ну, хоть минута, да моя!

А там... а там суди, владыко!
Я знаю сам, что это дико,
Что это к ужасам ведет...
Но переспорить ли природу?

Я в жизни верю лишь в свободу,
Неведом вовсе мне расчет...
Я вечно, не спросяся броду,
Как омежной кидался в воду,

Но честно я тебе сказал
И кто, и что я... Я желал,
Чтоб ты не увлекалась очень
Ни положением моим,
Ни особливо мной самим...
Я знал, что в жизни я не прочен...
Зачем же делать вред другим?

Но ты во фразы и восторги
Безумно диких наших оргий,
Ты верила... Ты увлеклась
И мной, и юными друзьями,
И прочной становилась связь
Между тобой и всеми нами.
Меня притом же дернул черт
Быть очень деликатным. Горд
Я по натуре; не могу я,
Хоть это гнусно, может быть,
По следствиям, — переварить
По принужденью поцелуя.
И сам увлечься, и увлечь
Всегда, как юноша, хочу я...
А мало ль, право, в жизни встреч,
В которых лучше, может статься,
Не увлекать, не увлекаться...
В них семя мук, безумства, зла,
Быть может, в будущем таится:
За них расплата тяжела,
От них морщины вдоль чела
Ложатся, волос серебрится...
Но продолжаю... Уж не раз
Видал я, что, в какой бы час
Ни воротился я, — горела
Всё свечка в комнатке твоей.
Горда ты, но однажды с ней
Ты выглянуть не утерпела
Из полузамкнутых дверей.

Я помню: раз друзья кутили
И буйны головы сложили
Повалкой в комнате моей...
Едва всем места доставало,
А всё меня раздумье брало,
Не спать ли ночь, идти ли к ней?

Я подошел почти смущенный
К дверям. С лукáво-затаенной,
Но видной радостью меня
Ты встретила. Задул свечу я...
Слились мы в долгом поцелуе,
Не нужно было нам огня.

А как-то раз я воротился
Мертвецки — и тотчас свалился,
Иль сложен был на свой диван
Алешкой верным. Просыпаюсь...
Что это? сплю иль ошибаюсь?
Чтó это? правда иль обман?

Сама пришла — и, головою
Склонившись, опершись рукою
На кресла... дремлет или спит...
И так грустна, и так прекрасна...
В тот миг мне стало слишком ясно,
Что полюбила и молчит.

Я разбудил тебя лобзаньем,
И с нервно-страстным содроганьем
Тогда прижалась ты ко мне.
Не помню, что мы говорили,
Но мы любили, мы любили
Друг друга оба — и вполне!..

О старый, мудрый мой учитель,
О ты, мой книжный разделитель
Между моральным и плотским!..
Ведь ты не знал таких мгновений?
Так как же — будь ты хоть и гений —
Даешь званье смело им?

Ведь это не вопрос норманской,
Не древность азбуки славянской,
Не княжеских усобиц ряд...
В живой крови скальпéль потонет,
Живая жизнь под ним застонет,
А хартии твои молчат,
Неловко ль, ловко ль кто их тронет.

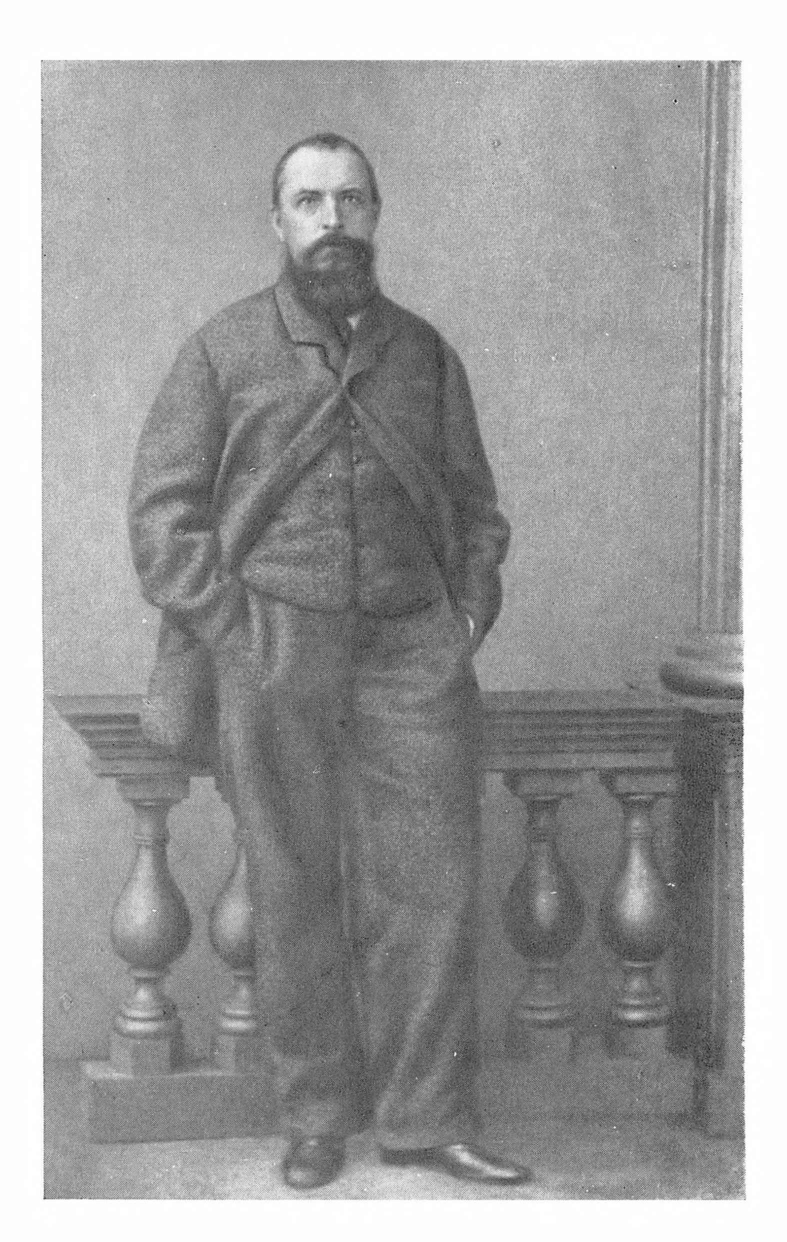
А тут вот видишь: голова
Горит, безумные слова
Готовы с уст опять срываться...
Ну, вот себя я перемог,
Я с ней расстался — но у ног
Теперь готов ее валяться...
Какой в анализе тут прок?

Эх! Душно мне... Пойду опять я
На Волгу... Там «бурлáки-братья
Под лямкой песню запоют»...
Но тихо... песен их не слышно,
Лишь величаво, вольно, пышно
Струи багряные текут.
Что в них, в струях, скажи мне, дышит?
Что лоно моря так колышет?
Я море видел: убежден,
Что есть у синего у моря
Волненья страсти, счастья, горя,
Хвалебный гимн, глубокий стон...

Привыкли плоть делить мы с духом...
Но тот, кто слышит чутким ухом
Природы пульс... будь жизнью чист
И непорочен он пред богом,
А всё же, взявши в смысле строгом,
И он частенько пантеист,
И пантеист весьма во многом.

6

А впрочем, виноват я сам...
Зачем я волю дал мечтам
И чувству разнуздал свободу?
Ну, что бы можно, то и брал...



А я бесился, ревновал
И страсти сам прибавил ходу.

Ты помнишь ночь... безумный крик
И драку пьяную... (Я дик
Порою.) Друг с подбитым глазом
Из битвы вышел, но со мной
Покойник — истинный герой —
Успел он сладить как-то разом:
Он был силен, хоть ростом мал —
Легко три пуда поднимал.

Очнулся я... Она лежала
Больная, бледная... страдала
От мук душевных... Оскорбил
Ее я страшно, но понятно
Ей было то, что я любил...
Ей стало больно и приятно...
Ведь без любви же ревновать,
Хоть и напрасно, — что за стать?

О, как безумствовали оба
Мы в эту ночь... Сменилась злоба
В душе — меня так создал бог —
Безумством страсти без сознанья,
И жгли тебя мои лобзанья
Всю, всю от головы до ног...
С тобой — хоть умирать мы будем —
Мы ночи той не позабудем.

Ведь ты со мной, с одним со мной,
Мой друг несчастный и больной,
Восторги страсти узнавала, —
Ведь вся ты отдавалась мне,
И в лихорадочном огне
Порой, как кошка, ты визжала.

Да! вся ты, вся мне отдалась,
И жизнь, как лава, понеслась
Для нас с той ночи! Доверяясь
Вполне, любя, шаля, шутя,
Впервые, бедное дитя,

Свободной страсти отдаваясь,
Резвясь, как кошка, и ласкаясь,
Как кошка... чудо как была
Ты благородна и мила!

Прочь, прочь ты, коршун Прометея,
Прочь, злая память... Не жалея,
Сосешь ты сердце, рвешь ты грудь...
И каторжник, и тот ведь знает
Успокоенье... Затихает
В нем ад, и может он заснуть.

А я Манфреда мукой адской,
Своею памятью дурацкой
Наказан... Иль совсем до дна,
До самой горечи остатка
Жизнь выпил я?.. Но лихорадка
Меня трясет... Вина, вина!
Эх! жить порою больно, гадко!

7

У гроба Минина стоял
В подземном склепе я... Мерцал
Лишь тусклый свет лампад. Но было
Во тьме и тишине немой
Не страшно мне. В душе больной
Заря рассветная всходила.

Презренье к мукам мелочным
Я вдруг почувствовал своим —
И тем презреньем очищался,
Я крепнул духом, сердцем рос...
Молитве, благодати слез
Я весь восторженно отдался.

Хотелось снова у судьбы
Просить и жизни, и борьбы,
И помыслов, и дел высоких...
Хотелось, хоть на склоне дней,
Из узких выбравшись стезей,
Идти путем стезей широких.

А ты... Казалось мне в тот миг,
Что тайну мук твоих постиг
Я глубоко, что о душе я
Твоей лишь, в праздной пустоте
Погрязшей, в жалкой суете
Скорблю, как друг, как брат жалею...

Скорблю, жалею, плачу... Да —
О том скорблю, что никогда
Тебе из праха не подняться,
О том жалею, что, любя,
Я часто презирал себя,
Что должно было нам расстаться.

Да! что́ тебе ни суждено —
Нам не сойтись... Так решено
Душою. Пусть воспоминаний
Змея мне сердце иссосет, —
К борьбе и жизни рвусь вперед
Я смело, не боясь страданий!

Страданья ниже те меня...
Я чувствую, еще огня
Есть у души в запасе много...
Пускай я сам его гасил,
Еще я жив, коль сохранил
Я жажду жизни, жажду бога!

8

Дождь ливмя льет... Так холодна
Ночь на реке и так темна,
Дрожь до костей меня пробрала.
Но я... я рад... Как Лир, готов
Звать на себя я и ветров,
И бури злобу — лишь бы спала
Змея-тоска и не сосала.

Меня знобит, а пароход
Всё словно медленней идет,
И в плащ я кутаюсь напрасно.

Но пусть я дрогну, пусть промок
Насквозь я — позабыть я мог
О ней, о ней, моей несчастной.

Надолго ль? Ветер позатих...
Опять я жертва дум своих.
О, неотвязное мученье!
Коробит горе душу вновь,
И горе это — не любовь,
А хуже, хуже: сожаленье!

И снова памяти моей
Из многих горестных ночей
Одна, ужасная, предстала...
Одна некрасовская ночь,
Без дров, без хлеба... Ну, точь-в-точь,
Как та, какую создавала

Поэта скорбная душа,
Тоской и злобою дыша...
Ребенка в бедной колыбели
Больные стоны моего
И бедной матери его
Глухие вопли на постели.

Всю ночь, убитый и немой,
Я просидел... Когда ж с зарей
Ушел я... Что-то забелело,
Как нитки, в бороде моей:
Два волоса внезапно в ней
В ту ночь клятую поседело.

Дня за два, за три заезжал
Друг старый... Словом донимал
Меня он спьяну очень строгим;
О долге жизни говорил,
Да связь беспутную бранил,
Коря меня житьем убогим,
Позором общим — словом, многим...

Он помощи не предлагал...
А я — ни слова не сказал.

Меня те речи уязвили.
Через неделю до чертей
С ним, с старым другом лучших дней,
Мы на Крестовском два дня пили —
Нас в часть за буйство посадили.

Помочь — дешевле, может быть,
Ему бы стало... Но спросить
Он позабыл или, имея
В виду высокую мораль,
И не хотел... «Хоть, мол, и жаль,
А уж дойму его, злодея!»

Ну вот, премудрые друзья,
Что ж? вы довольны? счастлив я?
Не дай вам бог таких терзаний!
Вот я благоразумен стал,
Союз несчастный разорвал
И ваших жду рукоплесканий.

Эх! мне не жаль моей семьи...
Меня все ближние мои
Так равнодушно продавали...
Но вас, мне вас глубоко жаль!
В душе безвыходна печаль
По нашей дружбе... Крепче стали
Она казалась — вы сломали.

А всё б хотелось, чтоб из вас
Хоть кто-нибудь в предсмертный час
Мою хладеющую руку
Пришел по-старому пожать
И слово мира мне сказать
На эту долгую разлуку,
Чтоб тихо старый друг угас...
Придет ли кто-нибудь из вас?

Но нет! вы лучше остудите
Порывы сердца; помяните
Меня одним... Коль вам ее
Придется встретить падшей, бедной,
Худой, больной, разбитой, бледной,

Во имя грешное мое
Подайте ей хоть грош вы медный.
Монета мелкая, но всё ж
Ведь это ценность, это — грош.

Однако знобко... Сердца боли
Как будто стихли... Водки, что ли?
. . . .
. . . .

<1862>

ПЕРЕВОДЫ

С НЕМЕЦКОГО

ГИМНЫ

1

К мудрости

(Из Эмлера)

Голос

Мудрость, Вечного рожденье,
Руку матери простри
И дорогу возвращенья
Нам, подруга, озари —
В звездный край, к святой отчизне,
Где единый твой исток,
Где из вечной льется жизни
Человечества поток.

Хор

Мудрость вечная, о братья,
Нас сплела рука с рукой:
Наши песни и объятья
Будут ей святой хвалой.

Голос

Кто к святому полон жаром
И неправым раздражен,
Тот зовет себя недаром
Человеком: брат нам он.
Цепи вечного творенья,
Он и мы — одно звено,

И за гробом возрожденье
С нами ждет его равно.

Хор

Для миров — все блага силы,
Как природой нам дано,
Мы несем — и до могилы
Мы преследуем одно.

Голос

И туда, где враг лукавый
На святое клеветал,
Где язык его неправый
Яд змеиный источал;
Где посеял он проклятья
В смуту братиям меньшим,
Мы туда — клянитесь, братья! —
На спасенье поспешим.

Хор

Солнце кроткими лучами
Пробуждает жизнь и цвет —
Так и нашими делами
Просветится вечный свет.

Голос

Всюду, где страдает правый,
Где невинный угнетен,
Где неправом помрачен
Первообраз вечной славы,
Где попран святой закон
Утеснителей ногами,
Где окованных цепями
До небес восходит стон...

Хор

Да, в очах слезу страданья
Мы клянемся осушать;
Меньшим братьям на восстанье
Кротко руку подавать.

Голос

О, клянитесь! Клятве внемлет
Бог миров, кто всё объемлет,
Чей божественный глагол
Человека произвел.
Клятву, братья! наши узы
Неразрывно сохранить!
В духе мира и союза
Благу вечному служить.

Хор

Посетит ли час смятенья,
Дальней скорби тяжкий час,
Одного из братий — в нас
Да найдет он исцеленье!

Голос

О, клянитесь воссиять
Миру делом и не знать
Ни на час успокоенья
До часá соединенья
Всех и каждого в одно.
Ниспослать на всё созданье
Света вечного сиянье
Нам, о братья, суждено.

Хор

Да! в сияньи представать
Перед миром и делами,
Благотворными лучами
Мы для всех должны сиять.

2

Песня художников

Голос

Снова ночь застала нас
  У ворот святыни;
День прошел и не погас
  Нам без благостыни.

Хор

День протекший оживил,
Братья, наши чувства;
Тайны новые открыл
Вечного искусства.

Голос

И святилищу мы вновь,
Братья, предстояли;
Снова братство и любовь
Нас к союзу звали.

Хор

Нас гармония вела
По искусства безднам;
И свобода нас влекла
К высшим сферам звездным.

Голос

Путеводною зарей
Мудрость нам сияла;
Добродетели прямой
Путь нам указала.

Хор

По терновому пути
Шли мы не робея;
Мудрость шла напереди,
Радость шла за нею.

Голос

Благо мира цель была,
Человеков счастье;
И награда за дела —
Братское участье.

Хор

Братья, день наш пролетал
В тихом наслажденьи;
Для веков он не пропал,
Нам в успокоенье.

Голос

Чудный день! как быстро он
    На крылах зефира
В недра ночи унесен,
    Пролетел для мира!

Хор

Братья, время! ночь сошла
    На святое зданье;
Трижды дню тому хвала,
    Трижды ликованье!

3

Не унывайте, не падет
В бореньи внутренняя сила:
Она расширит свой полет, —
Так воля рока ей сулила.
И пусть толпа безумцев злых
Над нею дерзостно глумится...
Они падут... Лукавство их
Пред солнцем правды обнажится.

И их твердыни не спасут,
Зане сам бог на брань восстанет,
И утеснители падут,
И человечество воспрянет...
Угнетено, утомлено
Борьбою с сильными врагами,
Доселе плачет всё оно
Еще кровавыми слезами.

Но вы надейтесь... В чудных снах
Оно грядущее провидит...
Цветы провидит в семенах
И гордо злобу ненавидит...
Отриньте горе... Так светло
Им сознана святая сила...
И в сновидении чело
Его сознанье озарило...

Не говорит ли с вами бог
В стремленьи к правде и блаженству?
И жарких слез по совершенству
Не дан ли вам святой залог?
И не она ль, святая сила,
В пути избранников вела,
И власть их голосу дала,
И их в пути руководила?

Да! то она, — то веет вам
С высот предчувствие блаженства,
И горней горних совершенства
То близкий воздух... Пусть не нам
Увидеть, как святое пламя
Преграды тесные пробьет...
Но нам знаком орла полет,
Но видим мы победы знамя.

И скоро сила та зажжет
На алтаре святого зданья
Добра и правды вечный свет,
И света яркое сиянье
Ничьих очей не ослепит...
И не загасит ослепленье
Его огня... Но поклоненье
Пред ним с любовью совершит!

И воцарится вечный разум,
И тени ночи убегут
Его сияния — и разом
Оковы все во прах падут.
Тогда на целое созданье
Сойдет божественный покой,
Невозмутим уже борьбой
И огражден щитом сознанья.

Нам цель близка, — вперед, вперед!
Ее лучи на нас сияют,
И всё исчезнет и падет,
Чем человечество страдает...
И высоко, превыше гор,

Взлетит оно, взмахнув крылами...
Его не видит ли ваш взор
Уже теперь между звездами?

О, радость! — мы его сыны,
И не напрасные усилья
Творцом от века нам даны...
Оно уж расправляет крылья,
Оно летит превыше гор...
О братья, зодчие!.. Над нами
Его не видит ли ваш взор
Уже теперь между звездами?

4

(Из Гердера)

Не зови судьбы веленья
Приговором роковым...
Правды свет — ее законом,
И любовь в законе оном,
И закон необходим...

Оглянись как подобает,
Как мудрец всегда глядит:
Что пройти должно — проходит,
Что прийти должно — приходит,
Что стоять должно — стоит.

Кротким, светлым сестрам рока,
А не бледным фуриям
Жизни власть дана над нами...
Бесконечный их руками
Вьется пояс грациям...

С той поры, когда Паллада
Вышла из чела отца,
Всё творит она перстами
Покрывало, что звездами
Нам сияет без конца...

И глядят, дивяся, парки
В умилении немом,
Как от века и до века,
От червя до человека,
Луч любви блестит во всем...

Не зови ж судьбы веленья
Приговором роковым...
Правды свет — ее законом,
И любовь в законе оном,
И закон необходим...

5

Неразрывна цепь творенья;
Всё, что было, — будет снова;
Всё одно лишь измененье;
Смерть — бессмысленное слово.

Каждый вечер дня светило
Перед нами исчезает,
А наутро снова светом
Миру юному сияет.

Но времен круговращенье
Бесконечней звезд небесных,
Нынче — кукла в заключеньи,
Завтра — бабочкой порхает.

И повсюду — возрожденье,
И ничто не умирает,
А иные только виды
С блеском новым принимает...

Жизнью нашей, краткой сроком,
Станем жить полней и вдвое,
Ибо нам одним потоком
Льется доброе и злое...

Жить — но жить не беззаботно;
Пусть нас вечер без волненья
Приготовит ждать охотно
Час великий возрожденья...

6

Кто родник святых стремлений
В жаркой груди отыскал,
Кто лишь правды откровений
С жаждой пламенной желал,
Тот да смело чрез ступени
Во святилище идет,
Где падут сомнений тени,
Солнце знания взойдет.

Небо света разверзает
Искра истины в груди,
И преград она не знает
На торжественном пути.
Чтоб создать в нас храм святого,
Из источника она
Нам единого, родного,
Сходит, в свет облечена.

Благодатью озаренья
Обнажен нам целый мир,
Как мятежное волненье,
Как безумно-шумный пир,
Где обманчивым и близким
Чувством мерить всё дано,
Где зовут святое низким,
Где высокое смешно.

Незнакома духа пища
Миру тленному, и он
Лишь обман один и сон,
А не истины жилище.
Засветись же ярко в нас
Пламень истины, о братья!
О, стремитесь, — примет вас
Правда в вечные объятья!

7

Тихо спи, измученный борьбою,
И проснися в лучшем и ином!
Буди мир и радость над тобою
И покой над гробовым холмом!

Отстрадал ты, вынес испытанье,
И борьбой до цели ты достиг,
И тебе готова за страданье
Степень света ангелов святых.

Он уж там, в той дали светозарной,
Там, где странника бессмертье ждет,
В той стране надзвездной, лучезарной,
В звуках сфер чистейших он живет.

До свиданья, брат, о, до свиданья!
Да, за гробом, за минутой тьмы,
Нам с тобой наступит час свиданья,
И тебя в сияньи узрим мы!

8

Песнь о розе

Хор

Из недр природы розу нам
Извел отец творенья,
И богачам и беднякам
Равны в ней наслажденья.

Один голос

Ребенку почкою она,
Расцветом юноше сияет,
Раскрыта мужу вся сполна,
И старца в небо провожает.

Другой голос

И сильным радости дает,
И отирает слабых слезы,
И над могилою цветет
Всё тот же цвет прекрасной розы.

Оба

Кто прелесть розы той поймет,
Пусть дружбою ее зовет.

Хор

Из недр природы розу нам
    Извел отец творенья,
И богачам и беднякам
    Равны в ней наслажденья.

Один голос

В ланитах юноши горит
Она зарею упоенья
И в девственной груди родит
Святую жажду наслажденья.

Другой голос

Благоухание цветов
Всем притесненным посылает,
Цветет для них среди оков,
И, где цветет, не изменяет.

Оба

Кто прелесть розы той поймет,
Невинностью пусть назовет.

Хор

Из недр природы розу нам
    Извел отец творенья,
И богачам и беднякам
    Равны в ней наслажденья.

Один голос

Цветет и в пору соловьев,
И в ту, когда колосья зреют,
Иль листья падают с дерев,
Или поля снега завеют.

Другой голос

Везде вы встретитеся с ней,
Ее последний нищий знает;
Спешите же навстречу ей:
Она вас, други, ожидает.

Оба

Кто прелесть розы той поймет,
Пусть радостью ее зовет.

Хор

Из недр природы вечный нам
Произрастил три розы,
Они сияют богачам
И сушат бедных слезы...

Братья

Из дружбы роз, о братья, вы
Венцы себе сплетайте,
И на веселые главы
С весельем надевайте...

Сестры

Венцы из роз, о сестры, вы
Невинности сплетайте
И на веселые главы
С весельем надевайте.

Все

И вместе братьям и сестрам
Роз радости венцами
Чело украсить должно нам
С веселыми душами.

9

Что дух бессмертных горé веселит
При взгляде на мир наш земной?
Лишь сердце, которого зло не страшит,
И дух, готовый на бой,
Да веры исполненный, смелый взгляд,
Подъятый всегда к небесам:
Зане там вечные звезды блестят
И сила вечная там.

Слеза, что из ока на землю бежит, —
Земле она дань, та слеза.
К святому эфиру отчизны парит
Божественный дух в небеса.

Покою в кругу богов обитать
Суждено от века веков,
И кто не умеет, как муж, умирать,
Не сын тот бессмертных богов.

Спускаются тучи на дольний луг,
Но солнце не снидет с высот...
Горе́, горе́ окованный дух!
Туда, где туман не живет.
В сиянии лавр там нетленный цветет,
Где стремлению цель и конец;
Размахнись же крылом и смелее вперед, —
Там ждет тебя вечный венец.

Боролись великие старых времен,
Благородные братья твои,
И шли, герои, не зная препон,
В страну воздаяний они...
Из их травою поросших могил
Некий голос звучит нам одно:
«Они чашу пили, не утратили сил,
Им бессмертие славы дано».

И вот что бессмертных горе́ веселит
При взгляде на мир наш земной:
Лишь сердце, которого зло не страшит,
И дух, готовый на бой,
Да веры исполненный, смелый взгляд,
Подъятый всегда к небесам:
Зане там вечные звезды блестят
И сила вечная там.

10

Еще бог древний жив,
Который над звездами
Господствует мирами
И внемлет наш призыв,
Пославши ль нам покой,
Любовно ли смирив
Отеческой рукой.
Еще бог древний жив!

Еще бог древний жив!
Прочь трепет малодушный:
Вперед, ему послушны,
Идите, — он не лжив.
И пусть борьбы путем
Ведет к нему порыв, —
В борьбе мы не падем:
Еще бог древний жив!

Еще бог древний жив,
Жить будет бесконечно
И будет столь же вечно
В дарах своих правдив,
Послав ли радость нам,
Десницею ль смирив.
Доверье к небесам,
Зане бог древний жив!

11

Дружеская песня

Руку, братья, в час великий!
В общий клик сольемте клики
И, свободны бренных уз,
Отложив земли печали,
Возлетимте к светлой дали,
Буди вечен наш союз!

Слава, честь и поклоненье
В горних Зодчему творенья,
Нас сотворшему для дел;
Разливать на миллионы
Правды свет и свет закона —
Наш божественный удел.

Вы, о мужи божьей рати,
На востоке, на закате,
Вы на всех земли концах!
Вечной истины исканье,
Благо целого созданья —
Да живут у нас в сердцах.

12

Похоронная песня

(Из Гете)

На пустынный жизни край,
Где на мели мель теснится,
Где во мрак гроза ложится,
Цель стремленью поставляй.
Под печатями немыми
Много предков там лежит,
И холмами молодыми
Вместе прах друзей сокрыт.

Вразумись! да прояснится
И в эфир, и в ночь твой взор,
Да светил небесных хор
Для тебя соединится
С цепью радостных часов,
Что проводишь с беспечальным
Кругом близких, к вечным дальным
Отлететь всегда готов!

13

Судия, духо́в правитель,
Мириад миров строитель,
Преклони на нас твой взор!
Мы во страхе ожидаем:
Что во тьме мы созидаем,
Да не будет нам в укор.

В горних стройными кругами,
Бесконечными мирами
Ты достойнее хвалим.
Но и в храмах сокровенных,
Бледным светом озаренных,
Имя мы твое святим.

О, воззри же на служенье
И пошли благословенье
На союзный труд наш ты!

Для земли досель сокрытый,
Да восстанет он открытый,
В блеске вечной красоты.

Жить твоею лишь хвалою
Мудрым целию одною
Неизменной предстоит.
На хваленье дух и силы
Посвятим мы до могилы:
Там нас смерть возвеселит!

14

Хор

Жизнь хороша!

Голос

Наружу нежными ростками
Из недр земли она бежит,
Ей солнце силу шлет лучами,
Роса питает, дождь растит.
Цветет — и любви наслажденье
В ней дышит и ярко цветет;
Оно-то законом творенья
В плодах себе чад создает.
Цветущую жизнь вы, где можно, щадите,
Созданной творцом красоты не губите:
И растений жизнь хороша!

Хор

Цветущую жизнь щадим мы, где можно;
Созданное богом для нас непреложно:
И растений жизнь хороша!

Хор

Жизнь хороша!

Голос

Но вот на лестнице творенья
Одушевленных тварей круг,
И им даны для наслажденья
И зоркий глаз, и чуткий слух.

Дано им искать себе радость и пищу,
Им плавать дано, и лежать, и ходить,
И двигаться вольно, и в мире жилище
Свободным избраньем себе находить.
Животную жизнь от мучений щадите,
От смерти ее, где возможно, храните.
И животных жизнь хороша!

Хор

Животную жизнь щадим мы, где можно;
Пусть будет ей смерть лишь закон непреложный:
И животных жизнь хороша!

Хор

Жизнь хороша!

Голос

Светлей сияет пламень вечный;
Он в духе ярко отражен:
Зане́ любовью бесконечной
Там с чувством ум соединен.
В нем чувство к прекрасному есть и благому,
И разум свободный для истины в нем,
И в безднах души одному лишь знакомо
Предчувствие связи его с божеством.
Высоко, высоко над целым созданьем
Достоинства он поставлен сознаньем:
Человека жизнь хороша!

Хор

Высоко, высоко над целым созданьем
Стоим мы достоинства ясным сознаньем:
Человека жизнь хороша!

Хор

Жизнь хороша!

Голос

Прекрасна сил многообразных
Чудесно-стройная игра!
Прекрасна цепь деяний разных
С сознаньем правды и добра.

Спокойное гордо стремленье,
И дело для пользы людской,
И право на благословенье,
И сладкий, блаженный покой.
И духом, и сердцем, и чувством живите,
И жизнь вы земную не праздно пройдите:
Человека жизнь хороша!

Хор

И духом, и сердцем, и чувством живем мы,
И жизни дорогу не праздно пройдем мы:
Человека жизнь хороша!

Хор

Жизнь хороша!

Голос

Но часто жизни наслажденья
Средь горя недоступны нам;
Вотще течет слеза стремленья,
И сердце рвется пополам.
Обмануты лучшие сердца надежды,
И злобы свободно клевещет язык,
И полны слезами страдающих вежды,
И слышится дикий отчаянья крик.
О, помощь повсюду, где есть лишь мученья!
Пролейте повсюду бальзам утешенья!
Побежденная скорбь хороша!

Хор

По силам спешим мы на голос мученья,
Да даст нам победу над ним утешенье:
Побежденная скорбь хороша!

Хор

Жизнь хороша!

Голос

Но, ах! прекрасный свет затмится,
Поблекнет молодости цвет,
И сила жизни утомится,
И смолкнет радостей привет.

Как быстро людское стремленье
К развернутым вечно гробам:
Мы плачем о мертвых... Мгновенье —
И мы, как они, уже там.
Надейтесь: не духу исчезнуть во прахе,
В бессмертие веру храните во страхе:
С упованием смерть хороша!

Хор

Надежда!.. Не духу исчезнуть во прахе;
В бессмертие веру храним мы во страхе:
С упованием смерть хороша!

Хор

Жизнь хороша!

15

Надежда

(Из Шиллера)

Говорят и мечтают люди давно
О времени лучшем, грядущем;
Им целью златою сияет оно —
За счастьем издавна бегущим;
И стареет мир, и юнеет опять, —
Человек продолжает всё лучшего ждать.

Надежда проходит с ним жизни путь,
Крылами ребенка лелеет,
Мечтами волнует юноши грудь,
Для старца и в гробе не тлеет,
Зане и ко гробу склонясь, утомлен,
Насаждает у гроба надежду он.

И то не обманчивый призрак пустой,
Порождение мозга больного, —
Нам сердце так ясно шепчет порой:
Рождены мы для чего-то иного.
И что внутренний голос нам шепчет в тиши,
Не обманет живых упований души.

1845

БОЖЕСТВЕННОЕ

Прав будь, человек,
Милостив и добр:
Тем лишь одним
Отличаем он
От всех существ,
Нам известных.

Слава неизвестным,
Высшим, с нами
Сходным существам!
Его пример нас
Верить им учит.

Безразлична
Природа-мать.
Равно светит солнце
На зло и благо,
И для злодея
Блещут, как для лучшего,
Месяц и звезды.

Ветр и потоки,
Громы и град,
Путь совершая,
С собой мимоходом
Равно уносят
То и другое.

И счастье так,
Скитаясь по миру,
Осенит то мальчика
Невинность кудрявую,
То плешивый
Преступленья череп.

По вечным, медяным,
Великим законам,

Все бытия мы
Должны невольно
Круги свершать.

Человек один
Может невозможное:
Он различает,
Судит и рядит,
Он лишь минуте
Сообщает вечность.

Смеет лишь он
Добро наградить
И зло покарать,
Целить и спасать,
Всё заблудшее, падшее
К пользе сводить.

И мы бессмертным
Творим поклоненье,
Как будто людям,
Как в бо́льшем творившим,
Что́ в малом лучший
Творит или может.

Будь же прав, человек,
Милостив и добр,
Создавай без отдыха
Нужное, правое...
Будь нам их образом
Провидимых нами существ.

Апрель 1845

ПОКАЯНИЕ

Боже правый, пред тобой
Ныне грешница с мольбой.
Мне тоска стесняет грудь,
Мне от горя не заснуть.
Нет грешней меня, — но ты,
Боже, взор не отврати!..

Ах, кипела сильно в нем
Молодая кровь огнем!
Ах, любил так чисто он,
Тайной мукой истомлен.
Боже правый, пред тобой
Ныне грешница с мольбой.

Я ту муку поняла,
И безжалостно могла
Равнодушно так молчать
И на взгляд не отвечать.
Нет грешней меня, — но ты,
Боже, взор не отврати!..

Ах, его терзала я,
И погиб он от меня.
Потерялся, бедный, он,
Умер он, похоронен.
Боже правый, пред тобой
Ныне грешница с мольбой.

Апрель 1845

ПЕРЕМЕНА

На камнях ручья мне лежать и легко, и отрадно...
Объятья бегущей волне простираю я жадно,
И страстно мне жаркую грудь лобызает она.
Умчит ее прихоть — тотчас набегает другая,
Всё так же прохладна, всё так же мне сердце лаская. .
И вечною меной душа так блаженства полна.

К чему же безумно, к чему же печально и тщетно
Часы наслажденья, летящие так незаметно,
Ты мыслью о милой неверной начнешь отравлять?
О, пусть возвратится, коль можно, пора золотая:
Целует так сладко, целует так страстно вторая,
Как даже и первая вряд ли могла целовать.

Апрель 1845

МОЛИТВА ПАРИИ

Вечный Бра́ма, боже славы,
Семя ты всему единый,
И лишь ты единый правый...
Неужель одни брамины
Да богатые с раджами
Созданы тобою, боже,
Или звери вместе с нами
Рук твоих созданье тоже?

Правда, мы неблагодарны;
Нам худое подобает;
Всё, что смертно для свободных,
То одно нас размножает.
Так судить прилично людям, —
Но не в мнение людское,
А в тебя мы верить будем:
Правых нет перед тобою.

И к тебе мое моленье:
Приими меня как сына
И восставь соединенье
В том, что было б нам едино.
Для любви твоей нет меры,
И тебя не тщетно чту я:
В искупленьи баядеры,
Вечный Бра́ма, чуда жду я!

1845

НА ОЗЕРЕ

И пищу свежую, и кровь
  Из вольной жизни пью.
Природа-мать! ты вся любовь,
  Сосу я грудь твою.
И мерно челн качает мой
  То вниз, то вверх волна,
И горы, в облаках главой,
  Встречают бег судна.

Что ты, что поникло, око?
Ты ли снова, сон далекий?
Славный сон, ты лишний здесь...
Здесь любовь, и жизнь здесь есть...

На волнах сверкают
Тысячи звездочек вдруг,
Облака впивают
Даль немую вокруг.
Утренний ветр обвевает
Дремлющий тихо залив.
Озера зыбь отражает
Много зреющих слив.

<1850>

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Кто мчится так поздно под вихрем ночным?
Это — отец с малюткой своим.
Мальчика он рукой охватил,
Крепко прижал, тепло приютил!
«Что всё личиком жмешься, малютка, ко мне?»
— «Видишь, тятя, лесного царя в стороне?
Лесного царя в венке с бородой?»
— «Дитятко, это туман седой».

«Ко мне, мой малютка, со мною пойдем,
Мы славные игры с тобой заведем...
Много пестрых цветов в моем царстве растет,
Много платьев златых моя мать бережет».
— «Тятя, тятя... слышишь — манит,
Слышишь, что тихо мне он сулит?»
— «Полно же, полно — что ты, сынок?
В темных листах шелестит ветерок».

«Ну же, малютка, не плачь, не сердись.
Мои дочки тебя, чай, давно заждались.
Мои дочки теперь хороводы ведут;
Закачают, запляшут тебя, запоют...»

— «Тятя, тятя, за гущей ветвей
Видишь лесного царя дочерей?»
— «Дитятко, дитятко... вижу я сам,
Старые ивы за лесом вон там».

«Ты мне люб... не расстанусь с твоей красотой;
Хочешь не хочешь, а будешь ты мой...»
— «Родимый, родимый... меня он схватил...
Царь лесной меня больно за шею сдавил...»
Страшно отцу. Он мчится быстрей.
Стонет ребенок, и всё тяжелей...
Доскакал кое-как до дворца своего...
Дитя ж был мертв на руках у него.

<1850>

* * *

Единого, Лилли, кого ты любить могла,
Хочешь вполне ты себе и по праву...
Твой он вполне и единственно.
Ибо вдали от тебя мне
Жизни быстро стремительной
Всё движение шумное,
Словно легкий флер, сквозь который я
Вижу твой лик из-за облака,
И, приветливо-верный, он светит мне,
Как за радужным блеском сиянья полночного,
Вечные звезды сверкают.

1851

ПЕВЕЦ

«Что там за песня на мосту
Подъемном прозвучала?
Хочу я слышать песню ту
Здесь, посредине зала!» —
Король сказал — и паж бежит...
Вернулся; снова говорит
Король: «Введи к нам старца!»

— «Поклон вам, рыцари, и вам,
Красавицы младые!
Чертог подобен небесам:
В нем звезды золотые
Слилися в яркий полукруг.
Смежитесь, очи: недосуг
Теперь вам восхищаться!»

Певец закрыл свои глаза —
И песнь взнеслась к престолу.
В очах у рыцарей гроза,
Красавиц очи — долу,
Песнь полюбилась королю:
«Тебе в награду я велю
Поднесть цепь золотую».

— «Цепь золотая не по мне!
Отдай ее героям,
Которых взоры на войне —
Погибель вражьим строям;
Ее ты канцлеру отдай —
И к прочим ношам он пускай
Прибавит золотую!

Я вольной птицею пою,
И звуки мне отрада!
Они за песню за мою
Мне лучшая награда.
Когда ж награда мне нужна,
Вели мне лучшего вина
Подать в бокале светлом».

Поднес к устам и выпил он:
«О сладостный напиток!
О, трижды будь благословен
Дом, где во всем избыток!
При счастье вспомните меня,
Благословив творца, как я
Всех вас благословляю».

<1852>

* * *

Кто со слезами свой хлеб не едал,
Кто никогда, от пелен до могилы,
Ночью на ложе своем не рыдал,
Тот вас не знает, силы.

Вы руководите в жизни людей,
Вы предаете их власти страстей,
Вы ж обрекаете их на страданье:
Здесь на земле есть всему воздаянье!

<1852>

* * *

О, кто одиночества жаждет,
Тот скоро один остается!
Нам всем одинаково в мире живется,
Где каждый — и любит, и страждет.
И мне не расстаться с глубоким,
Изведанным горем моим...
Пусть буду при нем я совсем одиноким,
Но всё же не буду одним.
Одна ли подруга? Подходит
Украдкой подслушать влюбленный...
Вот так-то и горе стопой потаенной
Ко мне, одинокому, входит.
И утром, и ночью глубокой
Я вижу и слышу его:
Оно меня разве лишь в гроб одинокой
Положит совсем одного.

<1852>

ЗАВЕТ

Внутри души своей живущей
Ты центр увидишь вечно сущий,
В котором нет сомнений нам:
Тогда тебе не нужно правил,

Сознанья свет тебя наставил
И солнцем стал твоим делам.
Вполне твоими чувства станут,
Не будешь ими ты обманут,
Когда не дремлет разум твой,
И ты с спокойствием свободы
Богатой нивами природы
Любуйся вечной красотой.
Но наслаждайся не беспечно,
Присущ да будет разум вечно,
Где жизни в радость жизнь дана.
Тогда былое удержимо,
Грядущее заране зримо,
Минута с вечностью равна.

<1859>

ШИЛЛЕР

ТЕКЛА

Голос духа

Где теперь я, что теперь со мною,
Как тебе мелькает тень моя?
Я ль не всё закончила с землею,
Не любила, не жила ли я?

Спросишь ты о соловьях залетных,
Для тебя мелодии свои
Расточавших в песнях беззаботных?
Отлюбив, исчезли соловьи.

Я нашла ль потерянного снова?
Верь, я с ним соединилась там,
Где не рознят ничего родного,
Там, где места нет уже слезам.

Там и ты увидишь наши тени,
Если любишь, как любила я, —

Там отец мой чист от преступлений,
Защищен от бедствий бытия.

Там его не обманула вера
В роковые таинства светил;
Там всему по силе веры мера —
Тот, кто верил, к правде близок был.

Есть в пространствах оных бесконечных
Упованьям каждого ответ;
Ройся ты в своих сомненьях вечных —
Смысл глубокий — в грезах детских лет.

Октябрь 1847

ТАЙНА ВОСПОМИНАНИЯ

(Л. Ф. Г — ой)

Вечно льнуть к устам с безумной страстью...
Кто ненасыщаемому счастью,
Этой жажде пить твое дыханье,
Слить с твоим свое существованье,
    Даст истолкованье?

Не стремятся ль, как рабы, охотно,
Отдаваясь власти безотчетно,
Силы духа быстрой чередою
Через жизни мост, чтобы с тобою
    Жизнью жить одною?

О, скажи: владыку оставляя,
Не в твоем ли взгляде память рая
Обрели разрозненные братья
И, свободны вновь от уз проклятья,
    В нем слились в объятья?

Или мы когда-то единились,
Иль затем сердца в нас страстно бились?

Не в луче ль погасших звезд с тобою
Были мы единою душою,
Жизнию одною?

Да, мы были, внутренно была ты
В тех эонах — им же нет возврата —
Связана со мною... Так в скрижали
Мне прочесть — в той довременной дали —
Вдохновенья дали.

Не́ктара источники пред нами
Разливались светлыми волнами —
Смело мы печати разрешали,
В светозарной правды вечной дали
Гордо возлетали.

Оттого-то вся преда́нность счастью —
Вечно льнуть к устам с безумной страстью,
Это жажда пить твое дыханье,
Слить с твоим свое существованье
В вечное лобзанье.

Оттого-то, как рабы, охотно,
Предаваясь власти безотчетно,
Силы духа быстрой чередою
Через жизни мост бегут с тобою
Жизнью жить одною.

Оттого, владыку оставляя,
У тебя во взгляде память рая
Обрели — и, тяжкий гнет проклятья
Позабыв, сливаются в объятья
Вновь они, как братья.

Ты сама... пускай глаза сокрыты,
Но горят зарей твои ланиты;
Мы родные — из страны изгнанья
В край родной летим мы в миг слиянья
В пламени лобзанья.

Ноябрь 1847

ГЕЙНЕ

* * *

Они меня истерзали
И сделали смерти бледней, —
Одни — своею любовью,
Другие — враждою своей.

Они мне мой хлеб отравили,
Давали мне яда с водой, —
Одни — своею любовью,
Другие — своею враждой.

Но та, от которой всех больше
Душа и доселе больна,
Мне зла никогда не желала,
И меня не любила она!

1842

* * *

Ядовиты мои песни,
Но виной тому не я:
Это ты влила мне яду
В светлый кубок бытия.

Ядовиты мои песни,
Но виной тому не я:
Много змей ношу я в сердце —
И тебя, любовь моя.

1842

* * *

Страдаешь ты, и молкнет ропот мой;
Любовь моя, нам поровну страдать! ..
Пока вся жизнь замрет в груди больной,
Дитя мое, нам поровну страдать!

Пусть прям и смел блестит огнем твой взор,
Насмешки вьется по устам змея,
И рвется грудь так гордо на простор,
Страдаешь ты, и столько же, как я.

В очах слеза прокрадется порой,
Дано тоске улыбку обличать,
И грудь твоя не сдавит язвы злой...
Любовь моя, нам поровну страдать.

Январь 1844

* * *

Жил-был старый король,
С седой бородою да с суровой душою,
И — бедный старый король —
Он жил с женой молодою.

И жил-был паж молодой,
С головой белокурой да с веселой душою...
Носил он шлейф золотой
За царской женой молодою.

Есть старая песня одна —
Мне с самого детства ее натвердили:
Им гибель обоим была суждена —
Друг друга они слишком сильно любили.

1844

* * *

Пригрезился снова мне сон былой...
Майская ночь — в небе звезды зажглися...
Сидели мы снова под липой густой
И в верности вечной клялися.

То были клятвы и клятвы вновь,
То слезы, то смех, то лобзание было...
Чтобы лучше я клятву запомнил, ты в кровь
Мне руку взяла — укусила.

О милочка с ясной лазурью очей,
О друг мой и злой, и прелестный!
Целоваться, конечно, в порядке вещей,
Но кусаться совсем неуместно.

<1853>

* * *

Не пора ль из души старый вымести сор
Давно прожитого наследия?
Я с тобою, мой друг, как искусный актер,
Разыгрывал долго комедию.

Романтический стиль отражался во всем
(Был романтик в любви и в искусстве я),
Паладинский мой плащ весь блистал серебром,
Изливал я сладчайшие чувствия.

Но ведь странно, что вот и теперь, как гожусь
Уж не в рыцари больше — в медведи я,
Всё какой-то безумной тоскою томлюсь,
Словно прежняя длится комедия.

О мой боже, должно быть, и сам я не знал,
Что был не актер, а страдающий
И что, с смертною язвой в груди, представлял
Я сцену: «Боец умирающий».

<1853>

БЕРАНЖЕ

СИЛЬФИДА

Пускай слепой и равнодушный
Рассудок мой не признает,
Что в высях области воздушной
Кружится сильфов хоровод...
Его тяжелую эгиду
Отринул я, увидя раз
Очами смертными сильфиду...
И верю, сильфы, верю в вас!

Да! вы родитесь в почке розы,
О дети влаги заревой,
И ваши я метаморфозы
В тиши подсматривал порой...
Я по земной сильфиде милой
Узнал, что действовать на нас
Дано вам благодатной силой...
И верю, сильфы, верю в вас!

Ее признал я в вихре бала,
Когда, воздушнее мечты,
Она, беспечная, порхала,
Роняя ленты и цветы...
И вился ль локон самовластный,
В корсете ль ленточка рвалась —
Всё был светлей мой сильф прекрасный...
О сильфы, сильфы, верю в вас!

Ее тревожить рано стали
Соблазны сладостного сна...
Ребенок-баловень, она,
Ее вы слишком баловали.
Огонь виднелся мне не раз
Под детской шалостью и ленью...
Храните ж вы ее под сенью...
Малютки-сильфы, верю в вас!

Сверкает ум живой струею
В полуребячьей болтовне.
Как сны, он ясен, что весною
Вы часто навевали мне...
Летать с ней — тщетные усилья:
Она всегда обгонит нас...
У ней сильфиды легкой крылья...
Малютки-сильфы, верю в вас!

И что ж? Ужели перед взором,
Светла, воздушна и легка,
Как чудный гость издалека,
Она мелькнула метеором,
В отчизну сильфов унеслась
Царить над легкою толпою
И к нам не спустится порою?
О сильфы, сильфы, верю в вас!

Между 1845 и 1859

НАЧНЕМ СЫЗНОВА

Я счастлив, весел и пою;
Но на пиру, в чаду похмелья,
Я новых праздников веселья
Душою планы создаю...
Головку русую лаская,
Вином бокалы мы нальем,
Единодушно восклицая:
«О други, сызнова начнем!»

Люблю вино, люблю Лизету, —
И возле ложа создан мной
Благословенному Моэту

Алтарь достойный, хоть простой...
Лизета любит сок шипящий,
И мы чуть-чуть лишь отдохнем:
«Что ж, — говорит, лобзая чаще, —
Давай же сызнова начнем!»

Пируйте ж, други! Позабудем,
Что скоро надо перестать,
Что ничего не в силах будем
Мы больше сызнова начать...
Покамест, с жизнию играя,
Мы пьем и весело поем,
И, страстно красоту лобзая,
Мы скажем: «Сызнова начнем!»

Между 1845 и 1849

МОЙ ЧЕЛНОК

Витая по широкой
Равнине вольных волн,
Дыханью бурь и рока
Покорен ты, мой челн!
Зашевелится ль снова
Наш парус, — смело в путь!
Суденышко готово,
Не смейте, вихри, дуть!
Суденышко готово —
Плыви куда-нибудь!

Со мною муза песен,
Плывем мы да поем,
И пусть челнок наш тесен,
Нам весело вдвоем...
Споем мы; да и снова
Пускаемся в наш путь...
Суденышко готово,
Не смейте, вихри, дуть!
Суденышко готово,
Плыви куда-нибудь!

Пусть никнут под грозою
Во прахе и в пыли

Могучей головою
Могучие земли...
Я в бурю — только снова
Успею отдохнуть!
Суденышко готово,
Не смейте, вихри, дуть!..
Суденышко готово,
Плыви куда-нибудь!

Когда любимый Фебом
Созреет виноград,
Под синим южным небом,
В отраду божьих чад...
На берегу я снова
Напьюсь, и смело в путь...
Суденышко готово...
Не смейте, вихри, дуть!
Суденышко готово,
Плыви куда-нибудь!

Вот берега иные:
Они меня зовут...
На них полунагие
Киприду девы чтут...
К устам я свежим снова
Устами рад прильнуть...
Суденышко готово...
Не смейте, вихри, дуть!
Суденышко готово,
Плыви куда-нибудь!

Далеко за морями
Страна, где лавр растет...
Играя с парусами,
Зефир на брег зовет...
Встречает дружба снова...
Пора и отдохнуть...
Пускай судно готово...
Ты, вихорь, можешь дуть...
Пускай судно готово,
Но мне не плыть уж в путь!

Между 1846 и 1859

ПАДУЧИЕ ЗВЕЗДЫ

«Ты, дед, говаривал не раз...
Но вправду, в шутку ли — не знаю,
Что есть у каждого из нас
Звезда на небе роковая...
Коль звездный мир тебе открыт
И глаз твой тайны в нем читает,
Смотри, смотри: звезда летит,
Летит, летит и исчезает...»

— «Хороший умер человек:
Его звезда сейчас упала...
В кругу друзей он кончил век,
У недопитого бокала.
Заснул он с песнею — и спит,
И в сладких грезах умирает».
— Смотри, смотри: звезда летит,
Летит, летит и исчезает...

— «Она — светла, она — чиста...
Дитя! красавицы пред нами
Погасла яркая звезда
С ее заветными мечтами...
Готов алтарь.. жених спешит...
Венок ей кудри обвивает...»
— Смотри, смотри: звезда летит,
Летит, летит и исчезает!

— «Дитя, то быстрая звезда
Новорожденного вельможи...
Была пурпýром обвита
Младенца колыбель — и что же?
Она пуста теперь стоит,
И лесть пред нею умолкает...»
— Смотри, смотри: звезда летит,
Летит, летит и исчезает.

— «Зловещий блеск, душа моя!
Временщика звезда скатилась:
С концом земного бытия
И слава имени затмилась...

Уже врагами бюст разбит,
И раб кумир во прах свергает!..»
— Смотри, смотри: звезда летит,
Летит, летит и исчезает!

— «О, плачь, дитя, о, горько плачь!
Нет бедным тяжелей утраты!
С звездою той угас богач...
В гостеприимные палаты
Был братье нищей вход открыт,
Наследник двери затворяет!..»
— Смотри, смотри: звезда летит,
Летит, летит и исчезает.

— «То — мужа сильного звезда!
Но ты, дитя мое родное,
Сияй, смиренная, всегда
Одной душевной чистотою!
Твоя звезда не заблестит,
О ней никто и не узнает...
Не скажет: вон звезда летит,
Летит, летит и исчезает!»

Между 1845 и 1859

САМОУБИЙСТВО

Их нет, их нет! Еще доселе тлится
На чердаке жаровни чадный дым...
Цвет жизни их едва успел раскрыться
И подкошён самоубийством злым.
Они сказали: «Мир объят волнами. —
Корабль старинный, он не будет цел...
Матросы в страхе, кормчий побледнел, —
Скорей же вплавь искать спасенья сами!»
И, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой.

Больные дети! слышали давно ли
Вы над собой напевы детских лет?
Пусть рано вы вкусили тяжкой доли,
Но подождите: будет и рассвет!

Они сказали: «Пусть пора приходит:
Не нам сбирать здесь жатву, а другим...
Мы ничего здесь не зовем своим,
И не для нас светило дня восходит...»
И, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой.

Больные дети! Вы оклеветали
Земную жизнь, не вызнавши вполне,
Вы в горькой чаше бытия на дне
Любви святого перла не видали!
Они сказали: «Серафимов сон —
Любовь! — ей песни пела наша лира...
Рассеян сон, алтарь наш осквернен,
Мы видели падение кумира...»
И, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой.

Больные дети! Но, взмахнув крылами,
Вы, как орлы, могли с гнезда вспорхнуть...
И в вышине, кружась над облаками,
Пробить к светилу славы вольный путь...
Они сказали: «Лавр истлеет прахом,
И прах развеет по ветру вражда,
И нас везде найдет она, куда
Ни подняли б нас крылья вольным взмахом...»
И, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой.

Больные дети! Гнет печальный жизни
Во имя долга вы б могли сносить...
Вы мать нашли бы нежную в отчизне,
Она могла вас знаменем прикрыть.
Они сказали: «Знамя это кровью
Обагрено, напрасно пролитой,
Но куплено ли счастье кровью той?..
Иной мы любим родину любовью...»
И, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой.

Больные дети! Может быть, хуленья
Нашептывал в час смертный ваш язык...

Но светит луч во тьме ожесточенья,
Отец любви страданий внемлет крик...
Они сказали: «Пусть же остается
Святынею господне имя нам:
Не будем ждать, пока душевный храм
Сомнением в основах потрясется...»
И, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой.

Отец любви! Прости им ослепленье...
Душевных мук был эхом ропот их,
Не ведали они, что в круг творенья
Мы посланы не для себя одних.
О, для чего я не пророк, чтоб людям
Я мог поведать голосом живым:
«Любить и быть полезными другим
Для наслажденья собственного будем...»
Но, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой!

Между 1845 и 1859

НАПОЛЕОНОВСКИЙ КАПРАЛ

Марш, марш — вперед! Идти ровнее!
Держите ружья под приклад...
Ребята, целиться вернее,
Не тратить попусту заряд!
Эх! я состарился на службе,
Но вас я, молодых солдат,
Старик капрал, учил по дружбе...
Ребята, в ряд! не отставать,
Не отставать,
Не унывать,
Вперед — марш, марш! не отставать!

Загнул не в час дурное слово
Мне офицерик молодой...
Его я — хвать, дружка милóва...
Мне значит: смерть! закон прямой!
С досады смертной, с чарки рому
Руки не мог я удержать;

Притом же я служил иному...
Ребята, в ряд! не отставать,
Не отставать,
Не унывать,
Вперед, марш-марш! не отставать!

Ребята, вы пробьетесь годы:
Кресты вам добывать трудней.
Мой крест мне дан за те походы,
Как мы трепали королей...
Охоч я был за винной чашей
Походы те припоминать...
Эх! жаль мне старой славы нашей...
Ребята, в ряд! не отставать,
Не отставать,
Не унывать,
Вперед, марш-марш! не отставать!

Робéр, дитя села родного,
Ты воротись к своим стадам...
Да если их увидишь снова,
Снеси поклон родным лесам...
Бывало, в них, как был моложе,
Красоток мне случалось ждать...
Эх! мать моя жива, мой боже!
Ребята, в ряд! не отставать,
Не отставать,
Не унывать,
Вперед, марш-марш! не отставать!

Кто это хнычет там да плачет?
Тамбур-мажорова вдова?
Россию вспоминает, значит...
Да! не была б она жива,
Когда б не мне пришлось случиться...
Должна с ребенком умирать.
Ну! станет за меня молиться!
Ребята, в ряд! не отставать,
Не отставать,
Не унывать,
Вперед, марш-марш! не отставать!

Погасла трубка... Затянуся,
Черт побери, в последний раз!
Дошли до места... Становлюся...
Но не завязывать мне глаз!
За труд прощения прошу я,
Чур только низко не стрелять...
Веди нас бог в страну родную;
Ребята, в ряд! не отставать,
Не отставать,
Не унывать,
Вперед, марш-марш! не отставать!

Между 1845 и 1859

ВОСПОМИНАНИЯ НАРОДА

Под соломенною крышей
Он в преданиях живет,
И доселе имя выше
Чтит едва ли чье народ.
И, старушку окружая
Вечерком, толпа внучат
«Про былое нам, родная,
Расскажи, — ей говорят. —
Пусть для нашего он края
Был тяжел, — что нужды в том?
Да, что нужды в том?
Вспоминает, золотая,
Всё народ об нем!»

— «Проезжал он здесь с толпою
Чужестранных королей...
Молода я и собою
Недурна была — ей-ей!
Поглядеть хотелось больно:
Стала я невдалеке...
Был он в шляпе трехугольной,
В старом сером сюртуке...
Поравнялся лишь со мною,
«Здравствуй!» — ласково сказал...
Так вот и сказал...»
— «Говорил, значит, с тобою
Он, как проезжал?»

«А потом в Париже вскоре
Я была... пошла в собор...
В Нотрэ-Дам, в большом соборе,
Был и он, и целый двор.
Праздник был тогда великий,
Все в наряде золотом...
Раздавались всюду клики:
«Милость божия на нем!»
Был он весел; поняла я:
Сына бог ему послал,
    Да, сынка послал...»
— «Экий день тебе, родная,
    Бог увидеть дал!»

— «Но когда в страну родную
Чужестранцев бог наслал
И один за дорогую
Он за родину стоял...
Раз, вот этакой порою,
Стук в ворота... К воротам
Выхожу: передо мною —
Он стоит, смотрю: он сам!
„Боже мой! война какая!“ —
Он сказал — и тут вот сел.
    Да, вот тут и сел»...
— «Как! сидел он тут, родная?»
    — «Тут вот и сидел!

„Дай мне есть“, — сказал... Подать я —
Подала что́ бог послал...
У огня сушил он платье,
Кушал — а потом он спал...
Как проснулся, не могла я
Слез невольных удержать...
Он же, точно утешая,
Обещал врагов прогнать.
А горшок тот сберегла я,
Из которого он ел,
    Суп простой наш ел...»
«Цел горшок тот, цел, родная?
    Говори ты: цел?»

— «Отвезли его в безвестный,
Дальний край: свою главу
Он сложил не в битве честной —
На пустынном острову.
Даже — верить ли? — не знали...
Всё ходил в народе слух:
Скоро, скоро из-за дали,
Грозный, он нагрянет вдруг...
Тоже, плача, всё ждала я,
Что его нам бог отдаст,
Родине отдаст...»
— «Бог за слезы те, родная,
Бог тебе воздаст!»

Между 1845 и 1859

МЮССЕ

ЛЮСИ

Друзья мои, когда умру я,
Пусть холм мой ива осенит...
Плакучий лист ее люблю я,
Люблю ее смиренный вид,
И спать под тению прохладной
Мне будет любо и отрадно.

Одни мы были вечером... я подле
Нее сидел... она головкою склонилась
И белою рукой в полузабвеньи
По клавишам скользила... точно шепот
Иль ветерок по тростнику скользил
Чуть-чуть — боясь птичек разбудить.
Дыханье ночи, полной неги томной,
Вокруг из чащ цветочных испарялось;
Каштаны парка, древние дубы
С печальным стоном листьями шумели.
Внимали ночи мы: неслось в окно
Полуоткрытое весны благоуханье,
Был ветер нем, пуста кругом равнина...

Сидели мы задумчивы, одни,
И было нам пятнадцать лет обоим;
Я на Люси взглянул... была она
Бледна и хороша. О, никогда
В очах земных не отражалась чище
Небесная лазурь... Я упивался ею.
Ее одну любил я только в мире,
Но думал я, что в ней люблю сестру...
Так вся она стыдливостью дышала;
Молчали долго мы... Рука моя коснулась
Ее руки — и на челе прозрачном
Следил у ней я думу... и глубоко
Я чувствовал, как сильны над душой
И как целительны для язв души
Два признака нетронутой святыни —
Цвет девственный ланит и сердца юность.
Луна, поднявшись на небе высоко,
Вдруг облила ее серебряным лучом...
В глазах моих увидела она
Прозрачный лик свой отраженным... кротко,
Как ангел, улыбнулась и запела.
Запела песнь, что трепет лихорадки,
Как темное воспоминанье, вырвал
Из сердца, полного стремленья к жизни
И смерти смутного предчувствия... ту песню,
Что перед сном и с дрожью Дездемона,
Склоняяся челом отягощенным,
Поет во тьме ночной, — последнее рыданье!
Сначала звуки чистые, полны
Печали несказанной, отзывались
Томительным каким-то упоеньем;
Как путник в челноке, на волю ветра
Отдавшись, по волнам несется беззаботно,
Не зная, далеко иль близко берег,
Так, мысли отдаваясь, и она
Без страха, без усилий по волнам
Гармонии от берегов летела...
Как будто убаюкиваясь песнью...

<1852>

УСТА И ЧАША

Сцены

1. Из пролога

Любить и пить, за дикими зверями
Охотиться — вот жизнь сынов Тироля,
Как горные орлы, как воздух горный,
Свободных... Чудный мир, где на равнины —
На океан с горами вместо волн —
Смотреть не хочет солнце... Чудный мир,
Сочувствий полный весь и эха полный! .. Ты не хуже
Италии, развратной Мессалины
В лохмотьях нищенских, давно поблекшей
От оргий и продажных поцелуев...
И я тебя люблю за то, что белых
Твоих покровов не срывал никто,
К тебе нейдут толпами, как в Неаполь,
И чичероне всех красот твоих
Наперечет не знают. Засыпает
Свободно снег твои нагие плечи.
Тебя люблю я, о Тироль, — и если
Исчезнет вовсе девственная прелесть
С лица земли, я поклонюсь статуям

2

Хор

Бледна, как любовь, и омыта слезами,
Среброногая ночь на поля снизошла —
Поднялися туманы, слились с небесами...
К наслаждению время! Заря его — мгла.
Благосклонна была на охоте Диана,
И под грузом добычи едва мы идем...
Пируют уж братья при звоне стакана,
Под этим же кровом и мы отдохнем...
Бога, Франк, не гневи — смиряться нам надо:
Человек без терпенья — без масла лампада...
О Франк! честолюбье тебя пожирает —
Стыдишься ты бедности жалкой своей;
Тебя ненасытная гордость терзает,
Подобных себе ты не терпишь людей.

Говори: хоть отца, хоть отчизну святую
Ты способен любить или нет?
Ты встречаешь ли утром зарю золотую
И садишься ль с молитвой за скромный обед?

3

Хор

Как повапленный гроб ты в гордыне своей,
Ты грозишься на небо, грозясь на людей.
Но напрасно с хулою и пеной в устах
Ты восстал на того, кто живет в небесах:
Он тебя не заметит,
Он тебе не ответит.
Да и вправе ль хулить ты?..
Так пал серафим,
Низверженный с неба хулитель,
Всех падших верховный властитель.

4

Франк

Не бесполезное безумство сделал я!
Меня винили в гордости и лени,
И были правы! Хижина моя
Была бы гробом мне: она — мое наследство,
И к четырем ее стенам
Я в двадцать лет успел привыкнуть крепко;
Ну, я зажег ее и ухожу,
Себя и тень свою сжигаю я
И развеваю прах по ветру вместе
С соломенною крышей... Дуйте, дуйте
Вы, северные ветры: по ночам
Недаром вы в мои свистали окна!
К вам, к вам иду я, братья: отдаю
Вам голову я буйную свою.

5

Девушка

Добрый вечер, Франк! Куда ты?.. Никого с тобой!
Где ж верных гончих стая, неразумный горец мой?

Франк

Добрый вечер, Дейдамия! Где же мать твоя?
И куда идешь так поздно ты, разумная моя?

Девушка

Я вот шла путем-дорогой — незабудок нарвала:
Только жаль, они завяли, я букет не сберегла,
Коли хочешь, — ты на счастье их возьми с собой.

(Бросает ему букет.)

Франк

(один, подымая букет)

Как бежит она, резвушка! .. Рядом мать жила со мной,
На моих глазах взросла она... Прощай же! так и быть!
А ведь вот — она могла бы, может быть, меня любить!

(Уходит.)

6

Странио

Долой с дороги, нищий! дай проехать!

Франк

Постой, дай только встать и берегись!

Странио

Скорей, собака, иль не встанешь с места.

Франк

Приятель всадник! нет тебе проезда.
Меч наголо скорей, иль ты погиб.
Ну, защищайся!

Дерутся. Странио падает.

Белколоре

Как тебя зовут?

Франк

Карл Франк.

Белькоре

Ты славный малый, славно дрался.
Откуда?

Франк

Из Тироля.

Белькоре

Хороша ль я?

Франк

Как солнце.

Белькоре

Мне восемнадцать лет. Тебе?

Франк

Мне двадцать.

Белькоре

Едем ужинать ко мне!

7

Франк

Из всех пружин машины мировой
Тончайшая, важнейшая пружина,
О золото, всеобщее начало,
Слеза у солнца вырванная — сила
Единая и вечная; Медуза,
Преобращающая сердце в камень
И в тленный прах невинности покров,
Великий искуситель, ключ желаний,
Дай на себя вполне налюбоваться!
О, говори, что благо, честь —
Слова, лишенные значенья,
Души пустые сновиденья
И что в тебе лишь правда есть.
О, говори, что нет желаний,
Нет прихотей безумных на земли,

Каких бы жертв и злодеяний
Они с собой ни принесли,
Которых бы собою не прикрыла,
Не узаконила твоя, о демон, сила...
Иным не снилось и во сне,
Что наяву дается мне.
С каким восторгом, взором жадным
Впиваюсь в кучи злата я.
И с чувством злобным и отрадным
Твержу, что сила та — моя.
Пройдут века — и не одна планета
Свершит свой путь, — подобный же удел
Невиданным останется для света...
О нем и грезить я не смел.
Как мне становится понятно,
Что даже умирающим приятно
На золото свое глядеть,
Что можно век над ним сидеть,
Боязнью за него терзаться,
С безумной страстию металлом любоваться,
Сундук обнявши, умереть...

(Считает.)

Пятнадцать тысяч деньгами — и много
Расписок... Вот так счастье, признаюсь!
Что было бы со мной сегодня, завтра,
Когда б я Странио не встретил на пути?
Вельможу убиваю — и беру
Его любовницу; у ней я напиваюсь,
Ведут меня в игорный дом; конечно,
Я проигрался б трезвый... но везет
Мне пьяному... Выигрываю!.. Счастье!

(Отворяет окно.)

Желал бы я, чтоб под окном прошел
Вчерашний Франк... чтоб Франк, богач, властитель
Палат великолепных и сокровищ,
Увидел там внизу другого Франка —
Охотника несчастного, бедняжку
Голодного и с впалыми щеками,
И бросил золота ему —
Вот, на, мол, Франк, возьми, несчастный нищий,

(Берет горсть золота.)

Мне, право, кажется теперь, что нет
Ни на земле, ни в небе ничего,
Что стоило б желанья моего,
Что с дня вчерашнего принадлежит мне свет.

(Уходит.)

8

Песня горцев

Охотник мой смелый, что видишь вдали?..
Собаки обнюхали след по земли:
Вставайте, друзья, — проснулся олень.
Красотка моя сияет, как день,
Олень встрепенулся, олень бежит —
Красотку мою господь сохранит.
Олень убежал от стаи в леса,
У красотки моей — словно звезды глаза,
Галлали, Галлали — настигнут олень,
Красотка моя сияет, как день!

9

Хор

Не придет уже он на веселый наш зов,
Окружен своей сворой охотничьих псов,
Не будет могучими рвать он руками
Оленя за скромною трапезой с нами,
Не будет из чаши он, общей для всех,
Пить наш горный, девственный снег!

10

Белькоморе

Спи, бледный юноша, предайся неге,
До завтра спи ты на груди моей:
Ты телом ослабел; восходит день,
А сон смежает очи голубые.

Франк

Нет — то не день! Не сплю я, а сгораю...
О Бельколоре! пламя жжет меня,
Томится сердце жаждою любви, —
Что мне до дня, до ночи и до неба?

Бельколоре

О Карло, Карло! голова твоя
Склоняется мне на руки: у чаши
Восторгов засыпаешь ты, несчастный,
И мысль твоя — далеко от меня.

Франк

Да, день встает... о милая моя,
Я умираю... Да! бессилен я и болен,
Я — тень лишь самого себя, одно лишь
Пустое отраженье: ночью мне
Мерещится мой призрак... Боже, боже!
Я молод был вчера — а нынче стар!
И красота твоя — моя могила,
Твои лобзания — ступени к гробу,
И прядь кудрей твоих — мой саван гробовой.
Задуй свечу, открой скорей окно,
Дай мне взглянуть, в последний раз, быть может,
На солнце, дай проститься с этим небом...
. . . .

Бельколоре

(вздыхая)

Ах, не всегда жила я так, как ты,
Быть может, думаешь... Мое семейство
Когда-то во Флоренции цвело;
Несчастье разорило нас, несчастье
Моей виною жизни: не была я
Для этой жизни создана.

Франк

(отворачивается)

Всё та же,
Всё та же песня вечно от двадцатой,
Которую приходится спросить!
Ужели есть глупцы, чтоб верить им?

О боже мой! в какую грязь попал я!
Признаться, думал я, что эта — поумней!

Белькоморе

Когда скончался батюшка...

Франк

Довольно!
Мне Джулия доскажет остальное,
Как только встречу я ее в харчевне!

11

Хор

Как гонимы ураганом
С гор, увенчанных туманом,
Низвергаются снега,
Так мы с кличем, с барабаном
Устремлялись на врага.
Ни преграды, ни препоны
Не спасли от нас Кантоны...
Благородные бароны,
Свив победные знамена,
С торжеством идут назад.
Вставай же, вставай же, охотник лесной,
Вставай же, сын Рейна, боец удалой,
Тяжелые латы скорее снимай,
Гостей принимай да детей обнимай!
Стойте, братья, вот палаты,
Где великий Франк живет, —
Целовал его, как брата,
Седовласый император,
Увенчал его народ.
И теперь еще у входа
Ждет кругом толпа народа,
Как он ужинать пойдет.
По заслугам честь герою —
Честь за славные дела:
Вырвал смело он из бою
Знамя Черного Орла.

Не раз исчезал он средь дыму и грому,
Погибшим считали его уж не раз,
Но, подобно пловцу удалому,
Что ныряет из волн, — так вдруг среди нас
Под тучею ядер, под градом картечи
Являлся он снова властителем сечи.
И случай иль бог его спас,
Пули все мимо летали, —
Хоть близко его целых три прожужжали,
Лишь шпоры окрасил он кровью своей.
Но кто эта женщина, братья, скажите?
По плечам ее волны кудрей...
Куда вы, красотка, так быстро бежите?

12

Франк

Дорогою и шумом утомленный,
Сегодня я от лагеря отстал,
Томимый жаждою, усталый, запыленный,
На берегу источника я стал.
А на траве лежала предо мною
И сладким сном красавица спала...
Ее я знаю: мать ее была
Моей соседкой, Гюнтер; и с тоскою
Я вспоминал, как жизнь моя текла
Спокойно с ними. Девочка спала
С полуоткрытыми устами.
(Как розы, раскрываются уста
Беседовать с ночными небесами.)
Святыней девственной дышала красота,
Травой и сельскими цветами
Покрыты были плечи. Что во сне,
Что в светлом детском сне ей грезилось — не знаю,
Но с песнию, казалось мне,
Заснула девочка, играя!
И песня та порхала на устах,
Как птичка легкая на полевых цветах.
Одни мы были: взял ее я руки,
Не разбудив ее, я наклонился к ним...
О Гюнтер!.. и прижал к устам своим,
И, как дитя, я зарыдал от муки!..

13

Три пустынника

Господь на тьмы обитель обращает
Пылающий свой взор,
И, правосудный, изрекает
Он злым и добрым приговор,
Зане лишь он единый знает,
Кто прав, кто осужден,
И смерть на смертных посылает,
И мертвецов велит считать ей он.

Хор

Согрешил я, владыко, преступил твой закон.

Пустынники

Он битве рек глаголом власти:
«Сочти твоих борцов,
Которых гроб в широкой пасти
Пантер и львов,
И победил ли, пал ли правый,
Сочти, лишь меч вложен в ножны,
Всех падших словно дождь кровавый
И на поля и на холмы».

Хор

Искушенью, владыко, подвержены мы.

Пустынники

Приидет день. Реку глагол громовый,
Обильный ужасом, суда и гнева слово,
И остановится движенье естества,
Свинцом свернется неба синева,
И кости плотию оденутся из праха,
И бездна возвратит в день оный мертвецов.
Возопиют они от страха:
Спаси, спаси нас, бог отцов.

Хор

И будет плач и скрежет зубов!

14

Франк

Вот, вот она, развратная сирена,
Машина, изобретенная чертом,
Чтоб в людях силы истощать, и кровь
Высасывать, и чувства притуплять.
Что за атмосфера вокруг нее разлита!
Она мертвит и поглощает силы,
Сама же всё прекрасней и прекрасней! .. Всегда
Ее в объятиях сжимая, умереть
Желал я... О, беда тому, кто раз
Дозволил в сердце заползти разврату!
Сосуд глубокий — девственное сердце.
Когда впервые попадет туда
Вода нечистая, то целым морем
Ее со дна не смоешь... безысходна
Та бездна, и на дне ее — пятно.

15

Франк

Нет, не хочу я умирать;
Я здесь, природа, пред тобою
Стою с подъятой головою,
На празднество твое пришел я пировать.
Я голоден — изволь же угощать!

. . . .

Великолепный божий мир, созданье
Безмерное! везде ль так наго ты?
Скажи мне, мать безумная, зачем
Меня ты мучишь этой жаждой вечной,
Когда сама не знаешь, где источник
Живой воды? .. Есть для травы роса
И пища для орла... Что ж сделал я?
За что меня забыла? .. «Видно, было
Так нужно», — пусть так скажут старики;
А мне — мне двадцать лет!

. . . .

О! если ты умрешь, надежды ангел,
В последний раз приди ко мне на сердце,
Последний поцелуй мне дай, скажи

Последнее прости! Я молод, жизнь люблю я:
Вступись же за меня, проси у неба
Хоть капли для увядшего цветка;
И вместе будем мы, прекрасный ангел,
С тобою жить, и вместе мы умрем!

16

Дейдамия

Плетите венок мне, подруги мои,
И грезы мои увенчайте цветами,
Накиньте покров на томленье любви...
Мой милый придет — лишь солнце зайдет за горами.

Подруги

Дева гор, мы тебя провожаем,
Покидает нас счастье с тобой,
Мы слезами венок обливаем,
Мы из нашей гирлянды теряем
Тебя — наш цветок дорогой.

Женщины

Мы к воину, дева, тебя приведем,
И скинем с тебя мы девичий покров.
И скоро от странных, таинственных слов
Рука затрепещет под брачным кольцом.

Подруги

Эхо — песни в горах не услышит твоей,
Полотна не раскинешь под медными львами,
У которых из пасти стремится ручей,
Снег простится с твоими следами.

Женщины

Как сияет чело твое ясное
Красотою желанья и счастия!
Тебя ждет, Диана прекрасная,
Твой охотник с безумною страстию.

Дейдамия

А мне тяжело, о подруги мои,
Коль я хороша — вы скажите ему,

Коль я хороша — я достойней любви
И счастия милому больше я дам моему,
Но с прекрасной бессмертною я не сходна,
Как она же, я только бледна,
Побледнели от горя ланиты; текли
По ним мои слезы, и плакало всё на земли,
Казалось, со мной, когда Карл убежал...
Вы скажите ему, как меня он терзал!
Вы скажите про слезы любви,
Вы скажите, подруги, сестрицы мои.

Горцы

Не умер Франк... То слух лишь был,
И тот, кто слух тот распускал,
С медведя шкуру продавал,
А сам медведя не убил.
Но только шутку ж Франк сыграл!
И их он славно одолжил.
Так некогда, как Геркулес
Фарнезский в Тибр низвержен был,
На пьедестал его залез
Другой, и всякий находил,
Что новый лучше и статней.
Нет ничего толпы глупей.
Но вышел вновь колосс из вод
И с самозванцем рядом стал,
И разом старого узнал
Кругом столпившийся народ.
Так ожил Франк. Не прежний он —
Ленивый, мрачный и больной...
Он вырос телом и душой
Веселый, всякому поклон
И речь приветная в устах;
Он храбр, и молод, и здоров.
Забыли о его грехах,
С ним всякий чокнуться готов.
Сегодня с Дейдамией он
Навеки будет обручен.
Что за девчонка, боже мой,
Как он любим ее душой!

Уходят.

Франк

И ты меня ждала, моя Маметта,
Считала ты с тоскою день за днем,
Сидела пригорюнясь на пороге.

Дейдамия

О милый, милый! плакала Маметта!

Франк

День уходил за днем... восход и ночь
Тебя равно встречали на тропинке,
Далеко был твой Карл — а ты, как счастье,
Сидела и ждала его у дома.

Дейдамия

Как бледен ты, как голос изменился!
Что делал ты вдали от нас так долго?
Уж матушка совсем отчаялась в тебе,
Но думал ты о нас, скажи по правде?

Франк

Несчастного глупца я знал когда-то;
Он прозывался Франком. Нелюдим...
Он был противен всем своим соседям;
От бедности, от голоду, от горя
Его глаза глубоко впали — кости
Да кожа был он весь. Под страшным гнетом
Презрения он сгорбился — и стыд,
Сопутник бедности, следил за ним повсюду;
Он враждовал с законами вселенной,
Ходил печально, медленно, как старый
Пастух лениво тащится за стадом,
Бродил он по лесам да по горам,
Разбоем жил, отвергнутый повсюду,
Свою судьбу он вечно проклинал.
Как под секирою, всегда склонивши шею,
Похож он был на вора, или хуже
Еще — на нищего, который робко
Дрожит пред преступлением, храня
Один лишь этот страх в себе, в замену
Всего добра... Вот что за человек,
Которого знавал я, о Маметта.

Дейдамия

Кто это там за ставней притаился
С глазами черными и страшным видом?

Франк

Где? я не вижу.

Дейдамия

Да! подслушивал нас кто-то,
И тотчас же ушел, как обернулся ты.

Франк

Да, верно, нищий по дороге шел.
Но что ты побледнела, Дейдамия?

Дейдамия

Ну, что же твой рассказ? кончай его.

Франк

В другой раз — это было на миру —
Я видел в зеркале, при блеске свеч,
Напившегося игрока, — он был
В объятьях женщины или чего-то
Похожего на женщину, вот так,
Как я с тобой теперь... Но словно был он
В объятиях утопленника. Ты
Меня не слушаешь... Ну обойми же
Меня скорей!

Дейдамия

О, ради бога, нет!

Он насильно обнимает ее.

Франк, милый Карл мой, подожди до свадьбы,
Недолго ждать до вечера... Придет,
Пожалуй, матушка... пусти, пусти.

Франк

Чудесное, невинное созданье.

Дейдамия

У нас семейство будет, милый мой.
Соседи будут, и родные будут...

И матушка. У нас родятся дети...
Работать будешь ты на мельнице, а я
Хозяйством стану заниматься.
Мы не расстанемся, пока мы живы,
И в старости умрем преклонной оба.
Смеешься ты! — скажи, чему?

Франк

Тому,
Что ушибет меня, быть может, громом.

Дейдамия

Фи! вздор какой!.. Я слушать не хочу.

Франк

Ну, продолжай, дитя, — смеяться я не буду.

Дейдамия

Кто там? Я говорила, что за нами
Подсматривают... Видишь, голова
Там отразилась на стене.

Франк

Да где же?
Пустые призраки. О, как же мне

(Обнимает ее.)

Ужасно думать, что когда-то
Другая женщина любима мной была!..
О! при одном воспоминаньи,
Мой ангел, о тебе, душа моя
Очистилась — подобно той воде,
В которую глядишься ты всегда,
Да, это ты — чиста и молода,
Как птичка ты забыть готова горе;
Вот мирная постель твоя, вот прялка,
Подруга грусти тайной и труда.
О ты, так часто горестям моим
Внимавшая — с челом спокойно-ясным,
Скажи мне, ангел мой, как ничего
К тебе не привилось от горя моего,
Когда так много счастья сохранила
Душа моя, мне данного тобой?

Дейдамия

У всех у вас, льстецов, такие речи,
И часто повторяются они...
Мне от тебя их сладко слышать, милый,
Но ведь они нейдут ко мне нисколько.

Франк

Скажи мне, хочешь ли в Италию со мной?
В Испанию? В Париж? Мы славно поживем.
Тебе пристанет чудно черный чепчик.

Дейдамия

А разве дурен чепчик мой?
Постой — я платье белое надену,
Да шитые чулки, да чепчик мой воскресный,
Да фартук мой зеленый... Ты смеешься!

Франк

Мы через час женой и мужем будем.
Теперь от поцелуя моего
Бежишь ты — а тогда не побежишь, Írаметта,
Ты через час мне возвратишь его...
О! я от страсти умираю.

Дейдамия

Ждать
Умей — дай мне побыть немного
Твоей сестрою — час один — потом,
Твоя жена, я возвращу тебе
Твой жгучий поцелуй, мой Франк, твой славный,
Твой сладкий поцелуй — и пусть тогда
Разит нас вместе гром.

Франк

Как долог этот час;
Как ты прекрасна, и какою мукой
Меня терзаешь ты, холодная!

Дейдамия

Смотри:
Вот снова показалась голова!
Кто это, кто?

Франк

Маметта, о Маметта...
Не отворачивайся от меня,
И уст от уст не отрывай... Пусть смерть
Застанет вместе нас.

Дейдамия

О, мой любовник,
Мой друг... не позабудь, что уважать
Меня ты должен.

Франк

Нет, пускай сожжет
Меня твой поцелуй — и пусть карает небо.

Дейдамия

Ну да, ну да — любовница твоя,
Твоя жена, твоя раба Маметта.
Пусть смерть придет, люблю я и хочу,
Чтобы ты был в объятьях сжат моих
И в длинных волосах моих запутан,
Чтобы дыханье жаркое твое
Я чувствовала на груди. Я знаю,
Что хороша я... многие меня
Любили — я тебе принадлежала
И для тебя цветок твой берегла.

(Падает в его объятия.)

Франк

(приподнимаясь)

Здесь кто-то есть!

Дейдамия

Что нужды? Карл мой, Карл мой!

Франк

Га! дьяволы и ад! то — Белькoлоре.
Останься здесь, Маметта, — я скажу
Ей слова два.

(Выскакивает в окно.)

Дейдамия

Что хочет делать он?
Что сделалось такое? Вот он снова!
Нашел ли ты?

Франк

(за окном)

Нет, тысячи громов!
Я думаю, что это только призрак!
Постой, я обойду кругом весь дом.

Дейдамия

(подбегая к окну)

Карл, не ходи, — пускай уходит он
Далеко — этот призрак роковой.

Бельколоре является у окна и тотчас же убегает.

Спасите! .. о, спасите! .. я убита!

Дейдамия падает и влачится за дверь.

Горцы

Франк! что там? нас зовут — кричат!
Кто здесь лежит в крови? .. Великий боже,
Маметта! .. дух ее от тела отлетел,
Кинжал вонзился в грудь ее глубоко!
Убийство, Франк, убийство!

Франк

(возвращаясь в хижину с трупом Дейдамии)

О любовь
Моей души! .. уста твои закрылись
На первом поцелуе... Ты ждала
Его пятнадцать лет и умерла,
Не возвративши мне, моя Маметта!

<1852>

БАЙРОН

* * *

Всё кончено! Мечты мои пропали,
Надежды нет на будущее счастье,
Страданья ум и сердце растерзали,
Настало вместо ясных дней — ненастье.

Подите прочь, безумные желанья!
Я не прошу у вас надежды и любви,
Когда остыл уж жар в моей крови...
О! если б не было воспоминанья!..

<1859>

* * *

Прощай! И если за других
Приемлют небеса моленья, —
Не тщетно вопль молитв моих
Несется в горние селенья.
Что вздохи, слезы, вопли? Знай:
Страшнее кары преступленья,
Слезы кровавой угрызенья —
Смысл этих слов: прощай, прощай!

В очах нет слез, в устах нет звука;
Но точат мозг, но давят грудь
И неотвязной думы мука,
И скорбь, которой не заснуть!

Без жалоб — в сердце, как в могиле,
Таю я страсти ад и рай;
Лишь знаю: тщетно мы любили,
Лишь чувствую: прощай, прощай!

<1860>

* * *

Души твоей будь обитель светла!
Дух более чистый едва ль,
Расторгнувши узы страданий и зла,
Стремился в надзвездную даль!

В юдоли земной была ты чиста,
Как ныне твой дух в неземной, —
И ропоту мы заграждаем уста:
Мы знаем, что бог твой с тобой!

Будь легок и дерн на могильном холме,
Пусть трава изумрудом блестит;
Да ничто не дерзает напомнить о тьме
Там, где всё о тебе говорит.

И пусть расстилается зелень ветвей
Над местом, где прах твой сокрыт, —
Кипарис же не нужен могиле твоей,
Ибо кто о блаженных грустит?

<1860>

ПАРИЗИНА

(Посвящено Н. А. Некрасову)

1

То час, когда из-за ветвей
Трель соловья дрожит звончей;
То час, когда так звучно-тих
Влюбленный шепот уст младых;

И тихий ветр, и плеск волны
Для слуха чуткого полны
Какой-то музыки живой,
И каждый цвет блестит росой,
И в небе звезд сверкает рой,
И синева воды темней,
И гуще мрак в сени ветвей,
И дымкой свод небес одет.
То — полумрак, то — полусвет...
То час, как под закат дневной
Прозрачной мглою заревой
Всё будто флёром обвито;
То час, пока еще луной
Мерцанье сумерек не вовсе залито!

2

Но не затем, чтоб слушать водопад
Прокралась Паризина из палат;
Не с тем, чтобы глядеть на свод ночной
Синьора бродит в тишине немой,
И в павильон, дыхание тая,
Она взошла чуть слышною стопой
Не запах роз вдыхать вечеровой,
И жадно слушает она не соловья,
Хоть трепетного вся внимания полна,
Как будто сказке слухом отдана...
Вот шум шагов за чащею ветвей...
Бледнеют щеки... сердца стук слышней...
Вот в шелесте листов речь ясно раздалась...
Кровь снова прилила, и грудь приподнялась!
Еще минута... близок срок...
Прошла — и *он* у милых ног.

3

И что для них весь мир кругом
С его движеньем, ночью, днем?
Вся жизнь и неба и земли
Для них ничто в блаженный миг,
И чужды, будто в гроб сошли,
Они всему: вблизи, вдали,

Кругом... как будто, кроме их,
Нет на земле других живых.
И дышат, и живут они
Один другим — за всех одни!
Их вздохи самые — таким
Полны блаженством, что разбить
Оно безумием своим
В груди могло бы сердце им,
Когда б не краткий длилось миг.
Опасность, страх, позор, вина...
Ничто не возмущает их
Тревожно-сладостного сна.
И кто ж из нас, кто страсти знал, —
Иль медлил, или трепетал
В подобный миг, иль думать мог
О том, что краток счастья срок?
Увы! и так оно пройдет
Скорей, чем мысль родится в нас,
Что быстротечен счастья час,
Что светлый сон уж не придет.

4

Тоскливо-медленен их взгляд:
Они спешат и не спешат
Преступных радостей приют
Покинуть. Тщетны клятвы их
И обещанья встреч других:
Грызет их мука, словно тут,
Теперь — разлуки вечной миг!
Объятья, вздохи без конца...
Хотят, как будто навсегда
Сковавшись, замереть уста...
А Паризинина лица
Прозрачный очерк весь облит
Сияньем неба заревым,
И небо — Паризина мнит —
Греха их не отпустит им.
И с неба строго так глядит
Судьею каждая звезда!
Объятья, вздохи без конца
Их приковали б навсегда

К свиданья месту... но давно
Ждет Паризину сень дворца...
Урочный час — и суждено
Расстаться им: в груди с тоской,
С боязнью мрачно-ледяной,
Со всем, что следовать должно
За грешным делом, за виной.

5

Уходит Уго, чтоб искать
На ложе одиноком сна
И по чужой жене сгорать
Греховным жаром; а она
Главу преступную должна
К груди супруга приклонить...
Но сон ее — горячки сон,
Греховных чувств исполнен он, —
Их обличает жар ланит.
Она в забвеньи страстных грез
Лепечет громко имя то,
Которого бы ни за что
И шепотом не произнес
Ее язык при свете дня.
Супруга жмет к груди она,
Полна мятежного огня...
А он, объятьем пробужден,
Блажен мечтою: грезы сна,
И страстный вздох, и неги стон
Душой готов благословить
И слезы умиленья лить
О том, что и во сне жена
Ему так страстно предана.

6

Он к сердцу спящую прижал
И ловит смутный шепот слов,
И слышит... Что ж затрепетал
Князь Адзо, будто услыхал
Архангела последний зов?

И прав он... Приговор страшней
Ему едва ли прозвучит
И над могилой, как из ней
Глас судии ему велит
Восстать, чтоб век уже не спать
И перед вечный трон предстать.
И прав он... Мир его земной
Единым звуком весь разбит:
Невнятный лепет речи той —
Ее вина и Адзо стыд!
И чье же имя?..
Раздалось
Оно в ушах, как страшный стон
Волны, которою разбит
Челнок, и путник, на утес
Заброшенный, вновь погружен
Навеки в хлябь морских валов
И не воротится... Таков
Удар, который нанесен
Тем именем душе его...
И чье же имя?
Про кого
Не мог бы грезить даже он!
То имя — Уго... сына *той*...
Любимой прежде... Сын родной,
Плод страсти, плод мятежных лет,
Минувшего живой упрек,
Грех юных дней, когда увлек
Он сердце Бьянки и обет
Безжалостно нарушить мог,
Обет, когда-то данный ей,
Доверчивой в любви своей.

7

Кинжал извлек он из ножон,
Но трепетно в ножны опять
Сталь хладная опущена...
Ее убить не в силах он!
Пусть недостойна жить она,
Но — так прекрасна!.. И притом

Она с улыбкой тихим сном
Забылась. Он не разбудил
Ее... а молча устремил
На ту, чей сон был сладко-тих,
Один лишь взгляд очей своих,
И если б, пробудясь от сна,
Взгляд этот встретила она,
Ее оледенил бы он
На вечный, беспробудный сон.
У князя по челу течет,
Густыми каплями блестя
При свете лампы, хладный пот...
Она ж — замолкла. Но хотя
Теперь беспечно спит она,
А жизнь ее изочтена!

8

Заутра же — допрос. Вины
Клятвопреступницы-жены
Улики хочет он собрать,
И от придворных слышит сам
Всё, что страшился он узнать:
Свой несомненно явный срам...
Себя одних хотят спасать
Ее сообщницы. Боязнь
Велит им всё — вину, и казнь,
И стыд — лишь на нее слагать.
Утаек нет. До мелочей
Раскрыто всё, чтоб был верней
Рассказ; и больше ничего
Душе измученной его
И слуху не осталось ждать,
И чувствовать, и узнавать...

9

Не из таких, чтоб перенесть
Отсрочку, совершая месть,
Был князь разгневанный. И вот,
В совета зале, окружен
Толпой вельмож со всех сторон,

Воссев на трон, уже зовет
Чету преступную на суд
Владыка рода Эстов. Их
Обоих скованных влекут.
Так оба юны; так из сих
Виновных дивно хороша
Одна... и как, спаситель мой,
Какой судьбой,
В цепях и тяжело дыша,
Перед отцом здесь сын родной
Стоит как пред судьей?
Пред властелином Уго здесь;
И гнев его изведать весь,
И слышать приговор
Из уст отцовских осужден...
Но пусть защиты он лишен
И пусть в цепях... До этих пор
И нем, и неподвижен он.

10

Тиха, безмолвна и бледна
Перед судом стоит она...
Как взгляд очей ее живых,
То говорливых, то немых
И неги полных, вдруг поблек!..
Еще вчера, горя огнем,
Своих лучей блестящий ток
Он разливал на всё кругом.
Еще вчера свое копье
Готов был каждый за нее
Из знатных рыцарей сломать,
Когда б лишь взором повела...
Еще вчера перенимать
Ее улыбки, тон речей
Готова каждая была
Красавица, чтоб подражать
Владычице своей.
Когда б в очах ее печаль
Туманной влагой разлилась,
Наверно не одна бы сталь
Для отомщенья извлеклась

Тому, кто взор ее в те дни
Мог омрачить хотя на миг.
А ныне кто она для них,
Кто ныне для нее они?
Теперь — властна ль она велеть?
Возможно ль им на зов лететь?
И равнодушны, и молчат
Они, и клонят долу взор,
Сложивши руки, иль таят
Вражду, презренье и укор
В движеньи губ, в усмешке злой...
О, Паризина! вот твой двор!
А он, а тот... избранник твой,
Чей меч недавно ждал одних
Полувелений глаз твоих...
Он, кто — свободен будь на миг —
Твою свободу б искупил
Иль в битве голову сложил?..
Жены отца любовник, он —
Как ты же здесь, обременен
Цепями тяжкими — не зрит,
Как влага слез твой взор мутит,
Слез, проливаемых тобой
За жребий друга, не за свой...
И веки нежные твои,
По коим тонкие ручьи —
Извивы жилок — разлились
Всей темной синевою струй,
Маня уста на поцелуй,
Как будто налиты свинцом,
Не осеняют — давят взгляд:
Под ними слезы лишь кипят
И, накипая, — бьют ключом.

11

И он... он плакал бы о ней,
Без этих сотен глаз людских,
Следящих зорко их двоих...
Но тут, перед толпой людей,
Его печаль — как ни была
Тяжка — как будто замерла!

И сердца Уго тайных мук
Не выдал ни единый звук...
Лишь на нее одну взглянуть
Боится он, чтоб не вздрогнуть.
Воспоминанья прожитых
Мгновений... преступленье их...
Любовь их... правый гнев отца,
Проклятье всех людей честных...
Казнь здесь — и в небе суд творца...
Ее погибель и позор!..

На смертно-бледное чело
Подруги хоть единый взор
Как мог бы ныне кинуть он?
За всё им сделанное зло
В нем грозно поднялся б укор
И вылился в ужасный стон.

12

И начал князь:
«Еще вчера
Был горд я сыном и женой;
Сегодня, с утренней зарей,
Мой сон рассеян. До утра,
До завтра не пройдет — ни той
И ни другого у меня
Не будет. Жизнь свою до дня
Кончины буду я влачить
Один... Да будет, так и быть!
Здесь никого, уверен в том,
Нет, кто б иначе поступить
На месте мог моем.
Союз разорван... и не мной...
Опять скажу я: так и быть!
Внемлите ж суд правдивый мой:
Тебя священник, Уго, ждет;
Затем — за грех расчет.
Ступай, молися небесам!
Быть может, и прощают там;
Но места нет обоим нам
Здесь на земли,

Где б вместе двое мы могли
Хотя единый час дышать...
Прощай же... Не увижу я,
Как будешь умирать...
Но ты, коварная змея,
Ты будешь зреть — клянуся в том —
Его главу под топором!
Иди, развратная жена!
Не я, но ты, лишь ты вина
Убийства. Мучься ж, а потом
Живи, коль можешь пережить...
Тебя я не хочу казнить!»

13

И тут суровый князь закрыл
Лицо, затем что вдоль чела
Пошли следы столь резких жил,
Как будто к мозгу прилила
Вся кровь. И он, угрюм и нем,
Склонился на руки главой,
Чтобы не выдать пред толпой
Своих мучений. Между тем,
Окованные приподнял
Преступник руки — и просил
Он слова краткого. Молчал
Князь Адзо, но не воспретил.

«Смерть не страшит меня. Видал
Не раз ты, как, летя на бой,
Врывался вместе я с тобой
В ряды бесчисленных врагов...
И попрекнуть меч добрый мой,
Который у меня отъят
Усердием твоих рабов,
Нельзя в бездействии. Навряд
Секире палача пролить
Столь много крови, как моей
Рукой на службе на твоей
Пролито было, может быть,
Крови врагов в единый бой.

Тобой дана — и пусть тобой
Возьмется ныне жизнь моя,
Дар, за который много я
Не в силах благодарным быть...
Я никогда не мог забыть
Позора матери, стыда,
Погибели... и никогда —
Рожденья срама, одного
Наследья в жизни моего!
Давно она в могиле спит...
Я, сын ее, соперник твой,
Твой сын, — туда же на покой
Сойду за ней; но обличит
Ее безрадостный конец
Глава, на плахе ныне мной
Сложенная, — как нежен был
Любовник, как любил отец!

Пускай тебя я оскорбил,
Но — зло за зло... Увы! она,
Твоя законная жена,
Та жертва новая страстей
Твоих и гордости твоей, —
Ты помнишь, мне обручена
Была давно... Ты это знал!
Ее красы ты возжелал...
Своим же собственным грехом,
Рожденья моего пятном,
Меня унизил ты пред ней,
Как недостойного назвать
Ее невестою своей...
Затем, что имя я не мог
Носить твое и восседать
На троне Эстов!.. Но когда б
Еще прожить судил мне бог,
Блеск славы Эстов был бы слаб
Пред блеском тем, который сам
Стяжал бы я...
Я меч имел; душа моя
Была способна к небесам
Вершину древа моего
Поднять и Эстов род затмить

Величьем царственным его...
Чтоб шпоры рыцаря носить
Достойно — знатным мало быть...
Мои же шпоры в смертный бой
Пред всей вельможною толпой
Стремили моего коня,
И мчал ретивый конь меня,
И громко несся по полям
Мой клич: «Дом Эстов — смерть врагам!»

Я преступленье не ищу
Оправдывать, и не хочу
Пощаду вымолить себе,
И не прошу, чтобы судьбе
Самой оставил ты скосить
Остаток — скудный, может быть, —
Мне предназначенных годов.
Да и зачем? Безумных снов
Не повторить, не возвратить!
Но пусть и низок родом я,
Пускай позор на мне лежит,
Пусть родовая спесь твоя
Меня признать сочла б за стыд...
В моих чертах легко узнать
Отца черты — твою печать.
И всё твое в душе моей:
Твоя неукротимость в ней,
Твои... но что ж трепещешь ты
Во мне узнать свои черты?..
Твои они — моя рука,
Которая, как сталь, крепка,
Моя душа вся из огня...
Ты мне не жизнь лишь подарил —
Себя ты перелил в меня!
Смотри ж на плод греховный свой
И ка́знись тем, что породил
Ты сына, сходного с тобой!..
Не выкидыш по духу я:
Душе подобная твоей,
Не терпит уз душа моя.
А жизнь, а дар мгновенный сей,
Который ныне ты судил

Отнять, ты знаешь, я ценил
Не больше, чем ценил ты сам,
Когда, бывало, свой шелом
Надвинешь ты и, конь с конем,
По мертвым вражеским телам
Мы мчимся с дерзостным челом.

И пусть что́ было — то прошло,
И пусть грядущее могло
Лишь прошлому подобно быть...
А всё мне жаль, что жизни нить
Судьба не порвала тогда!
Хоть матери моей стыда
Виновник — ты; хотя всех зол
Причина — ты; хоть под венец
Мою невесту ты повел, —
Я чувствую: ты мой отец!
И приговор суровый твой —
Он прав, хоть изречен тобой.
Зачат в грехе, позорно я
Умру на плахе: жизнь моя
Окончится, как началась...
Грешил отец — и сын грешил!
Во мне одном обоих нас
Ты ныне право осудил.
Мой грех в глазах толпы людской
Тяжеле; божий суд — иной!»

14

Окончил — и спокойно стал,
На грудь сложивши руки, он.
И как-то страшно прозвучал
Цепей тяжелых резкий звон.
И не было ни одного
Из окружавших трон вождей,
До сердца б не проник чьего
Глухой и мрачный звон цепей...
На роковую красоту
Жены-преступницы, на ту
Причину казни и вины,
Вновь взоры всех устремлены!

Как примет — каждый знать желал —
Казнь совиновника она...
Она же, зла всего вина,
Меж тем стояла, я сказал,
Тиха, безмолвна и бледна...
А взгляд ее недвижен был,
Но был открыт. Ни разу он,
Казалось, не был обращен
На что-нибудь — и не бродил
По сторонам; и веки глаз
Ее прелестных хоть бы раз
Сомкнулись — тению своей
Хоть раз прикрыли б блеск очей!
Нет! обвивали, как кружки,
Своею страшной белизной
Они лазурные зрачки.
Стеклянно-хладен, нем и дик
Был взгляд ее перед толпой.
Казалось, будто лед проник
В ее свернувшуюся кровь.
Слеза являлась лишь порой...
И, медленно скопляясь, вновь
Из-под каймы ресниц густых
Катилась крупная слеза.
Лишь тот, кто видел, тот постиг,
Чтó это было... Слез таких
Людские на земле глаза,
Казалось всем, не могут лить.
Хотела что-то говорить
Она... Глухой, неясный звук
Гортань сухая издала...
И в звуке том слышна была
Вся тягость бесконечных мук.
Замолк он... Что-то ей опять
Хотелося потом сказать, —
И голос слышался, но он
Излился только в долгий стон...
И пала на землю она,
Как тяжкий камень, как порой
С подножья мрамор — лик живой.
Увы, не Адзо то жена
Сей труп бездушный и немой, —

Надгробный памятник скорей,
Надгробный памятник над ней,
Над ней, кого, как жало, страсть
Язвила и к греху влекла,
Над ней, которая упасть
До преступления могла
И посрамленья не снесла!..
А всё жива еще она.
И к тяжким мукам бытия
Вновь слишком скоро призвана
От полусмерти забытья...
Но бедный разум... Напряглись
В ней фибры чувств и порвались...
И в помутившемся от мук
Мозгу — всё в хаосе слилось!
Как от дождя размокший лук,
Который стрелы мечет вкось,
Бессвязно дикие, как сон,
Рождать лишь может мысли он.
Пустое, белое пятно —
Для ней прошедшее; черно
Грядущее: едва видна
Стезя в нем, да и та темна,
Как путнику, что в час ночной
Тропинки вынужден искать,
Чуть освещаемой грозой.
Она боялась... Понимать
Могла, что ей на душу зло
Теперь какое-то легло,
Как камень хладно, тяжело;
Что был тут грех, и срам тут был,
Что кто-то скоро тут умрет...
Но — кто?.. Забыла... Приходил
Вопрос ей: что́, она живет
Иль нет? Земля ли под стопой?
Над нею небо ли?.. Кругом
То люди ль собрались толпой?
Иль демонов проклятых рой
С каким-то злобным торжеством
Глядит на ту, которой взор
Привык досель встречать кругом
Сочувствие, а не укор?

И всё подобно стало тьме
В ее блуждающем уме.
Боязнь, надежды — всё слилось
В непроницаемый хаос...
То смех, то слезы — и равно
Во всем безумие одно!
В тяжелый, судорожный сон
Ее рассудок погружен...
Его на помощь тщетно звать,
И пробужденья долго ждать!

15

Монастыря колокола
Гудят, звонят,
Сливаясь в гул глухой;
На старой башне, прямой как стрела,
Медленно, тяжко, вперед и назад
Качаясь, ревут, как жалобный вой.
Тоску на сердце наводит их звон...
Но, чу! раздался и гимн похорон,
Торжественно-мрачен, уныл...
Поминки по том, кто на свете отжил
Иль скоро отжить осужден...
За душу грешника летят
Молитвы к небесам...
Колокола ревут и гудят,
Курится фимиам...
Для грешной души настает
Тяжелый миг конца...
Чье сердце от жалости здесь не дрогнёт?..
К ногам монаха, святого отца,
Он на землю сырую колени склонил.
И плаха пред ним, и стража дворца
Кругом обступила ее...
И палач рукава засучил,
Чтоб вернее удар его был,
И смотрит: остро ль топора лезвие...
И, пробуя, машет своим топором...
И безмолвной, и тесной толпою народ
Стекается видеть, как сын умрет,
Родным казнимый отцом.

16

А вечер негой напоен,
Кругом всё блещет и цветет;
И, покидая небосклон,
Как бы в насмешку, солнце льет
Струи роскошнейших лучей
На этот мрачный день скорбей.
Вечерним светом облило
Оно преступника чело
В тот миг, когда, склонясь во прах
Смиренно пред отцом святым,
Он в сокрушеньи перед ним
Кончает исповедь в грехах,
Лобзает крест — святой симвóл —
И отпущения глагол,
Могущий душу — сколь она
Грехом ни будь осквернена —
От смертных пятен всех омыть
И паче снега убелить,
Глагол прощенья, неба зов
Благоговейно внять готов.
Играет солнце в этот миг
Всем золотом лучей своих
И на главе, склоненной в прах,
И на каштановых кудрях,
На шею падающих; но
Особенно блестит оно
Зловеще яркой полосой
На глади топора стальной...
Ужасен смертным смерти миг!
И в души зрителей проник
Смертельный хлад... Пусть каждый знал,
Что грех ужасный совершен,
Что прав карающий закон,
Но всяк невольно трепетал.

17

Мольбы последние скончал
Преступный сын, жены отца
Любовник дерзкий; досказал
Грехи, какие только знал,

И пробил час его конца,
И настает последний миг!
Снимают плащ с него долой,
И прядь кудрей его густых
Палач презренною рукой
Уже схватил... Еще одна
Минута — в прах падет она —
В гроб не возьмет он ничего:
Ни тех убранств, в какие он
Был так роскошно облечен,
Ни даже шарфа своего,
Что Паризиной подарён...
С него одежда сорвана...
Повязка взор закрыть должна...
Но нет! Его ли гордый взор
Подобный вынесет позор?
И чувства, что казались в нем
Затихшими, — проснулись вновь;
И закипела в нем вся кровь
Негодования огнем,
Когда глаза ему платком
Палач собрался повязать —
Как будто б с смертью незнаком
Он был и прямо ей взирать
В лицо издавна не привык!..
«Нет! пусть цепями связан я,
Пусть вам и жизнь, и кровь моя
Обречены, — последний миг
С открытым взором встречу я.
Рази!» И лишь проговорил —
На плаху сам главу склонил...
И были Уго то слова
Последние: «Рази!»... Взмахнул
Палач рукой, топор сверкнул —
И покатилась голова.
И, рухнув, труп кровавый пал
На землю тяжко; побежал
Из туловища крови ток
И напоил, как дождь, песок...
Мигнули судорожно раз
И два — но быстро — веки глаз;
На миг раскрылися уста...

И затворились навсегда...
Он умер так, как умирать
Всем грешным надо пожелать:
Без шума и без хвастовства!
Он покаянные слова
Читал смиренно; врачевства
Духовного не отвергал,
Не впал в отчаяния грех;
У ног приора преклонен,
Вполне был сердцем отрешен
От чувств земных он ото всех:
Отец разгневанный, она,
Его любовь — треха вина...
Что было тут ему до них?
Ни стонов ропота глухих
На тяжкий приговор судьбы,
Ни помыслов о чем ином,
Как лишь о мире неземном, —
Ни слова, кроме слов мольбы
Да тех невольных, кратких слов,
Когда спокойно был готов
Он топора удар принять,
Слов, чтобы дали умирать
Ему с открытым взором, — сих
Прощальных слов его одних!..

18

Как смертью сжатые уста,
Грудь каждого в толпе немой
Была для вздохов заперта...
Но электрической струей
Холодной дрожи ток по всей
Толпе сплотившейся людей
Перебежал,
Когда удар смертельный пал
И порешило лезвие
Навек любовь и бытие
Того, кто отжил в этот миг...
Поднялся вздох, но, подавлён
В груди насильно каждым, он,
Едва родившийся, затих.

Не слышались ни шум, ни стон;
Лишь топора о плаху стук
Зловеще-глухо раздался,
Но больше — ничего...
Лишь звук
Еще... он резко разлился
В безмолвном воздухе, — как крик
Пронзителен, безумно дик,
Как матери ужасный стон
Над пораженным смертью вдруг
Дитёй — прорезал воздух он,
Сей дикий вопль нездешних мук:
Он из решетчатых окон
Дворца немую тишь проник
И к небу поднялся, тот крик
Отчаянный... И обратил
Невольно каждый взор туда,
Но тщетно... Стихло... Только был
То женский крик — и никогда
Из груди болью адских мук
Отчаяннее не был звук
Исторгнут. Всяк, кто услыхал
Сей стон, наверно пожелал
Из состраданья, чтобы он
Был смертный — этот страшный стон!..

19

Пал Уго, и с минуты сей
Его печального конца
Ни в залах мраморных дворца,
Ни в темной зелени аллей
Не видно Паризины. След
Ее пропал — и слуху нет
Нигде уж более о ней...
И даже имя то ничей
Язык промолвить не дерзал,
Как бы одно из слов таких,
Какие из бесед людских
Навеки или страх изгнал,
Иль чувство изгнало стыда.
От князя ж Адзо никогда

Никто ни разу не слыхал
Ни сына, ни жены имен.
Никто не знал гробницы их.
Был за оградой мест святых
Их праху угол отведен.
По крайней мере, там зарыт
Был рыцарь. Паризины рок
Глубокой тайною покрыт,
Как прах доскою гробовой...
Стяжала ль тягостным путем,
Слезами, бденьями, постом
Она в обители святой
Прощенье неба?.. Нож иль яд
Пресекли дни ее?.. Молчат
Предания. Иль, может быть,
Без долгих пыток жизни нить
Ее мгновенно порвалась
И грудь от мук разорвалась
При взмахе топора — едва
Скатилась Уго голова...
Но какова бы ни была
Ее кончина, — умерла
Она печально, как жила!

20

И князь женился на другой,
И окружен под старость был
Он добрых сыновей толпой;
Но не был ни один из сих
Сынов столь доблестен и мил,
Как тот, кто тлел в земле сырой;
Иль, если были, доблесть их
Холодный взор не примечал;
А примечал, так подавлял
Родитель вздох в груди своей...
Но слез у князя никогда
Не вырывалось из очей,
И никогда его уста
Не озарялись уж потом
Улыбки радостным лучом.

Его высокое чело
Изрыли тяжких дум следы —
Морщины... Горе провело
До срока эти борозды
Горячим плугом. Для всего
Он отжил навсегда — равно
Для радостей и для скорбей.
Ему в грядущем ничего
Не оставалося давно —
Лишь разве длинный ряд ночей
Без сна и ряд тяжелых дней,
Да равнодушие одно
К хвале или хуле людской...
Увы! душа его бежать
Хотела б от себя самой,
Но покориться не могла
Судьбе своей, — а забывать
Способна не была;
Она всегда, в тот даже миг,
Когда, казалось, тишина
В ней водворялася, — полна
Была обычных дум своих,
Дум напряженных, мрачных, злых...
Так льда густой и твердый слой
Покроет лишь поверхность вод, —
Неудержимо ток живой
Под хладною корой течет
И течь не может перестать...
Дух Адзо так же волновать
Не преставал обычный ток
Печальных дум: источник их
Был слишком силен и глубок,
Чтобы, как память дней былых,
Иссякнуть. Тщетно мы хотим
Разлив сердечных волн унять;
Вовеки не иссякнуть им,
И возвращаются опять
Потоки слез непролитых
К источнику, и там на дне
Кипят в душевной глубине...
И пусть никто не видит их,
Тех слез непролитых, — оне,

На сердце падая, опять
Скопляются, и тем сильней,
Чем более в груди своей
Мы силимся их подавлять...
Истерзан внутренней тоской,
Воспоминаньями о тех,
Кого казнил за тяжкий грех,
Страдая сердца пустотой,
Не наполнимой ни на миг,
И без надежды встретить их
Хоть за пределами земли;
При всем сознании, что он
Свершил свой суд, как сам закон,
Что сами гибель навлекли
Они на голову себе, —
Был князь под старость обречен
Тоске, мученьям и борьбе...
Могучий дуб, когда порой
Суки испорченных ветвей
Подрежет опытной рукой
Садовник бережно, — сильней
Раскинется под небеса...
Но если в бешенстве гроза
Нежданно ветви опалит, —
Немой развалиной стоит
И сохнет, сумрачен и гол,
Ветвей навек лишенный ствол.

1858

ПРОМЕТЕЙ

А. П. Милюкову

1

Титан! бессмертными очами
Ты скорби смертности прозрел
С ее печальными бедами,
Но их, как боги, не презрел.
И что ж тебе за состраданье
Наградой было от богов?

Безмолвно-тяжкое страданье,
Скала и коршун... гнет оков...
Вся мука гордости, все боли,
Которых видеть не должны
Враги, да душный стон неволи,
В безмолвном мраке тишины
Лишь раздающийся порою...
Чтобы, подслушанный землею,
До неба не достиг тот стон...
Чтобы без эха замер он!

2

Титан! Титан! ты мог узнать
Страданья с волей спор суровый,
Что ежечасно пыткой новой
Терзает там, где убивать
Не может... Злыми небесами,
Глухой судьбы тиранством злым
И ненавистными властями,
По злобным прихотям своим,
Себе самим для наслажденья
Производящими творенья...
Был даже блага умереть
Лишен ты! Вечностью наказан,
Ты горький дар умел терпеть,
К скале мучения привязан...
И всё, что Громовержец мог
Исторгнуть пыткою, — то было
Угроза, от которой бог
И сам познал тех пыток силу.
Судьбу вдали ты ясно зрел,
Но ты признаньем не хотел
Смягчать тирана... В том молчаньи
Он услыхал свой приговор...
И он почувствовал страданье
И тщетный совести укор...
И страх перед судьбою строгой...
Дрожал перун в деснице бога.

3

Божественный проступок твой
Был тот, что, в благости высокой,
Хотел ты бедный род людской
Утешить в участи жестокой,
И сумму бедствий уменьшить,
И человека укрепить
Высоким разума сознаньем;
Но, силой неба сокрушен
И в жертву преданный страданьям,
Ты был в одном не побежден:
В терпеньи, силе благородной
И в гордости души свободной,
Разбить которой не могли
Все силы неба и земли!

4

В наследство нам урок высокий
Оставил ты, симвóл глубокий
Людской борьбы и торжества!..
Как ты — частица божества,
Ток мутный чистого начала —
Твой человек... Ему дано
Провидеть тоже в даль немало,
Провидеть всё, что суждено
Ему на часть его судьбою:
Наследство бедствий роковое,
Борьбу без страха и покоя...
Всё то, против чего оплот —
Единый дух свободно-гордый,
Который в битве не падет,
Несокрушимость воли твердой
Да смысл глубокий... И найдет
Он в самых муках наслажденье,
И гордость в дерзостном бореньи —
Победу в смерти обретет...

1860

ВЕНЕЦИЯ

(Отрывок)

Венеция! Венеция! в тот миг,
Как мрамор стен твоих сровняется с водами,
В странах тебе чужих раздастся скорбный крик,
И стон над этими потопшими дворцами
Промчится по твоим лазоревым зыбям.
Когда, пришлец, горячими слезами
Я плачу о тебе, — твоим сынам
Что ж делать? Плакать? Нет, иное...
Они роптать в своем тупом покое
Лишь могут, столь же мало в том отцам
Подобные, как слизь и тина ила,
Отсадок отливающих валов,
Подобны пене брызжущей, чья сила
Кидает нá берег заблудших моряков;
Так и потомки — предкам знаменитым
Подобны мало и, влачась, ползут,
Как раки, медленно по улицам прорытым...
О, горе, горе им! Века уж не пожнут
Бывалых жатв...: Весь плод тринадцати столетий
Величья, славы — слезы или прах.
И каждый памятник, какой бы ты ни встретил,
О странник: храм, дворец иль саркофаг
Тебе предстанет трауром повитый!..
Сам лев лежит недвижен, как убитый...
Несется чуждый шум, бессмысленный, глухой,
Вдоль по волнам лазурным в век иной,
Привыкшим отвечать отзывным колыханьем
На звуки, что неслись под яркою луной
Из трепетных гондол, сливаяся с жужжаньем
И с шепотом твоих ликующих детей,
В которых даже грех был символом кипенья
Полуденной крови и жажды наслажденья..:
Лишь сила лет могла поток кипучий сей
Унять и обратить его теченье
На правый путь от бездны роковой,
Растленья бездны, полной упоений,
Волнения в крови и сладких ощущений.
Всё ж лучше, чем разврат и мрачный, и глухой,
Народов плевелы во времена упадка,

Когда порок является во всей
Бесстыдно-гнусной наготе своей,
Когда веселие — ничто как лихорадка
Безумия; когда улыбок всех разгадка —
Единое убийство и когда
Надежда — только лживая отсрочка,
Больному светом брезжущая точка —
За полчаса до смертного суда.

<1861>

НЕ ВСПОМИНАЙ!

Не вспоминай мне, не вспоминай
Тех дней погибших, но милых лет,
Когда я целым своим существом
Тебе был отдан... О, верь же и знай,
Что дням тем, пока лишь мы оба живем,
Пока в нас есть силы, — забвения нет!

Забудешь ли и забуду ли я,
Когда я, играя прядями кудрей,
Чуял, как грудь колыхалась твоя...
Я вновь тебя вижу... Душою моей
Клянуся: со влагою темной в очах,
С дыханием жарким в безмолвных устах.

Когда на грудь ты склонялась ко мне,
Сладостный свет лили очи твои:
Полуупрек, полувызов любви...
А всё тесней, в забытьи, в полусне,
Сближалися мы, и искали уста
Слиться и так замереть навсегда.

Глаза твои негой смешавшая страсть
Векам велела покровом упасть
На синеву твоих светлых зрачков;
И длинные иглы ресниц на твоих
Ланитах прозрачных лежали в тот миг,
Как во́рона крылья на глади снегов.

Мне снилось недавно, что снова пришла
Любовь былая, и слаще была
Мечта безумная грезы больной,
Чем если бы я наяву, но к иной,
К очам иным, в исступленьи ином
Зажегся желания диким огнем.

Не вспоминай же, не вспоминай
О днях, которых утраченный рай
Сон тот легко может нам возвращать,
Пока не будем в могиле лежать,
Бесчувственным камням подобны в тот час,
Которые скажут, что нет уже нас.

<1861>

ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ „ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА“

I

1

Прости, прощай, мой край родной!
    В волнах уж берег тонет,
Свистит и воет ветр ночной,
    И чайка дико стонет.
Уходит солнце в дальний край,
    Стремим свой бег за ним мы.
Прощай же, солнце, и прощай,
    Прости, мой край родимый!

2

Заутра вновь оно взойдет,
    Рассеяв тьму ночную;
Увижу море, неба свод,
    Но не страну родную.
Покинут мной дом старый мой,
    В нем плесень всё покроет;
Двор порастет густой травой,
    Пес у ворот завоет.

3

Поди ко мне ты, пажик мой!
О чем твое рыданье?
Иль страшен ветра дикий вой
Да бездны колыханье?
Отри ты слезы: крепок наш
Корабль, он не потонет
И мчится быстро; нас, мой паж,
И сокол не догонит.

4

«Пусть воет ветер, и волны пусть
Бушуют — нет мне дела!
Но не дивись, сэр Чайльд, что грусть
Мне душу одолела.
С родным отцом расстался я
Да с матерью любимой:
Они одни мои друзья,
Да ты... да бог незримый.

5

Без жалоб смог отец мне дать
На путь благословенье,
Но матери не осушать
Очей до возвращенья!»
Ну, будет, будет, пажик мой!
Понятны слезы... Боже!
С такой невинною душой
И я бы плакал тоже.

6

Приближься, верный мой слуга!
Ты бледен: что с тобою?
Боишься ль Франка ты, врага,
Или валов прибою?
«Не думай ты, сэр Чайльд, что я
За жизнь свою робею...
Но лишь придет на ум семья,
Невольно я бледнею.

7

Жену с детьми в родной стране
    Я бросил, уезжая...
Коль дети спросят обо мне,
    Что скажет им родная?»
Слуга мой верный, прав ты, прав!
    И чту твою печаль я,
Но у меня, знать, легче нрав:
    Смеясь, пускаюсь в даль я.

8

Жены ль, любовницы ли чьей
    Не много стоит горе,
И слезы голубых очей
    Другой осушит вскоре.
Не жаль мне ровно никого,
    И в том мое проклятье,
Что нет на свете ничего,
    О чем бы стал вздыхать я.

9

И вот один на свете я
    В широком, вольном море...
Кому печаль судьба моя?
    Что мне чужое горе?
Пусть воет пес! Его чужой
    Накормит, приласкает...
Когда вернуся я домой,
    Он на меня залает.

10

Лети, корабль, и глубину
    Ты рассекай морскую;
Неси в любую сторону,
    Лишь не в мою родную!

Привет, привет, о волны, вам!
    Когда же голубая
Наскучит зыбь, — привет степям!
    Прощай, страна родная!

II

К ИНЕСЕ

Не улыбайся мне: бежит
От сумрачной души моей
Давно улыбка. Да хранит
Тебя судьба от черных дней!

Иль знать ты хочешь, что тоской
Мне точит сердце день и ночь?
Зачем?.. Лишь мир смутится твой,
А мне не в силах ты помочь.

Знай: не любовь и не вражда,
Не честолюбья глупый сон
Во мне проклятий будят стон,
Влекут неведомо куда, —

Но скука, скука мне сквозит
Во всем, что вижу, слышу я.
Мне даже красота твоя
Едва лишь сердце шевелит.

То скука вечного жида...
За гробом ничего не ждет
Душа, но лишь во мрак сойдя,
Мир вожделенный обретет.

Кто может от себя уйти?
Из края в край, все дальше в даль
Я мчусь, — повсюду впереди
Меня мой демон злой — печаль.

Все жадно гонятся кругом
За тем, что бросила моя
Душа: дай бог им жить их сном!
Да не пробудятся, как я.

А мне... мне по свету блуждать,
Да мучиться прошедшим, друг,
Да тем себя лишь утешать,
Что вызнал зло лютейших мук.

Каких? О! Знать их не желай,
И в бездну мрачную свой взгляд,
Свой светлый взгляд не устремляй:
В душе людской таится ад!

1861 или 1862

ШЕКСПИР

ШЕЙЛОК, ВЕНЕЦИАНСКИЙ ЖИД

<Сцены>

Действие 4

СЦЕНА 2

Лоренцо и Джессика.

Лоренцо

Ярка луна... В такую ночь, как эта,
Когда зефир лобзал деревья нежно
И шелест их листов не слышен был,
В такую ночь, мне помнится, Троил
Всходил на стены Трои и оттуда
Летела вздохами его душа
В стан греков, где покоилась Крессида
Его, в такую ночь.

Джессика

В такую ночь
Со страхом Тизба по росе ступала

И, тень от льва увидя прежде льва,
Бежала в ужасе.

Лоренцо

В такую ночь
Стояла с веткой ивовой в руках
Дидона на морском, на диком бреге
И тщетно ей манила в Карфаген
Неверного назад.

Джессика

В такую ночь
Волшебные в полях сбирала травы
Медея, чтобы юность возвратить
Язону старому.

Лоренцо

В такую ночь
Бежала Джéссика от старого жида
Из города Венеции с повесой
Любовником в Бельмонт.

Джессика

В такую ночь
Лоренцо-ветреник клялся, что крепко
Ее он любит; душу у нее
Украл обетами любви, а верный —
Хоть бы один обет!

Лоренцо

В такую ночь
Шалунья Джессика, болтунья злая,
На милого безбожно клеветала
И он, однако, ей простил.

Джессика

Уж я бы
Тебя сумела переночить, милый!
Но чу! шагов я чьих-то шелест слышу.

Идет Ланчилот.

<1860>

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
<Сцены>

1

СЦЕНА 4

Улица.

Входят Ромео, Меркуцио, Бенволио в сопровождении пяти или шести масок и факельщиков.

Ромео

Ну, как же? с извинительною речью
Иль так, без оправданий мы войдем?

Бенволио

На околичности прошла уж мода,
И ни амура нет у нас с глазами,
Повязанными шарфом, да с картонным
Татарским размалеванным лукóм,
Воронья пугала для юных дев...
Ни прóлога нет книжного, который
Прочли бы вяло мы при нашем входе
С подсказками суфлера. Как угодно
Суди-ряди о нас: мы станем в ряд,
Станцуем танец да и марш назад!

Ромео

Дай факел мне. Я прыгать не намерен.
Душою мрачный, понесу я свет.

Меркуцио

Ну нет, прелестный Рóмео! Ты пляши!

Ромео

Уволь! Вы в легких башмаках
И нá ногу легки к тому же;
А у меня в душе свинец
И тянет книзу: где порхать мне?

Меркуцио

Да ты ведь числишься влюбленным?
Так крылья выпроси взаймы
У Купидона — и высоко
Над нами, грешными, вспорхни.

Ромео

Его стрелой я слишком тяжко ранен,
Чтоб на крылах его порхать. Окован
Цепями, я над тяжкою печалью
Не поднимусь, паду под бременем любви.

Меркуцио

Так вывернись из-под нее наверх:
Ты груз порядочный для штуки этой нежной.

Ромео

Любовь-то штука нежная? Она
Груба, свирепа, зла, колюча, как репейник.

Меркуцио

Грубит любовь — так сам груби ты ей;
А колется — коли! Возьмешь ты верх над ней.
Подайте-ка футляр вы на лицо мне!

(Надевает маску.)

На харю — харя! Смело выдаю
Я безобразие свое теперь
Всем любопытным взорам на съеденье.
Пусть за меня краснеет эта рожа!

Ромео

Мне — факел! Пусть повесы с легким сердцем
Бьют пятками бесчувственный тростник;
Я поговорки дедовской держуся:
Кто светит, тот и видеть лучше будет...
На светлом пиршестве я темный гость.

Меркуцио

Э, полно, друг! все кошки ночью серы.
Будь тьма твоя хоть мутное болото,
Из этой, с позволения сказать,
Любовной тины вытащим тебя мы,
Хоть по уши завяз ты... Ну, пойдем же!
Мы попусту лишь тратим свет дневной.

Ромео

Какая дичь!

Меркуцио

Хочу, мессер, сказать я этим,
Что без толку теперь, как лампы днем, мы светим:
Лови ты не слова, значенье слов моих,
Цени, как и во всем, намерение в них!

Ромео

Вот, например, на этот бал собраться —
Намеренье прекрасно, может статься,
Идти же — глупо!

Меркуцио

Чем? позволь спросить.

Ромео

Сон снился мне...

Меркуцио

Мне тоже.

Ромео

Что ж снилося?

Меркуцио

Что нету складных снов.

Ромео

Или что мы нескладно их толкуем?

Меркуцио

Ого! царица Маб была с тобой!
То бабка-повитушка чар волшебных:
Является она к нам невеличка
И вся-то в камень перстня поместится;
Везут ее атомчики в запряжке
Вдоль по носам мертвецки спящих смертных.
В колесах спицы — пауковы ноги,
Верх колесницы — стрекозины крылья,
Из самой тонкой паутины — вожжи,
Из влажных месяца лучей — уздечки,
Из косточки сверчковой — кнутовище,
А кнут из жил едва заметной мошки...
Комар у ней в ливрее серой — кучер,

Немного меньше кругленького зверя,
Казнимого на ногте ночью девкой;
Колясочка у ней — пустой орешек,
Изделье хитрой белки-столяра
Да червяка-точильщика, старинных,
Извечных мастеров всех дел каретных
У фей... В таком-то виде еженощно
Она скакать изволит по мозгам
Любовников — и сны любви им снятся —
Да по ногам придворных — и поклоны
Им видятся, — иль по судейским пальцам —
И снятся судьям взятки, — иль по губкам
Синьор — и им мерещится лобзанье;
А губки те лихая Маб нередко
Прыщами покрывает, в наказанье
За разные духи да притиранье.
Иной раз скачет по носу пролаза —
И чует нос во сне местечка запах
Доходного; свиным хвостом порою
У спящего дьячка щекочет ноздри —
И грезятся во сне ему поминки;
Иль по солдатской шее пронесется —
И видятся солдату вражьи раны,
Засады, да осады, да клинки
Испанские, да чарка водки в четверть
Хорошую... и барабанный грохот
В ушах его... И вот он встрепенулся,
Проснулся... ничего! Молитву шепчет
И вновь заснул. Она же, эта Маб,
У ко́ней ночью гривы заплетает,
В них с наговором колтуны свивает;
И колтуны волшебные развить
Боится всяк, чтоб худа не нажить.
Она же всё...

Ромео

Ну, будет, друг Меркуцио,
Несешь ты бред.

Меркуцио

Ну да! О бреде снов,
Больного мозга праздных порождений,

Воображения беспутного детей,
Как воздух невещественных, как ветер
Изменчивых, который то ласкает
Грудь ледяную севера, то вмиг,
В порыве яром, прилетит оттуда
И быстро оборачивает к югу,
Еще росой увлаженному, лик.

Бенволио

Должно быть, что и нас занес твой ветер
Бог весть куда. Придем на ужин поздно.

Ромео

А я боюсь, не рано ли? Душа
Предчувствует, что нечто роковое,
Звездой определенное моей,
Начнет свершаться надо мною с этой
Веселья ночи — и презренной жизни,
В груди моей замкнутой, нить порвет
Безвременно одним ударом быстрым...
Но — правящий ладьи моей рулем
Да руководит парус мой! Идем!
Вперед, мои веселые синьоры!

Бенволио

Трам-трам! бей в барабан!

Уходят.

2

СЦЕНА 8

Келья Фра Лоренцо.

Входит Лоренцо.

Лоренцо

Ясная улыбка зорьки сероокой
Хмурую уж гонит ночь и золотит
Полосами света облака востока,
И, редея быстро, в ужасе бежит
Прочь с дороги солнечной, шатаясь словно спьяна,
Мрак пред колесницею светлого Титана.
Но пока горящий закрывает свой

Взор еще дневное жгучее светило
И не будит мира, и росы ночной
На траве зеленой капель не спалило, —
Надо понабрать мне в кузовочек мой
Всяких трав опасных, лютого коренья
И цветов с бесценным соком исцеленья.
Мать земля всем тварям и могила им;
Где родное недро тварей — там и гробы!
Чад многообразных мы повсюду зрим,
Из одной родимой вышедших утробы
И равно сосущих грудь земли, живым
Молоком обильную, и без исключенья
Важного исполнены все они значенья,
Бесконечно ра́знятся. О! сколь велика
Сила благодатная в качествах цветка,
Камня и растения!.. Сколь ни низким зрится
Что-либо живое нам, всё земле годится.
Нет равно и доброго, что бы не могло,
Уклонясь от правильной цели назначенья,
Сделаться источником злоупотребленья.
Добродетель самая обратится в зло,
Если путь, ей избранный, в деле жизни ложен,
Делом же нередко порок облагорожен.
Вот цветочка этого чашечка таит
Яд в себе и мощное средство исцеленья.
Ты его понюхай — силы оживит;
Но вкуси — и все твои мертвы ощущенья!
В сердце ль человеческом, иль в цветке равно
С благодатью смешано воли злой начало...
Если перевес оно в твари удержало,
Смертию быть пожранной твари суждено!

8

СЦЕНА 13

Комната в доме Капулета.

Входит Джульетта.

Джульетта

О кони огненогие! Спешите
Вы вскачь к жилищу Фебову! Когда бы
Был Фаэтон возницею, давно

Угнал бы вас он к западу, и ночь
Тенистая спустилась бы на землю.
Покров густой, о ночь — приют любви,
Раскинь скорей, чтобы людские взоры
Закрылись и Ромео трепетал
В объятиях моих, никем не зримый,
Не порицаемый. Светло с избытком
Любовникам среди восторгов их
От блеска собственной красы, — и если
Любовь слепа, тем лучше ладит с ночью.
Приди же, о торжественная ночь,
Ты, величавая жена, вся в черном, —
И проиграть, выигрывая, ты
Меня к игре таинственной, которой
Две непорочности залогом служат,
Наставь, о ночь! Прилив нескромной крови
Закрой ты на щеках моих своей
Мантильей черною, пока любовь,
Сначала робкая, смелей не станет,
Не обратится в долга чистоту.
Придите, ночь и Ро́мео, ты, мой день в ночи:
День потому, что прилетишь
На крыльях ночи ты белей, чем первый снег
На перьях ворона... Голубка ночь,
Ночь ласковая с черными очами!
Подай мне Ромео моего, а если
Умрет он, ты его тогда возьми,
На мелкие на звездочки разрежь,
И свод небес так ярко озарится,
Что влюбится весь мир в тебя, о ночь,
И перестанет дню тщеславному молиться...
О! дом любви себе купила я,
Но не владею им еще: сама
Я куплена, но не взята доселе...
Так скучен этот день, как ночь под праздник
Скучна нетерпеливому ребенку,
Которому обновку сшили, а надеть
Обновки не дают... О! вот идет
Кормилица.

4

СЦЕНА 16

Спальня Джульетты.

Входят Ромео и Джульетта.

Джульетта

Уж ты идешь? Еще не скоро день...
То соловья, не жаворонка голос
В твой боязливый слух вонзился звоном...
Ночью всегда поет он на гранате:
Поверь мне, милый, это соловей!

Ромео

Нет! жаворонок это — вестник утра,
Не соловей! Взгляни, любовь моя:
Завистливые проблески уж ярко
Край облаков востока золотят...
Сгорели свечи ночи, день веселый
Встал на дыбки на высях гор туманных...
Идти и жить мне надо, иль остаться
И умирать!

Джульетта

Тот блеск — не свет дневной.
Я это знаю, знаю хорошо.
То — метеор от испарений солнца,
Чтобы тебе в ночи светить, как факел,
И в Мантую дорогу озарять.
Останься же, идти еще не время!

Ромео

Ну, пусть меня возьмут, влекут на смерть!
Доволен я, коль ты того желаешь!
Да! этот серый свет — не утра взор,
То — Цинтии чела лишь отблеск бледный,
И то не жаворонок высоко над нами
Под сводом неба громко зазвенел...
И больше, больше у меня желанья
Остаться здесь, чем воли уходить.
Приди ты, смерть: привет тебе! Джульетта
Так хочет. Жизнь, душа моя! Ну, что же?
Давай же говорить... еще не день.

Джульетта

То день, то день! Увы! беги скорее!
То жаворонок звонко дребезжит
И резкие, нескладные свои
Нам звуки сверху сыплет... Вот, ведь лгут же,
Что делит песнь он сладко на лады:
Он наш с тобою лад теперь расстроил...
И говорят еще вот, что он с жабой
Глазами поменялся... О! зачем
Они и голосами не сменялись?
Тот голос руку от руки твоей
Мою отторгнул... Трескотней своей
Передрассветною тебя он изгоняет...
Беги... Всё ярче, ярче рассветает.

Ромео

Всё ярче? Наше горе — всё темней.

Входит кормилица.

Кормилица

Синьора!

Джульетта

Что, кормилица?

Кормилица

Идет к вам,
Синьора, ваша матушка сюда.

(Уходит.)

Джульетта

Окно! впускай же солнце ты, и жизнь
Ты выпусти мою!

Ромео

Прощай, прощай!
Один лишь поцелуй — и я спущуся.

(Спускается из окна.)

Джульетта

Ушел ты... милый! господин мой! муж мой!
Мой друг! Я каждый час во дню должна

Весть от тебя иметь... В минуте много
Дней для меня... Ах! если так, стара
Я буду, как увижу Ромео снова.

Ромео

Прощай! Не пропущу, любовь моя, ни разу
Я случая поклон тебе прислать.

Джульетта

О! как ты думаешь, мы свидимся ли снова?

Ромео

Не сомневаюсь я, и горе наше будет
Нам в будущем бесед предметом сладким.

Джульетта

О боже! Дух живет во мне зловещий,
И кажешься теперь, когда внизу ты,
Мне мертвецом во глубине могилы:
Иль лгут глаза, иль бледен ты ужасно.

Ромео

И мне, любовь моя, такою ж точно
Ты кажешься, поверь! Сухое горе
Кровь нашу пьет... Прощай! прощай!

(Уходит.)

Джульетта

О счастье, счастье! Всё тебя зовут
Непостоянным... Если в самом деле
Ты таково, какое может дело
Быть до того тебе, кто постоянством,
Как Ромео, славен? Будь непостоянно!
Его держать, надеюсь я, не будешь
Ты долго при себе, а отошлешь
Назад ко мне..

1864

С ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО

СОФОКЛ

АНТИГОНА

<Отрывки>

Первый хор

Гелиоса луч, никогда
Седмивратному городу
Фивам ты не сиял таков,
Как являешься ныне нам,
    Око златого дня,
На волнах диркейских ты, гордый странник.
Ты врага, который пришел
    Из Аргоса с белым щитом,
Гнал отсель так, что звенья брони
    Друг о друга стучали;
Подвигнут он был на наши поля
Враждой Полинейка с родною страной;
    С диким криком он,
Как орел, на страну с облаков налетел,
На крыльях спустился белых, как снег,
    Бронею облит
И с конскою гривой на шлеме.

На зубчатой ограде стен
Седмивратного города
    Он жадным мечом грозил;
Но бежал, не упившийся
Кровью нашею, он,
Не успел он наших стен осветить

Свещником Гефеста — огнем,
И пред Аресом обратил
Враг кровожадный свой тыл — устоять
Мог ли против дракона?
Да! Зевс всем гордящимся силой своей
Враг издавна был... Как некий поток
Стремящихся он в гордыне узрел,
И громом своим низложил он того,
Чей победный крик
На зубцах уже стен раздавался.

На землю пал ниспроверженный огненосец,
Пал пораженный со стен наших он, который,
Словно буря, летел,
Упоен победой своею.
Смерть сразила его.
Многим на долю
Смерть досталась; был нам бог хранитель
Ар́ес великий,
Зане семь вождей, у седми наших врат,
С врагами сражаяся в равном числе,
Оставили Зевсу трофеи свои.
Только страшные те — отца одного
И матери чада одной — в бою
Поразили друг друга, обоих равно
Ожидала от века погибель.

Но уж победа с челом лучезарным Фивам
Колесницебогатым смеется; град свободен,
И должны мы теперь
Страшный бой забвенью предать;
С радостным криком мы
Пред алтарями
Хорами ходим ночными... нас ведет Дионисос,
Фив защититель.
Но Крэон идет с толпою сюда,
Сын Мёнекея, страны властелин,
Вышней волей богов дарованный нам
Владыкой; с тяжелой он думой идет,
Недаром торжественно созвал он
На собранье сюда
Чрез глашатая старцев совет!

Второй хор

Много сильного есть; ничего
Человека сильнее нет:
Через бездны моря летит
Он под шумом и свистом бурь
И вкруг шумящие волны
Рассекает веслом.
И мать богов, старейшую, он
Землю — неистощимую, вечную —
Плугом браздящим своим покорил себе
И копыт кониных силой.

Стаи легкокрылатых он
Хитро в сети мог уловить,
И зверей мог диких стада
Оковать он — и рыб морских
Поймать мог невода сетью,
Многосведущий он.
Он хитростью властитель вольных
Горных зверей и коня долгогривого,
Гордую шею под иго склонившего,
И мулов неутомимых.

Он слово нашел — и открыл
Искусство сплетенья речей
И обществ законы. Когда зимою
Поля пустеют, — себе
Нашел от дождя он приют,
Вечно мудрый.
Никогда грядущим он врасплох не поймач.
От Га́деса только он не избегает,
И против язвы даже злой
Знает средство.
Исполнен превыше границ
Творящей способности он;
Равно он наклонен к добру и ко злу;
Когда бессмертных он чтит
И чтит отчизны закон,
Чтим он сам;
Но творящий злое ненавистен

Родной стране. Да не разделит он
Со мною хлеб мой и очаг.
Будь он проклят!

О, страшное зрелище! Сердце мое,
Когда бы могло, хотело б не знать,
Что дева сия — Антигона,
Несчастная ты,
Отца несчастного Эдипа дитя.
Увы! ужели застигнута ты
В преступлении против власти царя
И в безумно-слепом ослушаньи?

Плач Антигоны

Антигона

О, смотрите, граждане родной стороны,
Как последний мой путь
Совершаю я и последний луч
Гелиоса сияет мне;
Мне не видать его... Живую меня
Га́дес, всё усыпляющий, к берегам
Ахерона ведет;
Не прозвучат Гименея мне
Песни — не расцветут никогда
Цветы его!
Ахерон только будет супругом мне!

Хор

Но не в славы ль лучах нисходишь ты
В недра мрачные смерти царства;
Не болезни тебя в могилу свели,
Не меч поразил тебя, — сама над собою
Владычица — в Га́дес нисходишь,
Из смертных, быть может, единая.

Антигона

Слыхала я о горестной смерти во Фригии
Дочери Тантала.
На выси Сипильской горы
Из утеса выросший камень

Крепко, как плющ, обвил ее,
И дождями она, по преданиям,
Омывается.
И с груди ее вечный не сходит снег,
И, ей подобно,
Каменистый утес будет ложе мое.

Хор

То богиня была — от богов рождена;
Мы же — смертные, чада земли;
Но великая слава с богами делить
Смертный жребий единый.

Антигона

Увы мне — смеетесь вы... но, ради бессмертных, зачем
Над живою еще
Вы насмехаетесь?
О град, о вы, в граде
Мужи живущие,
Увы! Увы!
Потоки диркейские, рощи священные
Колесницебогатых Фив,
Будьте мне во свидетельство,
Как, неоплакана, по закону жестокому,
В душный я гроб нисхожу...
О! увы мне, увы мне!
Ни людей, ни теней — сестре,
Ни живущих, ни мертвых!

Хор

Поступком дерзостным своим
Богини правды вечный трон,
Дитя, оскорбила глубоко ты
И несешь отца беззакония.

Антигона

Из печалей сильнейшую пробудил ты — память
Отца несчастного;
И память о жребии
Нас, Лабдакидов,
Славой венчанного рода;

Увы! о ты,
Беззаконие первое, ты, объятие
Матери с отцом моим,
Ей же, несчастной, рожденным!
И я родилась от союза того,
И к ним иду я, безбрачная,
Проклятием пораженная.
Увы! несчастно
Избрал ты, брат мой, себе супругу.
И, даже умерший, ты жизнь отнимаешь.

Хор

Хвалы достойно мертвецам
Служить; но власть пренебрегать
Никогда к добру не приводит:
Твое сердце само тебя осуждает.

Антигона

Увы! неоплаканную, без друзей, без супруга жившую,
Ведут меня в неизбежный путь;
Никогда неба ясного
Не увижу я, бедная.
Слез надо мною не будут лить,
И друзья не вздохнут обо мне.

<1846>

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ А. А. ГРИГОРЬЕВУ

À VIARDOT-GARCIA

Dream and vision as thou art —
I bless thee with a human heart...

Wordsworth [1]

Чадо пламенного Юга!
О, надолго ли судьба
С нашим небом, с нашей вьюгой
Познакомила тебя?
Из-под солнца цвет отрадный
Занесла на Север хладный?
Как ты сумрак наш своим
Посещеньем усладила!
Гостья дивная! Каким
Всю тебя огнем святым
Сердце русских полюбило!..
Много с дальних рубежей
Приносилось к нам гостей,
В тайны звуков посвященных,
Но как ты — никто из них
Не видал от нас таких
Взрывов сердца исступленных!

Что́ из благ своих на часть
Небеса земле послали;
В чем такая дышит власть,
В чем и радость, и печали
Ищут отдыха порой;

[1] Кто бы ты ни была, мечта или виденье, я благословляю тебя человеческим сердцем. Вордсворт (англ.). — *Ред.*

Чтó, смиряя сердца бури,
На него покой лазури
Навевает и с собой
На рубеж другого света
Увлекает нас — всё это,
Всё в тебе воплощено!
Вся ты — неба достоянье,
Вся — мелодия! Дано
Лишь тебе очарованье
Оживить так идеал,
Чувством созданный Беллини,
Ты мечта его. В Амине
Он тебя воображал.
Вопль души — твоя стихия.
Для тебя он неземные
Эти слезы создавал,
Эти пламенные муки,
Эту негу, эти звуки,
Западающие в грудь
Усладительным потоком
Так глубоко, так глубоко!!
Не предчувствия ли грусть
Изливал он в них? Так рано
Дуновеньем урагана
Цвет роскошный поражен!

Кто от рока утаится?
О, кто мысли не страшится,
Что тому, кто наделен
Всем *прекрасным* так, — сужден
На земле удел непрочный.
Как зарницы полуночной,
Гибнет след его на ней!

Лаву чувств в душе твоей
Пламенит огонь священный;
И она ли не должна
Быть возвышенна, стройна,
Как гармония вселенной?..

Теша грезою себя,
За какое-то виденье

Любит, дивная, тебя
Принимать воображенье.
За какой-то светлый дух,
За чарующий так слух
Звук пленительный, нездешний,
Заронившийся на грешный
Мир с заоблачных равнин,
Звук божественный, один
Из аккордов этих дивных,
На которых глас отзывный
Сфера сфере подает!

Столько чар и света льет
Этот голос безыменный!
Невещественный металл,
Этот радужный кристалл,
Влагой неги освеженный!
Как страсть сердца — сладок он,
Как мечта о небе — полн
Так мелодии и света!
Райский гость! в далекий край
Ненадолго улетай
Ты от русского привета.
Так же там тебя поймут;
Так же там тебя оценят;
Но, быть может, не заменят
Нашей ласки; не дадут
Восхищеньям волю ту же.
Русский весь душой наруже.
Дань прекрасному всему
Воздавать он любит шумно:
Этот грохот, гул безумный
На привет тебе — ему
Светлый праздник, — то радушный
Дар семьи единодушной.

И умчишься ль к берегам
Ты далеким — до свиданья
Лучшим благом будет нам
О тебе воспоминанье.
След твой с сердцем будет слит.
Полон чарою могучей,

Нас надолго окружит
Мир знакомых так созвучий.
Не прожгли они кого?
Чувств в какой не влили камень
«Incolparne»[1] стон и пламень
«Mi abbraccia»[2] твоего?..

6 февраля 1844

ДУМА

Есть гнусные, нечистые мечты,
Чудовищных страстей чудовищные чада;
Порой бурлят они, как духи в бездне ада,
Во глубине душевной пустоты.
Есть темные, убийственные думы —
Сердечных соблазнов греховные плоды;
Лелеет их во тьме порок угрюмый,
Чертя на совести кровавые следы.
Есть смрадные восторги наслажденья,
Есть ядовитая роса умильных слез,
Есть смутные, живые сновиденья,
Осуществленные исчадья сладких грез.
И это всё мгновенно зачумляет
И жжет и пепелит наш благодатный мир,
Когда безумная любовь нас окриляет
И жажде чувств дарит роскошный пир;
И в этот бедственный недуг очарованья
Влечет нас блеск ничтожной красоты...
Когда ж замрут в груди кипучие желанья
И пропадут коварные мечты,
В то время мы дарим кумиру обожанья
Раскаянья нагробные цветы...

<1846>

ВОСПОМИНАНИЕ ДЕТСТВА

Унеслися вы, дни золотые,
Не вернуться ко мне вам опять;

[1] Обвинять в этом (итал.). — *Ред.*
[2] Обними меня (итал.). — *Ред.*

Дали мне вы лишь грезы пустые
Да возможность о вас вспоминать.

И я часто об вас вспоминаю,
И об вас я нередко грущу;
Мне вас жаль, я возврата желаю
И прошедшего счастья хочу.

Я хочу того детского счастья,
Что так мило, наивно, светло,
Что во всех возбуждает участье...
Но уж время его унесло!

Я жалею о грусти минутной,
Омрачавшей мне сердце подчас,
О тоске бессознательной, смутной,
Но источник ее уж погас.

Я жалею о снах безмятежных,
Снах прозрачных и чистых, как день;
О виденьях невинных и нежных,
Не имевших страстей даже тень!

Где тот помысел детский, но милый,
Где тех игор младенческих ряд?..
К ним охота уж ныне остыла,
Заменил их собою разврат!

И взираю бессильным я взором
На всё то, что пленяло меня;
И звучат мои мысли укором:
«Для чего я опять не дитя?..»

<1859>

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Аполлона Григорьева вышел только один сборник его стихотворений в 1846 г. мизерным тиражом — 50 экземпляров. Все написанное им позднее оставалось несобранным в течение долгих лет. Лишь в 1916 г. Александр Блок, высоко ценивший поэтическое дарование Григорьева, выпустил объемистый том его стихотворений, куда вошли лирика, поэмы, драма «Два эгоизма», переводы. Блоку пришлось разыскивать произведения Григорьева в различных журналах 1840—1860 гг., и надо сказать, что эта работа, так же как и подготовка текстов, была выполнена им с большой тщательностью и умением.

Книжка «Стихотворения Аполлона Григорьева» (СПб., 1846) была разделена на два отдела — «Гимны» и «Разные стихотворения», напечатанные автором без соблюдения хронологии. Исходя из того, что такой порядок был «избран самим поэтом», Блок решил его сохранить в своем издании, дополнив имевшиеся в сборнике 1846 г. эти два раздела новыми: «Разные стихотворения. II», куда вошла лирика, созданная Григорьевым после 1845 г., «Драма» («Два эгоизма»); «Поэмы», «Переводы» (не вошедшие в книжку 1846 г.).

Издание под редакцией Блока, с его же вступительной статьей и комментариями, и по сей день представляет собой весьма ценное собрание поэтического наследия Григорьева. Однако в настоящее время оно уже не может считаться удовлетворительным ни с точки зрения полноты охвата стихотворных текстов поэта, ни с точки зрения текстологической.

Блоку остались неизвестными некоторые весьма значительные оригинальные стихотворения Григорьева и переводы. Помимо неучтенных им стихотворений и переводов Григорьева, разбросанных по периодическим изданиям, мы имеем возможность включить в настоящий сборник ранее не публиковавшиеся стихотворные произведения поэта.

В Центральном гос. архиве литературы и искусства (в фонде Ф. И. Тютчева) удалось разыскать два альбома, содержащих большое количество автографов — стихотворных текстов Григорьева.

Стихи поэта в обоих альбомах относятся к 1857—1858 гг., к периоду его пребывания в Италии. Если в первом альбоме[1] стихотворения Григорьева весьма легковесны по содержанию и небрежны по выполнению (в них встречаются лишь отдельные строки и строфы, обладающие присущей лучшим стихам поэта выразительностью), то его стихотворения во втором альбоме («Хоть тихим блеском глаз, улыбкой, тоном речи...», «Аккорд in Fa major», «К мадонне Мурильо», «Песня сердцу», «Песня Киске», «Страданий, страсти и сомнений...», «Отзвучие карнавала», Прощай и ты, последняя зорька...», «К Мадонне Мурильо в Париже», «Мой старый знакомый, мой милый альбом...») представляют собой вполне законченные произведения. Часть из них (3 стихотворения) была опубликована поэтом в цикле «Импровизации странствующего романтика», остальные семь стихотворений публикуются в настоящем издании впервые.

Данное издание существенно отличается от сборника 1916 г. и в текстологическом отношении. Иногда Блок без всякой аргументации отдавал предпочтение не последней прижизненной авторской редакции произведения, а более ранней; в ряде случаев последняя редакция была ему неизвестна. Так, например, переводы Григорьева из Беранже (пять из семи имеющихся) Блок напечатал по тексту первых публикаций, не зная, что они были переработаны и вновь опубликованы поэтом в 1861 г. (в ЦГАЛИ хранятся автографы всех семи переводов в этой новой редакции).

Отходим мы и от композиции сборника 1916 г. Конструктивный принцип издания Блока — порядок, «избранный самим поэтом», — был в нем осуществлен лишь частично. Например, поэма «Олимпий Радин», входившая во второй раздел сборника 1846 г., была перенесена Блоком в раздел «Поэм»; из цикла «Борьба» он перенес одно стихотворение в раздел «Переводов». В 1859 г. Григорьев напечатал вместе все шесть своих переводов из Гейне, но в издании 1916 г. четыре из них оказались в основном тексте, а два в примечаниях.

При подготовке данного издания стихотворений Григорьева принято во внимание то, что недавно установлен источник всего цикла «Гимнов», которым открывались издания 1846 г. и 1916 г. Это — переводы масонских песен. И хотя в начале своей поэтической деятельности Григорьев, по-видимому, придавал «Гимнам» важное значение и даже открыл ими свою книжку 1846 г., произведения эти целесообразно отнести в раздел переводов.

Все это явилось основанием для того, чтобы в настоящем издании избрать хронологический принцип расположения материала внутри жанровых разделов. Вслед за лирикой, составляющей пер-

---

[1] Первый альбом (он открывается стихами Григорьева «Интродукция к альбому Ольги Александровны») принадлежал О. А. Мельниковой, в замужестве Тютчевой (1830—1913). По-видимому, и второй альбом принадлежал какому-то другому лицу из семейства Мельниковых. Оба альбома поступили в ЦГАЛИ от О. Д. Тютчевой (в замужестве — Дефабр), дочери Д. Ф. Тютчева (сына поэта Ф. И. Тютчева) и О. А. Тютчевой (Мельниковой).

вый раздел настоящего издания, помещена драма «Два эгоизма», а затем идут написанные после нее поэмы и наконец переводы. В этот последний раздел включены не только переводы лирической поэзии, но и отрывки из переводов стихотворных драматических произведений. Над этими переводами Григорьев работал годами, он придавал им принципиальное значение, и, по верному замечанию Блока, «почти все переводы Григорьева, как и оригинальные стихи, составляют часть души его».

Все произведения Григорьева, вошедшие в сборник 1846 г., за исключением особо оговоренных случаев, печатаются по этому изданию. Остальные, как правило, — по журнальным публикациям. При подготовке текстов проведена сверка с весьма немногочисленными рукописями поэта, хранящимися в ЦГАЛИ и Институте русской литературы АН СССР. Учтены и приняты конъектуры, сделанные Блоком в тексте нескольких стихотворений, что каждый раз особо оговаривается в примечаниях.

В тех случаях, когда отсутствует авторская датировка произведений, мы основывались на косвенных данных и на датах их опубликования. Лишь в 1843 г. у Григорьева накапливалось много стихов, не появлявшихся в свет, — они были опубликованы в следующем 1844 г. Но уже с середины этого года у него была возможность печатать свои новые произведения по мере их создания, а постоянная нужда только способствовала этому. Таким образом, начиная с этого года, между датами написания стихотворений и временем их появления в свет, как правило, большого разрыва уже быть не могло. В тех случаях, когда стихи автором не датированы и дата определяется по времени появления стихотворений в печати, она заключена в угловые скобки. Подпись в примечаниях не указывается лишь тогда, когда стихотворение было подписано полным именем автора.

В комментариях, кроме необходимых библиографических и текстологических сведений, приводятся иногда первые печатные редакции или рукописные варианты — когда они могут дать представление о направлении и характере переработки Григорьевым своих стихотворений. В реальном и историко-литературном комментарии мы сочли необходимым, правда лишь в немногих случаях, остановиться на именах и явлениях, казалось бы, в той или иной мере известных, но к которым у Григорьева было свое особое, подчас весьма сложное, отношение, так или иначе отразившееся в его поэтическом творчестве. Сделать это было тем более необходимо потому, что Григорьев-поэт (как, впрочем, и критик) мало изучался и данное издание является первой после революции попыткой представить вниманию советского читателя в почти полном виде его поэтическое наследие (список немногих слабых в художественном отношении произведений поэта, не включенных в настоящее издание, см. на стр. 589).

За ценную помощь в подготовке настоящего издания выражаем глубокую благодарность Б. Я. Бухштабу, указавшему нам на следующие стихотворения, не входившие в прежние издания произведений Григорьева: «Всеведенье поэта», «Ожидание», «Из Ювенала», «С тайной тоскою...», «Автору „Лидии" и „Маркизы Луиджи"».

Условные сокращения, принятые в примечаниях:

Альбом I, II — Альбомы, хранящиеся в Центральном гос. архиве литературы и искусства (Москва). Фонд 505, оп. 1, ед. хр. 199 и оп. 2, ед. хр. 1.
БдЧ — «Библиотека для чтения».
«Воспоминания» — Аполлон Григорьев. Воспоминания. М.—Л., 1930 <воспоминания Ап. Григорьева и воспоминания о нем>.
Изд. Блока — Стихотворения Аполлона Григорьева. Собрал и примечаниями снабдил Александр Блок. М., 1916.
Материалы — Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. Под ред. Влад. Княжнина. Пг., 1917.
МГЛ — «Московский городской листок».
М — «Москвитянин».
ПД — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР.
ПССБ — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, тт. 1—12. М., 1953—1958.
Р и П — «Репертуар и Пантеон».
Сб. 1846 г. — Стихотворения Аполлона Григорьева. СПб., 1846.
СО — «Сын отечества».
Фет — А. Фет. Ранние годы моей жизни. М., 1893.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва). Собрание рукописей А. А. Григорьева (фонд № 160).

СТИХОТВОРЕНИЯ

Е. С. Р. (стр. 81). Впервые — сб. 1846 г., стр. 72. В автобиографическом рассказе Григорьева «Офелия» (Р и П, 1846, № 1, стр. 20—34), между прочим, изложена история его любви к своей «крестовой сестре» Лизе, которая, как оказалось, была влюблена в А. А. Фета (в студенческие годы Фет жил совместно с Григорьевым на антресолях дома Григорьевых). В повести «Другой из многих», где тоже использован автобиографический материал, один из героев, Иван Чабрин (в нем Григорьев воспроизвел черты своей личности), напоминает в письме к ротмистру Зарницыну (в котором легко угадать Фета) об их совместной жизни «с нашею любовью... общею, как всё для нас когда-то» (МГЛ, 1847, № 244, стр. 977). К предмету этой любви, «крестовой сестре» Лизе, и относится данное стихотворение.

«Нет, за тебя молиться я не мог...» (стр. 81). Впервые — Р и П, 1844, № 9, стр. 503, без подписи. Вошло в сб. 1846 г. Связано с той же Лизой, обозначенной в предыдущем стихотворении инициалами «Е. С. Р.». В автобиографической поэме «Студент», написанной после смерти Григорьева, Фет рассказывает о том, как Лиза выходила замуж, и о последовавших за этим драматических событиях, в которых он стал главным героем. Между

прочим, речь идет о том, как родители Лизы, сама невеста и ее жених, армейский офицер, приехали в дом Григорьевых. Отец невесты обращается к Фету:

Мы с Лизою решились вас просить
С крестовым братом шаферами быть.
Ты, Лизанька, уж попроси сама,
Вы, кажется, друг другу не чужие,
Старинной дружбой связаны дома,
А с крестным братом даже и родные...

Затем в поэме дано описание свадьбы (с некоторыми ироническими деталями, ибо один из шаферов, Фет, еще нисколько не подозревает, что невеста влюблена в него; признание состоялось уже на свадебном балу), завершающееся следующими строками:

Вот повели кругом их наконец,
И я топчусь, держа над ней венец.

(А. А. Фет. Полн. собр. стихотворений. Л., 1937, стр. 490—493). Этому же моменту посвящено совсем по-другому окрашенное стихотворение второго, влюбленного в невесту, шафера — Григорьева.

Доброй ночи (стр. 82). Впервые — М, 1843, № 7, стр. 5, за подписью: А. Трисмегистов. Вошло в сб. 1846 г. Этот псевдоним взят Григорьевым из романа Жорж Санд «Графиня Рудольштадт», являющегося продолжением романа «Консуэло». Муж героини граф Альберт умирает, но в новом романе оказывается, что он лишь впал в летаргический сон. Оживший Альберт скрывается под именем «Трисмегист». В семье Корш, постоянным посетителем которой был Григорьев, роман «Консуэло» пользовался особым признанием. Антонина Корш, обращаясь к Григорьеву, называла его «графом Альбертом» (Материалы, стр. 11). В романе Жорж Санд Альберт — один из главарей ордена «Невидимых», близкого к масонству. Вместе с тем в проповеди Альберта явственны отголоски идей утопического социализма. Таким образом, псевдоним «А. Трисмегистов» связан, по-видимому, с масонскими и жорж-сандистскими увлечениями Григорьева (см. об этом: В. Н. Княжнин. Аполлон Григорьев — поэт. «Русская мысль», 1916, № 5, стр. 20; В. Н. Княжнин. Аполлон Александрович Григорьев. «Литературная мысль», сб. 2, Пг., 1923, стр. 143; Б. Я. Бухштаб. «Гимны» Аполлона Григорьева. «Ученые записки Саратовского гос. университета», т. 54, выпуск филологический, 1957, стр. 197—199). Б. Я. Бухштаб отметил сходство этого стихотворения Григорьева со стихотворением Фета «Лихорадка», где говорится о том, как

...Сестры, девять лихоманок,
Часто ходят по ночам.

Вишь, нелегкая их носит
Сонных в губы целовать!
Всякой болести напросит
И пойдет тебя трепать.

Отметив, что в обоих стихотворениях «обща не только тема, но, по-видимому, оба поэта пользовались одним и тем же материалом и при сопоставлении их стихотворения производят впечатление написанных в порядке поэтического состязания», Б. Я. Бухштаб указал на то, что в книге М. Д. Чулкова «Абевега русских суеверий» говорится о девяти крылатых сестрах «лихоманках-лихорадках», прилетающих к спящим людям и «одним мечтательным поцелуем» причиняющих им беду (А. А. Фет. Полн. собр. стихотворений. Л., 1937, стр. 705—706).

Обаяние (стр. 83). Впервые — Р и П, 1844, № 6, стр. 628, за подписью: 1. 4. (цифры соответствуют инициалам поэта: А — 1-я, Г — 4-я буквы алфавита). В исправленном виде — сб. 1846 г., стр. 102. В журнале 4 — 6 строфы читаются:

И снится, стремления полный,
Без цели ношуся я в море,
И сердце баюкают волны,
Качая ладью на просторе...

Но чаще мне снится иное —
Та жизнь без сознанья и цели,
Когда, под рассказ усыпляя,
Качали меня в колыбели...

И очи мне светят приветно,
И льют свою чудную влагу;
А лепет о жизни заветной
Мне шепчет забытую сагу...

История трагической любви Григорьева к Антонине Корш, вышедшей замуж за К. Д. Кавелина (см. вступ. статью, стр. 8), нашла свое отражение в «Листках из рукописи скитающегося софиста» («Воспоминания», стр. 165—198), в рассказах «Человек будущего» (Р и П, 1845, № 6), «Мое знакомство с Виталиным» (Р и П, 1845, № 8). В последнем рассказе Григорьев вывел себя под фамилией Виталина, Антонину Корш — под именем Антонии, Кавелина — под фамилией Валдайского. Тема этой трагической любви присутствует в целом ряде стихотворений Григорьева 1843—1845 гг.: «Обаяние», «Комета», «Вы рождены меня терзать...», «Волшебный круг», «Нет, никогда печальной тайны...», «О, сжалься надо мной!..», «Над тобою мне тайная сила дана...», «К Лавинии» («Что не тогда явились в мир мы с вами...»), «Женщина», «К Лавинии» («Для себя мы не просим покоя...»), «Нет, не тебе идти со мной ...», «Призрак», «Вопрос», в поэме «Олимпий Радин».

Комета (стр. 84). Впервые — Р и П, 1844, № 8, стр. 183, за подписью: 1. 4. Вошло в сб. 1846 г. Один из рецензентов этой книги писал: «Комета — замечательное произведение: чем больше читаешь его, тем сильнее поражает его содержание» («Финский вестник», 1846, № 9, Смесь, стр. 48). Через три года после написания этого стихотворения Григорьев в повести «Один из многих»

так характеризовал столичное общество: «В Москве и Петербурге есть барышни, в Москве есть барыни, в Петербурге есть чиновницы; но ни в Москве, ни в Петербурге нет женщин, не родятся женщины — почва такая! А если и появится женщина, то ведь и там и здесь, по слову Пушкина, — она беззаконная комета в кругу расчисленных светил» (Р и П, 1846, № 8, стр. 86). Григорьев здесь цитирует стихотворение Пушкина «Портрет», с которым, несомненно, связана «Комета» (см. вступ. статью, стр. 34). Но это стихотворение перекликается не только с Пушкиным. Принято считать, что лишь в нескольких стихотворениях «гражданского» направления («Город», «Нет, не рожден я биться лбом...» и др.) отразились в творчестве Григорьева идеи утопического социализма. На самом деле воздействие передовых идей начала 1840-х гг., своеобразно преломившееся, ощущается и в стихотворениях личного, интимно-лирического плана, в «Комете» и в других примыкающих сюда стихотворениях: «Над тобою мне тайная сила дана...», «Призрак». Здесь развивается тема роковой, «зловещей, но прекрасной», «полной раздора» звезды, вторгающейся в гармонический звездный мир. Своим «неправильным» полетом комета разрушает гармонию, сея вокруг себя «искушенье» и «страданье». Но это — не бесплодное страдание, ибо через «борьбу и испытанья» оно ведет к «очищению» и «самосозданью», Самый «образ» кометы и такая трактовка его поэтом соотносятся с идеями Фурье, приобретавшими в эти годы огромную популярность в определенных кругах русской молодежи (см. П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 302). Идеи утопического социализма Григорьев воспринимал и в том их преломлении, которое они получили в романах Жорж Санд «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт». Смысл полемической направленности «Кометы» и некоторых других, названных выше, стихотворений Григорьева прояснится, если вспомнить, что главной особенностью движения и в природе, и в обществе Фурье считал «двойственность», которая определяется двумя началами: добром и злом. «В звездном мире, — говорил Фурье, — разрушительное начало царит среди разобщенных небесных светил, называемых кометами», а «принцип гармонии царит среди объединившихся звезд, называемых планетами». Фурье находил аналогию между общественным движением и движением звезд. Человек для него — «зеркало мира». Объясняя индивидуальную и социальную жизнь человека, он поэтому считал нужным пользоваться умозаключениями, которые основываются на законах материального мира. В человеческом обществе Фурье видел то же двойственное движение — разрушительное и гармоническое, что и в природе. Он считал, что «кометы, устройство которых сегодня разрушительно и бессвязно, в один прекрасный день перейдут, подобно планетам, в гармоническое состояние. Точно так же и человеческие общества, сегодня находящиеся в периоде разрушения, лжи и раздора... скоро перейдут в период гармонии и единения» (Ch. Fourier. «Le nouveau monde», Oeuvres complètes, tome 6, Paris, 1848, p. 446; об этом же Фурье говорит и в других сочинениях; см. Ch. Fourier. «Thèorie de l'unité universelle». Oeuvres complètes, tome 3, volume 2, Paris, 1841, p. 36). Фурье утверждал, что, когда разрушительный период сменится периодом гармонии,

даже вселенная примет совершенно иной вид. В поэтическом творчестве последователей Фурье — поэтов-петрашевцев — и эти представления французского мыслителя нашли свое непосредственное выражение. Так, например, стихотворение Д. Д. Ахшарумова «Земля, несчастная земля...» кончалось следующими строками:

Тогда и для земной планеты
Настанет перио́д иной,
Не будет ни зимы, ни лета.
Изменится наш шар земной:
Эклиптика с экватором сольется,
И будет вечная весна...
И для людей другая жизнь начнется —
Гармонией живой исполнится она.
Тогда изменятся и люди, и природа,
И будут на земле — мир, счастье и свобода.

К этим стихам автор дал следующий комментарий: «Таким фантастическим бредом à la Fourier утешал я себя в это время». Но тот «фантастический бред», к которому Ахшарумов и другие фурьеристы относились с полным доверием, у Григорьева вызывал иную, более сложную реакцию. Дело, разумеется, было не в различном понимании вопросов космогонии. Речь, по существу, шла о разном отношении к противоречиям духовного мира современного человека. По мысли Фурье, которую разделяли и многие петрашевцы, страсти заложены природой в каждом человеке в полном соответствии с будущим гармоническим общественным устройством. Надо только существующую экономическую организацию общества заменить другой, более нормальной, а люди уже изначально, самой природой вполне подготовлены к жизни в гармоническом обществе. Период «дисгармонии» был в какой-то мере необходим лишь для накопления материальных благ, для создания крупной индустрии а во всех духовных исканиях и завоеваниях этого периода Фурье не усматривал никакой ценности. «В один прекрасный день» все это должно быть просто отброшено как ненужный хлам. Григорьев же самую «двойственность» мира понимал по-другому: «добро» и «зло», «гармонию» и «разрушение» он рассматривал не как совершенно чуждые друг другу начала, из которых одно должно уступить место другому, как только для этого будут созданы необходимые экономические предпосылки. Само «добро», считал Григорьев, не дано изначально, оно есть результат борьбы, творчества, «самосозданья». Поэтому, уже начиная с «Кометы», Григорьев, увлеченный «аналогиями» и идеями Фурье, вместе с тем отталкивался от них, полемически противопоставлял им свою мысль о плодотворности «страдания и страсти», о плодотворности той духовной борьбы, через которую проходит современный человек, для формирования его личности (см. примеч. к стихотворениям «Памяти одного из многих», «Отрывок из сказаний об одной темной жизни» и к поэме «Олимпий Радин», стр. 529, 531, 564). Надо отметить, что и через 20 лет после написания «Кометы» и примыкающих к ней стихотворений Григорьев продолжал полемизировать с идеей, которую Ахшарумов выразил в словах: «Эклиптика <т. е. круг не-

бесной сферы, по которому происходит годичное перемещение солнца> с экватором сольется». В 1862 г. Григорьев писал Н. Н. Страхову из Оренбурга о том, как одну из своих лекций «кончил насмешками над учением о соединении луны с землею» (Материалы, стр. 291). В том же году в статье о Некрасове он писал о «теоретиках», по мнению которых литература окажется вещью «совершенно ненужной в том усовершенствованном мире, где луна соединится с землею» («Время», 1862, № 7, стр. 3). Позднее он сочинял на ту же тему иронические стихи. В одном из его стихотворных фельетонов читаем:

...в мир Фурье я плохо верю новый,
Равно и в то, что с нашею землею
Луна лизаться от души готова,
По ней на небе изнывая томно...

В другом фельетоне опять о том же:

И вообще желание плохое
Выказывало милое светило
Соединиться с нашею землею.

(«Оса», 1864, №№ 1 и 2, «Монологи Гамлета Щигровского уезда»). Говоря о «Комете» Григорьева, не лишне, быть может, напомнить и о том, что в русской прессе 1843 г. было много толков о комете, которая наблюдалась в Западной Европе в марте этого года.

«Вы рождены меня терзать...» (стр. 84). Впервые — Р и П, 1845, № 4, стр. 108, под заглавием «К***». Вошло в сб. 1846 г.

«О, сжалься надо мной!.. Значенья слов моих...» (стр. 84). Впервые — М, 1843, № 11, стр. 6, за подписью: А. Трисмегистов. Вошло в сб. 1846 г., где были отброшены четыре последние строки:

Что есть страдание без страха и смиренья,
И непреклонное величие борьбы
С улыбкой гордою насмешки и презренья
На вопль душевных сил и на громà судьбы.

Волшебный круг (стр. 85). Впервые — М, 1843, № 11, стр. 6, без заглавия, за подписью: А. Трисмегистов. Вошло в сб. 1846 г.

«Нет, никогда печальной тайны...» (стр. 86). Впервые — М, 1843, № 11, стр. 5, за подписью: А. Трисмегистов. Вошло в сб. 1846 г. В журнальном тексте и в сб. 1846 г. 11-я строка напечатана в незаконченном виде: «И верю ль в жизнь...» На экземпляре сб. 1846 г., принадлежавшем А. Блоку (хранится в библиотеке ПД), прежним его владельцем в этой строке дописаны

слова «И верю ль в бога». Блок в примечании к этому стихотворению написал по поводу выпущенных слов: «Я не сомневаюсь, что прежний владелец восстановил их правильно» (изд. Блока, стр. 549).

«Над тобою мне тайная сила дана...» (стр. 86). Впервые — Р и П, 1845, № 5, стр. 464. Вошло в сб. 1846 г.

К Лавинии («Что́ не тогда явились в мир мы с вами...») (стр. 87). Впервые — Р и П, 1844, № 7, стр. 126, под заглавием: «К***», за подписью: 1. 4. Вошло в сб. 1846 г. *Лавиния* — имя героини одноименной повести Жорж Санд. С этой повестью перекликается несколько стихотворений Григорьева. Героиня Жорж Санд, встретившись с сэром Лионелем, любившим и оставившим ее десять лет назад, теперь, несмотря на все настояния с его стороны, не соглашается стать его женой. Отвергает она любовь и другого поклонника — французского графа. Причина ее нежелания связать свою жизнь с кем бы то ни было — не только в оскорбленном женском самолюбии. Она убеждена, что человеческие чувства изменчивы, мечты и страсти преходящи, а суд общественного мнения всегда пристрастен к женщине и несправедлив. Тщеславный, расчетливый и, в сравнении с Лавинией, человек мелкий, Лионель огорчается ее отказом недолго; он выгодно женится, а затем становится членом парламента. В стихотворениях Григорьева, связанных с повестью Жорж Санд (см. также «Для себя мы не просим покоя...»), рядом с героиней, напоминающей Лавинию, поставлен совсем иной герой, — он не только не уступает героине, но, несомненно, превосходит ее силой своего «неверия в счастье» и неприятия «общественного мненья». В статье 1856 г. «О правде и искренности в искусстве» Григорьев, давая развернутую оценку всего творчества Жорж Санд, трактует его первый период как «протест против всех форм общежития, развившихся на Западе, форм семейных, государственных, религиозных» («Русская беседа», 1856, № 3, стр. 45) и относит «Лавинию» к числу лучших произведений этого периода, отмеченных «тончайшими и вместе с тем изящнейшими и правдивейшими» очерками человеческих отношений (там же, стр. 47—48).

Женщина (стр. 88). Впервые — Р и П, 1844, № 7, стр. 43, за подписью: 1. 4. Вошло в сб. 1846 г.

К Лавинии («Для себя мы не просим покоя...») (стр. 88). Впервые — Р и П, 1845, № 1, стр. 86, за подписью: 1. 4. Вошло в сб. 1846 г. Первая строка последней строфы в журнале имела незаконченный вид: «И проклятие...»; в сб. 1846 г. было добавлено еще одно слово: «И проклятия право...» Блок, указав, что в его экземпляре прежний владелец дополнил данную строку словом «святое», решил воспроизвести строку именно так, «будучи уверен, что у поэта стояло то же слово» (изд. Блока, стр. 543). Блок был прав, о чем свидетельствуют следующие слова Григорьева в одной из его статей 1862 г.: «В тот момент, в который просил я мысленно перенестись читателя... мы еще фанатически верили и

в «гордое страданье», и в «проклятия право святое», — позволяю себе для большего couleur locale брать самые крайние выражения, заимствуя их как у других, так и у себя!» («Время», 1862, № 7, стр. 14). «Дивными», «превосходными» стихами назвал «К Лавинии» рецензент «Финского вестника», заявляя при этом: «Я так же, как он, готов бы сказать с его Лавинией: мы у неба не просим покоя» (1846, № 9, Смесь, стр. 46—48). *Лавиния* — см. стр. 528.

Молитва («По мере горенья...») (стр. 89). Впервые — Р и П, 1844, № 10, стр. 3. Вошло в сб. 1846 г. в переработанном виде.

Тайна скуки (стр. 90). Впервые Р и П, 1844, № 12, стр. 581, за подписью: 1. 4. Вошло в сб. 1846 г.

Памяти В*** (стр. 91). Впервые — сб. 1846 г, стр. 78. Адресат стихотворения не установлен.

К*** («Мой друг, в тебе пойму я много...») (стр. 91). Впервые — сб. 1846 г., стр. 129. Адресат стихотворения не установлен.

Памяти одного из многих (стр. 92). Впервые — Р и П, 1844, № 9, стр. 450, под названием «Памяти ***», за подписью: 1. 4. Вошло в сб. 1846 г. под новым названием, которое перекликается с названиями двух прозаических произведений Григорьева: «Один из многих» (Р и П, 1846, №№ 6, 7, 10) и «Другой из многих» (МГЛ, 1847, №№ 244, 247—250, 253, 255, 257—261, 263—265, 268—269, 271—272, 277—280). «Таинственно-темная судьба» героя этого стихотворения (речь, безусловно, идет об одном из близких знакомых Григорьева) и позднее продолжала привлекать к себе молодого поэта, он стремился «разгадать» ее «смысл», усматривая в ней нечто закономерное для человека своего поколения. Высказывалось мнение, что Григорьев сам является героем всех своих стихотворений, непосредственно связанных с событиями и переживаниями личной жизни поэта (см., например, статью Иванова-Разумника «Аполлон Григорьев». Воспоминания, стр. 591). Однако было бы неверно видеть во всей его лирике лишь воплощение все одного и того же авторского образа. Ряд произведений Григорьева — вслед за стихотворением «Памяти одного из многих» следует назвать «К Лавинии» («Он вас любил, как эгоист больной...»), «Отрывок из сказания об одной темной жизни» — представляет собой попытку художественного анализа душевного мира другой личности, весьма близкой поэту, привлекающей его к себе и вместе с тем отпугивающей. Этот анализ был продолжен и развит в рассказах «Один из многих», а в особенности — «Другой из многих», являющихся автокомментарием к важнейшим мотивам поэзии молодого Григорьева. В рассказе «Другой из многих» образ «эгоиста» даже своим внешним обликом, наличием «неизлечимого недуга» и другими фактами биографии напоминает героя таких стихов, как «Памяти одного из многих», «Отрывок из сказаний об одной темной жизни». В прозе и в поэзии он получает двойственное освещение: неверие этой «темной личности» в современные общественные отношения доходит до полного отрицания каких бы то ни было нравственных

устоев; «необъятное самолюбие», «воля свободного человека», не признающего «добра и зла», приводит ее к откровенному цинизму. Но, с другой стороны, способность «смотреть правде в лицо», беспощадное отрицание предрассудков, стремление к «истине» — придают этой личности большое «обаяние». Это двойственное освещение образа «эгоиста» находит свое выражение и в различном к нему отношении других героев: Иван Чабрин (т. е. сам Григорьев) как будто даже склонен считать, что семена, брошенные в его сознание героем рассказа «Другой из многих» Василием Иметиновым (прототипом этого образа был друг Григорьева — К. Милановский), дадут свои всходы, а друг Чабрина Зарницын (т. е. Фет) считает Иметинова подлецом и мерзавцем. В прозе Григорьев пытается резче выявить свое отношение к этому образу, несколько «расплывчато», неясно очерченному в стихах.

Воззвание (стр. 93). Впервые — сб. 1846, стр. 71. *Лима савахвани.* По евангельскому преданию, Христос, уже распятый на кресте, произнес слова: «Илú, Илú! Лимá савахванú?», т. е. «Боже мой, боже мой, для чего же ты меня оставил?»

Две судьбы (стр. 94). Впервые — Р и П, 1844, № 10, стр. 118, за подписью: 1. 4. Вошло в сб. 1846 г.

Зимний вечер (стр. 95). Впервые — Р и П, 1844, № 12, стр. 593, за подписью: 1. 4. Вошло в сб. 1846 г. В журнале и сб. 1846 г. 7-я строка: «В. М . . . . е престрогого». *«Дебаты»* — «Journal des Débats», французская либеральная политическая газета. *В «Москвитянине» престрого О Содоме решено.* М 1840-х гг. настойчиво доказывал, что Европа, подобно библейскому городу Содому, жители которого отличались крайним развращением нравов, гниет, и противопоставлял этому гниению «здоровье и могущество» самодержавной России. Особенно резко выступал журнал против Франции (см., например, статью С. П. Шевырева «Взгляд русского на современное образование Европы», М, 1841, № 1, стр. 219—396).

Прости («Прости! .. Покорен воле рока. . .») (стр. 95). Впервые — «Отечественные записки», 1845, № 2, стр. 318. С исправлениями — сб. 1846 г. Эпиграф — из стихотворения Байрона «Farewell! it ever fondest prayer. . .», которое было дважды переведено Григорьевым (см. стр. 458).

Молитва («О боже, о боже, хоть луч благодати твоей. . .») (стр. 96). Впервые — «Невский альманах», СПб., 1846, стр. 70 (ценз. разрешение — 22 декабря 1845 г.). Сб. 1846 г. был сдан поэтом в цензуру не позднее 23 октября 1845 (см. примеч. к драме «Два эгоизма», стр. 557). Если бы это стихотворение было написано ранее, Григорьев, скорее всего, включил бы его в сб. 1846 г. Исходя из того, что оно осталось за пределами указанного сборника, можно думать, что стихотворение написано между 23 октября и 22 декабря 1845 г. В собрания стихотворений Григорьева ранее не входило.

Отрывок из сказаний об одной темной жизни (стр. 97). Впервые — Р и П, 1845, № 3, стр. 866, под названием: «Одна глава из „Сказаний об одной темной жизни"». Вошло в сб. 1846 г. с незначительными исправлениями. К идее «эгоиста», утверждающего, подобно герою данного стихотворения, что в его делах «Не только искры чувств святых, Но даже не было и зла», Григорьев возвращался неоднократно. Так, герой повести «Другой из многих», говорит: «Что мне за дело до всего, что называется добром и злом? Да и разве есть в самом деле какое-нибудь *добро и зло?»* (МГЛ, 1847, № 265, стр. 1061). См. также примеч. к стихотворению «Памяти одного из многих», стр. 529. Ал. Блок на своем экземпляре сб. 1846 г. против слов: «позабыть не мог он ни добра, ни зла» написал: «Лермонтов». Да и весь «Отрывок» явственно перекликается с «Мцыри» и «Демоном».

Город («Да, я люблю его, громадный, гордый град...») (стр. 101). Впервые — Р и П, 1845, № 10, стр. 3. Автограф, датированный: «Петербург 1845 г., 1 янв., Флоренция 1858 г., 18 февр.», — в альбоме II. Не считая работу поэта над новой редакцией стихотворения завершенной, мы печ. его по сб. 1846 г., исправляя лишь несколько строк по тексту автографа. В альбоме II 1-я строка: «Да, я люблю его, творение Петра», 3-я строка: «Не здания его, не множество добра», в 6-й строке, как и в журнале, — «прозираю» вместо «прозреваю» в сб. 1846 г.; 12-я строка: «Надежды, радости и горе...», 16-я строка: «След унижений и страданий»; в 28-ой строке — «Ряд», вместо «Рой». 5-е и 6-е четверостишие в этой редакции переставлены. Григорьевым вскоре было написано другое стихотворение под тем же названием (см. стр. 117 и примеч. на стр. 534). Стихотворение «Город» было встречено современной критикой в высшей степени сочувственно (об отзыве Белинского см. во вступ. статье стр. 30). Полностью, как «прекрасное», оно было приведено в рецензии на сб. 1846 г. — в целом скорее отрицательной, чем положительной, — появившейся в БдЧ (1846, № 4, Литературная летопись, стр. 27—30). «Я читал книгу Григорьева, и передо мной воздвигся тот же *город,* как перед ним, и я, как он, видел в нем только страдание и страдание», — писал рецензент «Финского вестника», по-видимому полемизируя с Белинским и доказывая, что перед нами не «приторные жалобы», что лучшие стихотворения в книге Григорьева «возвышаются до патетического, строгого негодования». Обратившись после общей оценки книги к отдельным стихам, рецензент далее писал: «„Город" — всё прекрасно и по содержанию и по форме до последнего стиха — невключительно: в последнем стихе самая пошлая мысль, в самой сумароковской форме; лучшее в этом стихе то, что натянутость его доходит до нелепости — до невозможности его представления» («Финский вестник», 1846, № 9, Смесь, стр. 46—47). Одобрительно отозвался об этом стихотворении и рецензент «Русского инвалида», признававший многие другие стихотворения поэта «темными» (1846, № 110, 19 мая).

К Лавинии («Он вас любил, как эгоист больной...») (стр. 102). Впервые — Р и П, 1845, № 9, стр. 697. Вошло в сб. 1846 г.

«К о г д а в д у ш е т в о е й, с о м н е н и е м б о л ь н о й...» (стр. 104). Впервые — сб. 1846 г., стр. 136. Эпиграф взят из романа Жорж Санд «Консуэло». Жертвой несправедливости, по мысли героя этого романа Альберта, является Сатана, который влечет людей к чувственной жизни. Надо восстановить справедливость, уравнять телесную жизнь с духовной, вернуть права Сатане, реабилитировать «злое начало», которое должно воссоединиться с «добрым началом». Это приведет к торжеству «любви, равенства и всеобщности как элементов человеческого счастья» (см. Б. Я. Бухштаб. «Гимны» Аполлона Григорьева. «Ученые записки Саратовского гос. университета», т. 56, 1957, стр. 199—200).

Г е р о я м н а ш е г о в р е м е н и (стр. 105). Впервые — сб. 1846 г., стр. 54. Эпиграф — неточная цитата из Ювенала (сатира I, стих 79). Белинский отнес это стихотворение к числу «неудачных пьес» поэта, хотя в первой его половине «между плохими» находил и «удачные» стихи (ПССБ, т. 9, стр. 596—597). Рецензент «Финского вестника» считал, что стихотворение «сначала удивительно хорошо», но «потом вдохновение запуталось... в бесконечном смятении фраз» (1846, № 9, Смесь, стр. 48). Далее он писал: «Какой-то добрый внутренний голос нам говорит, что ... паутинный мистицизм не задавит орлиного негодования автора... что мы реже будем встречать на его страницах упражнение в склонении существительного «страдание» и чаще будем вправе надписывать над его сочинениями: Fecit indignatio versum. И пусть негодование его будет строго, неумолимо, всеобще и неизменно благородно» (там же, стр. 49).

П е с н я д у х а н а д х р и з а л и д о й (стр. 106). Впервые — Р и П, 1845, № 8, стр. 479. Вошло в сб. 1846 г. *Хризалида* — куколка насекомых.

«Н е т, н е т е б е и д т и с о м н о й...» (стр. 107). Впервые — сб. 1846, стр. 168. Выписав полностью это стихотворение в своей рецензии на сб. 1846 г., Белинский дал ему следующую оценку: «Несмотря на ощутительный недостаток поэтического выражения, мы готовы были бы признать это стихотворение вполне прекрасным, если б его не испортила риторическая фраза:

И в хоре звезд не слиться нам
В созвучий родственных аккорд»

(ПССБ, т. 9, стр. 595).

Участник кружка М. В. Петрашевского критик В. Н. Майков сблизил идею этого стихотворения Григорьева, в котором он уловил тему борьбы за раскрепощение женщины, с аналогичными мотивами в лирике А. Н. Плещеева. Назвав Плещеева в рецензии на его сборник стихотворений 1846 г. «первым нашим поэтом в настоящее время» и характеризуя, между прочим, его любовную лирику, критик писал: «Увы, он обогнал в своем развитии ту, которая владела его сердцем... как другой, не менее замечательный поэт, постигнутый тою же участью и оплакавший эту мрачную катастрофу в жизни своей этими многознаменательными стихами:

Мне стыдно женщину любить
И не назвать ее сестрой».

Этим неназванным «другим, не менее замечательным поэтом» был Григорьев, стихотворение которого «Нет, не тебе идти со мной...» критик сопоставил со стихотворением Плещеева «Ответ» (В. Н. Майков. Соч., т. 2. Киев, 1901, стр. 103, 106).

Звуки (стр. 107). Впервые — Р и П, 1845, № 10, стр. 236. Вошло в сб. 1846 г. *Варламов* Александр Егорович (1801—1851) — известный певец и композитор; начиная с 1840-х гг., его романсы и песни, написанные на народные слова и стихи русских поэтов, завоевывали все возраставшую популярность. Григорьев сблизился с Варламовым в первый петербургский период жизни. Они часто встречались на вечерах у редактора «Репертуара и Пантеона» В. С. Межевича, — там «умно и горячо ораторствовал Аполлон Григорьев», «пел Варламов разбитым, надтреснутым, но полным выражения голосом свои романсы» (В. Р. Зотов. Из воспоминаний, «Исторический вестник», 1891, № 2, стр. 337). Григорьев высоко ценил Варламова, и впоследствии, в рассказе «Великий трагик», он говорит о песнях Офелии, положенных на музыку «инстинктивно-гениальным Варламовым» («Воспоминания», стр. 251). В «Моих литературных и нравственных скитальчествах», характеризуя эпоху 1830-х гг. и ее мрачные, зловещие, тревожные веяния, Григорьев писал: «Стихи Полежаева, игра Мочалова, варламовские звуки дают отзыв этому настройству» (Материалы, стр. 5).

Призрак (стр. 108). Впервые — Р и П, 1845, № 12, стр. 545—547. Вошло в сб. 1846 г.

Вопрос (стр. 110). Впервые — сб. 1846 г., стр. 174. Одно из наиболее автобиографических стихотворений Григорьева, воспроизводящее обстановку в семье Корш и дающее представление об отношении этой семьи к поэту.

Ночь (стр. 111). Впервые — сб. 1846 г., стр. 177.

Владельцам альбома (стр. 112). Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ. Владелец альбома не установлен. Название стихотворения не вполне соответствует его содержанию, ибо речь идет об одной лишь «владелице» альбома.

Два сонета (стр. 113). Впервые — Р и П, 1846, № 1, стр. 96.

А. Е. Варламову (стр. 114). Впервые — Р и П, 1845, № 7, стр. 16, в «Театральной летописи», в связи с сообщением об окончательном переезде из Москвы в Петербург «известного русского композитора и певца». Вошло в сб. 1846 г. *Варламов* — см. выше.

К Лелии (стр. 114). Впервые — Р и П, 1845, № 3, стр. 704. Вошло в сб. 1846 г. Адресат стихотворения не установлен. *Лелия* — имя героини одноименного романа Жорж Санд (1833—1839). Этот

роман имел громадный успех. Сильное воздействие оказал он и на Григорьева. Героиня Жорж Санд отстаивает идею женской эмансипации, но вместе с тем опыт, выработавший в ней «холодный и пытливый взгляд» на вещи, подсказывает ей, что общественные условия не открывают возможностей для равенства в любви между мужчиной и женщиной. Эта идея осложняется в романе другими идеями, глубоко волновавшими Григорьева. Лелию оскорбляет материальное начало в любви, ибо, как она считает, живущее в человеке стремление к совершенству всегда «приходит и не может не приходить» в противоречие с «реальностью грубых страстей». Она считает, что «жалкое бессилие физической любви не может успокоить возбужденного пыла наших мечтаний». Судьбу и назначение женщины Лелия связывает с неразрешимыми для нее проблемами религии, нравственности, общественного устройства (именно такая постановка вопроса отвечала настроениям Григорьева). По-иному решает для себя эти вопросы ее сестра Пульхерия; ей чужды «искания» и «страдания» Лелии, она предпочитает усердно служить «богине удовольствия». Но на такой путь бездумного отстранения от реальных противоречий жизни Лелия стать не может. Первая редакция романа кончалась гибелью Лелии, не нашедшей выхода из «лабиринта» волновавших ее конфликтов. Во второй редакции судьба героини не столь мрачна и безысходна. Она уходит в монастырь, развивает филантропическую деятельность, но, обвиненная в сношениях с карбонариями и в других прегрешениях, умирает в одиночестве. Григорьев в своих критических статьях, относящихся уже к 1850-м годам резко отделял две редакции «Лелии» — «произведения поэтически-безумного в первом виде своем и совершенно комического... во втором своею картинною постройкою» («Русская беседа», 1856, № 3, стр. 49). Надо думать, что и в 1840-е годы ему также была ближе первая редакция романа. А о степени этой близости, даже текстуальной, сказывающейся в ряде стихотворений Григорьева, могут дать некоторое представление высказывания Лелии. На вопрос влюбленного в нее поэта Стенио, «из какого материала она создана», она отвечает следующими словами: «Если бы я была рождена и на другом краю света, то во всяком случае между мной и тобой была бы небольшая разница. Мы оба осуждены на страдание, оба слабые, несовершенные, с отравленной радостью, всегда беспокойные, жадные до неведомого счастья, всегда к чему-то стремящиеся, — вот наша общая участь, вот что делает нас братьями и товарищами на этой земле изгнания и рабства». И далее: «Не спрашивайте же ни у неба, ни у ада тайны моей судьбы... Поэт, не ищите во мне глубоких тайн; моя душа — сестра вашей...» (Жорж Санд. Собр. соч., т. 8. СПб., 1897, стр. 6—7).

«Расстались мы — и встретимся ли снова...» (стр. 115). Впервые — Р и П, 1845, № 2, стр. 440, за подписью: А. Григорьев (1.4). По-видимому, по недосмотру напечатаны и фамилия, и псевдоним. Вошло в сб. 1846 г.

Город («Великолепный град! пускай тебя иной...») (стр. 115). Впервые — БдЧ, 1848, № 3, стр. 5, под заголовком: «Из Ювенала».

Печ. по рукописному сборнику «Всякая всячина», ч. 6, 1852 г., (ПД, ф. 244, оп. 8, № 91) с исправлением по тексту БдЧ вкравшихся в него некоторых погрешностей. В сб. «Всякая всячина» текст подписан: «Аполлон Григорьев» и снабжен примечанием: «Это стихотворение списано с подлинной рукописи автора, следовательно верно. Автор самый беспорядочный человек, — отвергнутый всеми, всеми; теперь он в Москве, пишет для „Москвитянина“». Текст «Всякой всячины» был опубликован в газете «Утро России», 1916, 3 апреля (см. В. Н. Княжнин. Неизвестные и малоизвестные стихотворения Ап. Григорьева. «Русская мысль», 1916, № 5, стр. 131). В журнальной публикации Григорьев, прибегнув к ссылке на Ювенала, в соответствии с этой мистификацией произвел ряд замен. Начальные строки 2-й строфы здесь читаются: «Пускай над Тибром он душою молодой Мечтает о судьбе как Тибр широкой». 1-я строка третьей строфы в журнале читается: «Пускай по форумам и портикам твоим». Естественно, что в журнальном тексте отсутствует и посвящение И. А. Манну. Это стихотворение, по теме, размеру и названию своему совпадающее с другим стихотворением (см. стр. 101), относится скорее всего к 1845—1846 гг. Указание «Всякой всячины», что автор «теперь» в Москве, подтверждает, что стихотворение написано до 1847 г.: переезд из Петербурга, где Григорьев был «отвергнут всеми», в Москву состоялся в январе этого года. В этом стихотворении весьма резко выразилось влияние на Григорьева идей утопического социализма и кружка М. В. Петрашевского, с которым поэт был в какой-то мере связан. Как и Фурье, для которого большие города являлись воплощением хаоса, паразитизма, нищеты и разврата, характерных для капиталистического мира, петрашевцы были решительными противниками больших городов. Их при этом, в частности, особенно возмущало то, что города живут эксплуатацией деревни. «Мы живем в столице безобразной, громадной, в чудовищном скопище людей, томящихся в однообразных работах, испачканных грязным трудом, пораженных болезнями, развратом», — писал Д. Д. Ахшарумов («Дело петрашевцев», т. 3. М.—Л., 1951, стр. 111). Григорьев не только вполне разделял этот взгляд на город, как его разделяли и другие петрашевцы-писатели, но и создал самое сильное произведение на эту тему. Ср., например, стихотворение А. И. Пальма «Когда гляжу на городские здания...» (сб. «Поэты-петрашевцы», Л., 1957, стр. 112) и повесть Салтыкова-Щедрина «Тихое пристанище», герой которой рвался из Петербурга — «страшного города, который, как вредный и несытый паразит, пьет соки целой страны» (Полн. собр. соч., т. 4, М.—Л., 1935, стр. 311). Но на этом основании нельзя все же рассматривать Григорьева тех лет как последовательного сторонника идей утопического социализма. Его объединяло с петрашевцами лишь отрицательное отношение к современному общественному устройству. «Со мной сжилась как-то ненависть к цивилизации, и *в этом отношении* (подчеркнуто нами. — *Б. К.*) учение Фурье пало мне глубоко на душу», — говорит герой автобиографического рассказа «Мое знакомство с Виталиным» (Р и П, 1845, № 8, стр. 494). *Манн* Ипполит Александрович (1823—1894) — окончил в 1845 г. Московский университет, где был поклонником Т. Н. Грановского. С 1846 г. — на государственной службе в Петербурге. Тогда же начал сотруд-

ничать в «СПб ведомостях» как рецензент и музыкальный критик. В 60-е гг. выступал как драматург. По-видимому, к его молодым годам, когда он был близок к Григорьеву, относится следующая фраза в одном из некрологов Манна: «Он мог бы играть далеко не такую скромную роль, какая выпала на его долю, если бы ему не мешали разные обстоятельства, в которых он не виновен вовсе.» («Всемирная иллюстрация», 1895, т. 53, стр. 50). Быть может, именно эти неясные для нас «обстоятельства» сблизили Григорьева с Манном.

«Нет, не рожден я биться лбом...» (стр. 117). Впервые анонимно — «Полярная звезда» А. И. Герцена, кн. 2. Лондон, 1856, стр. 34. Перепеч. в составленном Н. П. Огаревым сб. «Русская потаенная литература», Лондон, 1859. В России впервые — «Русская мысль», 1916, № 5, стр. 134, с цензурными изъятиями. Вошло в рукописный сборник «Всякая всячина», ч. 6, за подписью: Аполлон Григорьев. Печ. по тексту «Полярной звезды». В 1846 г., прочитав в «Современнике», издававшемся П. А. Плетневым, рецензию на стихи Григорьева, Я. К. Грот в письме к редактору спросил: «Автор новых стихотворений не актер ли Григорьев?» Плетнев 11 мая ответил: «...не актер, а бывший студент Московского университета... у Григорьева есть и такие стихи, кои читать страшно по атеизму» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 2. СПб., 1896, стр. 757 и 763). Из всех известных нам стихотворений Григорьева «страшным по атеизму» является именно «Нет, не рожден я биться лбом...» В нем не только содержатся выпады против «августейшего дома» и сочувствие Марату, но и Христос трактуется как демократ (слова «демагог» и «демократ» в 1840-е годы воспринимались как синонимы). Подобную же трактовку Христа мы находим и у М. В. Петрашевского. Эти, неизданные в России, стихи были, по-видимому, хорошо известны многим: в письме к Григорьеву от 1 июля 1859 г. П. Чубинский цитирует первое четверостишие этого стихотворения. Их цитирует в своих воспоминаниях, написанных в 80-х гг., и Е. М. Феоктистов. Говоря о М. 1850-х годов, он рассказывает, как Григорьев умел до самозабвения увлекаться овладевшим им «направлением»; временами «являлся он отчаянным демократом и революционером, с пафосом восклицал:

И будь сам бог аристократ,
Ему б я гордо пел проклятья,
Но на кресте распятый бог
Был сын толпы и демогог».

(«Атеней», 1926, № 3, стр. 90).

Всеведенье поэта (стр. 118). Впервые — БдЧ, 1846, № 9, стр. 5. В собрания стихотворений Григорьева ранее не входило.

Ожидание (стр. 119). Впервые — БдЧ, 1846, № 10, стр. 47. В собрания стихотворений Григорьева ранее не входило.

В альбом В. С. М<ежеви>ча (стр. 120). Впервые — «Красное яичко», СПб., 1848, стр. 273. 9-я строка в этой публикации дефектна. В собрания стихотворений Григорьева ранее не входило. *Межевич* Василий Степанович (1814—1849) — с 1843 г. редактор «Репертуара и Пантеона» (в котором Григорьев, начиная с июня 1844 г., сотрудничал с возраставшей активностью), журнальный делец весьма сомнительных нравственных качеств. Во второй половине 1845 г. Григорьев поселился у Межевича. Последний, по-видимому, содействовал выходу в свет сб. 1846 г.: «В январе надеюсь я напечатать том его стихотворений, которые теперь в цензуре», — писал он про Григорьева М. П. Погодину в октябре 1845 г. (Материалы, стр. 378). Однако эта близость длилась недолго, Григорьев разошелся с Межевичем и издателем «Репертуара и Пантеона» И. П. Песоцким. Впоследствии, вспоминая этот период своей жизни, Григорьев писал: «Я узнал, с его запахом довольно тухлым и цветом довольно грязным... мир «Песцов», «Межаков» и других темных личностей» (Материалы, стр. 3). См. также примеч. к стихотворению «Звуки», стр. 533.

Прощание с Петербургом (стр. 121). Впервые — «Русская мысль», 1916, № 5, стр. 133. Источник текста — рукописный сборник «Всякая всячина», ч. 6; подписано: Аполлон Григорьев. Текст этого сборника неисправен. Стихотворение было, по-видимому, написано в связи с кратковременной поездкой Григорьева в Москву (окончательное возвращение туда состоялось в январе 1847 г.). В письме к отцу от июля 1846 г. Григорьев писал: «Я хотел оставить Петербург, потому что был взбешен подлостью всего меня окружающего, но это не сбылось — прекрасно!» (Материалы, стр. 367). По-видимому, с этой неудавшейся попыткой оставить Петербург в самом конце февраля, ибо предыдущее стихотворение «В альбом М-чу» датировано 26 числом этого месяца, и связано данное стихотворение. *Калайдович* Николай Константинович (1820—1854) — окончил Училище правоведения, входил в кружок молодого Григорьева (Фет, стр. 215), затем переехал служить в Петербург, и при его содействии Григорьев поступил в декабре 1844 г. на службу в один из департаментов Сената. Однако вскоре в их отношениях наступило охлаждение, причины которого объяснены Григорьевым в письме к М. П. Погодину от ноября 1845 г.: «Я любил и люблю его, но уважать не могу: он сделался чиновником в душе, то есть рабом от головы до пяток» (Материалы, стр. 104). Еще ранее Григорьев высказал свое отрицательное отношение к Калайдовичу в драме «Два эгоизма» (см. примеч. на стр. 558—559). *Лакиер* Александр Борисович (1825—1870) — окончил Московский университет в 1845 г. и поступил на службу в Министерство юстиции, впоследствии историк права и автор путевых очерков. Вероятно, к Калайдовичу и Лакиеру в стихотворении «Город» («Великолепный град! Пускай тебя иной...») относятся слова: «А многие... Спокойно в чьи-нибудь холопы продались...»

«Когда колокола торжественно звучат...» (стр. 121). Впервые анонимно — «Полярная звезда» А. И. Герцена, кн. 2. 1856, стр. 33. Слова: «Москва, 1846, марта 1» напечатаны здесь вместо заглавия. В России впервые — «Вперед. Сборник сти-

хотворений и песен». Ростов-на-Дону, 1907, стр. 28, под названием «Москва, 1846», со ссылкой на «Полярную звезду». Текст стихотворения, под тем же названием, что и в «Полярной звезде», имеется в рукописном сборнике «Всякая всячина», ч. 6, с подписью: Аполлон Григорьев. Стихотворение навеяно кратковременной поездкой в Москву (см. примеч. к предыдущему стихотворению, а также к поэме «Встреча», стр. 565, тоже связанной с пребыванием в Москве в марте 1846 г.) *В нем новгородская душа заговорит Московской речью величавой.* Напоминая о «вечевом» колоколе, в котором звучал «язык народа», и предсказывая наступление кровавого часа расплаты, когда новгородские традиции возродятся в Москве, Григорьев здесь перекликается со многими русскими поэтами (декабристы, Пушкин, Лермонтов). Этот мотив новгородской свободы был популярен и у петрашевцев: «Где ты, народная вольница, великий государь Новгород, и ты, раздольная, широкая жизнь удельных времен?» — говорил петрашевец А. В. Ханыков на обеде в честь Фурье («Философские и общественно-политические произведения петрашевцев». М., 1953, стр. 511). Ср. те же мотивы в стихотворении Дурова «Н. Д. П-ой» («Поэты-петрашевцы». Л., 1957, стр. 236).

Элегии

1. «В час, когда утомлен бездействием душно-тяжелым...» (стр. 122). Впервые — Р и П, 1846, № 7, стр. 3.

2. «Будет миг... мы встретимся, это я знаю — недаром...» (стр. 123). Впервые — там же, стр. 4.

3. «Часто мне говоришь ты, склонясь темно-русой головкой...» (стр. 124). Впервые — там же, стр. 4.

К*** («Была пора... В тебе когда-то...») (стр. 124). Впервые — Р и П, 1846, № 8, стр. 241.

Старые песни, старые сказки

Цикл посвящен Софье Григорьевне Корш, матери Антонины и Лидии Корш.

1. «Книга старинная, книга забытая...» (стр. 125). Впервые — Р и П, 1846, № 9, стр. 421. В биографической заметке о Григорьеве Н. В. Гербель утверждает, что в сб. 1846 г. «вошло все написанное им стихами со школьной скамьи по 1846 год, за исключением превосходного стихотворения «Старая книга», не попавшего в печать по цензурным причинам и ходившего в списках, и значительного числа пьес, признанных самим автором слабыми» («Русские поэты в биографиях и образцах». СПб., 1873, стр. 557—558). Это сообщение неточно: во-первых, в книжку, сданную в цензуру в октябре 1845 г. и появившуюся в свет в начале

1846 г., никак не могло войти все написанное «по 1846 год»; во-вторых, стихотворение «Книга старинная, книга забытая...», напечатанное Гербелем под названием «Старая книга», все же «попало в печать» в том же 1846 г. Приводим разночтения между текстом Р и П и изд. Гербеля. Вторая строфа у Гербеля читается:

С желтых страниц твоих ветхих, разорванных
Что же мне веет опять?
Запах цветов ли, без времени сорванных,
Святой ли любви благодать?

В 4-й строфе 2-я строка в изд. Гербеля:

Ты на страницах твоих.

2. «В час томительного бденья...» (стр. 126). Впервые — Р и П, 1846, № 9, стр. 422. Над мотивами этого стихотворения Григорьев продолжал работать, и новый, самостоятельный его вариант вошел в цикл «Борьба» (см. стр. 168).

3. «Бывают дни... В усталой и разбитой...» (стр. 127). Впервые — Р и П, 1846, № 9, стр. 423.

4. «То летняя ночь, июньская ночь то была...» (стр. 127). Впервые — там же, стр 423.

5. «Есть старая песня, печальная песня одна...» (стр. 128). Впервые — там же, стр. 424.

6. «Старинные мучительные сны!..» (стр. 129). Впервые — там же, стр. 425.

К*** («Ты веришь в правду и в закон...») (стр. 130). Впервые — Р и П, 1846, № 10, стр. 17.

Артистке (стр. 130). Впервые — Р и П, 1846, № 11, стр. 242.

С тайною тоскою (стр. 131). Впервые — «Полное собрание сочинений А. Е. Варламова», том 6, 1863, стр. 339. Романс посвящен Варламовым Григорьеву. Датируем приблизительно 1846 г., так как уже в июле этого года в отношениях между Григорьевым и Варламовым наступило охлаждение. Ср. в поэме «Олимпий Радин» (1845): «с тайной тоской Глядел я часто на больной, Прозрачный цвет ее лица...» В собрании стихотворений Григорьева ранее не входило.

Тополю (стр. 132). Впервые — МГЛ, 1847, № 147, стр. 589.

Автору «Лидии» и «Маркизы Луиджи» (стр. 132). Впервые — М, 1849, № 1, стр. 19—20, без подписи. В некрологе Е. И. Вельтман, помещенном в газете «Русский», 1868, лист 16, стр. 254—255, М. П. Погодин перепечатал это стихотворение, указав, что автором его был Григорьев. *Вельтман* Елена Ивановна

(ум. 1868), к которой обращено это стихотворение, вторая жена известного в свое время романиста А. Ф. Вельтмана напечатала в М за 1848 г. две повести: «Лилия. Рассказ из жизни музыкального учителя» за подписью Е. И. Кубе (№№ 4—6) и «Ма[illegible] Луиджи» за подписью Е. И. К. (№ 12). В повестях Е. И. Вельтман сказывается отдаленное влияние идей Жорж Санд, чем они могли заинтересовать Григорьева. *Новейшей школы натуральной... Голядкина любезный идеал.* Имеется в виду повесть Достоевского «Двойник» и ее герой Голядкин. В ноябре 1848 г. Григорьев писал Гоголю, что от этой повести «даровитого» Достоевского становится тяжело на душе, ибо вы «сливаетесь с его безмерно ничтожным героем» (Материалы, стр. 115). Впоследствии, признав Достоевского «поэтом с идеалом», Григорьев изменил свое отношение и к его ранним вещам, в том числе к «Двойнику».

Подражания

Оба стихотворения, написанные на библейские мотивы, восходят к традиции русской поэзии, получившей начало еще в XVIII в. В ряде случаев поэты обращались к библейским образам, к псалмам или книгам пророков, стремясь в форме стихотворного переложения заимствованных оттуда мотивов выразить свои гражданские и нравственные идеалы, свое понимание назначения поэта, или обличая пороки современного общества (например, Державин в оде «Властителям и судиям», Ф. Н. Глинка в «Опытах священной поэзии» с их декабристской окрашенностью, и т. д.). Григорьева интересуют те библейские сюжеты, которые дают ему возможность выразить тему бескомпромиссного, самоотверженного служения своим идеям и вместе с тем отрицания, решительного неприятия всего, что этим идеям чуждо. Напечатанные в М в пору, когда Григорьев и его друзья, отстаивая самобытность русского искусства, резко выступали против каких бы то ни было западных влияний (см. стихотворение «Искусство и правда» и примеч. к нему на стр. 542), «Подражания» содержали в себе призыв к нетерпимости по отношению ко всему, что могло бы, по мнению автора, повредить этой самобытности.

1. Песня в пустыне (стр. 133). Впервые — М, 1852, № 2, стр. 99. Сюжет стихотворения связан с библейской легендой о переходе евреев из Египта в Палестину. *Егова* — одно из библейских наименований бога, которое из суеверного страха запрещалось произносить вслух. *Но указующим столпом Егова сам идет пред нами.* По библейскому преданию, Егова являлся израильтянам во время их пути в пустыне днем в столпе облачном, а ночью — в столпе огненном.

2. Проклятие (стр. 134). Впервые — там же, стр. 100. Сюжет стихотворения связан с библейской трактовкой борьбы израильтян против языческих чужеземных богов. *На Велиаровых рабов.* Велиал или Велиар — библейское наименование темной силы, нечестивости, беззакония. Первоначально это слово употреблялось в отвлеченном смысле, но затем стало применяться к дьяволу или сатане. *Иль укоснит изгнать бичом Из храма — торжников и псов,*

По библейскому преданию, Иерусалимский храм в периоды упадка религиозного чувства в народе превращался в место торга, где устанавливались столы менщиков и т. д. Пророки, непрестанные ревнители веры, боролись с таким осквернением храма. *Сион* — гора в Иерусалиме; по библейскому преданию, воспринималась как обитель божия. *Саваоф* — одно из библейских наименований бога, воплощающее идею его всемогущества *Адонаи* — одно из библейских наименований бога.

Послание к друзьям моим А. О., Е. Э. и Т. Ф. (стр. 135). Впервые — «Русская мысль», 1914, № 12, стр. 146. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Опубликовавший его В. Н. Княжнин неправильно прочитал 19-ю строку, вследствие чего А. Блок прибегнул к конъектуре, в которой нет необходимости (см. изд. Блока, стр. 151, 554). Княжнин убедительно доказывает, что стихотворение относится к первой половине, скорее даже к началу 1850-х гг. Он ссылается, между прочим, на то, что штудирование Бенеке, о чем говорится в данном стихотворении, происходило, как это явствует из «Моих литературных и нравственных скитальчеств», в начале 1850 гг. (Материалы, стр. 48). К соображениям Княжнина следует добавить, что к одному из друзей — адресатов этого стихотворения, Т. И. Филиппову, Григорьев во второй половине 1850-х гг. относился уже совсем по-другому (см. об этом ниже). *А. О.* — Островский Александр Николаевич (1823—1886); Григорьев познакомился с Островским скорее всего в 1847 г., когда они вместе сотрудничали в МГЛ. Статья Григорьева «Русские народные песни» (1854) напечатана с посвящением Островскому, П. М. Садовскому, Т. И. Филиппову. Интересно, что именно Островскому Я. П. Полонский написал после смерти Григорьева, с которым он был связан еще со студенческих времен, замечательное письмо, содержащее очень глубокую характеристику поэта, их общего друга («Неизданные письма к А. Н. Островскому». М.--Л., 1932, стр. 455—456). (См. также примеч. к стихотворению «Искусство и правда», стр. 542). *Е. Э.* — Эдельсон Евгений Николаевич (1824—1868), критик, сотрудничавший в М, «Русском слове», БдЧ. Эдельсон был, наряду с Островским, одним из самых близких Григорьеву людей в период «молодой» редакции М. Но после закрытия журнала они все более охладевали друг к другу. Об идейных причинах этого можно судить по письмам Григорьева. В 1857 г. он писал Эдельсону: «Несмотря на всю твою буржуазию, никто и ничто не может тебя мне заменить». Из дальнейшего становится ясно, что «буржуазия» (т. е. буржуазность), «гнусные, мещанские мысли» Эдельсона уже ранее подвергались «страшным ругательствам» со стороны Григорьева. А в письме, написанном полгода спустя к М. П. Погодину, говорится: «Евгений Эдельсон — это, может быть, самая страстная моя привязанность, весь насквозь пропитался мещанством общественным и нравственным» (Материалы, стр. 171 и 228). Расхождение в общественных и нравственных вопросах еще более обострилось, когда из области теории дело перешло в сферу личных взаимоотношений (об этом см. примеч. к поэме «Вверх по Волге», стр. 569). *Т. Ф.* — Филиппов Тертий Иванович (1825—1899); окончил Московский университет, сотрудничал

в М, «Русской беседе». Он был глубоким знатоком и «неподражаемым» исполнителем русских народных песен. Именно он познакомил членов кружка «молодой» редакции М, в том числе и Григорьева, с «песенным богатством русского народа» (С. В. Максимов. Александр Николаевич Островский. «Русская мысль», 1897, № 1, стр. 46). Взаимоотношения Григорьева и Филиппова, в высшей степени тесные и дружеские в период «молодой» редакции М, претерпели резкие изменения в связи с идейной эволюцией их обоих. В 1846—1847 гг., т. е. незадолго до сближения с Григорьевым, Филиппов с увлечением и восторгом читал «Письма об изучении природы» Герцена и говорил о себе как о человеке, для которого «особую прелесть» имеет «время эмансипации» в истории народов и в жизни человека (Письмо Т. И. Филиппова к Е. Н. Эдельсону от 12 апреля 1847 г., «Ученые записки Куйбышевского гос. педагогического института», вып. 6, 1942, стр. 191—192). Именно эти увлечения Филиппова имеет в виду Григорьев, обращаясь к нему в данном стихотворении со словами: *«Ты ci-devant социалист И беспощадный атеист»*. Но затем Филиппов все более резко шел в сторону славянофильства и официальной народности и кончил свою карьеру сановным бюрократом. Резкое поправение Филиппова явилось причиной решительного охлаждения к нему Григорьева. В 1857 г. он писал: «Тертий... до чего и сколь основательно развилась во мне вражда к официальному православию, в которое он ушел» (Материалы, стр. 184). Еще более решительно высказывается он о Филиппове в письме 1859 г., вообще очень важном для понимания мировоззрения Григорьева в этот период: его мысль, пишет Григорьев, «мало мирится с ...тупым и безносым, да еще начиненным всякой поповщиной социализмом славянофилов, — еще меньше с церковью попа Матвея и Тертия Филиппова, вообще с церковью „иже во Христе Иисусе жандармствующих"», а «всего больше» мысль готова примириться «с мыслью Г*** <т. е. Герцена> — ибо эта мысль есть не что иное, как смело и последовательно высказанное исповедание того, чем некогда жили как смутным чувством мы все, со включением даже ныне оподлившегося Тертия» (Письмо к Е. С. Протопоповой от 26 января 1859 г., архив ПД; в Материалах это письмо напечатано в искаженном виде). Вспоминая о «святоше», «ханже» и «карьеристе» Филиппове, Е. М. Феоктистов пишет: «Как только Тертия обуяла набожность, Григорьев, бывший тогда в другом настроении, тотчас же порвал с ним всякие отношения и даже перестал кланяться ему» («Атеней», 1926, № 3, стр. 90). *Премудрый поп Матвей* — Константиновский Матвей Александрович (1791—1857), сыгравший пагубную роль в судьбе Гоголя. *Бенеке* Фридрих-Эдуард (1798—1854) — немецкий философ; противник Гегеля, он отвергал идеалистическую философию, как «умозрительную», и считал, что основой наук, в том числе и философии, должна стать психология. Эдельсон, увлекавшийся идеями Бенеке, заинтересовал ими, правда на весьма короткое время, и Григорьева (Материалы, стр. 46—51).

Искусство и правда (стр. 136). Впервые — М, 1854, № 2, стр. 76—82. Эпиграф — из стихотворения Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен...». Первоначально это стихотворе-

ние называлось «Рашель и правда». В ЦГАЛИ хранится его автограф. Приводим по рукописи некоторые места, не вошедшие в печатный текст. После эпиграфа шло посвящение: «Славной памяти Павла Степановича Мочалова и живой славе Александра Николаевича Островского и Прова Михайловича Садовского». Во 2-й главе, после строки «Связей и сходок простоте»:

Но мы не смели правду эту
Всех выше правд на свете чтить...
Хвала и честь теперь поэту,
Что по душе нас учит жить.

В 3-й главе, вслед за строкой «Корнель и эдакое всё», в рукописи идет текст:

Пришел поэт, что <неразб.>
И желчью зависти томим,
Другой — до старости мышиный
Жеребчик, вербный херувим,
На романтизм сердитый больно,
За пьесы щипанный довольно...

6-я строка с конца: «Но наши неуместны восхищенья» в рукописи читается: «Но восторгаться нам некстати». 3-я строка с конца: «Столодвижение, иные ухищренья» в рукописи: «Столодвижение и пляску на канате». Стихотворение это имеет весьма любопытную творческую историю и непосредственно связано с критической деятельностью Григорьева. Разбирая в своих статьях начала 1850-х гг. творчество ряда современных литераторов, Григорьев находил, что лишь драматургия Островского несет в себе «новое слово», однако ни тогда, ни позднее он в своих статьях так до конца и не разъяснил, что, собственно, разумеет под этим «новым словом». Это в течение продолжительного времени вызывало недоумение и насмешки со стороны враждебной Григорьеву критики. Возражая Григорьеву и называя Островского «подражателем» Гоголя, А. В. Дружинин в 1852 г. писал: «Нового направления он еще не сыскал, нового слова еще им не сказано!» Одной из попыток Григорьева по-своему связать Островского с традициями русского искусства и вместе с тем пояснить, в чем же заключается суть «возвещаемого» драматургом «нового слова», явилась данная элегия-ода-сатира. Поводом к ее написанию были два события, происходившие одновременно: в январе 1854 г. была поставлена на сцене пьеса Островского «Бедность не порок», имевшая большой успех у публики; тогда же в Москве выступала Рашель. Попытка Григорьева раскрыть в стихотворении значение Островского не увенчалась успехом. Причины неудачи разобраны Ю. Ф. Самариным в письме к М. П. Погодину, написанном в момент, когда в среде М еще обсуждался вопрос о том, следует ли вообще печатать это стихотворение: «Возвращаю Вам стихи Григорьева. Они были прочтены на вечере у Киреевского. Вот и суждение присутствовавших: Киреевский говорит — напечатать; Хомяков решительно противится печатанию, находя крайне неуместным отзыв о преуспеянии

Искусства и Науки *под державной сению* в то время, когда нельзя напечатать второй части «Мертвых душ», ни перепечатать первой». Далее Самарин, одобряя первую часть стихотворения Григорьева, отмечает, что главный недостаток второй — «прямой переход от Мочалова к Островскому и Садовскому». Нет ни слова «о Гоголе, который породил Островского. Щепкин тоже забыт». Что касается третьей части, где речь идет о подражательности, то здесь «многое почувствовано искренно и сказано очень остроумно», но Самарин сомневается: кстати ли это сказано, то есть правильно ли выбрана Рашель, чтобы именно в ее лице «карать *фальшь* и *ложь* в Искусстве», можно ли ее ставить «на одну доску со штукером Рислеем». «Рашель сделалась невинною жертвою чужих грехов», — вполне справедливо пишет в заключение Самарин (Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 13. СПб., 1899, стр. 205—206). Естественно, что сразу же после напечатания стихотворение вызвало много раздраженных и насмешливых откликов. Сам М в следующем номере назвал «Искусство и правду» «случайным стихотворением» и «с удовольствием» поместил две эпиграммы (первая из них написана М. А. Дмитриевым) на него:

Вы говорите, мой любезный,
Что будто стих у вас железный!
Железо разное. Цена
Ему не всякому одна!
Иное на рессоры годно;
Другое в ружьях превосходно;
Иное годно для подков:
То для коней, то для ослов,
Чтоб и они не спотыкались.
Так вы которым подковались?

Не добрый человек, кто злостью бесполезной
Смутит веселый круг и хватит камнем в лоб!
Твой стих тяжел, но не железный:
Нет! — ты «увесистый булыжник в лапы сгреб!»

(М, 1854, № 3, стр. 20). Эпиграммой на стихи Григорьева откликнулся и Н. Ф. Щербина. Здесь Островский является объектом нападок еще больше, чем сам Григорьев:

...Так пусть твой дикий взгляд и критик твой слепой
Замоскворецкими любуются плутами!
...Тебе сплели венок из листьев белены
И пенник и дурман несут на твой треножник
Лишь «Москвитянина» безумные сыны
Да с кругу спившийся бессмысленный художник.

В «Современнике» появилась «Фантастическая сцена» под названием «Литературные гномы и знаменитая артистка», где высмеивался весь кружок М и в том числе Григорьев, выведенный в образе «гнома с мочалкой на голове», читающего стихи «Знаме-

нитой актрисе» (1854, № 3, «Литературный ералаш», стр. 25), а в следующей книжке «Современника» в «Смеси ералаша» появилась заметка «„Элегия-ода-сатира" А. Григорьева и эпилог к ней неизвестного автора» (№ 4, стр. 52). О стихотворении «Искусство и правда» упоминал впоследствии и Добролюбов в своих статьях об Островском. Он считал, что «возгласы» представителей двух «литературных партий» — одна из них состояла из «хвалителей», восхищавшихся каждой строкой Островского (сюда Добролюбов включает Григорьева с его статьями и «Одой-элегией-сатирой»), а другая из «порицателей», видевших в драмах Островского «искажение вкуса» и «ретроградное направление», — ни те ни другие не могли повести «к здравому и беспристрастному рассмотрению дела» (Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. 2. М., 1953, стр. 38). Григорьев не оставил все же своих попыток объяснить, что он понимает под «новым словом» Островского. В июне 1854 г. им были написаны еще два стихотворения — «Друзьям» и «Врагам», оба в печати не появившиеся. Во втором из них Григорьев писал:

Шире дорогу Любиму Торцову!
Ждали ль его вы таким?
Вы посмеялись в нем новому слову —
Слово мы вам разъясним.

«Разъяснение» дается в духе стихотворения «Рашель и правда». Обращаясь к «врагам» и защищая от них Любима Торцова, поэт восклицает:

Вам бы хотелось, чтоб с дикой хулою
Встал он на быт на родной, на семью,
Чтобы совсем всякой порчей чужою
Душу простую испортил свою?

Завершается стихотворение призывом поклониться новому слову, которое несет в себе Любим Торцов:

Слову смиренья, прощенья, любви.

Вспоминая эти стихи через десять лет, Григорьев сам сознавал их странность, но оправдывал их тем, что они «во всяком случае замечательны искренностью чувства». О том, что впоследствии Григорьев стеснялся своей «Элегии-оды-сатиры», свидетельствует и следующее место из его автобиографического рассказа «Великий трагик» (1859): «Не совестно ли вам было написать ваше стихотворение „Рашель и правда"? — спросил рассказчика его собеседник, но тот перевел разговор на другую тему, не ответив „по многим причинам" на этот вопрос» («Воспоминания», стр. 239—240, 376). *Могучий, грозный чародей.* Здесь и далее речь идет о великом трагическом актере Мочалове Павле Степановиче (1800—1848), которого Григорьев необычайно высоко ценил. Он считал Мочалова, наряду с Полежаевым, Варламовым и некоторыми другими деятелями русского искусства, выразителем «романтического веяния». Григорьев описывает здесь впечатления от исполнения Мочаловым

ролей Гамлета, Ричарда III, Отелло, Ромео и Лира в трагедиях Шекспира. *Любил... Офелию побольше брата... За человека страшно* — слова из «Гамлета». *Коня, полцарства за коня* — из «Ричарда III». *Мы Веронику с ним любили, За честь сестры мы с Гюгом мстили* — о драмах Н. А. Полевого «Уголино», в которой Мочалов играл роль Нико, и «Честь или смерть», в которой артист играл роль Гюга Бидермана. *Мы терпеливо выносили, Как в драме хвастал Ляпунов.* В официально-патриотической пьесе Н. В. Кукольника «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» Мочалов играл роль Ляпунова. *Промифей* (греч. миф.) — Прометей. *Поэт, глашатай правды новой* — А. Н. Островский. *Высокий комик* — замечательный артист Малого театра Садовский, Пров Михайлович (1818—1872) — гениальный исполнитель ролей в пьесах Островского. *Любим Торцов* — персонаж пьесы Островского «Бедность не порок». *Бурнус* — верхняя одежда. *Бонтоны* — хорошие манеры, светская учтивость. *Дух рабского, слепого подражанья* — из «Горя от ума» Грибоедова. *Хлам старых классиков для штуки воскрешают.* Здесь слово «штука» употреблено в смысле «штукарить», т. е. фиглярить, фокусничать, проявлять внешнее мастерство. *Я видел, как Рислей детей наверх бросает.* Рислей Ричард, балетный актер, выступал на русской сцене с сыновьями Джоном и Генрихом. *Рашель* (1821—1858) — знаменитая французская трагическая актриса, гастролировавшая в Петербурге и Москве в 1853—1854 гг. Она сначала выступала в классическом репертуаре (Расин, Корнель) и большого успеха не имела; русской публикой ее талант был оценен только в «Адриенне Лекуврер» Скриба, после чего изменилось отношение и к ее исполнению ролей в классических трагедиях («Гораций» Корнеля). Григорьев, будучи в этом стихотворении явно несправедлив к Рашели, вместе с тем все же в какой-то мере выразил здесь общее недовольство «устарелым» классическим репертуаром. *Столодвижение.* Имеется в виду распространившийся в XIX в. спиритизм. Увлечение спиритизмом началось в Америке в первой половине XIX в. и было перенесено в Европу в 1852 г., т. е. совсем незадолго до написания стихотворения.

«За вами я слежу давно...» (стр. 142). Впервые — «Русская мысль», 1916, № 5, стр. 133, публикация В. Княжнина из альбома Л. Я. Визард, чем и определяется датировка (см. примеч. к циклу «Борьба», стр. 547, текст, по-видимому, был получен В. Княжниным от Е. Я. Визард, сестры Л. Я. Визард).

Отрывок из неконченного собрания сатир (стр. 143). Впервые две начальные строки — «Русская мысль», 1916, № 5, стр. 132; полностью — А. Григорьев. Стихотворения. Малая серия «Библиотеки поэта». Л., 1937, стр. 133, по автографу в альбоме Г. П. Данилевского (Гос. публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина). Эпиграф — из посвящения К. Ф. Рылеева к поэме «Войнаровский». *...в страдания святые, в права проклятия...* — Григорьев цитирует здесь свои излюбленные формулы. Ср. со стихотворением «К Лавинии» («Для себя мы не просим покоя...»).

Борьба

Впервые весь цикл полностью — СО, 1857, №№ 44—49, с подзаголовком «XVIII стихотворений Аполлона Григорьева». Во время опубликования цикла автор находился за границей, чем, вероятно, объясняются некоторые неисправности печатного текста. В архиве ПД хранится автограф (не беловой, а с поправками и помарками) всего цикла, по которому выверен и в некоторых случаях исправлен нами текст. Все 18 стихотворений написаны чернилами одного цвета, но имевшаяся ранее какая-то двойная дата, написанная теми же чернилами, решительно зачеркнута, и вместо нее поставлена другими чернилами дата: 1846, в СО не попавшая. Как это уже установлено в литературе о Григорьеве (Материалы, стр. XI—XXIX), цикл «Борьба» связан с любовью Григорьева к Л. Я. Визард. Он познакомился с ней в 1850 или 1851 г., а самое возникновение любви относится, вероятно, к 1852 г. В 1856 г. Визард вышла замуж. Скорее всего и работа над циклом была завершена именно в этом году (см. ниже примеч. к стихотворению «Благословение да будет над тобою...», стр. 552), но, не имея точных данных, мы датируем его временем появления в печати. Дата «1846» появилась в рукописи «Борьбы» взамен реальной, соответствовавшей времени развития отношений между поэтом и Визард, с несомненной целью скрыть от читателя происхождение цикла. На автографе цикла «Борьба» имеется подзаголовок, тоже в печать не попавший: «Лирический роман». Такое определение характера всего цикла не было для Григорьева случайностью, он снова вернулся к нему в поэме «Venezia la bella» (см. примеч. к ней на стр. 566). Расположение и нумерация стихов в рукописи не во всем соответствует тексту СО. Перемещение, скорее всего, сделано автором (судя по печатному тексту, Григорьев и в самые стихотворения внес изменения, не отраженные в данной рукописи). Цикл «Борьба» Григорьев называл стихотворениями «лучшей, москвитянинской эпохи жизни» (Материалы, стр. 306).

1. «Я ее не люблю...» (стр. 143). Вольный перевод стихотворения А. Мицкевича «Niepewność». Впервые — М, 1853, № 14, стр. 78, с подзаголовком: «С польского». В переработанном виде — СО, 1857, № 44, стр. 1065. Приводим текст М:

Я ее не люблю, не люблю...
Я клянусь в том...
Но зачем же с тревожным волненьем
На нее я смотрю, ее речи ловлю?..

Что́ мне в тех простодушных речах,
Что́ мне в прелести гибкой движений,
И в воздушной прозрачности тени,
И в опущенных вечно-стыдливых очах?

Отчего же — и сам не пойму,
Мне при ней как-то сладко и больно,
Отчего трепещу я невольно,
Если руку её на прощанье пожму?

Я ее не люблю, не люблю...
Но порою пылая, тоскуя,
Неотвязные грезы гоню я,
И покоя, покоя у неба молю!

Я ее не люблю... но дрожу
Я за призрак воздушный и гибкой,
И за каждою детской улыбкой
С подозрительно-грустной боязнью слежу.

Всё боюсь я, она улетит
В край воздушный воздушная гостья.
Оттого-то и чувствую злость я
На болезненно-тонкий румянец ланит.

Оттого-то я жадно ловлю
Простодушные, детские речи —
И боюся и жду с нею встречи...
Но ее не люблю я, клянусь, не люблю...

Первоначальный текст автографа ПД по сравнению с текстом М уже сильно сокращен и переделан но и в этой новой редакции вторая и четвертая строфы подверглись дальнейшей переработке. Текст СО соответствует той окончательной редакции, которую стихотворение получило в данной рукописи.

2. «Я измучен, истерзан тоскою...» (стр. 144). Впервые — СО, 1857, № 44, стр. 1065.

3. «Я вас люблю... что делать — виноват!..» (стр. 144). Впервые — там же. Слова: «Я в тридцать лет так глупо сердцем молод» — свидетельство того, что стихотворение написано не ранее 1852 г.

4. «Опять, как бывало, бессонная ночь!..» (стр. 147). Впервые — там же. Дата «29 января 1847», имеющаяся в тексте СО, в рукописи отсутствует. Она появилась в журнале, вероятно, по тем же мотивам, что и дата «1846 г.» на первой странице рукописи всего цикла «Борьба» и в подзаголовке цикла «Титании».

5. «О! кто бы ни был ты, в борьбе ли муж созрелый...» (стр. 149). Вольный перевод написанного в 1831 г. стихотворения В. Гюго из книги «Les Feuilles d'automne» («Осенние листья»), первую строку которого Григорьев поставил эпиграфом к своему стихотворению. Впервые — М, 1853, № 14, стр. 79. Вошло в цикл со значительными поправками — СО, 1857, № 45, стр. 1089.

6. «Прости меня, мой светлый серафим...» (стр. 151). Впервые — СО, 1857, № 45, стр. 1089.

7. «Доброй ночи!.. Пора!..» (стр. 151). Впервые — М, 1843, № 7, стр. 6, за подписью: «А. Трисмегистов». В переделанном виде — СО, 1857, № 45, стр. 1089. Стихотворение навеяно сонетом А. Мицкевича «Dobranoc». Приводим текст М:

Доброй ночи — пора!
Видишь: по небу розово-яркой чертой
Занялася с востока заря,
И спускается тихо туман заревой.

Доброй ночи — пора!
Видишь: утра роса небывалая нам
Разостлала вдали озера
И леса — островами по тем озерам!

Доброй ночи — пора!
Уже тени, боясь росы заревой,
Отлетают, спеша до утра,
До урочного часа вернуться домой.

Доброй ночи!.. Засни!..
Ночи тайные гости боятся зари, как огня...
До луны не вернутся они, —
Доброй ночи тебе, или доброго дня!..

8. «Вечер душен, ветер воет...» (стр. 152). Впервые — СО, 1857, № 46, стр. 1117. В рукописи первая строка: «Вечер душен и ветер воет». Это не случайный ритмический «перебой», а отражение тех поисков в области ритма, которые поэт вел еще в 1840-е годы. См. аналогические «перебои» в гимнах (№№ 4, 9, 15). Ср. также обращение к дольнику в переводах из Гете и Гейне и примеч. на стр. 574.

9. «„Надежду!" — тихим повторили эхом...» (стр. 154). Перевод отрывка из 3-й главы поэмы А. Мицкевича «Konrad Wallenrod». Впервые — СО, 1857, № 46, стр. 1117.

10. «Прощай, прощай! О, если б знала ты...» (стр. 156). Впервые — там же.

11. «Ничем, ничем в душе моей...» (стр. 156). Впервые — СО, 1857, № 47, стр. 1145.

12. «Мой ангел света! Пусть перед тобою...» (стр. 158). Впервые — там же.

13. «О, говори хоть ты со мной...» (стр. 159). Впервые — СО, 1857, № 48, стр. 1181. В рукописи 2-я строка: «Певунья

семиструнная!» После строфы 6-й («Я от зари и до зари...») в рукописи имеется строфа, в печатном тексте не появившаяся:

Певучим звуком доскажи,
Что речью недосказано —
И с чем вся жизнь моей души
Воспоминаньем связана!

В статье Григорьева «Безвыходное положение» («Якорь», 1863, № 1), написанной от имени «ненужного человека», говорится о том, что сначала он хотел стать трагическим актером, а затем «не в очень уж юные лета хотел сделаться знаменитым гитаристом... Может быть, и в том, и в другом стремлении я был прав. Каким-нибудь артистом я был точно рожден...» («Воспоминания», стр. 333). Фет в рассказе «Кактус» с любовью, но вместе с тем со снисходительностью человека, преуспевшего в жизни, рассказывает о Григорьеве, которому «ни на каком поприще» не было суждено «просперировать», и в этой связи — об его игре на гитаре, «под которую он слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни... Несмотря на бедный голосок, он доставлял искренностью и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пьесы» («Воспоминания», стр. 423). «Голос у Аполлона Александровича был гибкий и мягкий, и ему придавали красоту какая-то задушевность в чувстве и тонкое понимание характера нашей народной поэзии. На гитаре играл он мастерски. Этот, почти совсем забытый в наше время инструмент в его руках прекрасно гармонировал с русскими мотивами» (А. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 252—253).

14. Ц ы г а н с к а я в е н г е р к а (стр. 160). Впервые — СО, 1857, № 48, стр. 1181. В рукописи ПД название, написанное карандашом: «Венгерка»; тем же карандашом перечеркнуты крест-накрест строки, начиная со слов: «Замолчи, не занывай» до слов «Болит сердце — ноет». По-видимому, поэт предполагал снова вернуться к этому месту, но так и не выполнил своего намерения (в рукописи всего цикла, кстати сказать, во многих местах сделаны рукой автора отметки и знаки, свидетельствующие о намерении еще что-то доделать, но в большинстве случаев эти места в таком именно виде вошли в текст СО). Строка 61-я в рукописи: «По бессонным, по ночам». В письме к Е. А. Протопоповой от 6 января 1858 г., вспоминая о своей любви к Л. Я. Визард, о встречах с ней, «когда *о ж е с т о ч е н н о* звенела венгерка, эта метеорская, кабацкая поэма звуков безысходного страдания», Григорьев далее приводит из нее четыре строки:

На горе ли ольха,
Под горою вишня...
Любил барин цыганочку,
Она замуж вышла!..

В рассказе «Кактус», говоря об исполнении Григорьевым цыганских песен, Фет вспоминал: «Репертуар его был разнообразен, но

любимою его песнею была венгерка... Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло загасить пламенной любви, красоты и правды. В этой венгерке сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья». И далее Фет приводит тот же куплет, который имеется в письме к Протопоповой. Его Григорьев «особенно оттенял» при исполнении («Воспоминания», стр. 423—424). На этом основании высказывалось предположение, что куплет входил в состав «Цыганской венгерки» и, опять-таки из-за отсутствия автора во время печатания, выпал из текста СО. Догадка не подтверждается рукописью, которая представляет собой вполне законченный текст, без обозначения каких-либо пропусков, и, если не считать некоторых мелочей, совпадающий с текстом СО. Надо, однако, отметить, что после строк: «Вот что квинта говорит, Что басок так воет» в тексте СО идут две строки многоточий, отсутствующие в рукописи. В изд. Блока эти строки многоточий сняты без всякой мотивировки. Мы же придерживаемся в данном случае текста СО: в рукописи ПД этих многоточий нет, но они могли быть вставлены автором позднее. Что же касается приведенного выше четверостишия, то оно, скорее всего, из народной песни, — мотивы и словарь народных песен были широко использованы поэтом при создании «Венгерки». В рассказе «Великий трагик» Григорьев характеризует исполняемую Иваном Ивановичем «Венгерку» следующими словами: «Широкая и хватающая за душу, стонущая, поющая и горько-юмористическая „Венгерка“» («Воспоминания», стр. 237).

15. «Будь счастлива... забудь о том, что было...» (стр. 165). Впервые — СО, 1857, № 49, стр. 1206.

16. «В час томительного бденья...» (стр. 166). Впервые — там же, стр. 1206. В автографе цикла «Борьба» текст этого стихотворения, весь перечеркнутый автором, еще очень далек от окончательного, печатного. Автор его коренным образом переработал и сократил. В архиве ПД имеется другой автограф этого стихотворения, на отдельном листке, отражающий следующий этап работы поэта. На листке заглавие: «В час томительного бденья...», почти полностью совпадающий с текстом СО. Указанное выше название и эпиграф из «Buch Le Grand» Гейне перечеркнуты карандашом. За строкой: «Жизнь чужую сладким ядом» идет строфа, не появившаяся в печатном тексте:

Ядом веры в мир желанный,
Веры в женщину безумной,
Веры в край обетованный
И в судьбы закон разумный.

17. «Благословение да будет над тобою...» (стр. 168). Впервые — СО, 1857, № 49, стр. 1207. Стихотворение, по-видимому, написано в связи с вступлением Визард в брак в 1856 г.

18. «О, если правда то, что помыслов заветных...» (стр. 169). Впервые — там же.

Титании

Впервые — БдЧ, 1857, № 8, отд. 1, стр. 179—182, в качестве посвящения перевода комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», с датой перед текстом: «1846 год» и с еще одной датой: «1846, ноябрь» под текстом последнего стихотворения. Даты эти, однако, скорее всего — мнимые. Над переводом «Сна» Григорьев работал в 1853—1856 гг., а окончательно отделывал его в начале 1857 г. В стихотворном посвящении речь идет о любви Григорьева к Л. Я. Визард, пробудившейся, как известно, в 1850-х гг., о душе влюбленного, которая «сгорала годы, мучась в тишине». Оно было написано, по-видимому, когда работа над переводом подходила к концу или даже была завершена, т. е. когда любовь уже длилась «годы». Да и самый замысел перевода комедии, рисующей «неправильные уклонения» чувства любви (главная героиня комедии охарактеризована в посвящении, как «слиянье прихоти и чистоты», как женщина, способная увлечься человеком, достойным «головы ослиной», а во вступительной статье, предварявшей перевод, где Григорьев дает свое истолкование всех персонажей комедии, он говорит о том, что в образе Титании Шекспир посмеялся над «капризными до чудовищности» вкусами женщины, заставив ее влюбиться в осла, — БдЧ, 1857, № 8, стр. 193), возник, скорее всего, тоже в связи с любовью Григорьева к Л. Я. Визард. Поэтому авторские датировки цикла «Титании» 1846 г. не вызывают никакого доверия, они сделаны с явной целью замаскировать реальную жизненную ситуацию и реального адресата посвящения. Подобного же рода попытку Григорьев хотел предпринять и при опубликовании цикла «Борьба» (см. примеч. на стр. 547). В СО появился одобрительный отзыв на перевод «Сна в летнюю ночь», напечатанный вместе с циклом «Титании». Отзыв интересен прежде всего тем, что здесь содержалась, впервые после десятилетнего перерыва, оценка всей деятельности Григорьева-поэта. Критик пишет: «Г. Григорьев (Аполлон) неоспоримо принадлежит к числу даровитых современных поэтов русских. Вероятно, публика не забыла еще начала его литературной деятельности, стихотворной и прозаической — лет пятнадцать назад, в петербургских периодических изданиях, — начала, носившего на себе отпечаток восторженного, необыкновенно энергического таланта и образованности многосторонней, так важной для поэта в наше время...» Напомнив о книжке Григорьева 1846 г., критик отмечает, что там «между полуфантастическими, полуболезненными излияниями поэтической души встречаются здоровые, сильные отзывы на самые существенные вопросы жизни и общества, — отзывы, послужившие образцами для произведений многих других поэтов, пользующихся большою известностью...» (СО, 1857, № 37, стр. 897).

1. «Титания! Пусть вечно над тобой...» (стр. 170). Впервые — БдЧ, 1857, № 8, стр. 179.

2. «Титания! недаром страшно мне...» (стр. 170). Впервые — там же.

3. «Титания! я помню старый сад...» (стр. 171). Впервые — там же, стр. 180.

4. «Титания! из-за туманной дали...» (стр. 171). Впервые — там же, стр. 180.

5. «Да, сильны были чары обаянья...» (стр. 172). Впервые — там же, стр. 181. *Оберон* — персонаж комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», король эльфов, муж Титании; чтобы наказать поспорившую с ним жену, он применяет чары колдовства, заставляя ее влюбиться в существо с ослиной головой.

6. «Титания! не раз бежать желала...» (стр. 172). Впервые — там же, стр. 181.

7. «Титания! прости навеки. Верю...» (стр. 173). Впервые — там же, стр. 182.

«Хоть тихим блеском глаз, улыбкой, тоном речи...» (стр. 173). Печ. по альбому II. Этим стихотворением открывается ряд произведений поэта, в которых отразилось его увлечение одной из сестер Мельниковых. Первое упоминание о «добрых приятельницах Мельниковых (славная семья, хоть и Петербургские)» встречается в письме Григорьева Е. Н. Эдельсону от 13 декабря 1857 г. из Флоренции (Материалы, стр. 200). В письме к Е. С. Протопоповой от 19 (22) марта 1858 г., очерчивая обстановку своей жизни в Италии, Григорьев сообщает, что кроме «домашнего мира», т. е. семьи Трубецких, где он состоял воспитателем сына, он «завел свой мир, особенный», куда «складывал всю свою душевную тревогу». В этом «мирке» Григорьева увлек «один наиболее впечатлительный и больной женский субъект». «В субъекте этом, — писал Григорьев, — было все то, что люблю я в женском типе: тихая отзывчивость гитары и гибкость кошки... После первого corso я понял, что я опять влюблен... Я опять жил всею полнотою страсти, упиваясь самою безнадежностью этой новой страсти, страдая ее кашлем, робко, как раб, подстерегая каждое ее движение и, как деспот, управляя ее мыслями, впечатлениями, всем ее моральным существом» (Материалы, 229—230). Снова Григорьев возвращается к той же теме в письме к Е. С. Протопоповой от 27 апреля 1858 г. Он говорит о поглотившем его «впечатлении цельном, захватывающем всю душу» и сообщает, что ради того, чтобы жить под влиянием этого впечатления «пока догорит это бедное, больное дитя», он «повернул» свою жизнь, принял предложение Кушелева о работе в «Русском слове» и, таким образом, покидает Москву и переезжает в Петербург (там же, стр. 233). Биографы Григорьева проходили мимо этих признаний поэта. Теперь, когда найдены альбомы со стихотворениями Григорьева 1857—1858 гг., становится очевидным не только то, что в биографии поэта было не три, как считали ранее, а четыре романа, но что известный цикл «Импровизации странствующего романтика» и ряд неизвестных стихотворений, публикуемых в настоящем издании, связаны не с «устюжской барышней» Марией Федоровной, а с другой женщиной.

Импровизации странствующего романтика

1. «Больная птичка запертая...» (стр. 174). Впервые — «Русский мир», 1860, № 11, стр. 43. 19 (22) марта 1858 г. Григорьев писал из Флоренции Е. С. Протопоповой: «После primo corso <т. е. первого дня карнавала> у меня невольно и искренно вырвался следующий аккорд... <далее идут первые 8 строк стихотворения «Больная птичка запертая...»> Я еще никогда не писал стихов без внутреннего душевного побуждения... Сам я не знаю, как это у меня всегда делается, но самые глубокие впечатления были у меня те, которые приходили в мою душу совершенно нежданно, или нет, не то! — которые долто лежали в душе под спудом и вдруг всплывали на поверхность совсем готовые, полные, всю душу захватывающие» (Материалы, стр. 229). В альбом II Григорьевым вписаны те же 8 строк под названием «Аккорд in Fa major» и датой. Как это следует из письма Григорьева к Е. С. Протопоповой от 26 января 1858 г., — первое Корсо было 25 января, что и является основанием для датировки начала работы над стихотворением.

2. «Твои движенья гибкие...» (стр. 174). Впервые — там же. В альбоме II стихотворение записано под названием «Песня Киске» и датировано 6 (18) февраля 1858 г., Citta dei Fiori. Приводим разночтения. Строки 11—16:

И страсти лихорадочность,
И детская невинность...
То бархатно ласкающий
Доверчивости взгляд,
То холод ужасающий
И *дружбы* тонкий яд.

Строки 21—22:

Огня ль струя ты странная,
Морская ль ты волна —

Строки 29—32:

Царапать воля — вольная
Была б тебе дана,
Стерпел бы, хоть и больно, я...
Ты киской создана!

Строки 37—40:

Что хочешь делай ты со мной,
Царапай лапкой больно...
Я все у ног твоих с мольбой!
Ты киска — и довольно!

В письме к Е. С. Протопоповой от 19 (22) марта 1858 г. Григорьев рассказывает о том, что он называл свою болезненную приятельницу «больной киской», упиваясь «слабыми звуками ее голоса, кошачьими замашками» (Материалы, стр. 230), В. Княжнин

(Материалы, стр. 348) и Иванов-Разумник (Воспоминания, стр. 654) ошибались, относя это стихотворение к Марии Федоровне.

3. «Глубокий мрак, но из него возник...» (стр. 175). Впервые — «Русский мир», 1860, № 12, стр. 48. В стихотворении отразились впечатления от «Мадонны» Мурильо. Эту картину Григорьев увидел во Флоренции. Написано между октябрем 1857 г., когда Григорьев туда приехал, и январем 1858 г., к которому уже относится новое стихотворение на ту же тему «О, помолись хотя единый раз...» О впечатлении, произведенном на него картиной Мурильо, Григорьев неоднократно писал в письмах к друзьям (Материалы, стр. 174, 207, 211, 250). В письме к Е. С. Протопоповой от 20 октября 1857 г., в значительной части своей посвященном мадонне Мурильо, читаем: «Мрак, окружающий этот прозрачный, бесконечно нежный, девственно строгий и задумчивый лик, играет в картине столь же важную роль, как сама Мадонна и младенец, стоящий у нее на коленях... Тут есть аналогия с бетховенским творчеством, которое тоже выходит из бездн и мрака, и также своею простотою уничтожает все кричащее» (Материалы, стр. 175—176).

4. «О, помолись хотя единый раз...» (стр. 176). Впервые — там же. В альбоме II стихотворение это имеет название «К Мадонне Мурильо» и эпиграф из второй части «Фауста» Гете. Приводим последние 4 строки автографа, отсутствующие в печатном тексте:

О, помолись, моя святая Дева,
Да снидет луч во тьму души моей,
Да Судия хоть раз на место гнева
На раны сердца источит елей!

5. «О, сколько раз в каком-то сладком страхе...» (стр. 177). Впервые — там же. Это стихотворение развивает тему двух предыдущих. Написано, вероятно, в те же месяцы конца 1857 начала 1858 г., когда поэт находился под впечатлением флорентийской мадонны Мурильо; в июне этого года Григорьев уже уехал из Флоренции в Париж, где вскоре было написано стихотворение, обращенное к другой картине этого художника.

Песня сердцу (стр. 178). Печ. впервые по альбому II. *Арно* — река, на берегу которой расположена Флоренция.

«Страданий, страсти и сомнений...» (стр. 179). Печ. впервые по альбому II. *В «метеорском чине»*. В письме к М. П. Погодину от 15 апреля 1858 г. Григорьев писал: «Я лучше буду жить метеорскою жизнью, чем отрекусь от самой доли того, что я купил жизнию мысли» (Материалы, стр. 232). Стихотворение «Когда, пройдя, бывало, Гиббелину...» (из альбома I) подписано Григорьевым — «Маленький метеорчик». Свою «Цыганскую венгерку» Григорьев называл «метеорской, кабацкой поэмой звуков

безысходного страданья» (см. стр. 550). «Метеорство» для Григорьева понятие весьма емкое: он обозначал им такое отношение к жизни, которое резко противоречит нормам буржуазно-дворянской, мещанской морали.

Отзвучие карнавала (стр. 180). Печ. впервые по альбому II. Написано под впечатлением карнавала, состоявшегося во Флоренции в январе 1858 г. «Вышел я вчера на первое Корсо... Я очутился на Арно... Маскерад, как гремучий змей, захватил меня своим хоботом... Мгновенный переход в пестрый фантасмагорический сон совершился во мне... Да! есть возможность жить чужою жизнью, жизнью народов и веков... Тут живешь не настоящим, которое мелко во Флоренции, а прошедшим... Старое доживает в новом и оно еще способно одурить голову, как запах тропических растений» (Письмо к Е. С. Протопоповой от 26 января 1858 г., Материалы, стр. 218—219).

«Прощай и ты, последняя зорька...» (стр. 180). Печ. впервые по альбому II. В стихотворении отразились переживания Григорьева перед отъездом в Париж. Над этим стихотворением рукой Григорьева записано следующее четверостишие:

Замок, где мы пировали толпою,
Вечное горе покроет...
Двор порастет зеленой травою,
Горько пес верный завоет...

Оно перекликается с мотивами стихотворения Байрона «Прощание с Ньюстедом» и, вероятно, навеяно им. Четверостишие не является эпиграфом: обычно Григорьев писал эпиграфы в правой стороне листа, а данное четверостишие написано слева. Но, не являясь эпиграфом в прямом смысле слова, эти четыре строки внутренне созвучны стихотворению «Прощай и ты, последняя зорька». Соотношение четверостишия и стихотворения дает наглядное представление о методе работы поэта — мотив, навеянный чужим произведением, явился творческим толчком, способствовавшим поэтической кристаллизации собственных настроений и переживаний Григорьева и созданию оригинального стихотворения, отражающего события его личной жизни.

К Мадонне Мурильо в Париже (стр. 181). Печ. впервые по альбому II.

«Мой старый знакомый, мой милый альбом!..» (стр. 182). Печ. впервые по альбому II. Григорьев приехал в Петербург в октябре 1858 г. Вскоре он, как явствует из комментируемого стихотворения, снова встретился с Мельниковыми, но в последующие годы, по-видимому, с ними уже не общался.

«И всё же ты, далекий призрак мой...» (стр. 182). Впервые — «Русская сцена», 1864, № 8, стр. 259, как post-scriptum переводчика «Ромео и Джульетты». Скорее всего, относится к Л. Я. Визард.

ДВА ЭГОИЗМА

Драма в четырех действиях, в стихах

(стр. 183)

Впервые — Р и П, 1845, № 12, стр. 661—743. В письме к М. П. Погодину от октября 1845 г. Григорьев сообщал: «Написал драму, которая выйдет вместе со стихотворениями» (Материалы, стр. 102). В архиве ПД хранится рукопись драмы Григорьева «Современный рок» (таково было первоначальное название «Двух эгоизмов») в переплетенной тетради, на обложке которой значится: «Стихотворения Аполлона Григорьева, II», а на следующем, титульном листе напечатано: «Часть вторая. Современный рок. Драма в четырех актах, в стихах (посвящено А. Ф. К.)». Далее, как в опубликованном тексте, следует эпиграф из Лермонтова. На обложке имеется надпись чернилами: «№ 387. 23 октября 1845 г.», а на титуле — карандашом: «Препроводить на рассмотрение г. цензора Никитенко. 23 октября 1845 г.» Наличием этой рукописи из архива А. В. Никитенко подтверждается тот факт, что Григорьев не только намеревался включить «Два эгоизма» в свою книгу 1846 г., но и пытался реализовать свое желание. На сб. 1846 г. имеется разрешение Никитенко от 31 октября 1845 г. Вторую часть представленной рукописи цензор, по-видимому, к печати не дозволил. В архиве СПб цензурного комитета никаких материалов о причинах запрещения «Современного рока» обнаружить не удалось, но, что определенную роль мог сыграть Никитенко, свидетельствует следующий любопытный факт, имеющий прямое отношение к драме Григорьева. 30 октября 1845 г., т. е. за день перед тем, как он разрешил печатание «Стихотворений» Григорьева, Никитенко докладывал в комитете о четырех строках из поэмы Тургенева «Помещик»:

...От шапки-мурмолки своей
Ждет избавленья! возрожденья!
Ест редьку. Западных людей
Бранит и пишет донесенья!

Комитет, однако, не нашел в этих стихах «ничего противного правилам цензуры» и дозволил их к напечатанию. Но если Никитенко был испуган этими сравнительно безобидными строками, направленными против славянофила К. С. Аксакова, то содержащиеся в драме «Два эгоизма» несравненно белее разкие выпады против того же лица и всего славянофильского направления, в сочетании с резкими выпадами против петербургской бюрократии, должны были вызвать со стороны трусливого Никитенко безусловное запрещение. Цензор Р и П А. И. Мехелин вскоре разрешил драму Григорьева к печати. Посвящение А. Ф. К., т. е. Антонине Федоровне Корш, имеющееся в рукописном экземпляре, в печатном тексте отсутствует. В рукописном экземпляре (написанном рукой переписчика, с поправками автора) имеются два места, слегка перечеркнутые карандашом и тоже не попавшие в печатный текст Р и П. Они

дополняют характеристику одного из главных действующих лиц, Кобыловича, и были, по всей вероятности, исключены самим автором, как слишком обидные для прототипа этого лица — недавнего друга Григорьева Н. К. Калайдовича. Приводим эти места:

В 3-м действии, во 2-й картине, реплика Кобыловича: «как дамы, счастие — и так же, как оне, обманчиво...» имеет следующее продолжение:

...Я, бывши на Волыни,
Природу женщины чертовски изучал...
Я там ревизовал и, признаюсь, доныне
Подобных женщин не видал.
И счастье мне везло, как в банке.

Мертвилов
(на ухо Постину)

Четырнадцать любовниц на Волыни.

(Громко)

Как Геркулес, слыхал я, вы
Двенадцать подвигов свершили?

Кобылович
(самодовольно улыбаясь и поправляя галстук)

Четырнадцать... но головы
Они моей не закрутили...
Я строго там ревизовал,
В архивах поднял много пыли
Старинных дел, — и мне сказал
Матвей Михайлыч раз...

Столетний

Однако вы забыли,
Что ваша очередь сдавать...

И далее, в той же 2-й картине, реплика Кобыловича: «Послушайте, когда я был в Волыни...» — имеет следующее перечеркнутое карандашом продолжение:

Матвей Михайлыч мне туда
Писал, чтоб я поудержался,
Что с женщинами мне беда,
Но я нисколько не боялся...
Я слишком женщин изучал,
И всю натуру их узнал,
И на досуге собирался
Писать историю развития идей
О женщине... и даже мне Матвей
Михайлыч говорил...

Три действующих лица этой драмы — Кобылович, Баскаков, Петушевский — имеют свои реальные жизненные прототипы. Современники это отметили сразу же после появления драмы в свет. 15 декабря 1845 г. И. С. Аксаков писал из Калуги родным о полученном там письме от одного петербургского «жорж-сандиста», в котором, между прочим, сообщается, что «Григорьев (поэт «Пантеона и Репертуара», друг Калайдовича, кандидат Московского университета, служащий в Петербурге) в десятой (или декабрьской) книжке «Пантеона» напечатал комедию, где очень хорошо выставлен Аксаков под именем Баскакова, фурьерист Петушевский (один из петербургских) и Кабулович (Калайдович). Аксаков, между прочим, говорит, что истинное семейное начало лежит в славянском народе, и пр. и пр., и декламирует: «Муж может бить жену, но убивать не смеет!» Откуда это все взято — не знаю. Но Григорьев не видал даже Константина, стало, это все по слухам и рассказам Калайдовича, с которым он, видно, поссорился, ибо выставляет его говорящим беспрерывно: «Матвей Михайлович!» Каково же, однако, выставить Калайдовича, как будто он что-нибудь значит!» («И. С. Аксаков в его письмах», т. 1. М., 1888, стр. 312—313). И. С. Аксаков утверждает, со слов петербургского корреспондента, будто Кобылович в пьесе беспрерывно повторяет: «Матвей Михайлович!» Но в печатном тексте Кобылович, беспрестанно и угодливо ссылаясь на своего отсутствующего начальника, называет его «Андрей Михайлович». Однако здесь И. С. Аксаков был близок к истине: в рукописи начальник Кобыловича фигурирует именно как «Матвей Михайлович». По-видимому, речь шла о конкретном лице, и Григорьев уже в последний момент заменил реальное имя вымышленным. О прототипе Кобыловича — Н. К. Калайдовиче — и об отношении к нему Григорьева см. примеч. на стр. 537. Прототип Баскакова, философа-славянофила, — К. С. Аксаков (1817—1860). Высмеивая древнерусский костюм, в который Аксаков демонстративно наряжался, Григорьев был не очень оригинален (подобного рода выпады имеются и в «Помещике» Тургенева, и в других произведениях тех лет). Но при этом Григорьев подошел к славянофилу Аксакову и его воззрениям с неожиданной стороны. В сатирической подаче проповедуемых Аксаковым славянофильских воззрений на «семейное начало» несомненны отголоски как личных переживаний поэта (известно, например, что «догматический гнет» в родительском доме явился одной из причин его бегства из Москвы в Петербург), так и его увлечений идеями Жорж Санд и утопического социализма. «Семья... есть угнетение, семья есть деспотизм... в семье есть исключительная собственность, эгоистическое распределение богатств; семья есть нищета... семья есть воплощенное зло, и государство, стоящее на ней, есть отравленный организм», — говорил петрашевец А. В. Ханыков («Петрашевцы», т. 2. М.—Л., 1927, стр. 153—154). Как видим, И. С. Аксаков, называя петербургского корреспондента «жорж-сандистом» и рассматривая самого Григорьева в качестве одного из представителей «целого общества» подобного рода «молодых людей» (что следует из контекста, в который входит сообщение о «Двух эгоизмах»), был в какой-то мере прав.

Но тут же сразу возникает вопрос о том, как критика славяно-

фильских воззрений, в которой Григорьев явно сближается с петрашевцами и «жорж-сандистами», согласуется с ироническим освещением в той же драме фигуры самого М. В. Петрашевского (1821—1866), выведенного под именем Петушевского. Противоречивое отношение Григорьева к Фурье уже в свое время отмечалось в литературе. Делались попытки объяснить эти противоречия при помощи хронологии. Н. Н. Русов утверждал, что Григорьев хотя и кратковременно, но был целиком во власти идей Фурье (см. вступ. статью Русова в кн.: Аполлон Григорьев. Человек будущего. М., 1916, стр. 29). В. С. Спиридонов, считая, что Фурье и Сен-Симон «были чужды» Григорьеву, все же склонен приписывать кратковременному влиянию их идей появление у него лишь нескольких стихотворений социально-политического характера (Ап. Григорьев. Полн. собр. соч., т. 1. Пг., 1918, стр. LVI—LVIII). Увлечение фурьеризмом, считают Русов и Спиридонов, сменилось у Григорьева резким охлаждением, о чем свидетельствуют «Два эгоизма». П. Н. Сакулин, в противоположность вышеуказанным исследователям, утверждает, что Григорьеву все в утопическом социализме было решительно чуждо (см. «Русская литература и социализм», часть первая. М., 1924, стр. 406—429). А. П. Скафтымов, говоря о явной политической направленности нескольких нелегальных стихотворений Григорьева, считает, что «от увлечения идеями утопического социализма Ап. Григорьев тогда же вскоре отрекся (драма «Два эгоизма»)» (см. А. П. Скафтымов. Белинский и драматургия Островского. «Ученые записки Саратовского гос. университета», т. 31, 1952, стр. 92). Иную точку зрения высказал Б. Я. Бухштаб, утверждая, что «социалистические и революционные настроения Григорьева невозможно хронологически отслоить от его масонских увлечений», что «немыслимо... считать идейное развитие Григорьева в этот период какой-то чересполосицей полярных друг другу идей» («Ученые записки Саратовского гос. университета», т. 56, 1957, стр. 197). Бухштаб указал на то, как революционные идеи и масонские упования скрещивались в творчестве Жорж Санд, под сильным влиянием которой находился молодой Григорьев. «Фурьеризм» Григорьева несомненно связан с его «жорж-сандизмом». Но Григорьев все же никогда не был ни последовательным «жорж-сандистом», ни последовательным «фурьеристом». Его позиция была своеобразна уже в начале 1840-х гг. Всего круга идей утопического социализма он и тогда даже кратковременно не принимал. Образ Петушевского становится понятным, если исходить из того, что к революционным идеям, отразившимся не только в нескольких нелегальных стихотворениях Григорьева, но и в ряде других его произведений, у поэта с самого же начала было сложное отношение. В дополнение к тому, что сказано об этом в примечаниях к стихотворениям «Комета» (стр. 524), «Город» (стр. 534) и поэме «Олимпий Радин» (стр. 564), здесь, объясняя происхождение образа Петушевского, надо сказать, что, разделяя с «фурьеристами» их критику современной цивилизации, молодой Григорьев с сомнением относился к их положительной программе (чем скорее всего и объясняется то, что Григорьев не был активным участником кружка). Он отстаивал стремление человечества жить хоть и «выстраданной», но «своей собственной» жизнью, «вопреки теориям Фурье и других господ» (Р и П, 1846, № 12, стр. 405). Годом позже он

называет Фурье «рационалистом», характеризуя при этом рационализм как «безжалостное анатомическое применение положений чистого разума к живому организму общества» (МГЛ, 1847, № 33, стр. 131). В рассказе «Другой из многих» не только скептик и циник Имеретинов иронически-пренебрежительно относится к одному восторженному поклоннику Фурье, но и Иван Чабрин (т. е. сам Григорьев) признается: «Энтузиазм его к фаланстерам даже меня <т. е. человека, относящегося к Фурье совсем не так, как Имеретинов> иногда способен заставить улыбнуться» (МГЛ, 1847, № 244, стр. 978). На первый взгляд в «Двух эгоизмах» вызывает недоумение и вполне насмешливая, почти издевательская подача образа «гегелиста»: приданная ему фамилия «Мертвилов», а затем и речи, вложенные в его уста, — все это как будто тоже мало согласуется с тем, что нам известно о Григорьеве как руководителе студенческого кружка, одним из главных занятий которого была немецкая философия и Гегель в особенности (Фет, стр. 153, 170; «Русские пропилеи», т. 1, М. 1915, стр. 210—217). Ведь всего лишь несколькими годами ранее увлечение Гегелем в этом кружке дошло до того, что слуга Григорьева Иван однажды при разъезде вместо «коляску Григорьева!» выкрикнул: «Коляску Гегеля!» Таким образом, появление в «Двух эгоизмах» такого лица, как Мертвилов, весьма знаменательно и бросает дополнительный свет на идейную эволюцию Григорьева в то время. Критикуя гегелевскую философию, он впоследствии утверждал, что в ней «вместо действительной опорной точки — души человеческой» берется воображаемая — «отвлеченный дух человечества». В жизни каждого народа и каждого отдельного человека Гегель видит не более чем «переходную форму к другой, переходной же, форме». (БдЧ, 1858, № 1, стр. 18—19). Гегель, с точки зрения Григорьева, жертвует самобытностью каждого жизненного явления во имя торжества абсолютной идеи. Григорьев же и в поэзии, и в первых критических своих работах стремился выразить такой взгляд на мир, в котором на первый план выдвигались особое предназначение, неповторимая самобытность, заключенные в каждом народном организме или в отдельной человеческой личности. В 1844 г. он писал: «Изменения, которые происходят во мне, — происходят по непреложным законам моего личного бытия» («Листки из рукописи скитающегося софиста», «Воспоминания», стр. 174). Вместе с тем в «Двух эгоизмах» Григорьев выступает и против пошлого истолкования гегелевской философии как Мертвиловым, так и славянофилом Баскаковым, усматривающими в русском самодержавном строе проявление «воли истории».

Других откликов, кроме отзыва Белинского (см. вступит. статью, стр. 18), драма Григорьева в печати не получила. Но сам Григорьев год спустя коснулся ее общего замысла в статье «Русская драма и русская сцена». Здесь он резко выступает против идеи «искусства для искусства», требует обращения драмы к современным духовным и общественным коллизиям. Говоря далее о любви как элементе современной драмы, он считает, что, в отличие от прежних истолкований этого чувства, для современности характерна «*любовь как борьба эгоизмов, любовь-вражда*», свидетельствующая о сознании человеком своей «личности» и нежелании подчинить ее другому. Заявив, что он сам пытался раз-

вить драматически эту идею, Григорьев пишет: «Драма, разумеется, как слишком молодой и недозрелый опыт, вышла весьма нелепа и, главное, не сказала собою то, что бы должна была сказать, — если я упоминаю о ней здесь, то потому только, что крепко держусь за те основные идеи, которые присутствовали при ее рождении» (Р и П, 1846, № 11, стр. 241; № 12, стр. 407). Действие первое. *Вы — «Новый мир» Фурье изволили читать?* Фурье Шарль (1772—1837) — великий французский утопический социалист, в книге «Новый мир» (1829) стремился дать общедоступное изложение своего учения. В годы, к которым относится драма «Два эгоизма», книга Фурье еще не была переведена на русский язык. И впоследствии она (как и некоторые другие сочинения Фурье) появилась на русском языке в сокращенном виде. *Отсюда в Английский* — т. е. в московский т. н. «Английский клуб», где (в отличие от петербургского) нередко живо обсуждались вопросы общественной жизни. Действие второе. *Лишь в Опекунский заезжать.* В Московском опекунском совете «находилась в закладе и перезалоге вся помещичья Россия» (С. В. Максимов. А. Н. Островский. «Русская мысль», 1897, № 1, стр. 36). *Охабень* — старинная боярская верхняя одежда с четырехугольным откидным меховым воротником, покроем напоминающая кафтан. *Я умываю руки И, как Пилат, хочу быть в этом чист.* По евангельской легенде, Понтий Пилат, бывший в 26—36 гг. римским правителем Иудеи, в ответ на требование казнить Иисуса, умыл водою руки, сказав при этом, что, не считая Иисуса виновным и не желая брать на себя греха, дает согласие на казнь, лишь повинуясь настояниям толпы. *Вы были в Лючии? Как Сальви Вам в сравненьи С Рубини кажется?* «Лючия ди Ламмермур» — опера итальянского композитора Доницетти (1797—1848); либретто этой и двух других опер Доницетти переведены Григорьевым на русский язык в 1862—1864 гг. Сальви — итальянский оперный певец, гастролировал в России в 1845—1846 гг. Рубини Джиовани (1795—1854) — знаменитый итальянский тенор, в 1844—1845 гг. выступал в Петербурге вместе с Виардо-Гарсиа. *Гарсисты есть, кастелянисты...* Речь идет о поклонниках выдающейся французской оперной певицы Полины Виардо-Гарсиа (см. примеч. на стр. 588) и итальянской певицы Кастелан, гастролировавшей в России в 1845—1846 гг. *Я говорил, с Москвою Сойдется Петербург, и с Гегелем Фурье.* В начале 1840-х годов передовые круги Москвы увлекались немецкой идеалистической философией, в особенности Гегелем, в то время как интересы передовых кругов петербургской молодежи были направлены преимущественно к идеям французских утопических социалистов, в том числе Фурье. Однако гегелист Мертвилов все же упрощает реальное положение, ибо в это время и в Москве идеи утопического социализма уже привлекали к себе внимание молодежи (здесь можно сослаться на самого Григорьева) и имели своих горячих приверженцев (например, Герцена). *Минье* Франсуа-Огюст-Мари (1796—1884) — французский историк, автор «Истории Французской революции» (1824), книги, имевшей большую популярность, и ряда других сочинений. Действие третье. *Лови, лови часы любви* — романс А. Е. Варламова на слова И. Бачманова. Действие четвертое. *«Горные вершины»* — стихотворение Лермонтова «Из Гете».

ПОЭМЫ

Олимпий Радин (стр. 271). Впервые — Р и П, 1845, № 5, стр. 313—330, с посвящением А. Ф. К. (т. е. Антонине Федоровне Корш), с эпиграфом из второй части «Фауста». Вошло в сб. 1846 г. без посвящения и эпиграфа и с дополнительными, по сравнению с журнальным текстом, цензурными сокращениями, которые восстанавливаются по публикации Р и П. В поэме, несомненно, нашла отражение история отношений между Григорьевым и Антониной Корш. Однако было бы ошибкой утверждать, что третье лицо, выведенное в ней — Олимпий Радин,— это «отраженный портрет Кавелина», как считал Иванов-Разумник («Воспоминания», стр. 604). Образ Олимпия Радина, на котором «давно легло проклятие», с его умением «затаить... страдание в груди», никак не вяжется с Кавелиным. Радин — это отражение дум, чувств и переживаний Григорьева тех лет. Глава 5. *То полурусская семья Была...* Речь здесь и далее идет о семье Корш, которая была немецко-еврейского происхождения. *Бирсуп* (нем.) — суп из пива. *Русский быт Увы! совсем не так глядит,— Хоть о семейности его славянофилы нам твердят Уже давно...* Нарисованная далее картина русского семейного быта перекликается с тем, что высказано на ту же тему в драме Григорьева «Два эгоизма» (см. стр. 559). Примечательно, что на этот раз Григорьев, критикуя «семейное начало», обращается к свидетельствам русских народных песен. Называя эти песни «страшно грустными», напоминая читателю наиболее характерные их мотивы и завершая всю картину словами: «Семья для нас всегда была Лихая мачеха, не мать»,— Григорьев выступает здесь не только против воззрений славянофилов на «семейное начало», но и дает при этом такую трактовку лирической народной поэзии, которая резко расходилась с трактовкой славянофилов. К. С. Аксаков, а также примыкавший к славянофилам О. М. Бодянский уже в конце 30-х гг., а еще более настойчиво в 40-х гг., доказывали, что в лирических песнях выступают нравственные основы русской души, для которой «семейное начало» — «источник всего доброго на земле» (см. М. К. Азадовский. Народная песня в концепциях русских революционных просветителей 40-х годов. «Известия Отделения литературы и языка АН СССР», т. 9, вып. 6, 1950, стр. 457—462). Против такой интерпретации народной песни выступил в 1841 г. Белинский, утверждавший, что, отражая уродливые формы русского семейного быта, русская песня нередко дышит и «сокрушительным чувством отчаяния и ожесточения» (ПССБ, т. 5. 1954, стр. 441—442). Интерпретация мотивов народной песни в «Олимпии Радине» очень близка к трактовке Белинского и, может быть, даже в какой-то мере навеяна ею. Свидетельством того, насколько истолкование Григорьева приближалось и даже совпадало в некоторых частностях с интерпретацией народной песни в революционно-демократических кругах, могут быть высказывания А. И. Герцена на ту же тему (см. А. И. Герцен, Собр. соч., т. 7. М., 1956, стр. 185—186). Интерес к народной песне, пробудившийся у Григорьева, еще в 40-х годах углубился в 50-х. Он искал, записывал песни (эти записи вошли в «Собрание песен» П. И. Якушкина), изучал приемы их исполнения. Свои мысли

о поэтической и музыкальной сущности песен, о приемах и задачах их собирания он изложил в двух статьях: «Русские народные песни» (М, 1854, № 15) и «Русские народные песни с их поэтической и музыкальной стороны» («Отечественные записки», 1860, №№ 4—5). Глава 6. *Грозой оторванный листок* — строка из поэмы Лермонтова «Мцыри». Глава 8. *Распространялся он о том, Как в новом мире все равны, Как все спокойны будут в нем.* Здесь и далее — ирония над фурьеристской идеей фаланстера, где освобожденные человеческие страсти будут уходить «на обрабатыванье груш». В сюжете поэмы, в этих язвительно-насмешливых разговорах героя с героиней отражены события московской жизни Григорьева, а точнее 1843 г., чем дополнительно подтверждается мысль, высказанная в примечании к стихотворению «Комета» (стр. 525), о том, что его знакомство с «Новым миром» Фурье относится уже к этому периоду. Вся эта глава, внутренне перекликаясь с «Кометой», помогает понять смысл главной лирической темы Григорьева. В сознании Григорьева личная любовная тема неразрывно связана с темой общественной, социальной. Вместо банального любовного объяснения герой говорит здесь с героиней с «двух дорогах бытия», о будущем общественном устройстве. Но это — не уход от решения личного вопроса. Мучения героя, противоречия его психологии, отсутствие надежд на настоящее и будущее счастье — все это связано с противоречивым его отношением к идеям «Нового мира», к идеям утопического социализма, которые и влекут к себе, и вместе с тем кажутся ограниченными, не дающими решения ни личных, ни общественных вопросов. Белинский, говоря о том, что «местами стих его <Григорьева> бывает силен и прекрасен, но только тогда, когда он одушевлен негодованием, превращается в бич сатиры, касаясь некоторых явлений действительности», сослался при этом на «мимоходные заметки о Москве, о семейственности» в «Олимпии Радине» (ПССБ, т. 9, 1955, стр. 593). В произведении сказалось влияние на поэзию Григорьева поэм Лермонтова «Мцыри» и «Демон». Поэма «Олимпий Радин», как и «Мцыри», написана мужскими рифмами — явление в русской поэзии редкое. И. Н. Розанов отметил, что «ту же фамилию Радин носит герой драмы Лермонтова „Два брата"» («Венок М. Ю. Лермонтову», М—Пг., 1914, стр. 252—255).

Видения (стр. 287). Впервые — Р и П, 1846, № 3, стр. 558—563. Эпиграф — из стихотворения Г. Гейне «Красавицу юноша любит (Лирическое интермеццо)». *Ланнер* Иосиф (1780—1843) — композитор, автор танцевальной музыки.

Предсмертная исповедь (стр. 292). Впервые — «Финский вестник», 1846, № 9, стр. 5—22. Образ героя поэмы, пережитая им духовная трагедия человека, гордо презирающего «толпу рабов», а также и некоторые сюжетные ситуации перекликаются с рассказами Григорьева «Один из многих» (Р и П, 1846, №№ 6, 7, 10) и «Другой из многих» (МГЛ, 1847 № 4). Как и в «Олимпии Радине», в этой поэме ощущается «обвеянность» лермонтовской поэзией. Эпиграф — из стихотворения Байрона «The spell is broke, the charm is flown!..» Глава 4. *Гангес* — старинное название

реки Ганг в Индии. *Набоб* — титул правителя в Индии. Глава 11. *О Марфа, Марфа...* По евангельскому преданию, Христос упрекал Марфу в том, что она суетится и заботится о многом; он противопоставил ей ее сестру Марию, избравшую себе одну «благую часть».

Встреча (стр. 308). Впервые — Р и П, 1846, № 8, стр. 211—234. Посвящение Фету вызвано, вероятно, тем, что незадолго до написания поэмы, во время краткого пребывания в Москве, в 1846 г. Григорьев встретился с ним. Глава 2. *Иракла новые столбы.* По древнегреческому мифу, Геракл, совершивший 12 подвигов, прошел через всю Европу и Ливию. В память о них он поставил так называемые Геракловы столбы. Глава 6. *Иль в европейский Вавилон.* В реакционной печати Париж часто уподоблялся древнему Вавилону, — так, например, М. П. Погодин в своих путевых записках о Европе, рассказывая о виде Парижа с колокольни собора Парижской богоматери, восклицает при этом: «О горе тебе, Вавилон!» (М. Погодин. Год в чужих краях, т. 2. М. 1844, стр. 96). Глава 7. *О вечном Nichts и Alles решали споры.* «Ничто» и «всё» — категории идеалистической философии. Глава 9. *Роберт-Дьявол* — опера Д. Мейербера (1791—1864). *«Gib mir mein Kind, mein Kind zurück!»* — слова из арии Бертрама в упомянутой опере. *Певец хандры, певец снегов* — Фет, автор циклов стихотворений «Хандра» и «Снега». К разбору и оценке цикла «Снега» Григорьев неоднократно возвращался, находя в нем «стремление поэта к новому содержанию и новым формам», способность «передавать в осязаемых, оригинальных образах ощущения почти неуловимые, способность делать доступным внутренний мир души посредством внешних явлений» («Отечественные записки», 1850, № 2, стр. 57). О Фете же речь идет и в следующей главе: *Является пред нами былая, общая любовь...* (см. примеч. к стихотворению Е. С. Р., стр. 522). Глава 10. *Бертрам* — главный герой оперы «Роберт-дьявол» Д. Мейербера. Глава 11. *Вас, петербургская Елена.* Здесь и далее речь идет о балетной артистке Большого театра в Петербурге Е. И. Андреяновой (1819—1857), исполнявшей в балетной сцене «Роберта-дьявола» роль Елены. Подчеркивая, что талант Андреяновой признали патриоты московского театра, Григорьев имеет в виду соперничество между этой петербургской танцовщицей и выдающейся московской балериной Е. А. Санковской. Глава 12. *Строгий суд Парижа пал.* Андреянова приехала на гастроли в Москву после зарубежной поездки (в Лондон, Париж, Гамбург). *Когда, волшебница, в «Жизели» Эфирным духом вы летели.* Андреянова была первой в России исполнительницей роли Жизель в одноименном балете, поставленном в 1842 г. Фет по памяти, неточно цитирует эти строки (Фет, стр. 223). Глава 14. *А вот философ и поэт.* Вероятно, имеется в виду К. С. Аксаков.

Первая глава из романа «Отпетая» (стр. 330). Впервые — МГЛ, 1847, № 163, стр. 652—653, № 164, стр. 656—657. Жизненной средой и героями этот оставшийся неоконченным «роман» Григорьева напоминает одновременные попытки поэтов «натуральной» школы создать поэму (в частности, «Отпетая» перекликается с «Машенькой» А. Н. Майкова). Но, несмотря на это внеш-

нее сходство, уже по первой главе «романа» видно, что замысел Григорьева шел не в русле «натуральной» школы, к которой поэт относился тогда отрицательно (см. стихотворение «Автору „Лидии" и „Маркизы Луиджи"» и примеч. к нему, стр. 539). Не жизненные условия и среда должны были явиться единственной причиной гибели героини, а пробудившееся демоническое начало в ее душе, то, что она «вошла... с небом в спор». Не случайно поэтому раздающаяся над героиней песня Сатаны, в которой «звездам спокойным» противопоставляется «комета роковая», перекликается со стихотворением «Комета» (см. стр. 525). Строфа 1. *Коломна* — отдаленный от центра район Петербурга. Строфа 2. *Литовский замок* — первоначально казармы Литовского полка, а с 1830-х годов — тюрьма в Петербурге. Строфа 4. *«Ночь над мирною Коломной Тиха отменно»* — из «Домика в Коломне» Пушкина. Строфа 5. *«Погибший рано смертью смелых»* — из «Евгения Онегина». Строфа 6. *Другой вожатый верить вас учил.* Имеется в виду Лермонтов. Строфа 8. *Морская* — одна из центральных улиц Петербурга (ныне ул. Герцена). Строфа 20. *Анна со звездой* — орден св. Анны, жаловался либо со звездой, либо без нее. Строфа 22. *Ритм Байрона* — имеется в виду четырехстопный ямб с мужской рифмой. Этим размером В. А. Жуковский перевел «Шильонского узника» Байрона. Им же написана поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Строфа 25. *Жуанов и Ловласов племя ныне Уж вывелось.* Имеются в виду герои романа в стихах «Дон-Жуан» Байрона и романа Ричардсона «Кларисса Гарлоу», имена которых стали нарицательными для типа мужчины — «опасного соблазнителя». Строфа 36. *Карамзина Две повести.* У читателей пользовались популярностью повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» и «Марфа-посадница». *«Фрегат „Надежда"»* — повесть А. А. Бестужева-Марлинского, имела большой успех. Строфа 37. *Гремин* — герой другой повести Марлинского — «Испытание». Строфа 46. *Офицерская* — улица, которая вела в район Коломны, ныне ул. Декабристов. Строфа 50. *Злобой и тоской Железные стихи их нам звенели.* Имеется в виду стихотворение Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен...»

Venezia la bella (стр. 349). Впервые — «Современник», 1858, № 12, стр. 377—396. 24 октября 1857 г. Григорьев писал из Флоренции А. Н. Майкову: «Вот вам цельный отрывок из большого романа (не пугайтесь — он написан прозой, стихи в нем только оазис), который, бог даст, когда еще кончу. Сей отрывок потрудитесь продать (всего лучше в «Современник»), как сами заблагорассудите, найдете приличным и выгодным... Вещь, кажется, недурна — по крайней мере, в ней одно качество выдержано: постоянная лихорадочность тона. Бога ради, не забудьте вставить в примечании №№ «Сына отечества», в каком напечатан другой «лирический дневник» из этого же романа <речь идет о цикле «Борьба»> — Так надо — всеми богами заклинаю» (архив ПД). На основании этого письма поэму «Venezia la bella» можно датировать 1857 г. Поэма появилась в печати уже после возвращения Григорьева в Россию и без примечания. Однако в примечании к поэме «Вверх по Волге» (см. стр. 567) поэт указал, что «Venezia la bella»

является частью его «Одиссеи». Как и цикл «Борьба», поэма «Venezia la bella» обращена к Л. Я. Визард (см. о ней стр. 547, 552). «Лихорадочность тона», о которой говорит Григорьев в этом письме к Майкову, была направлена против холодной рассудочности, созерцательной уравновешенности поэтов «антологического» направления. Не случайна поэтому и реакция Н. Ф. Щербины, откликнувшегося на поэму Григорьева длинным ироническим письмом в редакцию «Развлечения» под названием «Патологический факт», где утверждал, что в поэме Григорьева он услышал то «стук топора, то стук и грохот пустой бочки, катящейся по кочкам» (Н. Щербина. Полное собр. соч. СПб., 1873, стр. 434—437). Заметку свою Щербина печатать раздумал и опубликовал лишь стихотворную пародию на поэму Григорьева под названием: Roma l'antica («Отрывок из „Одиссеи" последнего идеалиста». «Искра», 1859, № 4, стр. 40). Строфа 6. *Риальто* — островок в Венеции. Строфа 11. *Ладзарон* (ладзароне) — нищий. Строфа 13. *Шпор* Людвиг (1784—1859) — немецкий композитор, скрипач и дирижер. Строфа 24. *Мочаловского времени наследство... Торцов* — см. стр. 545—546. Строфа 25. *А всё же я «трагедии ломал»* См. перевод стихотворения Гейне «Не пора ль из души старый вымести сор...» и примеч. на стр. 577. Строфа 27. *Боль сердца — как нытье больного зуба* — цитата из «Путевых картин» Гейне. *Nell mezzo del cammino di mia vita!* — первый стих «Божественной комедии» Данте. Строфа 28. *«Увядший жизни цвет»* — неточная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина. Строфа 31. *Ты знаешь край?* — из «Песни Миньоны» в романе Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера». Строфа 37. *Нажиться жизнью в день один.* Тот же мотив см. в «Паризине» Байрона, которую Григорьев вскоре перевел. Строфа 39. *Тиргартен* — общественный парк в Берлине. Строфа 47. *Аннунциата* — героиня повести немецкого писателя-романтика Э.-Т.-А. Гофмана «Дож и догаресса»; морские волны поглотили ее вместе с возлюбленным. Строфа 48. *Senza amare* — слова песенки из повести «Дож и догаресса».

Вверх по Волге (стр. 370). Впервые — «Русский мир», 1862, № 41, стр. 750—754, и № 42, стр. 767—770, со следующим примечанием автора, напечатанным на первой странице поэмы: «Одна из частей этой — едва ли, впрочем, имеющей быть конченной «Одиссеи» напечатана в «Сыне отечества» 1857 г. («Борьба»); другая — рассказ в прозе «Великий трагик» в «Русском слове» 1859 г., № 1; третья — поэма «Venezia la bella» в «Современнике» 1858 г., № 11. Дело идет, одним словом, о том же самом Иване Ивановиче, за безобразия и эксцентричность которого не раз уж приходилось отвечать невинному повествователю, благодаря *особенным* понятиям о благопристойности, развившимся в нашей литературной критике в течение последнего пятилетия». П. В. Быков вспоминает, что Григорьевым была начата 4-я часть «Одиссеи» под названием «Искушение последнего романтика», и даже приводит несколько строк из нее («Тютчевский сборник». Пг., 1923, стр. 35). Иван Иванович, о котором говорит в своем примечании Григорьев, — это его второе «я». Он действующее лицо рассказа «Великий трагик» и двух фельетонов — «Беседы с Иваном Ивановичем о современной

нашей словесности» (СО, 1860, №№ 6 и 7). Иван Иванович — «вечный и последний романтик». В «Великом трагике» имеются, между прочим, следующие слова об Иване Ивановиче: «Мне стало жаль его, последнего романтика, добросовестно и постоянно вносившего в личную жизнь поэтические впечатления и жертвовавшего им всем, что зовется в жизни положительным» («Воспоминания», стр. 286—287). Связывая с именем Ивана Ивановича поэму «Вверх по Волге», Григорьев дает понять, что и здесь снова та же проблема, которая волнует Ивана Ивановича и в «Великом трагике», и в «Беседах»: он хотел бы преодолеть противоречие между «идеалом» и «жизнью», не впадая в идеальное прекраснодушие, ведущее к игнорированию действительности, и не приспособляясь вместе с тем к отжившим мещанским нравственным нормам. Поэма «Вверх по Волге» связана с любовью Григорьева к «устюжской барышне» Марии Федоровне. Их интимные отношения длились с 1859 г. по март 1862 г. и кончились разрывом. Вместе с этой женщиной Григорьев в мае 1861 г. поехал в Оренбург, где поступил на службу учителем в кадетский корпус. Письма его оттуда (Материалы, стр. 266—297) дают очень точное представление о трудной жизни в провинциальном захолустье. Григорьеву приписывают следующее четверостишие об Оренбурге:

Скучный город скучной степи,
Самовластья гнусный стан,
У ворот — острог да цепи,
А внутри — иль хам, иль хан.

Глава 1. *Убийцу-Каина.* По библейскому преданию, Каин убил своего брата Авеля. *Лиэй* — Дионис (греч. миф.) — бог вина и хмеля. Глава 2. *В городе твоем.* Имеется в виду Великий Устюг. Глава 3. *Писал недавно мне один Достопочтенный господин.* О реакционном историке и публицисте, редакторе журнала «Москвитянин» М. П. Погодине, с которым Григорьев был связан еще с университетских лет. Погодин, эксплуатировавший Григорьева (как и других своих сотрудников), вместе с тем призывал его на путь «нравственности». *Да! Было время... Я иной любил любовью.* Имеется в виду любовь к Л. Я. Визард, которая, не встретив отклика, была чисто платонической. *Сырых Полюстрова ночей.* Полюстрово — пригородный район Петербурга. Глава 5. *Омежной* — шальной, сумасброд. *О, старый, мудрый мой учитель... Ведь это не вопрос Норманской* и т. д. Снова речь идет о Погодине и о вопросах, которыми он занимался как историк и филолог. *«Бурлаки — братья Под лямкой песни запоют»* — из драмы А. Н. Островского «Козьма Захарьич Минин-Сухорук». Глава 6. *Манфред* — герой поэмы Байрона «Манфред». Глава 7. *У гроба Минина.* Речь идет об организаторе народного ополчения в 1611—1612 гг., похороненном в нижегородском Преображенском соборе. Глава 8. *Одна, некрасовская ночь Без дров, без хлеба...* Имеется в виду ситуация из стихотворения Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...» (1847). Это стихотворение Григорьев называл «больным, могущественнейшим воплем души» и, наряду со стихотворениями «В дороге», «Огородник» и многими другими, относил к числу наи-

более сильно действующих на читателя творений Некрасова («Время», 1862, № 7). *Заезжал друг старый... Словом донимал он спьяну очень строгим.* Речь идет о Е. Н. Эдельсоне (см. стр. 541), который настаивал на том, чтобы Григорьев порвал с Марией Федоровной. Вскоре после визита, о котором здесь говорится, Григорьев с возмущением писал Эдельсону: «Прийти по праву дружбы колотить обухом по больному месту, дойти, хоть и пьяному, до того, чтобы, как пьяный кучер, обратиться... к женщине, которая (по крайней мере тебе) не подала на такое предложение никакого повода...» И далее: «Хорошо было бы, если бы я вертелся как флюгер, по манию моих друзей! *Высоконравственно* было бы бросить женщину, которую я люблю и в которой есть еще искра божия, ради *законных* отношений к экстракту всяческой лжи, гнусности и мерзости, именуемому Лидией Федоровной...» (речь идет о жене Григорьева, с которой он давно порвал). «Я руками, ногами и зубами схвачусь за женщину, которую я люблю и которая меня любит, хоть она необразованна и не говорит на разных диалектах» («Литературная мысль», № 2. Пг., 1923, стр. 145). А в новом письме к Эдельсону, уже перед отъездом в Оренбург, Григорьев писал: «Глубокое оскорбление промена меня на Лидию Федоровну легло так поперек нас, что реставрация невозможна — чувствую это искренне в душе. Ты можешь сказать, что и я променял тебя. Да ведь я-то на страсть — а ты на что?.. На чисто условные понятия! Увы! — это уже обращение не к тебе одному — так ли поступали друзья Огарева в истории, весьма похожей на мою, с тем различием, что у Огарева денег много, а у меня их нет» («Ученые записки Куйбышевского педагогического института», вып. 6, 1942, стр. 197). Здесь Григорьев противопоставляет отношение к нему со стороны друзей в истории с Марией Федоровной тому отношению, которое встретил Огарев, когда во время тяжелого семейного конфликта, возникшего между ним и его первой женой, ближайшие друзья Огарева сразу же стали на его сторону. *На Крестовском* — остров в Петербурге.

ПЕРЕВОДЫ

С немецкого

ГИМНЫ

Сборник «Стихотворений Аполлона Григорьева» 1846 г. открывался циклом из 15 стихотворений, под общим заглавием «Гимны», с общей датой «1845». Цикл этот резко отличается от стихотворений второго раздела не только тем, что он весь проникнут духом «примирения», в то время как второй раздел проникнут скорее духом «негодования», но и своей, необычной для других произведений поэта, иногда затрудненной, а иногда даже неуклюжей формой. В. Н. Княжнин в свое время высказал мысль о том, что «Гимны» связаны с увлечением молодого Григорьева масонством (о причастности поэта к масонской ложе обмолвился Фет, стр. 226). Сопоставив «Гимны» с песнями, напечатанными

в одном масонском сборнике, Княжнин пришел к выводу, что эти стихи Григорьева — своего рода «практическая» поэзия, предназначенная для исполнения в ложах, при обрядах («Русская мысль», 1916, № 5, стр. 20—21). Впоследствии, снова коснувшись масонских увлечений Григорьева, Княжнин высказал предположение, что здесь «не мало дало поэту... масонство в романе Ж. Санд — „La comtesse Roudolstadt"» («Литературная мысль», № 2, Пг., 1923, стр. 143). В результате предпринятых Б. Я. Бухштабом разысканий им был обнаружен немецкий сборник масонских песен под названием Vollständiges Gesangbuch für Freimauer, Berlin, 1813, включающий оригиналы почти всех «гимнов» Аполлона Григорьева. Оказалось, что слово «масоны» Григорьев при переводе либо исключал вовсе, либо заменял словом «братья». Это диктовалось цензурными соображениями, ибо в ту пору масонские ложи были в России запрещены. Таким образом, Б. Я. Бухштаб пришел к бесспорному выводу о том, что «гимны» являются переводами (см. его статью: «Гимны» Аполлона Григорьева. «Ученые записки Саратовского гос. университета», т. 56, 1957, стр. 184—194). Любопытным комментарием к «гимнам» и, вероятно, определенным объяснением того, почему, предназначенные для исполнения в масонской ложе, они все же оказались включенными в сборник 1846 г., да еще поставленными на первое место, могут служить напечатанные Григорьевым вскоре рассказы «Один из многих» (1846) и «Другой из многих» (1847). В каждом из этих рассказов «эгоист» духовно связан с «масоном» и является его воспитанником. Званинцев, герой «Одного из многих», — «создание двух веков», мистического и прозаического. Один из его воспитателей, человек XVIII века, масон, воспитывал его на «древних», а второй, человек другого поколения, — на Наполеоне. Причем «для чистой души ребенка между всем этим не было противоречия». Результатом такого воспитания явился скептик и эгоист, не только отвергающий общественные предрассудки, но вообще не признающий над собой никаких моральных законов. Подобная же схема лежит в основе взаимоотношений между молодым Василием Имеретиновым и его дядей-масоном в рассказе «Другой из многих». Воспитатель-дядя советует племяннику руководствоваться «начертанным в себе законом вечной мудрости», а у юноши Имеретинова эти масонские идеи оборачиваются неуемным, неограниченным душевным и духовным произволом, «стихией зла». Для молодого Григорьева здесь было реальное противоречие: оно сказалось и в его личной биографии, он обнаруживал его и в духовных исканиях своей эпохи. Вот почему, думается, переводы «гимнов» составили первый раздел книги, где следующий раздел посвящен теме «гордого», «эгоистического» страдания, а третий — должна была занять драма «Два эгоизма» с главным героем, очень родственным Званинцеву и Василию Имеретинову — «эгоистам», вышедшим из недр масонства. Как и в прозе, «эгоизм» и «масонство» должны были и в поэзии предстать явлениями, внутренне связанными, из которых одно порождает другое. Два десятилетия спустя эта проблематика, столь волновавшая Григорьева-поэта и прозаика и которой он так и не овладел, нашла гениального истолкователя — Льва Толстого, поставившего в «Войне и мире» рядом с «эгоистами»

двух разновидностей — Анатолием Курагиным и Андреем Болконским — «масона» Пьера Безухова. Большинство рецензентов «Стихотворений» 1846 г. встретили «гимны» насмешками. Многое не только в содержании, но и в форме «гимнов» — туманные, неуклюжие, а иногда даже неправильные обороты речи, — оправдывало такое отношение. Б. Я. Бухштаб справедливо объясняет эти особенности стилистики «гимнов» тем, что темные места здесь возникают от борьбы со специфическими трудностями оригиналов, из которой переводчик не всегда выходил победителем (указ. статья, стр. 190—191). Надо, однако, сказать, что наряду с невнятными и неудобочитаемыми строчками есть у Григорьева в «гимнах» и серьезные удачи. Таковы, например, гимны 3 («Не унывайте, не падет...») и 15 («Надежда») с их патетическим, энергичным стихом. Блок находил в «гимнах» «небрежные» стихи и вместе с тем «совершенно оригинальный стих», свидетельствующий о «смелости художника», — например, в стихотворении «Из Гердера» (изд. Блока, стр. 540). Задолго до Блока, который в пылу полемики с современными Григорьеву критиками переоценил значение «гимнов», появилась статья о поэзии Григорьева, содержащая любопытные замечания и об этих стихах. «Гимны» Григорьева, по словам автора статьи, как будто написаны для пения хором. Это самые красивые хоры, какие есть в русской поэзии. Они весьма разнообразны: то на живые, почти плясовые мотивы: «Песнь о розе», «Еще бог древний жив», то это застольные, дружеские, веселые песни: «Песня художников», «Дружеская песня», то религиозные, точно средневековый хорал: «Жизнь хороша», то унылые, похоронные... Критик утверждает, что стихотворение «Тихо спи, измученный борьбою...» распевалось еще в 1860-е годы (Пл. Краснов. Книга забытая. «Книжки недели», 1895, № 10, стр. 182—184).

1. К мудрости (стр. 393). Перевод стихотворения Эмлера «Weisheit du von Gott geborne...» из указ. сборника. Впервые — сб. 1846 г., стр. 5.

2. Песня художников (стр. 395). Перевод стихотворения «Wiederum die stille Nacht...» из указ. сборника. Впервые — «Иллюстрация», 1845, № 26, стр. 414, с подзаголовком: «Из Гёте». Вошло в сб. 1846 г. без подзаголовка. В оригинале речь идет не о художниках, а о масонах, членах ордена «Каменщиков». По-видимому, появление в переводе «художников», как и в журнальной публикации пометки «Из Гёте», — сознательная мистификация (см. Б. Я. Бухштаб. Указ. статья, стр. 194).

3. «Не унывайте, не падет..» (стр. 397). Перевод стихотворения «Verzaget nicht, sie wird sich heben...» из указ. выше сборника. Впервые — сб. 1846 г., стр. 13.

4. (Из Гердера) (стр. 399). Перевод стихотворения «Nenne nicht das Schicksal grausam...» из указ. сборника. Впервые — сб, 1846 г., стр. 18.

5. «Неразрывна цепь творенья...» (стр. 400). Перевод стихотворения «In ununterbrochner Handlung eilt...» из указ. сборника. Впервые — сб. 1846 г., стр. 20.

6. «Кто родник святых стремлений...» (стр. 401). Перевод стихотворения «Wem ein Herz voll edler Triebe...» из указ. сборника. Впервые — Р и П, 1845, № 9, стр. 623. Вошло в сб. 1846 г.

7. «Тихо спи, измученный борьбою...» (стр. 402). Перевод стихотворения «Ruhe sanft vom Kampf des Schicksal müde...» из указ. сборника. Впервые — Р и П, 1845, № 6, стр. 497, под названием: «Надгробие». Вошло в сб. 1846 г.

8. Песнь о розе (стр. 402). Перевод стихотворения «Vom Schosse der Natur ließ Gott...» из указ. сборника. Впервые — сб. 1846 г., стр. 26.

9. «Что дух бессмертных горé веселит...» (стр. 404). Оригинал не установлен. Маловероятно, считает Б. Я. Бухштаб, чтобы это и два следующих за ним стихотворения не были переводами и являлись оригинальными произведениями Григорьева (см. указ. статью, стр. 193). Впервые — сб. 1846 г., стр. 30.

10. «Еще бог древний жив...» (стр. 405). Оригинал не установлен. Впервые — сб. 1846 г., стр. 33.

11. Дружеская песня (стр. 406). Оригинал не установлен. Впервые — сб. 1846 г., стр. 35.

12. Похоронная песня (стр. 407). Перевод стихотворения Гете «Trauerloge». Впервые — сб. 1846 г., стр. 37.

13. «Судия, духов правитель...» (стр. 407). Перевод стихотворения «Richter freigeschaffner Geister...» из указ. сборника. Впервые — сб. 1846 г., стр. 39.

14. «Жизнь хороша!..» (стр. 408). Перевод стихотворения «Leben ist schön...» из указ. сборника. Впервые — сб. 1846 г., стр. 41.

15. Надежда (стр. 411). Перевод стихотворения Шиллера «Hoffnung» из указ. сборника. Впервые — сб. 1846 г., стр. 47.

ГЕТЕ

К Гете Григорьев относился по-разному на разных этапах своего творческого развития. Если в ранней молодости великий немецкий поэт был для него «предметом поклонения», то впоследствии восторженное отношение к Гете сменилось более спокойным и критическим. Григорьев связывает ограниченность Гете не столько с его политическим индифферентизмом (правда, он ставил в упрек Гете-драматургу пренебрежение «политическими пружинами» че-

ловеческих действий), сколько с элементами филистерства во всем его миросозерцании. Немецкое филистерство, по мысли Григорьева, «игнорирует действительность, т. е. попросту не хочет знать ее», но вместе с тем «наслаждается действительностью, знает толк, вкус, смак в ней» и умеет «посредством деятельности воображения подогревать невкусную действительность мещанской жизни» (М, 1854, № 8, стр. 171—188). Гете поднимался над филистерством, но окончательно порвать с ним все же не мог. Этот взгляд Григорьева на противоречия в творчестве немецкого поэта резко отличался от точки зрения такого, например, апологета «чистого искусства», как А. В. Дружинин, который в 1856 г. писал о Гете в панегирическом тоне, принимая его целиком и без оговорок и выставляя его как величайший и неколебимый образец «артистического» служения «вечной красоте». Круг стихотворных переводов Григорьева из Гете находится в соответствии с его оценкой разных сторон наследия немецкого поэта. Он считал, что Гете сильнее всего выразил себя в лирике, и даже в «Фаусте» находил проявление именно лирического гения. «Олимпийски-спокойный» Гете не привлекал к себе русского поэта, и он даже настаивал на том, что «мысль о вечном спокойствии Гете в высшей степени ошибочна» («Отечественные записки», 1850, № 2 стр. 50). В отличие, например, от Фета, Григорьев не переводил произведений Гете, написанных в «классической» форме, в которых, по его словам, «иногда поражает некоторой фальшью утонченная пластичность», не обращался он никогда к «Римским элегиям». Молодой Григорьев переводил из Гете стихи, созвучные его собственным «масонским» настроениям («Божественное», «Похоронная песня»). Но уже и тогда он перевел также «Перемену» и «Покаяние» — произведения другого плана, в которых идеалистическому прекраснодушию и мещанскому догматизму противопоставляются сила и значение «земного» человеческого чувства. (Оба эти перевода несомненно связаны с интимными переживаниями Григорьева — историей его любви к Антонине Корш). Позднее он обращается к стихотворению «Певец», которое в 50-е годы, в связи со спорами о «чистом искусстве» (Григорьев был его убежденным противником) приобретает особую актуальность; к стихотворениям «На озере» и «Завет», где он находил романтически-окрашенное чувство слияния с природой и примирение с действительностью, но не «филистерское» и не «беззаботно-созерцательное», свойственное «русскому идеалисту» 40-х гг.: «Нет, примирение, которое разумел Гете (и до которого дошел сам он, впрочем только сознанием), и проще и выше; это — примирение в деятельности, в любви, — величие в малом, в ежедневном, в обыкновенном» («Русское слово», 1859, № 6, стр. 43).

Божественное (стр. 411). Перевод стихотворения «Das Göttliche». Впервые — Р и П, 1845, № 8, стр. 277. Вошло в сб. 1846 г.

Покаяние (стр. 412). Перевод монолога Эльмиры «Sieh mich, Heilger, wie ich bin...» из оперетты «Эрвин и Эльмира». Впервые — сб. 1846 г., стр. 49. Одновременно с Григорьевым переведено А. Н. Плещеевым («Современник», 1845, № 4, стр. 115—

116). Стихотворение о раскаянии женщины, холодностью своей погубившей влюбленного в нее молодого человека, было созвучно «жорж-сандистским» настроениям обоих поэтов.

Перемена (стр. 413). Перевод стихотворения «Wechsel». Впервые — сб. 1846 г., стр. 51.

Молитва Парии (стр. 414). Перевод стихотворения «Paria». Впервые — Р и П, 1845, № 7, стр. 228. Вошло в сб. 1846 г. Датируем предположительно 1845 г., т. к. напечатанный в сб. 1846 г. перевод стихотворения Гете «Божественное», помещенный перед данным переводом, датирован 1845 г., а следующие за ним еще два перевода из Гете датированы тем же годом.

На озере (стр. 414). Перевод стихотворения «Am See». Впервые — «Отечественные записки», 1850, № 2, стр. 52, в статье «Стихотворения Фета». В собрания стихотворений Григорьева ранее не включалось. «За неимением под рукой» перевода, ранее сделанного К. Аксаковым, — писал Григорьев, — «осмеливаемся представить другой, по возможности близкий к подлиннику» (там же). Но Григорьев все же не сумел «вполне точно воспроизвести меняющийся размер немецкого оригинала» (В. М. Жирмунский. Гете в русской литературе. Л., 1937, стр. 395).

Лесной царь (стр. 415). Перевод стихотворения Гете «Erlkönig». Впервые — «Пантеон», 1850, № 4, стр. 49—50. Григорьев несколько раз высказывался по поводу этой баллады Гете, обращаясь к ней, как к замечательному примеру «единства» содержания и формы. Он подчеркивал при этом, что «миросозерцание» Гете, его трактовка суеверной средневековой легенды сказываются во всем построении, во всей стилистической ткани стихотворения. Баллада эта, писал Григорьев, «не напрашивается на вашу веру; вы как-то колеблетесь: то слышите вы плач ребенка и слово лесного царя, то разуверяетесь вы вместе с отцом, и, вместо лесного царя, видите седой туман и в речах его слышите шелест листьев. В этой-то иронии и заключается вся глубина и прелесть этого маленького стихотворения» («Отечественные записки», 1850, № 2 стр. 63). К этой же мысли, весьма характерной для понимания Григорьевым «единства» формы и содержания, он вернулся снова через несколько лет. Утверждая, что «протестант» (Григорьев имеет в виду протест против феодально-клерикальной идеологии) сказывается в Гете «поэтической иронией к фантастическому миру суеверий», критик приводит, как пример проявления этой иронии, балладу «Лесной царь», где «голос лесного царя так сливается со свистом ветра и шумом листьев, что одно постоянно принимаешь за другое» («Русская беседа», 1856, № 3 стр. 5). В самом переводе этой баллады Григорьев «соперничает с Жуковским, вводя легкую руссификацию и решаясь, как и в переводах из Гейне, впервые воспроизвести дольники немецкого оригинала... замененные у Жуковского метрически однообразным амфибрахием» (В. Жирмунский. Гете в русской литературе. Л., 1937, стр. 395).

«Единого, Лилли, кого ты любить могла...» (стр. 417). Перевод стихотворения «An Lida». Впервые — М, 1851, № 13, стр. 7. В собрания стихотворений Григорьева ранее не включалась.

Певец (стр. 417). Перевод стихотворения «Der Sänger». Впервые — М, 1852, № 21, стр. 34, в тексте перевода «Вильгельма Мейстера», выполненного Григорьевым.

«Кто со слезами свой хлеб не едал...» (стр. 419). Перевод песни «Wer nie sein Brot...» Впервые — М, 1852, № 21, стр. 41, в тексте перевода «Вильгельма Мейстера». В собрания стихотворений Григорьева ранее не включалось.

«О, кто одиночества жаждет...» (стр. 419). Перевод стихотворения «Wer sich der Einsamkeit...» Впервые — М, 1852, № 21, стр. 42, в тексте перевода «Вильгельма Мейстера». В собрания стихотворений Григорьева ранее не включалось.

Завет (стр. 419). Перевод отрывка стихотворения «Das Vermächtniss». Впервые — «Русское слово», 1859, № 6, стр. 43, в статье «И. С. Тургенев и его деятельность». В собрания стихотворений Григорьева ранее не включалось.

ШИЛЛЕР

Текла (стр. 420). Перевод стихотворения «Thekla». Впервые — МГЛ, 1847, № 247, стр. 989. Стихотворение написано Шиллером от имени молодой героини его драматической трилогии «Валленштейн». *Я ль нашла потерянного снова?* Имеется в виду погибший возлюбленный Теклы — Макс. *Там отец мой* — Валленштейн. *Там его не обманула вера В роковые таинства светил.* Валленштейн в драме Шиллера поверил предсказаниям астрологов, которые не сбылись.

Тайна воспоминания (стр. 421). Перевод стихотворения «Das Geheimnis der Reminiscenz (An Laure)». Впервые — МГЛ, 1847, № 258, стр. 1033. Посвящено Лидии Федоровне Григорьевой — жене поэта. Стихотворение является поэтическим истолкованием мифа, содержащегося в «Пире» Платона: человек некогда был сложным существом, которое Зевс разрубил на две половины — мужскую и женскую. Любовь выражает стремление двух половин вновь воссоединиться.

ГЕЙНЕ

Говоря о «движении» русской поэзии послепушкинской поры, разбирая лирику Лермонтова, Огарева, Фета, Майкова и других современных ему поэтов, Григорьев неоднократно обращался при этом к поэзии Гейне (свои переводы двух стихотворений Гейне Григорьев впервые напечатал в критической статье, в разделе, посвященном анализу русской лирической поэзии 40—50-х гг.). Называя Гейне поэтом, выразившим «болезненное настройство» определен-

ной эпохи, Григорьев отмечал при этом, что не может говорить о «болезненной» поэзии «совершенно беспристрастно», и давал читателю понять, что не только, например, Фета, но и свое собственное поэтическое творчество он, в известных пределах, причисляет к этому течению. Что же выделял Григорьев в поэзии Гейне на первый план? Устойчивая точка зрения на творчество немецкого поэта, которую он в развернутом виде высказал несколько раз, сложилась у Григорьева в 50-х годах. В это время отношение к Гейне со стороны представителей разных направлений русской критики было далеко не однородным. В некоторых печатных органах проявлялась тенденция превратить Гейне, учитывая его растущую популярность, в носителя чуть ли не христианских добродетелей, дружелюбно и весело взирающего на человечество. Поборник «чистого искусства» А. В. Дружинин видел в Гейне дидактика, запятнавшего свою поэзию интересом к злобе дня и дошедшего «до всех крайностей философского и поэтического отрицания» (см. М. Л. Тронская. Гейне в оценке революционно-демократической критики. «Ученые записки Ленинградского гос. университета», № 158, серия филологических наук, вып. 17. 1952, стр. 389, 394—395). В этих условиях позиция Григорьева по отношению к Гейне была весьма своеобразной. На страницах М, где в 1848 г. (№ 4, стр. 22) В. А. Жуковский называл этого немецкого поэта «хулителем всякой святыни», обнаруживая в его творчестве «цинически бесстыдно-дерзкое... богохульство» и т. п., Григорьев выступил со статьей, в которой подошел к поэзии Гейне как к «явлению историческому». Григорьев считал, что необходимо разобраться в своеобразных чертах его поэзии, ибо это поможет понять многое и в творчестве современных русских поэтов, таких, например, как Фет (М, 1853, № 1 стр. 42). Отмечая, что Гейне — «единственный комик между немцами, никогда не могшими подняться до комического взгляда на самих себя», что он без содрогания «продергивал» комические стороны «немецкой сущности», Григорьев все же «не в комизме» видел главное значение его для литературы (см. «Русское слово», 1859, № 5, стр. 16). В творчестве Гейне Григорьева интересовала не политическая, а интимная лирика. Но самую эту личную лирику он рассматривал не как выражение вневременных чувств и переживаний — он находил в ней изображение и анализ жизненной катастрофы современного человека, причины которой кроются не столько в «судьбе» и филистерстве окружающего мира, сколько в самом этом человеке, в его «раздражительном и больном эгоизме». По мысли Григорьева, и страдание, и самоуслаждение страданием, и горькая, скорбная, шутовская ирония над ним — все это вызвано в лирике Гейне характерной для людей его поколения трагедией самолюбивого эгоизма. «Долго должен перегорать и очищаться человеческий эгоизм», — к такой мысли приходил Григорьев, анализируя поэзию Гейне. И именно потому, что этот, столь волнующий Григорьева, процесс «очищения» еще только начинается, «нам еще не дано от нее <поэзии Гейне> отрешиться, хотя, конечно, смешно было бы целый век оставаться при ней одной и потерять сочувствие ко всему новому и свежему» («Генрих Гейне», «Русское слово», 1859, № 5, стр. 15—28). Естественно поэтому, что в своих переводах из Гейне Григорьев стремится избежать каких бы

то ни было интонаций сентиментального умиления. Высмеивая «сладенькие и приторные нежности quasi à la Гейне, надоевшие всем до смерти» («Отечественные записки», 1850, № 2, стр. 53), он сам в своих переводах хочет передать внутреннюю противоречивость его поэзии, присущее ей иронически-скорбное разоблачение романтических иллюзий. Первые переводы Григорьева из Гейне относятся еще к 40-м годам. Впоследствии к ранее сделанным были добавлены еще два, выполненные позднее. Все вместе они были снова опубликованы автором в 1859 г. в «Русском слове». Переводам Григорьев предпослал вступительную статью (ее основные положения изложены нами выше). Вслед за своими переводами Григорьев поместил переводы других поэтов из Гейне. Мы печатаем переводы Григорьева по тексту «Русского слова», 1859, № 5, стр. 28—30.

«Они меня истерзали...» (стр. 423). Перевод стихотворения «Sie haben mich gequälet...» из «Лирического интермеццо». Впервые — сб. 1846 г., стр. 92.

«Ядовиты мои песни...» (стр. 423). Перевод стихотворения «Vergiftet sind meine Lieder...» из «Лирического интермеццо». Впервые — сб. 1846 г., стр. 92.

«Страдаешь ты, и молкнет ропот мой...» (стр. 423). Перевод стихотворения «Ja du bist elend, und ich grolle nicht...» из «Лирического интермеццо». Впервые — Р и П., 1845, № 4, стр. 70, за подписью: ***. Вошло в сб. 1846 г. В Р и П 2-я, 4-я и 12-я строки: «Дитя мое, нам поровну страдать», а 6-я строка: «В устах скользит насмешка, как змея».

«Жил-был старый король...» (стр. 424). Перевод стихотворения «Es war ein alter König» из сборника «Новые стихотворения». Впервые — сб. 1846 г., стр. 90.

«Пригрезился снова мне сон былой...» (стр. 424). Впервые — М, 1853, № 1, стр. 46. Перевод стихотворения «Mir träumte der alte Traum...» из «Лирического интермеццо». В М 4-я строка: «И в верности вечной друг другу клялися».

«Не пора ль из души старый вымести сор...» (стр. 425). Перевод стихотворения «Nun ist es Zeit, das ich mich verstand...» из цикла «Опять на родине». Впервые — М, 1853, № 1, стр. 49. См. также поэму Григорьева «Venezia la bella» и примеч. к ней на стр. 567.

С французского

БЕРАНЖЕ

В октябре 1845 г. Григорьев, перечисляя в письме к М. П. Погодину ряд выполненных им литературных работ, на первое место среди переводов поставил «песни Беранже, которые к январю, надеюсь, выйдут книжкою». Сообщение это, по-видимому, не вызвало одобрения со стороны Погодина, ибо в ноябре того же года Гри-

горьев ему писал: «Вам странен выбор моих переводов?.. Перевести Беранже считаю за notion méritoire <похвальное познание>, ибо это поэт истины, поэт будущего» (Материалы, стр. 102 и 104). Ни в январе 1846 г., ни позднее переводы Григорьева из Беранже отдельной книгой не выходили, но печатались в 1845—1846 гг. в журналах. Для 40-х годов такое отношение к Беранже — явление необычное. Ведь это было еще лет за десять — пятнадцать до того, как его поэзия приобрела в России огромную популярность благодаря переводам В. С. Курочкина и других поэтов. В 20—30-е годы Беранже воспринимался в России преимущественно как «поэт гризеток». В определенных кругах такое отношение к нему не исчезло и в последующие десятилетия. Но в 40-е годы в среде передовой русской интеллигенции, в том числе прогрессивно настроенного студенчества Московского университета, Беранже воспринимается уже как политический поэт (о литературной борьбе вокруг Беранже см. вступ. статью И. Ямпольского к сб. «Поэты „Искры"», т. 1. Л., 1955, стр. 45—46). Белинский в 1841 г. называет Беранже «пророком свободы гражданской и свободы мысли» (ПССБ, т. 12, стр. 55). Отношение Григорьева к Беранже как к «поэту истины, поэту будущего» тоже, несомненно, связано с его интересом к идеям утопического социализма. В кругу петрашевцев, с которым Григорьев хотя и не очень тесно, но был связан, воспринимали Беранже в том же духе — как поэта «истины» и «будущего». «Во Франции, — писал М. В. Петрашевский в «Карманном словаре», — на месте оды развилась, согласно с обстоятельствами, политическая песня. Французы, может быть, ни к одному из своих писателей не чувствуют такой симпатии, как к Беранже. У них значение Беранже важно: это не простой народный весельчак; несмотря на легкую, шутливую форму, поэзия его имеет глубокий смысл» («Философские и общественно-политические взгляды петрашевцев». М., 1953, стр. 271). Петрашевцы Д. Д. Ахшарумов и И. М. Дебу, излагая свои мысли о современном состоянии общества и будущем его устройстве, цитируют при этом песни Беранже (там же, стр. 664, 708). Уже в другую эпоху, в конце 50-х годов, Григорьев вновь вернулся к своим ранее сделанным переводам из Беранже, подверг их весьма существенной доработке и снова, в этом переработанном виде, напечатал в журнале «Петербургский вестник», 1861, №№ 21, 24, 25, 26, и 1862, № 1. В ЦГАЛИ хранится автограф семи григорьевских переводов из Беранже с посвящением всего цикла В. С. Курочкину. Стихи записаны в подборку, в виде единого, пронумерованного автором цикла и с датой под последним стихотворением: «1846—1859 С. Петербург». В это время Курочкин и Григорьев были в приятельских отношениях (см. «Неизданные письма к А. Н. Островскому». М.—Л., 1932, стр. 193—194). Посвящения нет в «Петербургском вестнике» скорее всего потому, что переводы напечатаны здесь в разрозненном виде. Нами переводы печатаются по тексту «Петербургского вестника», ибо по сравнению с рукописью здесь имеются изменения, правда незначительные, сделанные, несомненно, самим поэтом. С другой стороны, в печатном тексте имеется и ряд погрешностей (пропуски слов, строк и даже целых строф, вызванных, по всей вероятности, случайными причинами), исправляемых нами по рукописи. Ввиду того, что авторские

датировки каждого из переводов отсутствуют, а печатаемые нами позднейшие редакции некоторых из них резко отличаются от опубликованных редакций 1845—1846 гг., мы располагаем переводы не в соответствии со временем их первого появления в печати, а следуем нумерации автографа.

Сильфида (стр. 426). Перевод стихотворения «La sylphide». Впервые — «Невский альманах», 1846, стр. 139—141. Дата цензурного разрешения альманаха — 22 декабря 1845 г., из чего следует, что перевод был сделан не позднее 1845 г. В тексте «Петербургского вестника» (1861, № 24, стр. 543) нет последней строфы, которую мы восстанавливаем по рукописи.

Начнем сызнова (стр. 427). Перевод стихотворения «Recommençons». Впервые — Р и П, 1846, № 4, стр. 92. Печ. по «Петербургскому вестнику», 1862, № 1, стр. 17.

Мой челнок (стр. 428). Перевод стихотворения «Ma nacelle». Впервые — Р и П, 1846, № 11, стр. 233. Печ. по «Петербургскому вестнику», 1861, № 26, стр. 583.

Падучие звезды (стр. 430). Перевод стихотворения «Les étoiles qui filent...» Впервые — Р и П, 1845, № 11, стр. 273. В тексте «Петербургского вестника» (1861, № 25, стр. 564) нет 4-й строфы, которую мы даем по рукописи.

Самоубийство (стр. 431). Перевод стихотворения «Le suicide». Впервые — «Финский вестник», 1846, № 7, стр. 58. В этом номере журнала, в «Литературных заметках», написанных скорее всего лицом, близким к кругу петрашевцев и хорошо осведомленным о деятельности Григорьева, сообщалось следующее: «Сделан одним молодым писателем опыт перевода песен знаменитого Беранже. Задача очень нелегкая, и вполне песни Беранже непереводимы; но опыт сулит быть довольно удачным. Вот, напр., его образчик: „Элегия на смерть двух молодых людей"». Далее следовал полный текст перевода стихотворения «Самоубийство», без указания имени переводчика. В рукописи ЦГАЛИ перевод имеет название «Памяти двух юношей». Печ. по «Петербургскому вестнику», 1861, № 21, стр. 472. В собрания стихотворений Григорьева ранее не входило. В песне речь идет о двух французских поэтах — Викторе Эскуссе (1813—1832) и Огюсте ле Бра (1811—1832), отравившихся газом в знак протеста против общества, не признавшего их литературного дарования.

Наполеоновский капрал (стр. 433). Перевод стихотворения «Le vieux caporal». Впервые — «Петербургский вестник», 1861, № 21, стр. 472—473. В собрания стихотворений Григорьева ранее не входило. Действие в стихотворении происходит после восстановления во Франции королевской власти, а воспоминания капрала относятся к эпохе наполеоновских походов.

Воспоминания народа (стр. 435). Перевод стихотворения «Les souvenirs du peuple». Впервые — «Невский альманах», 1846,

стр. 42—45, под названием «Народная память» (см. примеч. к стихотворению «Сильфида», стр. 579). Печ. по «Петербургскому вестнику», 1861, № 24, стр. 542. Как и в предыдущем стихотворении, действие происходит в годы реставрации, а воспоминания рассказчицы охватывают всю жизнь Наполеона вплоть до периода «Ста дней» и, наконец, ссылки на остров св. Елены. *Нотрэ-Дам* — Собор Парижской богоматери.

МЮССЕ

«...Как нам казались сладки Поэты, нас затронувшие, все: И Лермонтов, и Байрон, и Мюссе», — писал престарелый Фет о своих с Григорьевым литературных увлечениях в пору студенчества. У Григорьева этот интерес к Мюссе сохранился до конца жизни: в «Моих литературных и нравственных скитальчествах», написанных незадолго до смерти, он снова возвращался к Мюссе и его роману «Исповедь сына века». Григорьев находил аналогию между эпохой, выдвинувшей героев Мюссе, и условиями, под влиянием которых родилась мрачная поэзия Полежаева, а затем и Лермонтова. Может быть, никто так глубоко и болезненно не почувствовал «романтического веяния», как Мюссе, «вероятно, потому, что это романтическое веяние закружило его окончательно», — писал Григорьев («Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина». «Русское слово», 1859, № 3, стр. 7). Это вовсе не обозначает, что, будучи поклонником романтического «веяния», он все одинаково одобрял и принимал в творчестве французского поэта. Он, например, считал, что «мутная струя сладострастия», недостойная большого поэта, идет во вред лирике Мюссе. В специальном критическом очерке, посвященном Мюссе (из которого взяты печатаемые ниже переводы), гораздо большее значение, чем лирике, придает он поэмам и драмам. Здесь, по мысли Григорьева, поэт сумел связать «личный вопрос своей натуры с жизнью целой эпохи» («Драматический сборник», 1860, № 5, стр. 43). Разбирая подробно поэму «Уста и чаша», в героях которой он видит прообразы героев других поэм и драм Мюссе, Григорьев утверждает, что в ней выразилась «задушевная мысль всех произведений поэта». Он считает, что поэт «наперекор горьким опытам, наперекор дорого купленному скептицизму, вынес целым и невредимым молодое, благоуханное чувство», стремление к «непосредственным», «молодым», «свежим» впечатлениям и переживаниям (там же, стр. 32). Это и сказывается в образе Франка, героя поэмы «Уста и чаша», в котором слепые, необузданные порывы не заглушили влечения к «девственной простоте». Франк, по мысли Григорьева, «назло анализу... упорно верит в жизнь». Ценя поэму Мюссе за то, что в ней «нет моральной апатии», Григорьев перевел из нее ряд сцен, рисующих «моральное существо» ее героя и героини.

Люси (стр. 437). Перевод стихотворения «Lucie». Впервые — М, 1852, № 12, стр. 47, в статье Григорьева «Альфред де Мюссе». В собрания стихотворений Григорьева ранее не входило.

Уста и чаша (стр. 439). Переводы отрывков и сцен драматической поэмы Мюссе «La Coupe et les Levres». Впервые — М,

1852, № 12, стр. 52—72, в статье Григорьева «Альфред де Мюссе». Блок, пользовавшийся сокращенным вариантом статьи («Драматический сборник», 1860, № 5), перепечатал всего лишь один отрывок из перевода поэмы «Уста и чаша» (из числа трех, оставшихся в этом варианте статьи). Остальные сцены в собрания стихотворений Григорьева ранее не входили. *Бельколоре и Франк* — главные герои поэмы «Уста и чаша». Решительно порвав с мелким, будничным существованием, Франк покидает родной Тироль. Встреча с куртизанкой Бельколоре и крупный выигрыш ввергают Франка в «эксцентрическое существование». Но оказывается, что Бельколоре лжива и продажна; она, говорит Григорьев, «вампир, высасывающий свежесть и молодость», но есть «какое-то трагическое величие в этом страшном образе» («Драматический сборник», 1860, № 5, стр. 7). Случайная встреча с подругой детских лет *Дейдамией* как будто обещает Франку душевное обновление и примирение с жизнью, но Дейдамия падает, сраженная рукой Бельколоре. Сцену 10-ю «Спи, бледный юноша...», в которой раскрывается лживость и продажность героини, Григорьев считал «пародией на сцену свидания Ромео и Юлии, пародией, внушающей ужас» (там же, стр. 9).

С английского

БАЙРОН

В студенческие годы Григорьев был сначала приверженцем «байроновско-французского романтизма». И лишь Фету, по его словам, удалось ввести в их среду Шиллера и Гете (Фет, стр. 153). Однако интерес к Байрону, которого он высоко ставил как поэта «эгоизма» и «отрицания», остался у Григорьева на всю жизнь. Первый перевод из Байрона сделан Григорьевым в 1845 г., последний — в 1862 г. В 50-х гг., когда у Григорьева изменилось отношение и к идее «эгоизма», и к идее «отрицания», он писал об английском поэте: «Байрон есть пламенный поэтический протест личности против всего условного в окружавшем его общежитии» и не может быть судим «с точки зрения нравственности того общежития, которого муза его была казнию». Значение Байрона Григорьев видел в том, что тот обнажил прикрытый «ветхим покровом» условности эгоизм и «воспел торжество этого страшного начала с тоской и иронией» («Русская беседа», 1856, № 3, стр. 32—33). В протесте Байрона заключалась, по мнению Григорьева, и его сила, и его слабость: «сила его в том, что протесту, вызываемому всегда более или менее неправдою, душа горячо сочувствует; слабость в том, что это есть протест слепой, протест без идеала». Именно потому и получается, что, срывая благопристойную маску с «дикого по существу эгоизма», Байрон «венчает его не втихомолку, а прямо», и, как глубокий поэт, «венчает с тоской и иронией» (там же, стр. 33—34).

«Всё кончено! Мечты мои пропали...» (стр. 458). Перевод стихотворения «Remembrance». Впервые — «Меркурий мод», 1859, № 10, стр. 151, под заглавием «Из Байрона», подпись — А. Г.

«Прощай! И если за других...» (стр. 458). Перевод стихотворения «Farewell! If ever fondest prayer...» Впервые — Р и П, 1845, № 3, стр. 835. Первая строка в этой публикации: «Прости! и ежели другим...» Вошло в сб. 1846 г. В переработанном виде — «Светоч», 1860, № 2, стр. 8.

«Души твоей будь обитель светла!» (стр. 459). Перевод стихотворения «Bright be the place of thy soul». Впервые — МГЛ, 1847, № 166, стр. 666. В переработанном виде — «Светоч», 1860, № 2, стр. 9. Приводим первоначальную редакцию, имеющую самостоятельное художественное значение:

Обитель души твоей будь
Чиста и светла, как сама ты,
Земной совершая свой путь,
Душою блаженной была ты.

Средь лика бессмертных сиять
Тебе, в мире бывшей святою, —
К чему над тобою рыдать?
Мы знаем, что бог твой с тобою.

Трава на могильном холме
Пусть вечно зеленая будет;
Пусть каждый о мраке и тьме,
Тебя вспоминая, забудет.

Зеленые ели над ним
С цветами долины срослися...
Над прахом прекрасным твоим
Печального нет кипариса.

Паризина (стр. 459). Перевод поэмы «Parisina». Впервые главы 1—6 — М, 1851, № 13, стр. 3; полностью — «Современник», 1859, № 8, стр. 175—198. Печ. по «Драматическому сборнику», 1860, № 3, стр. 11—24. Датируем окончание работы 1858 г., т. к. перевод появился у Григорьева после поездки в Италию, одновременно с поэмой «Venezia la bella» («Воспоминания», стр. 379). «Поколе человечество способно мучительно любить, глубоко чувствовать оскорбление и жажду мести, стенать посреди мук и гордо поднимать голову под секирой палача, — писал Григорьев, — до тех пор оно будет жадно читать и „Гяура", и исповедь Уго перед казнию в „Паризине"» («Русская беседа», 1856, № 3, стр. 33). Посвящение перевода «Паризины» Некрасову—любопытный факт, отражающий весьма сложное отношение Григорьева к нему как к поэту и редактору «Современника». Известно, что одно время предполагалось привлечь Григорьева к участию в этом журнале, и по некоторым данным приглашение в апреле-мае 1856 г. было сделано, но по ряду причин Григорьев все же не выступил на страницах этого

журнала в качестве критика (Материалы, стр. 385; В. Евгеньев. Некрасов и люди 40-х годов. «Голос минувшего», 1916, № 10, стр. 92—93). В предсмертном «Кратком послужном списке» Григорьев счел нужным отметить, что в это время он «явился в „Современнике" с прозвищем „проницательнейшего из наших критиков"» («Воспоминания», стр. 376). Таким образом, и посвящение данного перевода Некрасову, и появление на страницах «Современника» поэмы «Venezia la bella», а затем «Паризины» надо рассматривать в связи с изложенными выше фактами. Перевод, по-видимому, Некрасову понравился, о чем свидетельствует письмо Григорьева к Н. Н. Страхову от 15 декабря 1861 г., в котором он просит, если «Время» не возьмет выполненного им перевода первой песни «Чайльд-Гарольда», «передать ее Некрасову, который возьмет с радостью, — ибо сам вызвал меня на перевод „Гарольда" после „Паризины"» (Материалы, стр. 288). Эти слова свидетельствуют еще и о том, что и в 1861 г. Григорьев был уверен в хорошем отношении к нему Некрасова. В своих критических статьях Григорьев, очень высоко ставя Некрасова как поэта, не все в его творчестве оценивал положительно. В 1862 г. он посвятил Некрасову большую статью, где назвал его поэтом «с народным сердцем». Но, анализируя «лучшие по вдохновению» стихотворения, в которых поэт «сливался с народной душой», критик противопоставлял им другие, представлявшие, по его мнению, «желчные пятна» на возвышенной поэзии Некрасова» («Время», 1862, № 7, стр. 1—46; см. также примеч. к поэме «Вверх по Волге», стр. 568). «Паризина» была созвучна одной из главных поэтических тем Григорьева, выраженной в поэме «Venezia la bella» словами: «Нажиться жизнью в день один». Не случайно работа над этой поэмой и переводом «Паризины» относится к одному времени (см. «Воспоминания», стр. 379).

П р о м е т е й (стр. 481). Перевод стихотворения «Prometheus». Впервые — «Светоч», 1861, № 2, стр. 65. Накануне нового, 1861 г. Григорьев писал фактическому редактору «Светоча» А. П. Милюкову: «Я кончаю два довольно больших стихотворения Байрона и зайду к Вам с ними сегодня в семь часов». Вместо двух стихотворений Григорьев привез одно: «Это был прекрасный перевод «Прометея» Байрона, из которого потом почти половина была отрезана цензором» (А. П. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 256). Эта «отрезанная» цензурой часть стихотворения была опубликована В. Н. Княжниным («Русская мысль», 1916, № 5, стр. 134—135). В настоящем издании печатается полный текст по рукописи. К «Прометею» относится мысль Григорьева о том, что муза Байрона есть Немезида, обращающая свой бич «на самого поэта, как далеко не свободного от неправды», и посылающая «Прометеева коршуна терзать его собственное сердце» («Русская беседа», 1856, № 3, стр. 35). *Милюков* Александр Петрович (1817—1897) — критик, историк литературы, автор «Очерков по истории русской поэзии» (СПб., 1847). В молодости Милюков был близок к петрашевцам, но Григорьев сблизился с ним лишь в 1860 г. и напечатал в «Светоче» несколько статей и переводов.

Венеция (стр. 484). Перевод отрывка из стихотворения Байрона «Ode on Venice». Впервые — «Время», 1861, № 1, стр. 408.

Не вспоминай! (стр. 485). Перевод стихотворения «Remind me not, remind me not...» Впервые — «Русский мир», 1861, № 72, стр. 1206.

Отрывки из поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда» (стр. 486) Перевод отрывков из первой песни поэмы «Child Harold's pilgrimage». Впервые — «Время», 1862, № 7, стр. 183—216, где дан полный текст 1-й песни. «Вот теперь я с любовию перевожу одного из трех последних настоящих поэтов... я переживаю былую эпоху молодости — и понимаю, с какой холодностью отнесется современное молодое поколение к этим пламенным строфам... к этой лихорадочной тревоге, ко всему тому, чем мы жили, по чему строили свою жизнь», — писал 12 декабря 1861 г. Григорьев Н. Н. Страхову, работая над переводом 1-й песни «Чайльд-Гарольда». А в июне 1862 г. он обращался к А. А. Краевскому, предлагая для «Отечественных записок» эту 1-ю песню, «представляющую... довольно замкнутое целое (Португалия и Испания)». Григорьев отмечал тут же: «Моим переводам из Байрона все отдавали справедливость. Этот же перевод я имел возможность отделать con amore <с любовью> и с особенной заботливостью» (Материалы, стр. 287—298). Однако перевод был напечатан не у Краевского, а в журнале Достоевских. Страхов считал перевод малоудачным: присущая Григорьеву «своеобразная тяжесть» слога, в ряде случаев сообщавшая его стилю «необыкновенную силу», повредила переводу вещи, «верно понятой и прочувствованной» (Н. Страхов. Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве. «Воспоминания», стр. 484).

ШЕКСПИР

Немецких поэтов — Гете, Шиллера, Гейне — Григорьев переводил в 40-х — самом начале 50-х годов. Переводы из Беранже в основном осуществлены им тоже в 40-х годах. По-иному сложилась его работа в области перевода из английской поэзии. Байроном он занимался и в 40-е, и в 50-е годы. А переводы Шекспира стали одним из главных его занятий в последние десять лет жизни. Можно даже сказать, что именно Шекспир в это время (с 1853 по 1864 г.) по существу совсем «вытеснил» из поля деятельности Григорьева-переводчика немецкую и французскую поэзию. Не случайно Григорьева в конце 50-х — начале 60-х гг. воспринимали «по его переводам из Шекспира и Байрона и по критическим статьям в московских и петербургских журналах» (А. П. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 250). Сопоставляя Гете и Шиллера как драматургов с Шекспиром, Григорьев писал, что Гете, «чтобы быть истинным драматургом», недоставало «сочувствия к политической сфере и глубокого понимания ее пружин», а Шиллеру — «сочувствия к обыкновенному, ежедневному». У Шекспира же критик находил понимание этих обеих сфер человеческой жизни («Драматический сборник», 1860, № 5, стр. 33). Шекспир,

считал Григорьев, в действиях героев ищет всегда «пружин чисто человеческих, а не демонских», но никогда не опускается при этом до натурализма, — за «обыкновенным и ежедневным» он видит трагический ход жизни. Свои переводы из Шекспира Григорьев и выполнял в соответствии с таким пониманием его драматургии. Работая над каждым из них, он ставил перед собой определенные, связанные именно с характером данного произведения, «поэтические задачи» и стремился «последовательно» осуществить их в работе (БдЧ, 1857, № 7, стр. 183). Но были, разумеется, некоторые общие принципы, которыми он руководствовался, переводя Шекспира. Называя одного из переводчиков Шекспира на французский язык «честным и робким», сам Григорьев не считал нужным скрывать и сглаживать «резкости Шекспировской формы» и вместе с тем проявлять верность «к тому, что в Шекспире есть ветошь и тряпки». Григорьев понимал, что перевод, каким бы точным и «объективным» он ни был, всегда в руках переводчика-поэта, а не ремесленника, является трактовкой переводимого произведения, его идеи, его образов. О трактовке, которую он сам давал Шекспиру как переводчик, можно составить ясное представление по его отзыву о книге В. Гюго, посвященной Шекспиру: «Гюго херит обтрепанного, засиженного «героя безволия» Гамлета, сочиненного немцами, и восстанавливает полный мрачной поэзии английско-сплинический образ». Говоря о Ромео как о Гамлете в любви, Гюго «херит какой-то полубабий образ, созданный потребностями итальянских композиторов и досугом филистеров», и «возвращает фигуре шекспировского героя тот зловещий свет, которым облита она с третьего акта трагедии...» («Эпоха», 1864, № 6, стр. 266). Такими полемическими художественными задачами: борьбой с сентиментальной трактовкой героев Шекспира; с умозрительным, филистерским выхолащиванием их реального трагического содержания; со сглаживанием «резкостей» шекспировской формы — объясняются важнейшие особенности григорьевских переводов, как наиболее удачных («Ромео и Джульетта»), так и менее удачных («Сон в летнюю ночь»).

Шейлок, венецианский жид (стр. 490). Впервые полностью — «Драматический сборник», 1860, № 1, стр. 1—52, с подзаголовком: «Драматическое представление, в пяти действиях, переделанное для сцены А. Григорьевым». В 1860 г. издано отдельно. *Шейлок* — богатый еврей, ростовщик. *Лоренцо* и *Джессика*. Дочь Шейлока Джессика убегает из отцовского дома со своим возлюбленным Лоренцо. *Троил* и *Крессида*. По древнегреческому мифу, троянский царевич Троил был влюблен в гречанку Крессиду. *Тизба* (Фисба) — героиня трагической повести о любви из «Метаморфоз» Овидия. *Дидона.* В «Энеиде» Вергилия рассказана история карфагенской царицы Дидоны, влюбленной в Энея, который ее покинул. *Медея* и *Язон*. По древнегреческому мифу, Медея омолодила Эзона, отца своего мужа Язона. *Ланчиллот* — шут, слуга Шейлока.

Ромео и Джульетта (стр. 492). Впервые полностью — «Русская сцена», 1864, № 8, стр. 101—260. Так как Григорьев ориентировался на старинное издание Шекспира 1599 г., где нет разде-

ления на акты, то и в тексте его перевода это разделение отсутствует. Вслед за переводом был напечатан «Post scriptum» переводчика — стихотворение «И все же ты, далекий призрак мой. . .» (см. стр. 182 и примеч. на стр. 556). В июле 1864 г. Григорьев писал редактору «Русской сцены» Н. В. Михно, для которой перевод предназначался: «По поводу драмы надумалась мне лихая статья» (Материалы, стр. 300). Этот замысел не был осуществлен — вскоре Григорьев умер. Да и самый перевод появился в свет уже после смерти поэта. *Царица Маб* — персонаж английских народных поверий; она помогала рождению снов, подменивала новорожденных младенцев оборотнями.

С древнегреческого

СОФОКЛ

Антигона (стр. 502). Впервые полностью — БдЧ, 1846, № 8, стр. 99—148. В предисловии к своему переводу Григорьев писал: «Я старался строго, почти буквально держаться подлинника, но, естественно, не мог передать всех тонких оттенков эллинской речи и тем менее ощутительно представить в русской речи все изменения размера» (там же, стр. 100). А. Блок находил в этом переводе «досадное чередование» стихов, сделанных «произвольным» размером, с «совершенно античными». Переводы хоров трагедии он считал наиболее удавшимися Григорьеву (изд. Блока, стр. 571—572). *Антигона* — по греческому мифу, дочь фиванского царя Эдипа, сопровождавшая его в добровольное изгнание из Фив в Колон, а затем, по возвращении в Фивы, похоронившая своего брата Полиника, несмотря на запрещение нового владетеля Крэона, за что была погребена заживо. Антигона осталась в веках идеалом благородного самоотвержения при исполнении долга. *Хор.* В нем граждане Фив приветствуют освобождение города от нашествия врагов. *Гелиос* — бог солнца; представлялся мчащимся на колеснице. *Седмивратному городу Фивам.* По преданию, Фивы имели семь ворот, к которым устремлялись семь вождей вражеского войска. *На волнах диркейских.* Имеется в виду Диркейский поток вблизи Фив, откуда брали воду. *Врага, который пришел из Аргоса.* Аргосцы были союзниками Полиника, их воины были с белыми щитами. *Полинейк* (Полиник). Сыновья Эдипа Этеокл и Полиник затеяли ссору из-за того, что каждый хотел владеть Фивами. Младший, Полиник, заключил союз с шестью греческими царями, вместе с которыми осадил город. Полиник и Этеокл убили друг друга. *Гефест* (Вулкан) — бог огня. *Арес* (Арей) — бог войны; *Дракон* — здесь означает войско фиванское. Дракон считался врагом орла, которому здесь же уподобляется войско аргосцев. *Смерть сразила его.* Здесь речь идет о том, как Зевс испепелил молнией Капанея, одного из семерых вождей, осаждавших Фивы. *Крэон* — новый властитель Фив, который приказал похоронить Этеокла с почетом, как защитника города, а Полиника оставить без погребения. *Мать богов* — Гея, богиня земли. *Гадес* — смерть. *Несчастного Эдипа.* Судьба Эдипа сложилась так, что он поневоле

совершил тяжкие преступления, а затем сам себя наказал, выколов в отчаяньи глаза и покинув Фивы. *Ахерон* (Ахеронт) — река в царстве мертвых. *Не прозвучат Гименея мне песни.* Гименей — бог брака; Антигона была невестой сына Крэона — Гемона. *О смерти дочери Тантала.* Антигона сравнивает свою судьбу с участью Ниобеи — дочери фригийского царя Тантала, внучки Зевса, которая похвалилась своими многочисленными детьми перед Латоной, у которой было всего двое детей. За это дети Латоны убили детей Ниобеи, а сама она была превращена в скалу на горе Сипиле. *Лабдакиды* — потомки царя Лабдака, который был дедом Эдипа.

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ А. А. ГРИГОРЬЕВУ

Включаем в этот раздел стихи, принадлежность которых Григорьеву считаем вполне вероятной. Кроме того, необходимо указать, что Григорьеву приписывалось стихотворение «Долго нас помещики душили...» И. Г. Ямпольский напечатал его в собрании стихотворений В. С. Курочкина («Поэты „Искры"», т. 1. Л., 1955, см. там же примеч. на стр. 768, где дана сводка материалов по этому вопросу). Хотя более вероятно, что автором стихотворения является именно Курочкин, приводим указания и намеки, позволяющие считать его автором и Григорьева. Н. С. Лесков писал про одного из героев своего «Загадочного человека»: «Не знал он ни одной песни, кроме «Долго нас помещики душили...», песни, сочинение которой приписывают покойному Аполлону Григорьеву и которая одно время была застольной песнью известной партии петербургской молодежи» (Н. С. Лесков-Стебницкий. Загадочный человек. СПб., 1871, стр. 48—49). «Помню Григорьева... поющего со студентами песню, им положенную на музыку: „Долго нас помещики душили..."» — писал Я. П. Полонский («Неизданные письма к А. Н. Островскому». М.—Л., 1932, стр. 455). П. Д. Боборыкин вспоминает о том, что в конце 50-х гг. «многие» среди петербургской молодежи смотрели на Григорьева «вовсе не как на отсталого славянофила, а искренно верили в его освободительные стремления, в любовь к народу и к народности, в поэзию, ценили его стихотворные опыты, распевали даже одну смелую песнь, сложенную им» («Воспоминания», стр. 568). Григорьеву приписывались также стихотворения: «При рождении мира мне сказал Зевес...» и «Когда наш Новгород великий...» (см. «Русская мысль», 1916, № 5, стр. 131). Первое из этих стихотворений, как произведение анонимного автора, включено С. А. Рейсером в сборник «Вольная русская поэзия второй половины XIX века» (Л., 1959), второе принадлежит М. А. Дмитриеву.

A Viardot-Garcia (стр. 511). Впервые — Р и П, 1844, № 5, стр. 244, за подписью: «Г.въ». Эпиграф — неточная цитата из стихотворения английского поэта Вордсворта «К девушке из племени шотландских горцев» (1803). Мотивируя включение этого стихотворения в издание Григорьева, Блок писал: «Несмотря на сокращенную подпись и отсутствие прямых указаний, я с уверенностью вношу в текст это стихотворение, по внутренним признакам при-

надлежащее А. Григорьеву» (изд. Блока, стр. 553). Очевидно, Блок прав, тем более что псевдоним, которым подписано стихотворение, вполне соответствует фамилии Григорьева. Если это так, то данное стихотворение является единственным из опубликованных Григорьевым до октября 1845 г., которое не вошло в сб. 1846 г. *Виардо-Гарсиа* Полина (1821—1910) — знаменитая французская певица, гастролировавшая в России в 1843—1844 гг. *Беллини* Винченцо (1802—1834) — итальянский композитор, автор нескольких популярных опер. Поэт говорит здесь о его преждевременной смерти. *Амина* — героиня оперы Беллини «Сомнамбула». *Incolparne* и *Mi abbraccia* — слова из арии Амины.

Дума (стр. 514). Впервые — БдЧ, 1846, № 10, стр. 46, без подписи. Там же, непосредственно вслед за ним идет стихотворение «Ожидание» (см. стр. 119), подписанное: «А. Григорьев». Относится ли эта подпись к обоим стихотворениям? Формально — нет, ибо и в оглавлении Григорьев указан лишь как автор второго стихотворения, а автор «Думы» здесь также не указан. Но для читателя, знающего поэзию Григорьева, особенно 1845—1846 гг., ясно, что первое стихотворение более близко ее духу, чем второе, им подписанное.

Воспоминание детства (стр. 515). Впервые — «Меркурий мод», 1859, № 12, стр. 180, за подписью: А. Г. «Включаю... это стихотворение не без колебания», — писал Блок (изд. Блока, стр. 557).

Когда книга уже была сверстана, во Всесоюзной государственной библиотеке им. В. И. Ленина был обнаружен автограф стихотворения «Памяти одного из многих» (стр. 92), датированный 8 февраля 1844 г. По техническим причинам его не удалось переставить на свое место после стихотворения «Воззвание» (стр. 93).

СПИСОК СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. А. ГРИГОРЬЕВА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ[1]

1. Басурман. Драматическое представление в 4-х действиях, с прологом, в прозе и стихах. Рукопись (Театральная библиотека им. А. В. Луначарского. Ленинград).
2. Отец и сын. Драма в 4-х действиях, в стихах. Рукопись (Архив ПД).
3. Олег вещий. «Петербургский сборник для детей», СПб, 1847.
4. Друзьям. Рукопись (ЦГАЛИ).
5. Врагам. Рукопись (ЦГАЛИ).
6. «Видом пакостным своим...» Рукопись (ЦГАЛИ).
7. Любовь цыганки. Романс, музыка А. Дюбюка. М., 1857.
8. С испанского. «Меркурий мод», 1859, № 10, стр. 151, за подписью А. Г.
9. Интродукция к альбому Ольги Александровны. Альбом I.
10. Альбому в день его рождения. Там же.
11. «Когда, пройдя, бывало, Гиббелину...» Там же.
12. Из Мицкевича. Альбом II.
13. «Рассветом голубым ты теплилась мне в горе...» Экспромт. «Тютчевский сборник». Пг., 1923.
14. Дети степей, или Украинские цыгане. Либретто оперы, музыка А. Рубинштейна. М., 1903.
15. Торжественная ода на благополучное возрождение «Свистка». «Оса», 1863, № 1, за подписью «Ненужный человек».
16. Алмея Абличителю. Там же, № 24, за той же подписью.
17. Послание критику «Якоря». Там же, № 32, за той же подписью.

---

[1] Список условных сокращений см. на стр. 522.

18. Монологи Гамлета Щигровского уезда. «Оса», 1864, № 1, без подписи.

19. Скажите мне. Там же, № 2, за подписью «Ненужный человек».

20. Монологи Гамлета Щигровского уезда. Там же, № 3, без подписи.

ПЕРЕВОДЫ

1. Мольер. Школа мужей. Р и П, 1846, № 12.
2. Делавинь. Школа стариков. Комедия в 5 действиях. «Пантеон», 1850, кн. 1.
3. Шекспир. Сон в летнюю ночь. БдЧ, 1857, № 7.

СТИХОТВОРНЫЕ ЛИБРЕТТО ОПЕР:

1. Бал-маскарад, муз. Верди. СПб., 1862.
2. Граф Ори, муз. Россини. СПб., 1862.
3. Осада Гента, муз. Мейербера. СПб., 1862.
4. Фиделио, муз. Бетховена. СПб., 1862.
5. Эрнани, муз. Верди. СПб., 1862.
6. Дон Пасквале, муз. Доницетти. СПб., 1863.
7. Лючия ди Ламмермур, муз. Доницетти. СПб., 1863.
8. Роберт-Дьявол, муз. Мейербера. СПб., 1863.
9. Сила судьбы, муз. Верди. СПб., 1863.
10. Сомнамбула, муз. Беллини. СПб., 1863.
11. Фаворитка, муз. Доницетти. СПб., 1863.
12. Фауст, муз. Гуно. Рукопись (архив ПД).
13. Фиорина, муз. Карло Педротти. СПб., 1863.
14. Чеперентола, муз. Россини. СПб., 1864.
15. Белая дама, муз. Боэлдье. СПб., 1864.
16. Линда ди Шамуни, муз. Доницетти. СПб., 1864.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* Портрет Ап. Григорьева 1846 г., хранящийся в Государственной Третьяковской галерее. На оригинале в правом углу надпись (рукой Григорьева): «Доброму другу Александру Славину. 1846. Сентября 22». Внизу, в правом углу, цитата (его же рукой) из стихотворения Григорьева «Тайна скуки» (1843):

Что вам до тайны тех страданий,
До фосфорических сияний
От гнили, тленья и гробов?

2. *Между стр. 96 и 97.* Дом Григорьевых в Москве на Малой Полянке в Замоскворечье, где в начале 1840-х годов жили Ап. Григорьев и А. А. Фет. Фото 1915 г. Хранится в Институте русской литературы АН СССР.

3. *Стр. 145.* Автограф первой страницы цикла «Борьба». Хранится в Институте русской литературы АН СССР.

4. *Стр 161.* Автограф стихотворения «Цыганская венгерка». 1857. Хранится в Институте русской литературы АН СССР.

5. *Между стр. 336 и 337.* Ап. Григорьев. Фото 1850-х годов. Хранится в Институте русской литературы АН СССР.

6. *Между стр. 384 и 385.* Ап. Григорьев. Фото начала 1860-х годов. Хранится в Институте русской литературы АН СССР.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Содержание[1]

СТИХОТВОРЕНИЯ

[1] Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

ДРАМА

ПОЭМЫ

ПЕРЕВОДЫ

С немецкого

ГИМНЫ

ГЕТЕ

ШИЛЛЕР

ГЕЙНЕ

С французского

БЕРАНЖЕ

МЮССЕ

С английского

БАЙРОН

ШЕКСПИР

С древнегреческого

СОФОКЛ

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ А. А. ГРИГОРЬЕВУ

Григорьев Аполлон Александрович

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Редактор *Г. П. Макогоненко*

Художник *И. С. Серов.* Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм.* Корректор *Ф. С. Флейтман*

Сдано в набор 16/IV 1959 г. Подписано в печать 2/VII 1959 г. Бумага 84×108/32. Печ. л. 19 1/8 (31,36). Уч.-изд. л. 31,31. Тираж 20 000 (1-й завод — 10 000). Заказ № 387. Цена 17 р. 45 к.

Ленинградское отделение издательства «Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., д. 28

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза, Ленинград, Красная ул., 1/3

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
44	19 сн.	1945 год	1845 год
50	4 сн.	26 января 1858 г.	26 января 1859 г.
178	2 сн.	*Пер. М. Холодковского.*	*(Пер. Н. Холодковского).*
181	18 св.	на кральях	на крыльях
265	16 сн.	Смерный час	Смертный час

На последней странице неправильно обозначена цена книги, следует: 11 руб. 25 коп.

Аполлон Григорьев. Избранные произведения.


25